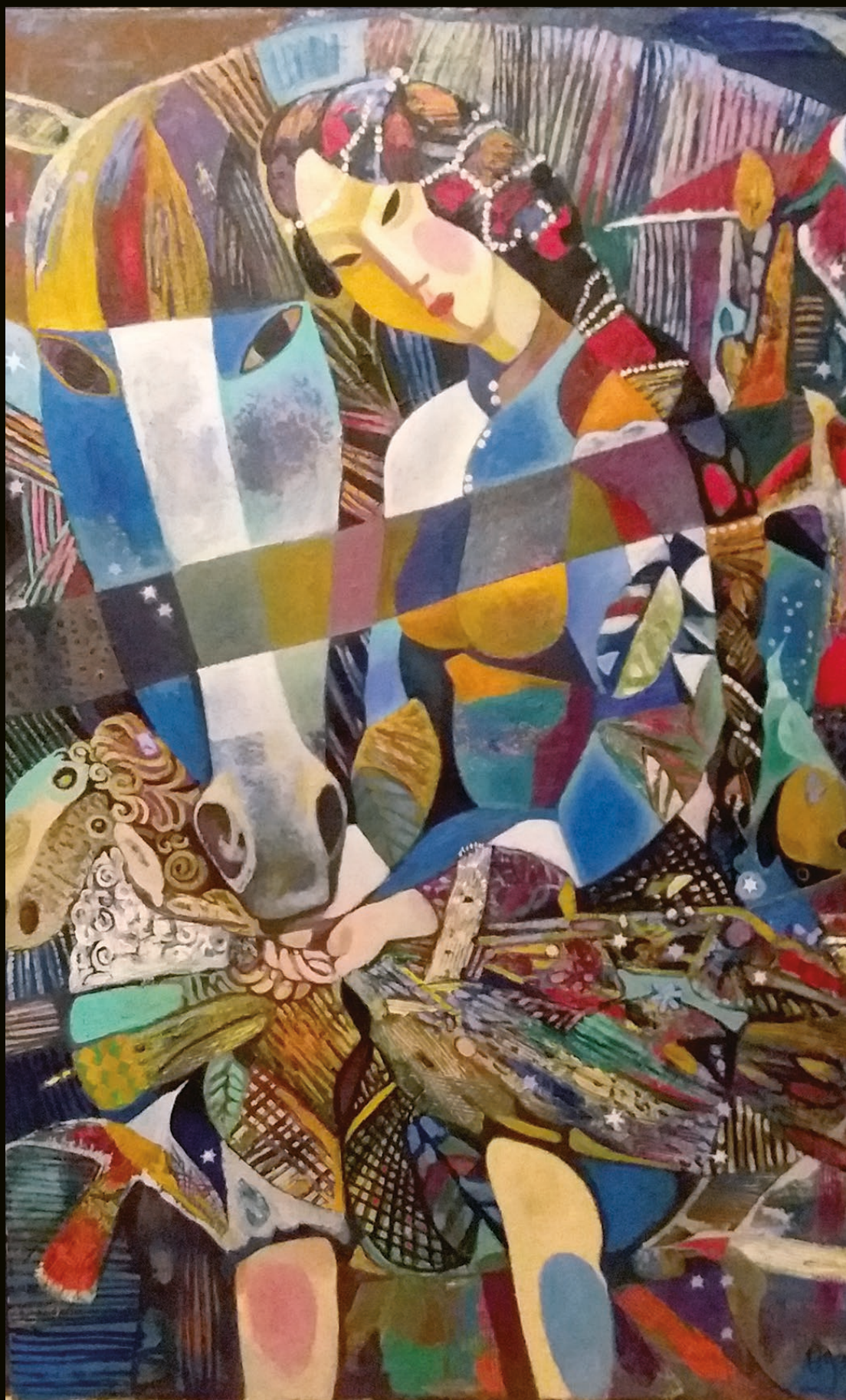


ДЕНЬ и НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения

№ 2 | 2024





**Бальжинима
Доржиев**

Девушка лето.
Холст, масло.
133х97. 2014 г.

ДЕНЬ и НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 2 | 2024

В номере

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| ДиН ПАМЯТЬ | Черубина де Габриак |
| Василий Мишенёв | 186 Цыганская кровь |
| 3 Высветление головы | ДиН ПУБЛИЦИСТИКА |
| Марина Саввиных | Геннадий Малашин |
| 7 Южный ветер в бетонном лесу | 14 (Не)забытые голоса Сибири |
| Роман Солнцев | ДиН ВРЕМЯ |
| 9 Слышу... | Владимир Алейников |
| Николай Гайдук | 38 Силуэты и тени |
| 12 Мастер слова | Александр Орлов |
| ДиН РЕВЮ | 59 Товарищ Сердце |
| Владимир Кривошеин | ДиН ПОЛЕМИКА |
| 8 Память о друге | Дмитрий Косяков |
| Станислав Колчин | 62 Задачи русской литературы сегодня |
| 37 Неизбежность | ДиН СТИХИ |
| 72 Стихи и проза | Андрей Расторгуев |
| победителей конкурса | 69 Тюркиш кофе |
| имени Чижевского | Сергей Мамзин |
| ДиН СИММЕТРИЯ | 73 Бессонница |
| Владимир Набоков | Олег Ващев |
| 11 В венце из лунной пыли | 76 Меломан |
| Демьян Бедный | Владимир Пономарёв |
| 127 Вперёд и выше! | 78 В си-миноре... |
| Валерий Брюсов | Станислав Колчин |
| 132 Мир N-измерений | 151 Неизбежность |
| Владислав Ходасевич | Эльнара Браништи |
| 146 Зеркало | 153 На переходе из Нави в Явь |
| Марина Цветаева | Елена Смолицкая |
| 150 Сверхбессмысленнейшее слово | 156 Родник тепла |

ДиН ПРОЗА	
Сергей Кузичкин	
79	Откос
Сергей Задереев	
105	Чёрное копыто
Дарья Франц	
116	Железные крылья
БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА	
Татьяна Масс	
128	Божья песенка
Пётр Любестовский	
133	Отчий дом
Виолетта Зимницкая	
143	В клуб приехало кино
Татьяна Савина	
147	Три печки

Сергей Чернов	
173	Живая кровь
Сергей Калинин	
181	Волшебные фанты
ДиН РОМАН	
Василий Киляков	
158	Зарницы памяти
ДиН ЭССЕ	
Фарида Кудасва	
184	Ах, старики, мои старики...
КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ	
Елена Величко	
187	Увидеть «изнанку мира»
ДиН ДЕТЯМ	
Дарья Назарова	
191	Пингвины на кухне
195	ДиН АВТОРЫ



Репродукции с картин, опубликованных на обложке, любезно предоставлены «Арт-галереей Романовых» (Красноярск).

Яков Семёнович Еселевич (1915–2000), заслуженный художник Российской Федерации, прошел бок о бок с Красноярским Союзом художников всю свою долгую жизнь с ранней юности до конца дней. Перед войной он учился в Красноярской художественной школе (1939) и сразу же включился в творчество, уже с 1940 года участвовал в художественных выставках. Во время Великой Отечественной войны Яков Семёнович был на фронте, защищал Ленинград, четыре долгих года войны не снимал шинели. После Победы художник возвратился в Красноярск и вернулся к своей мирной профессии. В живописи Я.С. Еселевич известен, прежде всего, как мастер портрета.

Бальжинима Доржиев, заслуженный художник России, народный художник Бурятии, родился в 1950 году в селе Улан-Булаг Агинского Бурятского автономного округа. Он с отличием окончил Иркутское художественное училище и Ленинградскую академию художеств имени И. Е. Репина, мастерскую признанного мэтра Евсея Моисеенко.

С 1989 года Бальжинима Доржиев является главным художником Бурятского академического театра драмы им. Х. Намсараева.

Василий Мишенёв

Высветление головы

100 лет В. П. Астафьеву

Василий Мишенёв Высветление головы

Прошёл Ильин день, схлынула жара, пропал овод. От речки по вечерам наползает слоистый белый туман, медленно перекачивается через прясла огородов и отдыхает до утра на зелёной отаве, на картофельной ботве, выпадая на рассвете к ясному дню обильной росой. А ночью на небе тесно звёздам. Кроят за предельную высь метеориты. Сидишь на тёплом крыльчке деревенской избы и уже не загадываешь желаний при падении звезды: прошли те годы, когда думалось, что вся жизнь впереди, когда мечты и желания теснились в тебе, шли внахлёст. Теперь, когда долго смотришь на ночное звёздное небо, какая-то вселенская печаль овладевает душой, обостряет зрение и слух. Смотришь на уснувшую деревню, облаканную мягким светом луны и звёзд, и грустишь сердцем об ушедших годах и ушедших людях, вспоминаешь былое время, былые встречи. Воспоминания приходят добрые и светлые, но успокоения не приносят, не растворяют в душе вселенскую печаль, и хочется пойти к кому-нибудь, поговорить по душам, а то и просто помолчать рядом с хорошим человеком.

Наступит день — всё изменится. Надо работать, пользоваться главным условием для творческой работы — уединением. На своей родине. В своей избе. И хорошо, если рождаются в тебе, то ли в голове, то ли в сердце, такие образы и мысли, которыми не зазорно поделиться с людьми, найдя для них, образов и мыслей, нужные слова и нужное звучание.

По вечерам заходит ко мне деревенский книгоеч Фёдор Николаевич, бывший колхозный конюх, а ныне пенсионер, старик своеобразный и грамотный. Кроме «районки» и областной газеты, выписывает центральные издания, газеты подшивает и подшивки хранит. Встречи с Фёдором я называю про себя «высветлением головы». Выражение это принадлежит ему. Иногда мой внимательный друг говорит мне: «Голова не устала? То читаешь, то пишешь. Надо и отдыхать, делать время от времени высветление головы».

Беседы наши всегда проходят ровно, доброжелательно и неспешно. Люблю поговорить с ним о былых временах, когда в деревне были колхозные лошади и мы, ребяташки, помогали зимой конюху поить их, таскали ведрами из проруби воду, наливали в старые колоды и от этого испытывали радость. Навсегда остались в памяти, будто и не лошади вовсе,

а добрые существа из детства, колхозные труженики Венчик, Майка, Лысанко и даже Клоп, низкорослая лошадка ветеринара. Сколько воробьёв кормилось около конюшни, подбирая овёс или копошась в конском навозе. Где теперь кони и воробьи?

Закончив наши разговоры, обычно мы расстаёмся с Фёдором Николаевичем довольные друг другом. Постепенно наши отношения переросли в дружбу, а общение стало необходимостью.

Иногда он приходит с газетой, желая обсудить заведшую его за живое статью и тогда разговор накаляется.

— Правду надо писать, правду! — возбуждённо заявлял мне Фёдор Николаевич, как будто это я, а не кто иной, напечатал в газете статью, которая возмутила его.

Заявлял и не ждал каких-либо возражений. А я ему и не возражал. Только думал про себя: «А кому нужна она, правда? Она как солнышко. Когда на неё смотрят, то щурятся. Далеко не всем она по нутру. Многие люди, особенно обладающие властью, стараются держать правду на положении докучливой и раздражающей падчерицы, а в любимых дочках у них лезть и хвала да всеобщий «одобрямс», который не просто настораживает, а пугает, ибо он не что иное, как признак стадности и лакейства, которое давно в крови у людей, отчего они с такой лёгкостью работлепно гнут спину перед любым, даже самым малым, начальством, унижаются и заискивают перед любым иностранцем.

Ничего я не говорил старому другу на эту вечно болезную тему правды и справедливости, да и зачем было говорить? Старик же, поняв, что заехал не в ту степь, начинал искать способ, как вырुлить на нужную, более ровную, колею. И находил. Изображая простодушное любопытство, в который раз спрашивал меня:

— Смотрю и не могу понять: что за странный у тебя на столе телевизор? Вроде включён, а ни кина, ни депутатов.

— Это компьютер, — в который же раз отвечал я, поняв хитроумный манёвр собеседника, и начинал объяснять что-нибудь о работе компьютера, а дотошный старик слушал меня с особенным вниманием, лишь иногда удивлённо вставляя короткие замечания типа «надо же!» или «ты смотри!»...

И снова день прошёл незаметно, в обычных делах и занятиях, а вечером зашёл Фёдор Николаевич.

— Здорово живём! — поприветствовал меня и по обыкновению остановился у порога, оценивая ситуацию.

Деликатный старик всегда боялся помешать, оторвать от работы.

— Проходи, Фёдор Николаевич! Сейчас чайку попью. — здороваясь за руку, пригласил его.

— Вот книгу принёс. Прочитал.

Он брал у меня книги почитать, и я всегда подбирал ему что-нибудь из того, что было у меня в деревне. На этот раз приготовил старику «Деревянные кони» Абрамова.

Когда мой друг прочитал «Пряслины» Абрамова и возвращал книгу, то не смог удержаться и с гордостью дал понять:

— Не заметил ли ты такое совпадение, что многих хороших людей в России зовут Фёдорами: Тютчев, Достоевский, Абрамов?

Свою персону он в этот список скромно не включил по одной простой причине — себя Фёдор писателем пока не числил, но его многозначительный взгляд дал мне понять, что он привёл список «хороших людей» и не продолжил его известным мне человеком только из скромности: мол, думай сам, тонкий намёк тебе сделан.

Я смеялся от всей души:

— Ох, Фёдор Николаевич, просто уморил. И откуда в тебе столько мудрости? Знаешь, один мой приятель, по имени тоже Василий, бывало, говорил: «Хорошего человека Васькой не назовут». Я всегда был с ним в корне не согласен. Мне больше нравится, как Василий Шукшин говорил Василию Белову: «Какое прекрасное имя нам с тобой дали родители!»

Фёдор сел на диван к столу, на своё привычное место, положил книгу на стол. Это был сборник Виктора Астафьева с его «Одой русскому огороду».

По опыту общения с читателями знаю, что нынешний читатель в большинстве своём все впечатления от прочитанной книги выражает коротко: «Замечательная книга», — или: «Меня не задело». Объяснить же, чем замечательна книга или почему не задела, он не может. Грамотный и начитанный человек не в силах сформулировать свои мысли о книге. Фёдор Николаевич был читателем иного склада. Он не только с удовольствием или с неприятием, в зависимости от того, понравилась или нет ему книга, мог порассуждать о ней, но часто стремился начать со мной дискуссию, теща своё самолюбие тем, что может пусть не поспорить с писателем, так хотя бы достойно поддержать разговор на столь высокую тему, хотя моё мнение в вопросах литературы было для него непререкаемым.

— Понравилась книга?

— Очень. Я уже читал Астафьева. Повести о войне и о детстве в Сибири. Когда ты давал мне эту книгу и сказал, что ода — это похвальное сочинение

кому-нибудь или чему-нибудь, я как-то насторожился. Не люблю хвалебное. Мне больше по нутру солёное, жизненное.

— Слух Астафьева к русскому слову был изумительным. Вот и здесь, думаю, в названии для него было немаловажным созвучие «ода» — «огороду». Он и дом на Вологодчине купил в деревне Сибла. Мне кажется неслучайным созвучие «Сибла» — «Сибирь». Какое-то напоминание писателю о родине.

— Ну, до таких тонкостей мне далеко, хотя я сразу уловил. Какой писатель! Какой человек! Я читал, и мне всё время хотелось поделиться с кем-нибудь тем, что читаю. Как же он смог сложить такую удивительную песню про огород! Настоящий гимн! Прав я или нет? Отдельные места зачитывал Андреевне. Она то смеялась, то плакала, и оба мы начинали вспоминать свою жизнь.

— У меня, Фёдор Николаевич, есть ещё его книги. Великий русский писатель! О нём всегда спорят. Некоторые люди, не пролившие за родину и капли крови, ничего серьёзного не сделавшие для русской литературы, до сих пор по тому или иному поводу пытаются осуждать Астафьева, прошедшего всю войну, израненного, потерявшего на фронте глаз, ставшего из беспризорника мировым писателем, — начал горячиться я.

— Когда уходят великие, остаются обсевки, — произнёс Фёдор.

Я так был поражён этой неожиданной фразой старика, что долго молча смотрел на него и невольно стал думать о том, сколько сейчас настоящих писателей и сколько называющих себя писателями разного рода изворотливых людей, которым до звания писателя — как до Луны ползком. Надо понимать, что знание букв — не признак писательства. Тема о писателях для меня болезненная, и, не желая портить вечер, я отмахнулся от неё: Бог с ними!

Предложил доброму и мудрому человеку:

— А не помянуть ли нам Виктора Петровича Астафьева, Фёдор Николаевич? У меня нет, к сожалению, его любимой кедровой настойки, но что-нибудь найдём.

Мой собеседник такому предложению несколько удивился, посмотрел на меня с прищуром, но отнекиваться не стал, видимо посчитал, что отказаться помянуть великого писателя — большой грех.

Мы перешли на кухню. Я достал бутылку водки, рюмки и пригладившуюся холодную закуску: принесённые днём братом жаренные котлеты и зелёный лук. Налил по чашке холодного чая с чёрной смородиной.

— Богато живёшь, — одобрил Фёдор, и мы приступили к трапезе.

— Помянем Виктора Петровича! Пусть земля ему будет пухом!

— Помянем, — согласился старик.

Не чокаясь, мы выпили.

— Виктор Астафьев дважды бывал в нашем районе. А первый раз — даже в Блуднове, на родине

Александра Яшина, и на его могиле на Бобришном угоре. Приезжал вместе с другими вологодскими писателями, — сообщил я Фёдору.

— В Блуднове? — даже несколько оторопел старик. — Это ж совсем рядом! Километров пятнадцать. Что ж ты его не пригласил в гости?

— Давно это было, Фёдор Николаевич.

— А когда, не знаешь?

— В августе шестьдесят девятого.

— Вот я не знал! Сходил бы в Блудново посмотреть на этого человека!

Мой друг долго не мог успокоиться от известия о том, что Астафьев был совсем рядом, а он и не знал. В этот раз я не стал рассказывать ему, что есть у меня последняя прижизненная книга с тёплой надписью автора, присланная мне из Сибири, что есть письмо Астафьева ко мне, которое он опубликовал в московском издании, и как часто согревают мою душу его слова из этого письма: «Нигде-нигде ты не опустился до слепой подражательности нашим с детства любимым и запомненным поэтам! Всюду ты остался современно-мыслящим, современно-растревоженным, по-современному тихо горящим певцом».

Я снова налил водки.

Перед второй рюмкой Фёдор Николаевич произнёс свой тост:

— За выветление головы!

Не знаю, как насчёт «выветления» головы, но на душе потеплело. И от водки, и оттого, что вспомнили Астафьева. А ещё оттого, что есть у меня здесь, в родной деревне, такой собеседник, Фёдор Николаевич, с которым мне всегда легко и интересно. Перейдя от душевного разговора об Астафьеве к делам обыденным, мы договорились сходить завтра утром за грибами, недалеко, на заросшую молодым березнячком пашню. Долго вспоминали, сколько раньше было в лесу грибов, да и сам лес ещё был не погублен.

Наконец Фёдор собрался домой:

— Порулю к дому. Андреевна ждёт.

Старик никогда не называл Анну Андреевну старухой или женой, а всегда только по отчеству: Андреевна. Правда, в шутку иногда мог назвать «грозой морей». Жена Фёдора, Анна Андреевна, была женщина крупная, с большими крепкими руками, широким, но приятным лицом. «Не по себе берёзку вырубил», — говорили в деревне про женитьбу Фёдора на Анне. Судьба у каждого своя и своё счастье. Фёдор Николаевич своей судьбой был доволен. Жизнь налаживалась, рождались и росли дети. Одно всегда досаждало: из-за малого роста приклеилось к Фёдору в деревне прозвище Шарик. Так и жил с ним. Иногда и жена срывалась, в горячке обзывала, но тут уж был виноват он сам. Например, позовут его в помощники, конечно, не брёвна на сруб закатывать, а где-то поддержать, подмогнуть, для чего сильного мужика и приглашать неудобно.

После работы выпьет Фёдор с хозяином, да, чего греха таить, иногда и лишка. Сбивается с курса по дороге домой, к своей Андреевне. А та, не дождавшись мужа, идёт на поиски и находит Фёдора, к всеобщему стыду, где-нибудь в канаве, откуда он без посторонней помощи выбраться не в силах и только что-то неразборчиво бормочет. Жена в канаву помочь мужу не лезет, стоит на бровке дороги и склоняется к канаве с приветственными по такому случаю словами: «Позорная душа, алкаш, сбитый лётчик». С «позорной душой» и «алкашом» Фёдор спорить бы в данном случае не стал, но «сбитый лётчик» его всегда, даже пьяного, почему-то обижал. Он и это бы стерпел, но Анна Андреевна в женском запале переходила все границы дозволенного. Ещё ниже склонившись над поверженным мужем, она громко и зло бросала ему, как камень, ненавистное слово: «Шарик!» И начинала повторять его после множества раз. От такой обиды и мёртвый восстанет, а не только пьяный. Не с первой попытки, но Фёдору удавалось после долгого барахтанья наконец со стопами и руганью выгнать своё никудышное и грешное тело из канавы. С угрозой: «Сейчас покажу тебе Шарика!» — он пытался встать на все четыре опоры и броситься в атаку, но жена его отступала назад и, по-прежнему дразня: «Шарик! Шарик!» — не думала помочь мужу. Тот, крича и ругаясь, на четырёх конечностях выползал на обочину дороги и, не в силах подняться на ноги, пытался таким манером настичь жену, медленно вслед за ней приближаясь к дому, пока обессиленно не падал мёртвым грузом. Тут Анна Андреевна замолкала, брала правой рукой своего суженого поперёк спины и так, в руке, не взваливая на плечо, несла домой. Фёдор не сопротивлялся, успокаивался и лишь иногда примирительно бормотал: «Не урони, мать!»

«Жизнь не всегда сахар!» — иногда говорит жизнерадостный человек Фёдор Николаевич, бывший колхозный конюх, ныне пенсионер, читатель и почитатель русских писателей. И я ему всегда верю.

От водки старик порозовел, размяк, но в долгие умные разговоры, как многие подвыпившие люди, не пускался, достойно сдерживая себя. Зная эту черту старика, я, грешный, из самых добрых побуждений предлагал иногда уважаемому мной человеку выпить.

Собравшись домой, мой гость молча посидел ещё с минуту, потом поднялся, взглянул в угол над столом на икону Николая Чудотворца, кивнул святому и подал мне руку. Я подал ему шапку и книгу, которую приготовил Фёдору. Даже хотел сказать, чтоб книгу дорогой не потерял, но вовремя прикусил язык: это бы старика обидело.

У порога, уже взявшись за дверную скобу, старик оглянулся, посмотрел выжидательно на меня, но я мужественно промолчал, посчитав стопку на посошок уже лишней. Старик молча вздохнул и только напоследок, уже открыв дверь, предупредил:

— За грибами рано пойдём. Не проспите!

Я смотрел из окна, как Фёдор неуверенной походкой подвыпившего человека шёл по тропинке от моего дома до калитки, смотрел на него и думал: «Какие нам завтра грибы! Не бывает!»

Хлопнув калиткой палисадника, старик на безлюдной дороге оглянулся по сторонам, какое-то время порассуждал сам с собой, потом решительно махнул рукой и двинулся к дому, не спеша, как по скользкому льду. Не связанные тесёмками уши загнутой снизу шапки оттопырились в стороны и при каждом шаге взмахивали. Будто на голове сидела большая чёрная птица и пыталась взлететь.

«Какие нам завтра грибы!» — снова подумал я и лёг спать.

В детстве я часто разговаривал ночью во сне; чтобы избавиться от этого, кто-то научил маму поить меня водой из ведра, из которого только что пила лошадь. Я и сейчас хорошо помню нашу лошадь. Это был старый мерин Майко, добрый и удивительно умный. «Только не говорит», — любовно и с гордостью отзывался о нём отец. Напившись, Майко поднимал голову, с его морды тонкими струйками долго стекала вода. Мать черпала из ведра кружкой, силком поила меня и говорила, что поможет. Я об этом не думал. Маленький, я боялся стать лошадьёю. Как братец Иванушка стал козлёночком, напившись из козьего копытца.

Теперь я снова часто разговариваю, а то и кричу во сне, но меня уже никто не заставляет пить воду из ведра после лошади. Давным-давно сдан на мясокомбинат старый труженик Майко, а мама покоится на сельском кладбище, и ей теперь всё равно, разговариваю я во сне или нет.

Сегодня мне ничего не снилось, я не кричал во сне, но проснулся среди ночи от беспокойного ощущения на душе. Такое состояние бывает, когда накануне что-то очень важное не успел или не сумел сделать, оставил на потом, а оно на потом не ушло, вцепилось в тебя и нудно напоминает о себе, как червь, точит и точит, лишая всякого покоя. Мысль о том, что минувший день прошёл обычно, в каких-то привычных и не очень важных делах, которые писатели любят для самоуспокоения и придания важности своему существованию называть «работой», — меня эта мысль как-то успокоила, но спать уже не хотелось.

Я лежал с открытыми глазами в своей деревенской избушке и вспоминал, как строил её, рвал по глупости жилы, одержимый мыслями о том, что будет в деревне у меня свой угол, своя крыша, и не для праздного отдыха, а для творческой работы.

Избушка моя в семь окон, украшенных резными обносами, то весело, то задумчиво поглядывает на окружающий мир и не забывает о своём хозяине, когда он долго не может приехать в свою деревню и затопить остывшую печь.

Под самым окном вырос и расцвёл иван-чай, своей нежно-розовой метёлкой достаёт до оконной рамы и при слабом ветерке едва слышно касается стекла. Я слышу это касание и настолько привык к нему, что в какое-то раннее утро, не услышав привычного звука, всерьёз испугался, не сломил ли кто-нибудь мой цветок, и вышел на улицу посмотреть. Тревога оказалась напрасной: иван-чай был на месте, просто пчела сидела на нём и собирала нектар, пригибая своей тяжестью нежный цветок.

Ночью, когда не спится, время идёт тише.

А я снова думал о тех, кому спится в эту ночь. Думал о родных, жене и дочери, внуче и внучке, дорогих созданиях, светлой моей радости, думал о друзьях, настоящих и надёжных людях, которые не забывают в трудный час. Успокоив сердце мыслями о близких мне людях, снова задремал сладким прелюдением сном.

Проснулся я вовремя. Когда Фёдор, в своей все-сезонной шапке, литых чёрных сапогах и старом брезентовом плаще, объявился в моей избушке, я уже сидел на кухне и пил чай. поприветствовав старика, пригласил его выпить чаю, но он отказался. Тогда я сделал ему другое предложение:

— Может, стопочку?

Он замешкался, но потом ответил:

— С утра не пью.

Сказал это твёрдо. Наверное, больше для себя, чем для меня. Мы пристроились возле печки и закурили. Фёдор Николаевич курил только папиросы, свой любимый ленинградский «Беломор». Если запасы папирос кончались, переходил на махорку. Странное дело, но смотреть на курящего Фёдора было всегда приятно: он не курил папиросу, а смаковал её. После каждой затяжки самозабвенно закрывал глаза и медленно выпускал дым какой-то почти пижонской струйкой, при этом руку с папиросой всегда отводил далеко в сторону. Во время курения вся его осанка, человека маленького, щупленького, вдруг приобретала довольно горделивый вид, не старичок сидел перед вами, а царь на троне. Или почти царь, только вместо скипетра в руке держал папиросу.

Грибов было мало. Нашли несколько молодых маслят, высыпавших к самой тропинке, да меньше десятка обабочков-подберёзовиков в самой чащобе, едва живых, на тонких ножках. Серые шляпки у них потрескались и выглядели понуро. Недовольный Фёдор Николаевич ворчал, что земля засохла, надо дождей, тогда и грибы пойдут.

А день начинался хорош, солнечный, но не жаркий, с белыми лебедями облаков на высоком небе, и у меня на душе было радостно. Вдыхая свежий воздух августовского утра, я благодарно думал: «Спасибо, родина, за это утро!»

И наполнилась моя душа любовью к родине и жадой жизни.

Марина Саввиных

Южный ветер в бетонном лесу

О лирике Романа Солнцева

Мне было восемнадцать лет. Я писала курсовую работу по советской литературе. Тема — чего-то там в поэзии Романа Солнцева. Книжка, которую я прочла первой из всех солнцевских книг, называлась «Необщая тетрадь». Я читала — а надо мной веяли тени Ахматовой, Мандельштама, Волошина... Можно себе представить, в каком водовороте взаимоисключающих впечатлений происходило распечатывание темы! И всё же... встреча состоялась.

Герой этих стихов представлялся мне мальчиком, доверчивым, видимо, ещё совсем не умеющим обращаться с громоздкой штуковиной под названием «жизнь»... непременно с огромными чёрными глазами... с тонкими нервными пальцами... Так ведь оформляется телом музыкальная стихия души!

В этом ребёнке было много музыки. Я сама в те годы много писала стихов, пытаюсь совладать с собственной музыкой, которая рвалась из души вон, не находя себе места на нотном стане, поэтому чужая песнь — даже зачаточно-скромная — вызывала во мне умиленно-родственные чувства. А тут музыки было много! Она была странная, иногда — и вправду чужая, иногда — сжатая, сдавленная, прорывающаяся сквозь знакомые, приевшиеся даже, ритмы отшутивших и отплакавших шестидесятых. В этом ребёнке... Мне было восемнадцать. А ему? Около тридцати или чуть за тридцать? Или только об авторе можно сказать, сколько ему лет? А герой стихов — всегда дитя?

Мальчик нашёлся! Нашёлся маленький мальчик... в синих чернилах рот. Нашёлся среди множества предметов провинциального быта (включая модные космогонические и физико-технические теории), в толпе, заряженной (пока ещё) повседневным оптимизмом...

Я нашёлся? Я?!

Весь двадцатый век в этом вопросе. Вся лирика. Ко времени, когда Солнцев стал печатать свои стихи, он вовсе не был нов, этот вопрос. Удивляла страстность вопрошания — и столь же страстные попытки выстроить ответ из того, что оказывалось под рукой. Темперамент то ли живописца, то ли физика-демиурга, задумавшего из осколков

метеоритного дождя соорудить оранжерею с розами, фиалками, васильками... чтобы всему этому было тепло, уютно, добро и весело...

Материал идёт на автора войной. Почти всегда.

Вымолвить: это Я, — значит, сказать: так устроен мир.

Тут-то и начинается самое интересное. Оказывается, мир устроен не БЛАГОДАРЯ, а ВОПРОКИ. Оказывается, Я и МИР отражают друг друга с точностью до наоборот. Оказывается, музыка и жизнь — стихии не только родственные, но и враждебные. Оказывается, самый пронзительный, до глубины души пронимающий читателя звук может ничего не отражать видимым образом, а и вообще даже будто бы и не быть СЛОВОМ... а чем-то вроде стоана... или вздоха... поверх слов, сквозь слова, за словами.

Оказывается даже, что этот стон, который до сих пор в народе «песней зовётся», неизбежно задыхается, если... материал не идёт на автора войной.

Южный ветер, ласковый, тёплый, пахнущий яблоком и кипарисом, мечется среди железобетонных монстров индустриального пейзажа — так возникает тонкий мелодический свист, красивый, странный... или — скрежет железа о камень... или — надсадный вой, когда упругое тело ветра схвачено водосточной трубой... или — далёкое-далёкое, еле слышное «а-а-а-а» свободного воздушного потока, вырвавшегося из бетонных джунглей. Или — тиканье будильника, беззвучный шорох электричества в замкнутом пространстве человеческого гнезда, которое так же противостоит железобетону, как распростёртые над городом свободные небеса...

...Прокляни меня, забудь красоту мою.

И прости, и в добрый путь... — Я тебя люблю.

Светит церковь на крови, смотрит в жизнь мою.

— Что ты знаешь о любви? — Я тебя люблю.

Слышен в поле храп коня, ветер по жнивью...

— Что глядишь ты на меня? — Я тебя люблю.

— Милый, странный человек, глупый, золотой...

Полюби меня навек. Я уйду с тобой!

Строчки, что не забываются, раз уколлов или нежно дохнув в глаза. Ни у кого таких нет больше. Неповторимые, единственные,

*Кривошеин Владимир Михайлович, пенсионер,
ветеран труда Красноярской железной дороги,
март 2013 г.*

85 лет Р.Х.Солнцеву

Слышу...
Роман Солнцев

Роман Солнцев

Слышу...

Стихи разных лет

Ода скорости

Чудак человек! Снимите очки —
ребёнок во сне сжимает кулачки.
Он двигает ими, поборов скованность,
как будто переключает скорость.
Хоть мамино варенье и рядом школа есть —
снится Валерию скорость!
Ах, скорость! Она в крови у людей...
зисы срезаются на поворотах,
ракеты сходят с орбиты своей,
сгорают в подсолнухах, на огородах.
Ну что же, шляпы снимите, мужчины...
Валерка, скорость!
...Кузов машины.
Мимо леса летим. И завеса
пятен солнца щекочет висок.
Выплывает, как линь, из-за леса
ещё более дальний лесок!
Арба — старуха.
Лодка — стара.
Жарь возле уха,
плазмы струя!
Мы памятник скорости
поставим вскорости:
вдоль постамента черна черта,
на постаменте —
ни черта!..



Не одышки боюсь, не удушья,
а ужасно боюсь малодушья,
жарких слёз... как цыплёнка цеплянья —
за любимых, за неба сиянье...
Царь приди иль врачей три еврея,
застолбить не получится время.
Так пускай же, как белая рыбка,
на зубах засияет улыбка!
Мы не первые, мы не в последях...
Кто-то скажет: легко после этих.

Лицей

Дают звонок прощальный. Ученицы
красавицами стали — отвернись...
Ученики уходят, хмурят лица
лишь для тебя... их ждёт иная жизнь.
Да, Пушкина и Лермонтова помнят.
И про дуэли писаны эссе.
А ждёт их жизнь, весёлая, как подвиг!
Но почему ж столь беззащитны все —
и столь прекрасны? Иль глаза, учитель,
преображают тех, кого растил?
— Я вас люблю... но, милые, учтите:
порой страшнее шпаги — след чернил...
Страшнее пули — письмо во мраке...
Страшнее яда — ревностная месть...
Ведь ничего не изменилось, враки, —
кто нежен — гибнет. Было так и есть.

Красноярский сонет

От города тянуло смрадом,
тем ядом химии, теплом,
когда нет места ни дриадам,
ни феям в свете голубом.
Когда к тебе приносят на дом
повестку, в дверь стуча багром:
жить рядом людям, птицам, гадам
от силы год ещё... потом
останутся одни заводы
на огненном ветру свободы,
как шарфы распустив дымы...
А мы опять уйдём в пещеру
лепить безрукую Венеру —
насиловать привыкли мы.

Малиновая рубаха

Ложь на моих губах! Малиновых не сто
я износил рубах — всего одну. И то —
не хвастался я ею и вовсе не носил,
а лишь надеть, примерить однажды попросил.
В чулане, где задачников не нынешних гора,
и примус с талией осы, и два пустых ведра,
из ящика, где бабочки и ржавое ружьё,
достала мать рубашу. Ту самую. Её.
Такую вот по праздникам носили мужики
и круглый год цыгане — стальные каблучки.
Вместо спецодежды она у них была...
Малиновая вылезла — как пламя из угла!
И я её примерил. И захватило дух...
Я словно загорелся весь. А мир вокруг потух.
И вышло — слов особенных ждут люди от меня...
И огляделся я. И устыдился я.
Остановились бабки и овцы у ворот,
слетелись все вороны на мамин огород.
Коль так уж нарядился — так, значит, есть резон?
А что скажу я: хвастаюсь? Я что скажу: влюблён?
..Но вновь её напялил я. Теперь я — бунтовщик,
товарищ Емельяна, слабужский мужик.
Горит она, родимая, как ветер мятежа,
как сотня красных петухов иль лезвие ножа!
По поясу верёвочка — сушёная змея...
Но тут я испугался, и огляделся я.
Стоит и с любопытством толпа глядит сюда.
А что скажу я людям? Мол, шутка? Ерунда?
Лишь в праздники народные иль в лютую беду
надену я малиновую, с соседями пойду.
(Иль слово вдруг великое росиночкой со лба...)
А просто так носить — нет, не моя судьба!
Я просто так не буду, не натяну зазря.
Шатры кочуют в мире. Качаются моря.
Сжимает рожь дорогу. Спит автоматов сталь...
А ну, кому померить? Нисколечко не жаль.

Памяти Е. К.

Чтоб не слышать этот вечный
гром, не слышать ржавый грей,
ты на дудочке на тоненькой
с улыбкою играй.
Даже если гром заглушит
и потянет жёлтый дым,
что играешь ты — увижу я
по пальчикам твоим...



Самое таинственное общество —
музыки классической любители,
нам всегда уединиться хочется,
чтобы криком, храпом не обидели,
пусть на чердаке, в любой обители,
где лишь пламя свечи нервно корчится,
мы сидим — да в небе вроде росчерка
Моцартову молнию мы видели, —
а виолончели, скрипки нежные
нас в миры уводят запредельные,
за моря зелёные безбрежные,
за поля угрюмые метельные,
но сосуды, так сказать, скудельные,
мы идём ослепшие, потешные,
при мерцанье музыки безгрешные,
позабыв редуты и котельные,
и сюда ворвись ОМОН, полиция:
что, мол, собрались и что тут слушали?..
кажется, и публика приличная,
спирт не пили и вино не кушали,
но спокойно разойтись не лучше ли?..
знаю и во сне все наши лица я —
гордо не ответим! Пусть измучили
где-то нам подобных! Плакать — лишнее...
Мы не назовём им ни Бетховена,
ни Чайковского, да и ни Моцарта!
Пусть потом все будем похоронены —
но смолчим! А эти будут досыта
бить нас! Только мозг майора Пронина
не поймёт нас! Ах, луна обронена
в реки золотые... в травах росы там...
Наше общество вспомнит Родина!



Я снова здесь, я всё приемлю:
речушку, берег, блеск змеи...
Рогульки, воткнутые в землю,
листвой зелёною взросли...
Смеясь, мальчишка ест черешню,
меняет на крючке червя...
А я ловлю на хлеб вчерашний
тебя, русалочка, тебя.
Да, на вчерашнюю отраву —
любовь, печальную, как дождь...
так быстро смолкнувшую славу...
А надо, говорят, на ложь.

От бессонницы я изнемог.
 Я кричу на друзей, на жену.
 Я измучен, затравлен, как волк.
 Да когда же я жить-то начну?
 Некто ходит всю ночь наверху.
 За стеною вопят день-деньской.
 Выпал слух мне такой на веку.
 Слышу — птица кричит за рекой.
 Слышу — рушится город вдали.
 Бродит, плачет бездомный народ.
 Гром вселенский рычит мне: внемли.
 Бог, раздвинувши звёзды, орёт.

Я встретил стрекозу — она среди краснотала
 смотрела на грозу, сверкая, трепетала.
 Здесь ползала змея, своё лаская тело.
 Здесь муравьёв семья, как солнышко, кишела.
 Я встретил пастушка и лошадей летящих.
 Три голубых цветка сбил белогривый мальчик.
 Я видел яркий сонм живущих в мире этом.
 И это был не сон. Я к ночи стал поэтом.
 И снился мне кентавр — лошадка с ликом девы,
 под жаркий звон литавр Гомеровы распевы...
 И море снилось мне, и среди звёзд колёса,
 и люди на луне, сиянье сенокоса...

ДиН симметрия

Владимир Набоков

В венце из лунной пыли

Я вылепил из снега великана,
 дал жизнь ему и в ночь на Рождество
 к тебе, в поля, через моря тумана,
 я, грозный мастер, выпустил его.

Над ним кружились вороны, как мухи
 над головою белого быка.
 Его не вьюги создали, не духи,
 а только огрубелая тоска.

Слепой, как мрамор, близился он к цели,
 шагал, неотразимый, как зима.
 Охотники, плутавшие в метели,
 его видали и сошли с ума.

Но вот достиг он твоего предела
 и замер вдруг: цвела твоя страна,
 ты счастлива была, дышала, рдела,
 в твоей стране всем правила весна.

Легка, проста, с душою шелковистой,
 ты в солнечной скользила тишине
 и новому попутчику так чисто,
 так гордо говорила обо мне.

И перед этим солнцем отступая,
 поняв, что с ним соперничать нельзя,
 растаяла тоска моя слепая,
 вся синевой весеннею сквозя.

13 декабря 1924, Берлин

При луне, когда косую крышу
 лижет металлический пожар,
 из окна случайного я слышу
 сладкий и пронзительный удар

музыки; и чувствую, как холод
 счастья мне душу обдаёт;
 кем-то ослепительно расколот
 лунный мрак; и медленно в полёт

собираюсь, вынимая руки
 из карманов, трепещу, лечу,
 но в окне мгновенно гаснут звуки,
 и меня спокойно по плечу

хлопает прохожий: «Вы забыли, —
 говорит, — летать запрещено».
 И, застыв, в венце из лунной пыли,
 я гляжу на смолкшее окно.

6 марта 1924, Берлин

Николай Гайдук

Мастер слова

2 марта 2024 года ушёл из жизни

Николай Викторович Гайдук



Новое знамя над родиной реет,
Только по старым законам живут.
Сытый голодного не разумеет —
Так же как прежде, и нечего тут...
Мироустройства таков уж порядок —
Где нам другого порядка найти?
Сколько ни дёргай дурнину из грядок —
На дармовщину так сладко цвести.
Сколько вы песен красивых ни пойте
О благе народа, о благе страны —
Русская жизнь умывается потом,
Не разгибая покорной спины!
Жить по-другому она не сумеет —
Русская песня, любовь и душа...
Сытый голодного не разумеет,
А в остальном-то — судьба хороша!

Мастер слова

Млечный Путь, сверкающий тревожно,
И обрыв, оборванный во мглу.
Мастер выйдет в ночь так осторожно,
Как босой по битому стеклу...
Жизнь разбилась к чёрту! Что ж такого,
Если окна в доме перебил?
Твой несчастный мастер, мастер слова,
И тебя несчастьем очернил!
Слава Богу, кончились чернила,
Черновик червонным стал в печи!
Мастера во мне ты полюбила:
Вдохновляйся, милый, да строчи.
Только я к звезде не смог прорваться:
Сквозь труды и сквозь похмельный дым.
Заслужил я множество оаций
По щекам небритым и худым!
Млечный Путь внизу — речная быстреть...
Револьвер горячего литья...
Одиноко выстраданный выстрел
Из-под сердца вырвет соловья!
Так ему!.. И жизнь слетает с яра,
Словно тройка с пьяным ямщиком!
А звезда над яром — светит яро,
Ни грустит, ни плачет ни о ком...
Вот и всё. А что ещё тут скажешь?
Был бы мастер — знал бы, что сказать.
Смертью гениальность не докажешь —
Только жизнью можно доказать!



Синие щёки февраль наддувает —
И отступает под ветром зима.
Будто волшебная флейта играет —
Музыка в поле, в горах и в домах.
Почки уже поднабухли на ветках —
Нотная грамота в роще, в лесах.
Музыка слов не бросает на ветер —
Музыка может творить чудеса.
Скоро из дальних своих путешествий
Птицы нагрянут — горланить с утра.
Грозным ключом водяной заскрежечет —
Дыбом алмазная встанет гора.
Снова начнут хороводить русалки,
Леший придёт из таёжных глубин...
Ну а пока что — летящие санки,
Смех детворы, снежно-сахарный дым...



Сибирь, мороз наш — кляли часто!
И только редкий человек
Знал ослепительное счастье,
Судьбой завёрнутое в снег.
Зима — почти святыня года,
Коль в закромах полно добра!
Обожествлённая природа
Стоит в окладах серебра.
Зайдёшь с мороза — чарка водки
Огнём шарахнет по душе!
Сидят румяные молодки,
Сидят — одна другой свежей.
Весёлой сказкой, песней грустной
Здесь коротают вечера,
И в приоткрытой печке русской
Цветёт букетами жара!
Искрит звезда в оконной раме,
И пляски по полу искрят!
А за столом — и лёд, и пламень
В душе народной говорят...
В полях — луна и море света,
И зимний путь звенит струной...
Кто там кричит — скорей бы лето?
Проспись, товарищ дорогой!

Памяти дочери

Душой и сердцем чтоб не треснуть,
 Не развалиться на куски —
 Сегодня я кошмарно-трезвый
 От навалившейся тоски.
 Уйду в тайгу — так будет лучше,
 Но и в тайге несдобровать.
 Упавшим деревом оглушит
 Всё, что Москва смогла отнять.
 Стоит церквушка по-над боком,
 Но потерял я интерес...
 Все ходят вроде как под Богом,
 А мне достался мелкий бес.
 Когда летишь в Москву — так просто
 С тобою встретиться тогда:
 Над домодедовским погостом
 Открыть бы дверцу — и туда...
 Но я взлететь уже не в силах —
 Жизнь обломала крылья мне.
 Жизнь отомстила, не простила.
 Моя вина — в моём вине.
 И лишь теперь — с годами горя —
 Догадка сердце обожгла:
 Мне по колено было б море,
 Когда бы рядом ты жила.
 И никакие тут обманы
 Не в силах жуткой правды скрыть,
 И ни стихи, и ни романы
 Тебя не смогут заменить.
 Ну что ж теперь? Утрёмся. Ладно.
 Судьбу нельзя переписать.
 И лету красному на ладан
 Уже недолго тут дышать.
 Сибирь седеет первоснежьем,
 В Москве слезится дождь скупой.
 В моей душе осталась нежность —
 Мы скоро встретимся с тобой!

Хрустальный мир

Дождь прошёл — и вдруг морозец.
 Дело было в ноябре.
 И осины, и берёзы
 Захрустели в хрустале!
 Звон зазывный, величальный,
 Звон вблизи и вдалеке —
 В каждой веточке хрустальной,
 В каждом хрустом стебельке!
 Вот так счастье улыбнулось,
 Привалило с кондачка!
 Даже чучело обулось
 В два хрустальных башмачка!
 Драгоценностью вдруг стало
 Всё, что было пыль да сор...
 Как железная застава—
 Весь в кольчугах блещет бор!
 Слабый ветер бубенцами
 Рассыпается в бору,
 словно тройка вскачь с гонцами —
 С доброй вестью поутру!
 Приглядишься — изумишься,
 Перестав дышать на миг...
 С новой силой убедишься,
 Как он хрупок, этот мир!
 С новой силой в сказку веришь.
 Вот она, со всех сторон!
 Там стоит хрустальный терем,
 Тут стоит хрустальный трон.
 Облик царственных деревьев
 Тайну прячет в полумгле —
 Гроб хрустальный, в нём царевна
 Спит в холодном хрустале!..

Священный тополь

Юность моя заколочена досками,
 Чертополох под окном,
 Вечер дымит голубой папироскою,
 Память блуждает в былом.

Юность беспечная счастье прохлопала —
 Бросила душу в бега,
 Только у мудрого мощного тополя
 В берег зарылась нога.

В юности тополь был низкий и тонкий,
 И на весенней заре
 Имя одной расчудесной девчонки
 Вырезал я на коре.

Самые нежные пел я тут песни —
 Гимны любви, красоте.
 Имя твоё проросло в поднебесье —
 Светит подобно звезде.

Свет незакатный мой, свет незабвенный,
 Неразлюбимый вовек...
 Лето в разгаре, а тополь священный
 Сыплет на голову снег.

Снег на избе, заколоченной досками,
 Снег скоро будет кругом.
 Вечер дымит золотой папироскою
 В тихой тоске о былом.

Геннадий Малашин

(Не)забытые голоса Сибири

Эссе седьмое

«Жизнь кипит и за полярным кругом...»

(Поэзия второй половины тридцатых годов)

И снова вспомним Маяковского:

...Пролетарии
приходят к коммунизму
низом —
низом шахт,
серпов
и вил, —
я ж
с небес поэзии
бросаюсь в коммунизм,
потому что
нет мне
без него любви.

Вспомним Маяковского потому, что его произнесённое на рубеже 1925–1926 годов в стихотворении «Домой!» пожелание-заклинание в середине тридцатых годов двадцатого века стало осуществляться:

...Я хочу
чтоб в конце работы
завком
запирал мои губы
замком.
Я хочу,
чтоб к штыку
приравняли перо.
С чугуном чтоб
и с выделкой стали
о работе стихов,
от Политбюро,
чтобы делал
доклады Сталин...

...Положим, не сам вождь, конечно, делал на Первом всесоюзном съезде советских писателей в августе 1934-го года доклад «о работе стихов», а недавний член Политбюро Николай Бухарин.

Да и обозначенные опальным «любимцем партии» в его докладе «точки» расставлены

были не вполне точно (превозносил Пастернака, бранил не только Есенина, но и комсомольских поэтов с Маяковским), но в совсем скором времени все поэтические вешки будут разнесены по правильным местам.

Но то, что «производство стихов» в Стране Советов становилось поистине государственным делом, было очевидно и для всех участников съезда, и для их будущих читателей. (Выступавший с официальным приветствием к съезду от имени ЦК ВКП (б) А. Жданов наставлял писателей: «... неустанная работа над собой и над своим идейным вооружением в духе социализма является тем неременным условием, без которого советские литераторы не могут переделывать сознания своих читателей и тем самым быть инженерами человеческих душ».)

Удел поэтов и прозаиков, «не выполняющих производственный план», Маяковским в своё время тоже был точно предсказан — в исключённых им в итоге из стихотворения «Домой!» знаменитых строчках, которые первоначально завершали это стихотворение:

...Я хочу
быть понят моей страной,
а не буду понят, —
что ж,
по родной стране
пройду стороной,
как проходит
косой дождь.

...На двадцать четвёртом заседании съезда, уже в предпоследний день его работы, 31 августа 1934 года, в числе других делегатов из глубинки, с небольшой речью обратился с трибуны к собратьям недолгий ответ-редактор «Сибирских огней» Вивиан Итин, фактически своим выступлением представлявший голоса поэтов сразу и Западной, и Восточной Сибири (ни П. П. Петров, ни И. И. Молчанов-Сибирский, тоже попавшие на съезд, на нём не выступили).

С гордостью Итин докладывал съезду о главном — о росте количества самодеятельных поэтов на сибирских просторах: *«Стихи неведомых поэтов приходят с голубых Алтаев и полярных тундр. В Сибири пишется, вероятно, больше стихов, чем в европейской части Союза. Стихотворные папки наших газет и журналов, обилие и мастерство частушек говорят о почти поголовной „стихотворной грамотности“»*.

В качестве примера он процитировал самодеятельного «автора из шахтёрского Черемхова», который хоть ещё и «плохо знаком с техникой построения ямбов, хореев и т.д.», но с поэтической тропы никогда уже не сойдёт:

Я не сверну с дороги этой,
Ну что ж, что горы впереди,
Пушай и тучи — мне, поэту,
Дорогой этою иди...

А дальше Итин напомнил делегатам съезда знаменитые строки из классики, из «Русских женщин» Некрасова (и в Колонном зале, мнится, повесило в этот миг настоящей поэзией...):

Да... страшный край! Откуда прочь
Бежит и зверь лесной,
Когда стосуточная ночь
Нависнет над страной.

И, в противовес «устаревшему представлению» о Сибири как о «стране изгнания», как о «холодной пустыне», докладчик дальше сообщил, что *«... отвечая великому поэту, поэтом-комсомолец написал в многотиражке строительства Игарского порта, этого сибирского Архангельска, созданного большевиками рядом с „гиблым местом“, где жил в ссылке т. Сталин:*

Жизнь кипит и за полярным кругом,
Жизнь мы строим сами, ведь
Север может стать цветущим югом,
Если явь готова молодеть».

...О «„гиблом месте“, где жил в ссылке т. Сталин», речь у поэтов и у нас впереди, а между тем в конце своего выступления Итин называет ведущую тему всей (и поэтической, и прозаической) будущей, предстоящей ещё литературы Советской Сибири: это «тема превращения Сибири каторжной в Сибирь социалистическую».

И определил Итин главную для своих земляков тему абсолютно точно: с середины тридцатых образ новой, социалистической Сибири становится в поэзии сибиряков действительно магистральным. Об «обновлённом крае» пишут и постепенно становящиеся профессионалами

молодые поэты, и маститые, давно применившие в деле свои поэтические силы стихотворцы, и совсем ещё только начинающие знакомиться «с ямбами и хореем» авторы, и даже школьники.

Несмотря на то, что поля сражений одной войны, Гражданской, уже заросли травами и лесами, а вторая, Отечественная, позовёт народ на защиту Родины только через семь лет после писательского съезда, новая поэтическая армия Сибири (как и всей России, наверное), ощущала, не могла не ощущать драматизм, трагический драматизм судьбы своего поколения. (Не зря ведь на том же съезде, как мы уже рассказывали, поэты призывали коллег «держат лирический порох сухим».) Спустя годы один из сибиряков (И.Рождественский) подведёт итоги биографии своего поколения:

Нам не стелилась скатертью дорога,
В сугробах сами пробивали след
И на пути друзей теряли много,
Идя сквозь выюги раскалённых лет.

Своими повидали мы глазами
Горящие деревни и стога,
Свириное нас пленало пламя,
Баюкала горластая пурга.

Гроза нас иступлённая ласкала,
Свистели пули, как бурундуки,
И молнии высокого накала
До срока обжигали нам виски...

Во второй половине тридцатых происходит смена поэтических поколений. Происходит она не только по естественным причинам. Целое созвездие поэтических имён уходит из жизни и, увы, выпадает и из «круга чтения» читателей-сибиряков: Пётр Петров, Георгий Вяткин, Вивиан Итин...

Происходящая в литературе смена поколений была отражена даже в статистических выкладках, размещённых в стенографическом отчёте первого писательского съезда: средний возраст участвовавших в съезде писателей — тридцать шесть лет, средний профессиональный стаж — тринадцать лет, то есть большинство делегатов начало своё творчество уже после Октября и окончания Гражданской войны...

В отличие от предыдущего поколения, они действительно ощущали себя хозяевами этой новой страны, вся жизнь их складывается в непрестанном движении (и во времени — от царского прошлого к социалистическому будущему, и в пространстве). Ритмы их жизни формируются новой эпохой («Время — вперёд!») на фоне сказочных сибирских пейзажей и возникающих

среди этих пейзажей грандиозных строек будущего:

Вся жизнь проходит «на колёсах»,
Всю жизнь ведёшь с пространством спор
Среди лесов многоголосных,
Среди громоподобных гор...

Всё тот же 1934 год во многих отношениях изменит будущую жизнь приенисейской земли и поэтов, живущих на ней. Вскоре после окончания съезда, в декабре, в прежних границах ликвидированной в 1925 году Енисейской губернии создаётся Красноярский край (девять лет до того он был разорван на две части, входившие в Западно-Сибирский и в Восточно-Сибирский края). «Создание Красноярского края — новый шаг к новым победам социализма», — отзываясь на это решение партии и правительства газета «Красноярский рабочий».

Создание Красноярского края, ставшего вторым по величине территории регионом страны, даёт импульс к оживлению многих сторон жизни общества, в том числе и литературной. Писавший об истории сибирской литературы того времени А. Горшенин приводит текст заметки из газеты «Красноярский рабочий» 1935 года: «23 июля в ДРП (Дом работников просвещения) состоялся первый вечер группы молодых писателей, объединённых редакцией „Красноярский рабочий“. Тепло были встречены выступавшие молодые поэты Михалковский, Рождественский, Токарев и самый молодой из поэтов К. Лисовский».

А 21 марта 1936 года открывается Красноярский филиал ОГИЗа — Объединения государственных издательств РСФСР. Это было будущее (как самостоятельная структура учреждено в июле 1940 года) Красноярское книжное издательство.

Открытие краевого издательства действительно становится знаковым событием. Возникает доступная издательская среда, создаётся полиграфическая база для публикации произведений будущих местных членов Союза писателей.

Примечательно, что самой первой книжкой нового издательства стала книга стихов.

«Северное сияние» — так назвал её автор, молодой, но уже известный братьям по перу, с семнадцати лет печатавшийся в периодических изданиях Игнатий Рождественский. После революции заброшенный превратностями времени вместе с семьёй в Сибирь и осиротевший в Красноярске уроженец Москвы уже работал ко времени выхода своей книги в геологоразведочной и переселенческой партиях, на заводах, строительстве железной дороги, был ликвидатором неграмотности, преподавал

в школе... С 1934-го (того самого, памятного для писателей, года) учительствовал в Туруханске, а с 1936-го — в Игарке.

«Мы читали и слушали стихи Пушкина, Некрасова, Лермонтова... но они писали и про дворян, и про „немую Россию“, а вот про нас, про Заполярье, про Игарку писал Игнатий Дмитриевич. И нам, конечно же, стихи его казались самыми прекрасными...» — вспоминал бывший игарский школьник и детдомовец Виктор Астафьев.

В первой поэтической книге Красноярского издательства читателю сначала открывались зарисовки неповторимых пейзажей Севера, читателя встречала доверительная лирическая интонация:

Сам не знаю, только отчего-то
Каждый год, когда земля в цвету,
Снова манят льдистые широты,
Снежные просторы тундр.

Снова манят, вот пойми попробуй,
Что-то в них волнует и пленит,
В айсбергах и в скалах крутолобых,
В каждой пяди северной земли.

В картины неяркой, но уникальной природы «северной земли» постепенно вплетаются приметы новой, социалистической жизни Заполярья (уже в открывающем сборник стихотворении даётся чёткий графический рисунок, обретающий цвет и краски на следующих страницах: «Заполярье, одинокий остров, плечи угловатые антенн»):

...Мы пришли — и на сумрачных скалах
Вырастают ряды антенн,
И над тундрами выпелом алым
Поднимается Родины день.

Ни цинга, ни печаль расставания
Никогда ни за что не возьмёт
Нас, зимовщиков мыса Желания,
Победителей снежных широт...

Северная земля с её сонной янтарной мошкой, укрытой до срока вечными снегами, оказывается способна на печатной странице органически слиться, соединиться с революционными технологическими преобразованиями, происходящими на освещённых «опаловыми отсветами сияний» новых, социалистических «северах».

Далёкая, ты в этот час, быть может,
Шагаешь в цех по людным площадям;
И город полнится моторной дрожью,
И поезда грохочут и гудят.

А здесь леса, морозные туманы,
И дни, и даль снегами занесло.
Опаловые отсветы сияний
Часами беспокоят небосклон.

Но я включаю гулкий репродуктор —
И ночь с пургой отскакивает прочь:
Просторы сплющены, со мною — утро,
И ты, черноволосая, — со мной.

Точно найденный образ эпохи: тарелка репродуктора, соединяющего раскинувшиеся на полсвета пространства страны, позволяющего не только услышать голос Большой земли, но и влить в слаженное многоголосье — и снежный, «инеем обмётанный» голос далёкого Туруханска.

Пусть свет у лампы зыбкий и обманный,
Пусть инеем обмётана стена,
Но ты пойми, что нынче с Туруханском
Перекликается огромная страна.

Страна нам шлёт волнующую музыку,
Страна грохочет песней боевой,
И ты пойми, что в голосе Союза
Я узнаю весёлый голос твой.

Придёт рассвет, и сквозь шальную выюгу
Поеду в глубь заснеженных пустынь,
Желанная, на севере и юге
Мы радуемся, любим и грустим.

Конечно, как и положено было в эти времена, в первой книге Красноярского книжного издательства будут и «неугасимый героизм», и эскизные портреты коренных жителей Севера, постепенно встраивающих свою судьбу в судьбу социалистической родины, и местные колхозники, на всю жизнь запомнившие увиденное ими однажды в Москве («Кремль и Сталин! Сталин! С ними! Рядом! С мест поднялись тысячи людей...»), и дети — «ровесники Днепростроя», растущие «на новый манер», «без крестов и иконок», и, конечно же, зыбкой тенью очерченные враги, «нанёсшие смертоносную рану» обходчице-комсомолке Марьяне...

В цехах и на комбайнах,
В глубинах, на горах,
Творим необычайные
Геройские дела.

В Москве и на Урале
Всё больше с каждым днём
Бурлит весенним валом
Стахановский подъём.

Словом, в первую книжку Красноярского книжного издательства оказалась включённой вся сложившаяся к тому времени судьба этого поколения, о которой совсем молодой (в год выхода книги ему исполнилось двадцать шесть лет) автор ещё пишет в эти довоенные годы как об исключительно радостной и самой на свете счастливой:

Мы поём, что упорству подвластны
Север, полюс. Просторы ясны.
Мы крепки, как смолённые снасти
Кораблей звездоносной страны...

И ещё:

Наша память сквозь года и дали
Пронесёт, как солнце по весне,
Юность, не выдавшую печали,
Ту, которую до капли мы отдали
Молодой и радостной стране...

Как писал в своём очерке о начале книгоиздательской деятельности тридцатых годов легендарный красноярский журналист и литератор Афанасий Шадрин, в книге «Северное сияние» «видели первую ласточку литературной весны на просторах Енисея»... Открытие в 1936 году «своего» издательства сразу изменило на берегах Енисея и саму писательскую жизнь той поры, создало среду для общения, объединило начинающих авторов и их немногочисленных учителей. «... *Всё было в начале пути. В городе не было ни одного мало-мальски известного писателя. Не было и просто литераторов-профессионалов, и издательство в своей деятельности опиралось на литературное объединение...*» — вспоминал А. Шадрин.

Литературное объединение, о котором идёт речь, — это своеобразный писательский кружок-семинар «Литературные пятницы» (или просто «пятницы»), который стал ещё и своего рода «клубом местной творческой интеллигенции». Собирались кружковцы сначала «в просторной комнате краевого радиокомитета в здании бывшего костёла», а потом — в нескольких выделенных новому издательству комнатах старинного особнячка на улице Урицкого. Вероятно, неистовые творческие споры продолжались и в редакциях краевых газет (в «Красноярском рабочем», в «Сталинских внучатах», в основанном в 1935 году «Красноярском комсомольце»). В очерке, написанном к пятидесятилетию юбилею издательства, Сергей Сартаков вспоминал, что кружковцев «поочерёдно брали под организационное крыло то редакция газеты, то библиотека, то краевое издательство».

В воспоминаниях о той поре говорится, что на «пятницы» собирались многие будущие литераторы, что участие в семинарах принимали люди искусства. Называется много известных и не очень известных имён. Сибиряки разных профессий и разных социальных групп — художник Дмитрий Каратанов, доцент Михаил Губин, капельмейстер драматического театра Александр Кенель... Среди участников — уже заявившие о себе в историко-краеведческой и литературоведческой сферах Мария Красножёнова, Ефим Владимиров, Борис Долгих. Появлялись на «пятницах» и будущие прославленные литераторы Сибири — Сергей Сартаков и Георгий Кублицкий, Афанасий Шадрин. И, конечно же, уже жившие стихами Георгий Суворов, Лия Гераскина, Игнатий Рождественский, Казимир Лисовский...

Среди «учителей», временами пестовавших и регулярно нещадно критиковавших кружковцев, как мы упоминали в прошлом выпуске цикла «(Не)забытые голоса Сибири», был и первый в Красноярском крае член Союза писателей — поэт Иван Ерошин, ставший к 1939 (?) году ещё и литературным консультантом издательства.

По рассказам А. Шадрина и других очевидцев тех событий, большую роль в работе литературного объединения и в реализации целого ряда литературных проектов сыграли руководители издательства, прежде всего — имевший к тому времени хороший издательский опыт директор, Иван Васильевич Кокорев (Кокарев). *«Обычно на „пятницах“ первыми появлялись И. Кокорев или П. Казачкин. Затем приходил с неперменной папкой под мышкой... архивариус Е. И. Владимиров или бухгалтер Красноярского лесотреста С. В. Сартаков...»*

И. Кокорев и был, кстати, ответственным редактором книги «Северное сияние». «Открытый, весёлый, мускулистый, мудрый...» — таким запомнился он писателям.

В 1937 году в издательстве выходит из печати под его же редакцией уникальная по-своему книжечка прозы и поэзии «Песни счастливых» — «сборник стихов и рассказов ребят Красноярского края и письма к ним А. М. Горького и А. С. Новикова-Прибоя».

Название очень точно отражало содержание сборника произведений, сочинённых юными творцами из Игарки, Тасеево, Красноярска, других населённых пунктов края:

Страна наша с каждой минутой растёт,
И нет нашей жизни чудесней...
А ну-ка, ребята, давайте споём
Весёлую, славную песню!

И ещё:

Мы юная смена для братьев, отцов,
Мы юная смена, счастливые дети,
Мы дети рабочих, дети борцов.
И родина наша всех лучше на свете.

В предисловии к книжке упоминается краевая детская газета «Сталинские внучата», в которой представленные в сборнике тексты были до этого напечатаны. Тема «золотого детства, которое нам страна дала» стала в книжечке, согласно требованиям времени, лейтмотивной:

Любим мы вождя, вождя народа,
Как отца любимого, как мать.
На одной шестой Земли свобода.
Как же это счастьем не назвать?

А в открывающем книгу стихотворении юный автор описывает привычный для «внучат» эпизод их пионерской жизни:

Широкими рядами
Идём по мостовой,
И гордо реет знамя
Над нашей головой.

На нём товарищ Сталин
В каёмке золотой,
А знамя крепко держит
Вожатый молодой.

Мы радостно шагаем,
И взоры всех горят:
Спасибо, вождь любимый,
Спасибо от ребят!

Книжечка Красноярского издательства 1937 года стала своего рода предварением появившегося в 1938 году, уже в столичном издательстве, получившего вскоре известность даже за рубежом сборника детских сочинений «Мы из Игарки», куда отдельные тексты «игарчат» из красноярского сборника «Песни счастливых» войдут. Непростая судьба этой книги и её юных авторов описана в целом ряде публикаций.

А в Красноярске весной 1938 года сдаётся в печать ещё одна необычная книга с длинным и достаточно осторожным названием: «Сборник произведений начинающих писателей Красноярского края».

Ещё при создании издательства обсуждалась возможность и необходимость выпуска регулярного литературного альманаха. Литературная молодёжь всеми силами поддерживала это начинание. Как вспоминает А. Шадрин, Ефим Владимиров предложил назвать его (вслед

за знаменитым альманахом 1828 года) «Енисейский альманах», но это название «наверху» не было одобрено. Начали спорить о других вариантах названия. И тогда И. Кокорев сказал как отрезал: «Назовём книжку просто: „Сборник начинающих писателей“...»

Тщательность, с которой собирался и верстался этот первый сборник красноярских литераторов, была оправдана. Совсем недавно, весной 1937 года, «Красноярский рабочий» сообщал о собрании писательского актива Красноярска, на котором было указано, что «воспитание начинающих авторов в крае поставлено из рук вон плохо», что «в Крайогизе два года маринуется материал для литературного альманаха», что надо «отметить слабость самокритики среди писателей» и вообще пересмотреть издательский план Крайогиза.

«Настоящий сборник является первой попыткой отображения жизни края и показа его литературных сил», — декларировалось в предисловии к сборнику.

Сборник открывался пьесой А. Сысоева «На перегоне» — «действие происходит на одной из узловых железнодорожных станций Сибирской магистрали», герои борются с мясничеством и врагами, пытающимися устроить на железнодорожной магистрали диверсию. Проза представлена именами М. Губина, В. Гурницкого, С. Сартакова, М. Минокина, Е. Эссензона.

А большая часть страниц сборника на удивление была отдана стихам местных авторов. Может быть, сказались пристрастия редактора-составителя. А возможно, поэзия оказывалась в этот период более «проходимой» в плане возможных идеологических требований со стороны партийных и литературных критиков?..

Ещё один вариант ответа дают архивные документы. В сентябре 1938 года издательство направляет «директору Крайлита т. Волкову» объяснительную записку по поводу отмены выпуска включённого на 1938 год в план «Альманаха красноярских писателей и поэтов»: причина в том, что «запланированного материала альманаха (особенно стихотворного) оказалось очень много — больше 30 печатных листов». И поэтому «Крайгосиздат выделил часть стихов в особую книгу „Молодой Красноярск“, которую и намерен выпустить к 20-летию ВЛКСМ». Подпись: «Зам. директора Крайгосиздата П. Качкин».

Итак, красноярских стихов накопилось к 1938 году у издателей действительно изрядно. (Но упомянутая в письме книга «Молодой Красноярск», к сожалению, так и не вышла...)

Во всяком случае, тематически и идейно в подобранных для публикации в «Сборнике

начинающих...» стихах всё обстояло вполне благополучно.

Стихотворение «Соперники» И. Рождественского. Причудливо соединились в восемнадцати строчках любимые поэтом, узнаваемые уже читателем приметы северных пейзажей (синеватые льдины, снег, который «лежит по тундре шкурою песка»); балладный сюжет о любви и с лёту, беспронимно узнаваемая после 1934 года читателями интонация бессмертной «Любки» Ярослава Смелякова (*«Посредине лета высыхают губы. Отойдём в сторонку, сядем на диван. Вспомним, погорюем, сядем, моя Люба, сядем посмеёмся, Любка Фейгельман!»*).

На реке всё больше синеватых льдинок,
Снег лежит по тундре шкурою песка.
Я вернулся с вахты, я смотрю на снимок,
На туманный отблеск твоего лица.

Я узнал случайно: ты теперь замужняя.
Неужели, милая, разлучились мы?
Ты моей не будешь, я тебе не нужен...
Но остались грёзы, но осталась дружба
В хаосе метельной северной зимы.

В поэтических строчках соседствуют экзотическая, предвещающая весну лучепёрая северная рыбка верховка и — классический для времён соцреализма тех удивительных лет, глубоко товарищеский исход конфликта личного и общественного: в столкновении соперников побеждает ответственность советского человека за будущее... «Вернувшийся с вахты» лирический герой стихотворения «нежно, как товарищу» протягивает руку счастливому сопернику... Ведь вполне возможно, что однажды им рядом придётся «воевать за родину в боевом строю...»:

Вынесу утрату, одолею стужу,
А когда верховка принесёт весну —
Я вернусь на родину, я твоему мужу
Нежно, как товарищу, руку протяну.

Мы свернём сигарки. Мы пройдемся садом,
Песенку любимую пропоём твою.
Моё сердце ревность не отравит ядом:
Может, мне придётся с ним, с курчавым, рядом
Воевать за родину в боевом строю!

Автопортрет представителя советской молодёжи рисует Георгий Дубинин. Его стихи невольно пробуждают в памяти сразу и строчки Маяковского (*«В сто сорок солнц закат пылал, в июль катилось лето...»*), и, одновременно, мотивы и образы комсомольских поэтов тридцатых:

Хорошо молодому да крепкому,
В сердце чувств неумный галдёж.
Улыбаясь, помашешь кепкой:
Дескать, солнце, здорово живёшь!

Чтобы дружбе цвести не даром,
Ты бы, солнце, крепче пекло.
Я поймаю крутым загаром
Огневое твоё тепло.

Пью лучей золотистую осыпь.
Ну, попробуй не пой, удержишь,
Если двадцать счастливых вёсен
Составляют весёлую жизнь!

И надежд, и возможностей много,
Дышит грудь широко и легко,
В мир прекрасный большая дорога
Перед нами легла широко!

Будущее представляется поэту просторным
и ясным. Залогом тому — ежедневные победы
сегодняшнего дня. Вот, например, — советским
селекционером разработана многолетняя пше-
ница:

...Жизнь ничем не одарит сама,
Нужное возьмём у жизни
С боем,
Силой человеческого ума,
Большевицкой
Неотступной волей.

Встанет счастье
В небывалый рост —
Счастье с жизнью будут в неразлучье.
Мы, природой овладев всерьёз,
Расцветим
Земли
Благополучье!

Рядом с этими легко выписанными строчками
Г. Дубинина — совсем иные, чеканно-суровые
образы и размеры в стихотворении его товарища
по поэтическому цеху Ивана Рожина:

Стоим мы стеной за свободу,
Мы волей единой сильны,
Сыны трудового народа
И граждане нашей страны.

Растите, колхозы, заводы,
Цветите садами, поля,
Сыны трудового народа,
На ваших границах стоят.

Удивительное свойство советского человека
тех предвоенных лет — умение подняться над

личным, думая об общественном, о государ-
ственном (тут сразу вспоминаются герои совет-
ских предвоенных и послевоенных фильмов).
Вот девушка в колхозе провожает лирическо-
го героя ещё одного стихотворения на службу
на далёкой погранзаставе:

...А мысли стремительно мчатся, как птицы,
Туда, где стальные заставы сильны,
Туда, где друзья охраняют границы
Моей ненаглядной, счастливой страны.

Раскинула тени деревня родная,
Оранжевый месяц взошёл над горой,
И вспыхнули звёзды, горя и мерца,
Опаловый бисер в ночи голубой.

Весёлая, бодрая песнь гармониста
В зелёной дубраве всё громче звенит...
И ты мне сказала:
«Будь славным чекистом
И нашу любовь сохрани!»

«Моя ненаглядная, счастливая страна» упо-
добляется любимой девушке — и неожиданно
всплывает давнее, блоковское: *«О, Русь моя!
Жена моя! До боли нам ясен долгий путь...»*
«Преобразование природы, строительство заво-
дов, железнодорожных путей — то, о чём гре-
зили поэты прошлого, становится реальностью.
И молодые сибирские литераторы сами работают
на станках, сами ведут суда сквозь вечные льды,
сами возводят доменные печи. Индустриализа-
ция и коллективизация стали важнейшей темой,
лейтмотивом поэзии тридцатых», — говорят
в нашем цикле «(Не)забытые голоса Сибири»
участники фильма, посвящённого поэзии второй
половины тридцатых.

Косному кулацкому быту противостоят кар-
тины новой жизни сибирского села (*«Мотовило/
стебли гнёт степенно,/хедер/к живу раму рас-
простёр,/срезанные стебли,/словно пену,/в бара-
бан/уносит транспортёр...»*) и образы «капита-
нов пшеничных полей», молодых комбайнёров,
у ещё одного «начинающего писателя», Алек-
сандра Керна, посвятившего этой теме сразу не-
сколько стихотворений, вошедших в сборник:

Ветер клонит колосья,
жатва — жаркое дело.
Урожай убирай поскорей.
В золотистые дали
устремляются смело
капитаны степных кораблей.

Комбайнёру отраднo
видеть полосу сжатой.
И зерно на ладони встряхнуть.

Комбайнёр вдохновлён
урожаем богатым.
В добрый путь, комбайнёр,
в добрый путь!

Злачным шёлковым полем,
быстрым ходом привычным,
проводит свой корабль, капитан.
Чуб овеет ветра
ароматом пшеничным.
Ты глаза синевой пропитал.

Путь победами красен,
ты не знаешь лишений.
И тебе — сила, смелость даны.
Передай наш привет,
полевой, задушевный,
капитану великой страны.

«Капитану великой страны» посвящают свои стихотворные послания многие авторы этого времени — и столичные, и живущие «в различных городах и колхозах края», как сказано было в одной из книг Красноярского издательства.

Вот проникновенные строки из вошедшего в сборник 1938 года стихотворения девятнадцатилетнего тогда Казимира Лисовского под названием «Кремлёвские звёзды»:

Ночь идёт, незрима, как дыхание,
Но сверкают в мареве ночном
Ярче звёзд, рождённых мирозданьем,
Золотые звёзды над Кремлём.

В этих звёздах светятся рубины,
Им лучи бессмертия даны.
И горят над необъятным миром
Величавым символом страны.

И невольно мысли улетают
Все к тому, в чём имени весна,
Кто в Кремле, ночей не досыпая,
Неустанно думает о нас.

Изо всех любимых он любимей,
Всех дороже, ближе и родней,
В нём — залог любви невыразимой
Беспредельной Родины моей...

«Так это было...»

Через несколько лет, в 1944 году, уже успевший поработать в нескольких газетах края (на фронт его не возьмут из-за тяжёлой болезни) Казимир Лисовский привезёт в Красноярск из Игарки целый ряд новых стихов — о Заполярье, о войне, о советских людях. Будет среди них и небольшое, но проникновенное и отточенное восьми-стишие, написанное на станке Курейка:

Здесь всё живёт, всё дышит им. И ныне
Из самых отдалённых уголков
Избушке этой, как своей святыне,
Приносят люди думы и любовь.

И на яру обрывистом и хмуром,
Где он внимал бушующим волнам,
Стоит вождя гранитная фигура —
Отчизне. Человечеству. Векам.

Вождь по имени не назван — в этом и нет необходимости. А станок Курейка — это тоже ещё много говорившее тогда сибирякам название. Место ссылки вождя, где с 1938 года работал музей, а к 1952 году открылся грандиозный музей-пантеон, где огромная белоснежная (потом утверждали, что гипсовая) скульптура вождя встречала пассажиров всех пароходов, идущих к низовьям Енисея, — и каждый из них непременно на два часа останавливался здесь для экскурсии. В начале пятидесятых выйдет и написанная хорошим, доступным языком прозаическая книга К. Лисовского для детей, которая будет называться «Домик в Курейке». Книгу переведут на языки народов Севера, чтобы читали её и эвенки, и ненцы, и нганасане. Обозначена эта тема будет и в поэмах и стихах Лисовского.

...Так вот, о поэзии. Отвлечёмся ещё на одну минуту от «Сборника начинающих...».

Дань теме Курейки и сталинской заполярной ссылки 1913–1916 годов отдадут в сороковых-пятидесятых многие сибирские литераторы. Однако едва ли не первый значимый поэтический вклад в эту тему внесёт сибиряк, певец Заполярья Анатолий Ольхон, живший тогда в Иркутске. В 1939 году его «Енисейская легенда» будет опубликована в «Восточно-Сибирской правде», в 1940 году её включит в свой сборник «Енисей в стихах и легендах» (о нём мы ещё скажем в нашем цикле) Красноярское книжное издательство, тогда же «Легенда» выйдет отдельным изданием в Иркутске, а в 1947 году её переиздадут и в Красноярске.

Поэма талантливого поэта и фольклориста Ольхона, в своё время объездившего все сибирские «севера», построена как народный сказ о курейской ссылке вождя: *«Записал я эти сказы рыболовов белой ночью в Заполярье, на Курейке...»*

По версии сказа, в «ледовой» своей ссылке вождь знакомится со старым рыбаком по прозвищу Бедняга:

...На Курейке это было, на Курейке...
Жил тогда один Бедняга в зимовейке.
В зимовейке, в пустолесье жил да был,
Туруханскую сельдятку он ловил.

Но однажды к берегу близ «зимовейки» старика пристаёт лодка:

...На Курейке это было, на Курейке...
Приставала в берег лодка к зимовейке.
Лодка с парусом, дощаная, с венцами,
Лодка царская, казённая, с гребцами...

Опустим дальнейшую большую часть сказа. И передадим слово для пересказа развязки сюжета поэту и критику А. Смердову, автору положительной рецензии, появившейся в том же 1940 году в «Сибирских огнях»:

«В образе рыбака Бедняги поэт удачно, глубоко воплотил черты народа. Под влиянием бесед со Сталиным пробуждается в сознании Бедняги ненависть к угнетателям и стремление к борьбе. Рука об руку будущий вождь народов и старый рыбак однажды тайно покидают зимовье на Курейке и уходят туда, где ждут Сталина революционные силы России. Шли они по тайге, по снегам, и всюду пламенное слово Сталина вдохновляло бедный народ на борьбу. Тицетны были попытки жандармов изловить беглецов с Курейки...»

Мать-земля сама их укрывала —
Укрывала их туманом без прогляда,
Мать-вода на шиверах им помогала —
Отводила их струёй от водопада.

Как ушли они без следу, неизвестно,
И до самого семнадцатого года
Кочевали на поселях повсеместно —
Среди бедного сибирского народа...

Заключение поэмы-сказа оптимистично. Мы переносимся в социалистическое, в преобразённое Заполярье:

Городок растёт на месте зимовейки.
Самолёты пролетают вдоль Курейки.
На графитных заполярных рудниках
Звонки утренние рокоты гудка.

...В Заполярье жизнь шумит большая,
Оживают дебри и берлоги,
Ледовые горы разрушая,
Протянулись новые дороги

...Вечно будет солнце в нашем мире,
Не вернутся сумерки былого.
И по всем окраинам Сибири
Славят люди сталинское слово.

...И поют певцы на Енисее,
И ведут сказанья старожилы
Про того, кто тьму ночей рассеял...
(Эти сказы мы в напевы положили.)

Повторимся: «сказ» бывшего участника группы «Перевал» Анатолия Ольхона о курейской ссылке вождя действительно искусно и мастерски соткан. Произведений такого уровня в Красноярске в конце тридцатых, пожалуй, было немного.

Но вот к вопросу о поэзии... Вернёмся вновь теперь к нашему «Сборнику начинающих...» 1938 года и обратимся к завершающим его стихам, представляющим, на наш взгляд, наибольший интерес и для современного читателя.

Ответственным редактором и вдохновителем «Сборника начинающих писателей Красноярского края» стал ещё один недолгий, но уникальный сотрудник Красноярского книжного издательства, редактор художественных книг, затем замдиректора издательства, большой энтузиаст книжного дела Пётр Алексеевич Казачкин. Все писавшие о начале писательской организации и книжного издательства в Красноярске — и Афанасий Шадрин, и Сергей Сартаков, и другие авторы — вспоминают его очень по-доброму, с благодарностью и с любовью: живой, талантливый, отзывчивый, увлекающийся.

А ещё Пётр Казачкин был хоть и начинающим, но очень перспективным поэтом. Сартаков вспоминает первое знакомство с ним: *«Он ворвался в дверь вместе с густым облаком морозного пара и со стихами. Моежт быть, даже стихи несколько опередили его появление... и всегда потом мне казалось, что Петя сначала читает стихи и лишь в конце чтения снимает шапку и говорит: „Здравствуйте“. Он был поклонник Маяковского. Не берусь утверждать, „продолжал“ он великого поэта или подражал ему, в любом случае — делал это искренне, честно и вдохновенно...»*

Да и сама судьба его — тоже, пожалуй, подлинно была судьбой поэта.

Страницы этой судьбы кропотливо собраны воедино журналистом и краеведом из Игарки Валентиной Гапеенко. Не один раз вспоминали «о Пете Казачкине» и об эпизодах его биографии и его коллеги, переписка которых была частично опубликована сотрудниками Красноярского Литературного музея. Отдельные эпизоды из времени начала большой советской литературы на Енисее приведены в альманахе Литературного музея «Енисейские встречи» за 2008 год, составленном Ольгой Ермаковой.

Но какие-то страницы этой судьбы и этих стихов ещё и не прочитаны исследователями.

Судомеханик, а потом литсотрудник, в Красноярск Пётр Казачкин перебрался из Нижнего Новгорода вместе с братом в начале тридцатых. Работал в агитбригаде, затем стал спецкором «Красноярского рабочего», со шлюпочной экспедицией попал в Игарку и там — влюбился на всю жизнь, потому и остался работать в игарском «Большевике Заполярья», чтобы окончательно

покорить свою избранницу, оказавшуюся потом, кстати, дочерью погибшего где-то на северах колчаковского офицера...

И вновь Красноярск, работа в книжном издательстве, двухмесячные редакторские курсы в Москве. Он помогает всем молодым авторам — и в творчестве, и в быту. А. Шадрин считал его своим «крёстным отцом», благодаря которому он и стал литератором. Становится Казачкин душой всех задуманных в издательстве коллективных альманахов.

Работа сложная, и время сложное. В. Гапеенко цитирует найденную ею заметку (сентябрь 1937 года) в краевой газете, которая названа ни много ни мало, а так: «Крайгиз выполняет заказ врагов народа»:

«Как могло случиться, что за три года своего существования Крайгиз не издал ни одной книги, заслуживающей серьёзного внимания? Зав. крайгизом Кокарев объясняет это очень просто: „В Красноярском крае нет писательских кадров“. Это ложь. Имеется неплохой литературный молодежь, который хочет работать. С молодыми писателями нужно работать, нужно помочь им овладеть литературным мастерством...»

И вот он, подготовленный Петром Казачкиным первый «краевой» сборник «красноярских начинающих», завершающийся стихами самого редактора, объединёнными в цикл «Стихи о Енисейском Севере».

Первый пароход

Ледоход!
Миллиарды бацилл неси деня
Перекусали всех —
люди взмокли,
В комнатах-клетках
от нетерпенья
Бегая
то к дверям,
то к окнам.
В учреждениях
дисциплина раскисла.
Хромаст,
как лошадь в лугах
стреноженная...
Над городом
что-то такое...
повисло —
Радостное и тревожное.
Голоса громки,
смех раскатно-басов,
Сердца под рёбрами
стукают рьяно.
Ледоход —
это вам
не вагон блинов.

Енисей —
не цистерна сметаны!

Может быть, где-нибудь
на Дону или Оке,
Ледоход —
не такая пора уж яркая.
Ну а тут — Енисей!
На такой реке
Ледоход,
да ещё в Игарке!

И понятно оно:
на Оке ледоход —
Это лишь
«отправленье природы».
Ну, сказать,
что за радость там —
пароход,
Коль на ней
каждый день пароходы?

Вот к нам —
как придёт он,
гудком оря, —
Весь город —
на пристани сразу.
Как духи,
его запах
вдыхают в себя
И чуть-чуть
не пробуют на зуб!

Для нас,
для детей морозов и пург,
Которых природа не балует,
Так дорог,
так мил
этот старый друг —
Кусок пароходной палубы!

Он нам
не спасенье —
как впадшим в отчаянье,
Без надежды вернуться
в родные широты:
Он кусочек родины,
любимой арктичанами.
То-то!

Игарка, июнь 1937

...Нет, не случайно Сартаков упомянул о любви Петра Казачкина к Маяковскому. Дело ведь — не только в пресловутой «лесенке».

Дело тут — и в свободном «лёгком» («по-бунински» и «по-маяковски» сразу!) дыхании автора, который на мир смотрит (не риторически, как порой его коллеги) радостным и уверенным

взглядом. И в подлинно (по Дзиге Вертову) кинематографическом, не отпускающем читателя «монтаже» образов стихов. И в захватывающем, неожиданном, впрямь как у Шостаковича, ритме рифм, слов и звуков. И, конечно же, в идущей откуда-то из глубин молодой комсомольской души, совсем в духе Владим Владимыча Маяковского, свободе осмысления высоких понятий через обыденное («кусочек родины» и — «кусоч пароходной палубы», «родные широты» и — «бациллы несишенья в комнатах-клетках» в учреждениях города)...

Весь спектр испытанных лирическим героем в день ожидания навигации эмоций, чувств, мыслей становится наглядным и доступен читателю через почерпнутое «из реки по имени факт» — через «факт» ледохода, через запах долгожданного, вот-вот придушего к «арктичанам» (!) парохода, через горьковатый аромат пароходного дыма, который вдыхаешь «как духи»...

И ещё — дело тут в смешении самых разных интонаций, в чём изощрён был любимый Казачкиным поэт: рядом и гротеск, и лирика, и разговорно-просторечная интонация. Здесь, совсем рядом с панорамной, как бы с аэростата снятой картиной «заполярной столицы», — совсем рядом бьётся неистовое, работающее как безупречный механизм парохода, «рьяно стучающее под рёбрами» сердце лирического героя...

«Первый пароход», кстати, как вспоминал Сергей Сартаков, это как раз то самое стихотворение, которое попало «на зубок» раскритиковавшему новое издание в пух и прах рецензенту из «Красноярского рабочего». Очень не понравилось ему уподобление ледохода «вагону с блинами», а Енисей — «цистерне сметаны»...

Да, конечно, это были строки «начинающего» молодого автора, и прав, наверное, Сартаков, говоря, что Пётр Казачкин спешил, очень спешил, высекая из «поэтической руды» чаще не золото, а «лишь золотые искры»... Но искры-то были — золотые! И спешил поэт, может быть, предчувствуя ограниченность отпущенного ему срока...

Невозможно удержаться и не привести ещё хотя бы несколько строф из написанного и опубликованного восемь с гаком десятилетий назад, из надолго, из несправедливо забытого.

Вот, будто как причудливо раскинувшийся на полотне городской пейзаж у Андрея Поздеева и одновременно как нежная и чёткая линогравюра у Владимира Мешкова, — вот она, неповторимая картина «солнечной полночи» в «заполярной столице» (куда же, вслед за Маяковским, нам без солнца? — но насколько оно здесь, у «арктичан», сияет своеобразно и оправданно!):

...На перекрёстке
сверкают рули
Никелированной
веловатаги.
Пройти невозможно,
как ни юли...
Велосипедов —
словно в Гааге!

Иной руки в брюки
и мчится, гордясь
Езды превосходным качеством.
Юнцы и девицы ахают:
— Класс!
Ворчат старики:
— Лихачество!..

Любуйся на этот
велозэскадрон
И на десять лет молодись!
Авто, проезжая, рычит,
как слон:
— Двухшипные —
сторонись!

Как будто бы время
попёрло вспять,
На улицах —
люди толпятся.
С чего тут,
скажите,
ложиться спать,
Коль можно так веселиться?

Вы можете,
бровь в удивленье подняв,
Означить недоуменье:
К чему это солнце,
не кончив закат,
К восходу имеет стремленье?

Я вам окажу
немедленно помощь:
И люди,
и город тот
солнцелищный,
И шум —
всё это
игарская полночь,
Полночь
заполярной
столицы!

А вот — совсем как будто в иной манере выписанные и увиденные, в пору импессионистов вспомнить (или, почему-то, полотна Петрова-Водкина вдруг приходят на ум...), — вот хоть часть строчек из дивно вытесанного, будто

заполяренный осенний, с инеем на нём, «каменный цветок», вот часть строчек из стихотворения с нерусским вдруг названием (а международный речной и морской порт потому что!) «Good bye!»:

Никаких осенних позолот!
Как и летом — дали изумрудны,
Только в золоте лучей пылает порт,
Напоённый ароматом чудным

Приангарских девственных лесов,
На распил приплавленных сюда,
И звучит на сотни голосов
Радостной симфонией труда.

Весело, приятно и свежо!
Разрумяненные утренней прохладой,
На причалах собираются в кружок
Грузичьи подсмешные бригады.

И, обрадовавшись вёдренному дню,
Англичанину-приёмщику басово
Бригадир промолвит: — Now are you?
Иностранец вымолвит: — Здорóво!

Хорошо и ясно на душе,
И немного грустно — всё же осень...
Как ни теплит солнце свет лучей,
Убраны последние колосья

В нашем дальнем северном краю —
Дни становятся короче и короче,
И над тундрой лебеди на юг
Улетают от полярной ночи...

Вон как машет нитка длинношеих
Крыльями размеренно и строго.
Оттого и грустно. Енисей!
Голубая лебединая дорога!

Но пока по-прежнему в порту
Визг лебёдок, смех, гудки и говор.
Только белый иней поутру
Предвещает выюжистую пору...

...И вот закрываешь обложку этой не толстой, старой, такой разной по вошедшему в неё книжки.

«Стихи о Енисейском Севере», сочинения Петра Казачкина... Семь стихотворений. Как семь драгоценных камешков, неведомо как попавших в шкатулку, где и фианиты попадаются, и стразы...

И почему-то вспоминается вдруг Чехов. «... Она начала так: „Мороз крепчал...“... Прошёл час, другой. В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. Когда Вера

Иосифовна закрыла свою тетрадь, то минут пять молчали и слушали „Лучинушку“, которую пел хор, и эта песня передавала то, чего не было в романе и что бывает в жизни».

И снова открываешь и перечитываешь...

Подборка стихов Петра Алексеевича Казачкина была первой его книжной подборкой. Но она оказалась и последней.

Солнце поднималось над Заполярьем, и над Красноярском, и над Енисеем.

Солнце-солнышко...

Солнышко последние лучи
На землю бросает, золотое.
Птичий гомон стих, тайга молчит,
Енисей спокоен.

Только слышно — всплеску вёсел в такт
Издалёка песенка звенит.
Бакенщик плывёт на перекат
Зажигать огни.

Чтобы знали лоцманá судов,
Где фарватер безопасен и глубок,
И после — пару тёплых слов
Тем, кто их зажжёт.

Это — единственное, кажется, из его опубликованных после 1938 года стихов: страничка 51 во втором номере «Сибирских огней» за 1939 год. Не увидят печати и писавшиеся им короткие рассказы.

Вскоре (судя по датировкам писем его друзей — в конце 1938 года) его внезапно увольняют из издательства, якобы — за двадцатиминутное опоздание на работу. На самом деле — к тому времени был арестован любимый младший брат работающего в ответственной идеологической сфере Петра Казачкина, молодой художник. И опального теперь издателя отправляют на работу в «районку», в Уяр.

Ни очерки, ни тем паче стихи его в этом издании, называвшемся «За ударные темпы», нужны не будут. В. Гапеенко приводит названия некоторых его публикаций в Уяре: «Результаты культурной обработки почвы», «О зяби», «О ремонте комбайнов»...

Он продолжает, теперь уже «дистанционно», помогать друзьям готовить первый выпуск будущего «Красноярского альманаха». Но номер выйдет без упоминания его имени и в содержании, и в выходных сведениях. Как будут с горечью сообщать ему друзья, «крест» поставлен и на всех других его, казавшихся такими возможными, такими близкими, публикациях. Иван Кокорев однажды будет звать его обратно в издательство — а он всё будет ждать выхода своей книги. И — кормить выросшую семью. «Стихи

не пишу — огородничаю...» (А.Шадрин упоминает в одной из своих публикаций о том, что И.В.Кокорев потом тоже ушёл из издательства. Информации о причинах и обстоятельствах этого мы не имеем. Известно только, что он был на войне, вернулся потом в Красноярск, оставался «вне литературной деятельности».)

Война. Она оказывалась всё ближе к поэтам и их читателям...

Когда начнётся война, Казачкин, несмотря на бронь, в первые недели добровольцем уйдёт на фронт и погибнет по дороге в вагоне разбомблённого фашистами поезда. Долго будет числиться в пропавших без вести. *«О Петре Казачкине ни слуху ни духу — он и не напишет. Либо смерть найдёт в какой-нибудь сумасшедшей вылазке, либо вернётся Героем...»* — строчки из письма С.Сартакова А.Шадрину в ноябре 1943 года...

Сергей Сартаков, вспоминая литературную жизнь Красноярска той поры, напишет ещё такие слова, которыми можно заключить эту часть рассказа о стихах 1930-х и их непростом пути к современному нам читателю: *«Сейчас забавными представляются те бури в стакане воды, а тогда это была литературная жизнь, незримо, таинственно производившая свой естественный отбор...»*

Литературная жизнь в Красноярске конца тридцатых действительно, судя по писательской переписке, была бурной и изобиловала порой и конфликтами, и столкновениями. Но были в ней и — стихи, которые писали настоящие поэты...

...Благодаря этому-то «незримо, таинственно происходившему естественному отбору», о котором говорит С.Сартаков, и дошли до нас все они — и справедливо, и несправедливо забытые, эти вновь читаемые нами спустя несколько поколений стихотворные строки...

Эссе восьмое

**«Целую ночь бьюсь над строчкой,
не зная, с чего начать...»**

*(Книги и судьбы поэтов рубежа
тридцатых — сороковых годов)*

Собиравшиеся на свои «Литературные пятницы» на улице Урицкого, 98, в краевом издательстве, ютившемся в «ветхозаветном двухэтажном доме с облезлыми кирпичными боками» (цитата из работавшего поколением позднее в издательстве И.И.Пантелеева), красноярские литераторы мечтали о создании местной писательской организации. Однако первое постановление о её учреждении, по словам исследователей,

подготовленное ещё в 1938 году, до войны реализовано не было. Но стала осуществляться (правда — очень медленно) другая мечта пишущих сибиряков — о выпуске собственного периодического печатного издания.

Вслед за «Сборником начинающих писателей» 1938 года, в августе 1940 года подписан был к печати интереснейший и очень неожиданный для той эпохи томик: «Енисей в стихах и легендах». В него вошли литературные и фольклорные произведения за столетие с лишним, 1828–1938 годы, не только поэтов советских, но и дореволюционных. Рядом с русскими классиками — знакомые нам по прошлым выпускам цикла «(Не)забытые голоса Сибири» красноярцы века девятнадцатого — А.Кузьмин и И.Петров, и тут же — совсем молодые современные авторы. Рядом с темой Гражданской войны и сибирских ссылок Ленина и Сталина — легенды о Енисее, исторические и пейзажные зарисовки великой реки (всего в книге семь тематических разделов).

Среди авторов послереволюционной поры — уже знакомые нам имена: Ф.Лыткин и В.Кручинин, В.Долгушин, Т.Рагозин, А.Ольхон; рядом с их стихами — произведения сибирских поэтов, заявивших о себе в двадцатые или в тридцатые годы, активно печатавшихся в «Сибирских огнях», — Льва Черноморцева, Ильи Мухачёва, Игнатия Рождественского... Составителями этого уникального сборника стали начинающий тогда журналист Афанасий Шадрин и его земляк Пётр Трофимов, работавший (как вспоминает А.Шадрин) директором единственного красноярского книжного магазина и сотрудничавший с издательством. Существенную помощь оказали составителям хорошо знавшие книжную историю Красноярья местные библиофилы и краеведы во главе с И.М.Кузнецовым.

А 31 июля 1940 года наконец-то вышел в свет первый номер литературно-художественного журнала «Красноярский альманах» (сдан был в печать, как писал С.Сартаков в письме П.Казачкину, 28 декабря 1939 года; в выходных сведениях значится дата 17 декабря 1939 года).

«Красноярский альманах: книга первая»... О факте выхода первой книги альманаха в сороковом году вспоминают часто как о начале будущего краевого альманаха «Енисей». Реже упоминают о том, что за несколько месяцев до начала войны, весной 1941 года, успеет выйти ещё и книга вторая.

Он действительно был долгожданным, этот ежегодник. Несколько лет до этого издатели, писатели и чиновники ведут эмоциональные диалоги о нём и в прессе, и в официальной и личной переписке, он регулярно появляется и — исчезает из ежегодных планов издательства. И вот это событие — случилось.

В первый выпуск вошли первые части романа будущего сибирского классика Сергея Сартакова «Хребты Саянские» и повести «В хакаских степях» Витольда Гурницкого (абаканского писателя-самоучки, потомка ссыльных поляков, наставника абаканских авторов, с благодарностью вспоминаемого знавшими его). Напечатаны в альманахе были и несколько сибирских сказок, записанных знаменитым красноярским музееведом и фольклористом Марией Красножёновой.

В книге первой не очень много поэтических имён, да и те, к сожалению, большей частью ничего или совсем мало говорят современному читателю, впрочем, как и имена большинства других молодых стихотворцев тридцатых годов, которые мы уже называли в прошлых выпусках цикла «(Не)забытые голоса Сибири».

Ну действительно, много ли сейчас скажут «широкому читателю» эти имена? Георгий Дубинин и Александр Керн, Иван Рожин, Алексей Старостин. Александр Староватов, Виталий Качаев... Вероятно, где-то в сохранившихся письмах, подшивках, документах, рукописях можно отыскать какие-то подробности жизни этих литераторов и их творчества.

Но некоторые из незнакомых массовому читателю имён поддаются «расшифровке» после изучения доступных архивных или опубликованных документов и мемуаров, после знакомства с отдельными локальными публикациями исследователей.

Попробуем хотя бы бегло набросать или собрать воедино штрихи к портретам отдельных красноярских поэтов, участвовавших в литературной и издательской жизни той поры.

Например, были опубликованы в первом выпуске альманаха произведения Михаила Маркова. Стихи у него, пожалуй, вышли одновременно несколько риторические и бытово-описательные:

Опять весна. Уже давно воспеты,
Не раз воспеты солнечные дни.
И всё-таки опять о них поют поэты
И будут петь, пока живут они.

Опять весна. Крылом гусыня машет.
Кудахнут громко куры у двора.
На тёплый мякиш чернозёмных пашен
Выходят, громохатая, трактора...

В том же 1940 году в подборку произведений красноярских авторов в «Сибирских огнях» войдёт стихотворение М. Маркова «Спутница». Некоторая неожиданная отстранённость стихов от реального мира, умозрительность образа лирического героя вызваны, видимо темой. Любви,

точнее — мечте о ней автор посвящает стихи, написанные в классической форме сонета:

...Брожу я городом. Опять со мною
Она весь вечер нежно говорит.
Над нами — между небом и землёю —
Качаются жар-птицы фонари.
Я не расстанусь с ней. Она в крови —
Моя мечта о солнечной любви.

Исследователи говорят, что автор этих строк — учитель литературы и директор школы в Игарке М. И. Марков, будущий участник войны, о котором расскажет в своём очерке 1943 года Казимир Лисовский, и приводят ещё одно его стихотворение, под названием «Из фронтового блокнота», опубликованное в том же 1943 году Красноярским книжным издательством во «фронтовом» сборнике «На запад!».

Невозможно не сказать здесь слова благодарности сотрудникам краевой научной библиотеки, оцифровавшим и выложившим в интернете многие книги Красноярского издательства. Его читаешь как будто иными глазами, этот фронтовой сборник... И в очередной раз понимаешь, что советским поэтам тех лет испытания священной войны помогли обрести духовную зрелость, найти точные поэтические образы, отобрать нужные слова, сделать ритм стиха упругим и, в итоге, — тронуть простыми, непафосными, искренними эмоциями сердца читателей, к которым стихи были обращены...

Из фронтового блокнота

Весенний вечер тот был мрачен,
Руины горя горячи.
Над пеплом гнёзд сожжённых плача,
Кружились старые грачи.

Они спешили в непогоду
Из тёплых стран в родимый дом,
Чтоб ночевать под мирным сводом
На тихих вётрах над прудом.

Но нет ни вётел, ни избушек,
Нет звуков мира и труда.
И только жерла чёрных пушек
Торчат из красного пруда.

И негде, негде приземлиться
Им после долгого пути...
Я слышал, как рыдали птицы,
По-человечески почти.

И я почувствовал в рыданье
Друзей пернатых в том огне
Тоску, и горечь, и страданье,
Любовь, и ненависть, и гнев.

Сидели немцы за ометом
И, по привычке палачей,
Расстреливали пулемётом
Над пеплом плачущих грачей.
Я поднял знак бойцам расчёта —
Приподнял, опустил ладонь:
— По пулемёту, по омету
За наших мирных птиц — огонь!

Среди поэтических имён, встречающихся в красноярской периодике и сборниках тридцатых — сороковых — и уроженец села Каратузского Григорий Каратаев. В своё время о нём часто писали и рассказывали журналисты, но прошли годы — и его судьба и стихи ушли как бы в тень. Напомним, что его называли «сибирским Островским». В двадцать лет, в 1929 году, он, будучи линейным монтером телефонной станции, получил травму позвоночника, оказался на тридцать лет прикован к постели. Но сломлен не был, писал стихи, много общался с людьми. В годы войны его произведения печатали фронтовые газеты, вырезки с его стихами хранили его земляки, которым он их посылал:

Не поддамся сомненьям тревожным.
Верю, кончатся скоро бои.
И, покрытые пылью дорожной,
Я пожму ещё руки твои!

А в тридцатых годах его стихи вошли в «Сборник начинающих писателей», о котором мы рассказывали в прошлом выпуске. «Бабушка и внуки» — это своеобразная зарисовка из жизни семей сибиряков тридцатых годов. Внуки просят бабушку рассказать сказку, она отвечает:

...В наше время бы пожили —
Не до сказок было б вам:
В риге рожь сейчас сушили,
Чли б Писанье по складам.
Ваш отец-то вот, колхозник, —
На машинах хлеб-ат жнёт.
Две газеты и «Безбожник»
Из Москвы ему идёт.
Подался, поди, до клуба
Конституцию читать.
Мать-то вслед. Надела шубу.
Тоже всё мечтает знать!..

Ещё одно имя. Оно упоминается в 1935 году в заметке в «Красноярском рабочем» о встрече нескольких молодых красноярских поэтов с читателями (её текст мы приводили в прошлом выпуске цикла), но в дальнейшем исчезает со страниц периодики: «поэт Михалковский».

Полагаем, что речь идёт об Александре Францевиче Михалковском, 1902 года рождения,

члене Иркутской ассоциации пролетарских писателей, из Иркутска направленном по партийной линии в Енисейск, на должность редактора местной газеты «За большевистские темпы». В 1935 году он был снят с этой работы и переведён в Красноярск, в отдел агитации и пропаганды крайкома, затем, до ареста в августе 1937 года, был заведующим Красноярским краевым радиокомитетом. Сначала был обвинён в том, что «не вскрыл подлинное лицо» зятя, бывшего белого офицера, затем — в участии в контрреволюционной террористической организации. На суде отказался от ранее данных показаний. Расстрелян, в 1958 году реабилитирован.

Писать и публиковаться он начал с 1926 года, сразу став активным членом будущей Иркутской писательской организации. В номере 7–8 «Сибирских огней» за 1931 год была даже напечатана его небольшая поэма «Отступало солнце», посвящённая «Учебному разъезду Бирюсинского лесозавода»:

Отступало солнце
За кедровым бором.
Ночь за ним
Скакала по пятам.
Звенья звёзд
Расставила в дозоры
По волнистым серым облакам.

Горизонт угрозой бури вспенен.
Бор в угрюмой тишине устал.
Вдруг...
У ветра лопнуло терпенье —
Вести жуткие
Раскинул по кустам.

Часовой,
Как ночь,
Такой же чёрный,
Чутким
Ухом
Топот
Перенял.
Он товарища за плечи дёрнул
И метнулся
Круто
На коня...

Учебный бой, в который вступает отряд бирюсинских заводчан, — он хоть и учебный, но очень важный:

...Враг с засады грянул в наступленье,
Ощетинившись рядами пик.
Отступать нельзя —
Обрывом берег,
Вражья цепь сжимается тесней.

Смелый враг в свою победу верит.
 Пулемёт хохочет на сосне.
 Жаркий бой.
 Бойцы смешались в кучу.
 Пулемёт умолк.
 Клинки звенят.
 Да гроза, кромсая в небе тучи,
 Расчеркалась молнией огня.
 Битва длится.
 Чу!
 Гудок
 Завода.
 Он в борьбу ворвался, как арбитр,
 То сигнал —
 Пришёл
 Конец
 Похода.
 То пришёл
 Конец
 Осовских битв.
 Мы дрались в степи не для потехи
 И летели лавою во тьме,
 Чтоб ударник,
 Как за рамой
 В цехе,
 Биться
 Ловко
 В коннице умел.

Стихи очень характерные для времени своего написания (конец двадцатых — начало тридцатых годов), заставляющие вспомнить поэтические опыты молодых авторов тех лет, с их героикой буден и воспеванием силы коллектива, с «телеграфным стилем» в ритме и лексике стиха, с определённым неизбежным влиянием конструктивистских и экспрессионистских опытов ряда комсомольских поэтов тех лет. Вероятно, отдельные стихи А. Михалковского можно и сейчас разыскать в уцелевшей иркутской и красноярской периодике 1920–1930-х годов.

Во втором выпуске «Красноярского альманаха» были размещены стихи Лии Борисовны Гераскиной. Мы уже упоминали это имя. Оно хорошо знакомо советским и российским школьникам в связи с продолжающей оставаться одной из самых известных и любимых детских сказочных повестей «В стране невыученных уроков» (фактически это трилогия, больше всего ребятишкам известны первая книга и советский мультфильм, по ней в своё время снятый). Ещё одно очень известное произведение Гераскиной — «школьная» пьеса «Аттестат зрелости», по которой был поставлен популярный фильм с Василием Лановым в главной роли. Но взрослые сибиряки это имя вряд ли ассоциируют с литературной жизнью Красноярска. Между тем с Красноярском были связаны десять с лишним лет её жизни и творчества.

Родившаяся в 1910 году в Новороссийске, Лия Гераскина в 1938 году, после работы в Магнитогорске и других городах (как мы помним, все тридцатые годы — это время частых переездов представителей советской интеллигенции из одного населённого пункта в другой: время было такое), оказалась вместе с семьёй в Красноярске. Одновременно с А. Шадриным начала работать в «Красноярском рабочем», сначала литсотрудником, потом «городским репортёром» (с Шадриным они бросили жребий и поделили между собой город на зоны своих корреспонденций), стала известным в городе спецкором.

В годы войны была добровольцем в местном эвакупункте, вступила в партию, возглавляла детскую техническую станцию. После войны стала работать в Красноярском радиокомитете, где и начала свою успешную драматургическую деятельность (пьеса «Аттестат зрелости», которую тогда поставят во многих ТЮЗах страны, была напечатана накануне её отъезда в Москву в альманахе «Енисей»).

Поэзией Лия Борисовна увлечена была с детства и отрочества (даже выпускное сочинение умудрилась написать в стихах!). Эта любовь к стихам соединилась у неё с редко кому из взрослых дающимся умением понимать детскую психологию и разговаривать с детьми не сюсюкая, а на понятном им языке. Герой одного из стихотворений Гераскиной — «Белобрысый мальчик», которого папа с мамой любят называть «разнеженными кличками». Поэт втолковывает его родителям:

...Он — мужчина. Велика мечта его
 Быть в боях похожим на Чапаева
 И коня иметь такого быстрого,
 Чтобы сыпались подковы искрами,
 Чтобы меч тяжёлый, заколдованный,
 Золотыми кольцами окованный,
 На боку висел, а рядом — маузер;
 Чтобы он стрелял, рубил, приказывал;
 Чтобы целый арсенал оружия,
 Словно в сказке, сам ему прислуживал.
 Вот он спит, ручонка загорелая,
 В розовых царапинках, сжимается.
 Что он видит? Вероятно, с белыми
 По привычке и во сне сражается.

Вот теперь его целуйте, спящего,
 Воина, оружием звенящего,
 Своего «Чапаева» безбрового,
 Своего «Суворова» сурового.

Самобытное поэтическое вкрапление в две успевшие выйти книги «Красноярского альманаха» — страницы, связанные с устным

народным поэтическим творчеством Приенисейской Сибири.

Книгу «Красноярский альманах» 1940 года завершают «Песни нганасанов» — подстрочки нескольких произведений современного северного фольклора, записанных и переведённых Борисом Осиповичем Долгих.

Это ещё одно связанное с историей нашей земли и её научным освоением имя, очень значительное, но в основном известное кругу специалистов-сибириеведов. В будущем — доктор исторических наук, автор ряда блестящих монографий, Борис Долгих с 1926 года участвовал в историко-этнографических экспедициях по северным территориям нашего региона, успел побывать в Туруханском крае и в ссылке — за неосторожную критическую фразу о коллективизации, а с 1937 по 1944 год заведовал этнографическим кабинетом в Красноярском краеведческом музее. Внёс значительный вклад в исследование истории и культуры народностей Сибири, его перу принадлежит множество публикаций о кетах, нганасанах, энцах, долганах, якутах, эвенках...

В 1938 году в Красноярском издательстве вышел составленный им сборник «Легенды и сказки нганасанов». А среди подготовленных учёным к публикации в альманахе 1940 года «Песен нганасанов» есть, например, запись песни «Женская доля» (это произведение было записано в устье реки Логаты в октябре 1938 года). Интерес представляет сопряжение в одном тексте исторически и образно точного осмысления носительницей текста (сорокалетней нганасанкой Порбиной Дюрукуры) горькой вековой участи представительниц этого малого народа и — особенно яркой после этого горестного и убедительно-безнадёжного рассказа уверенности в лучшем будущем её детей, связанной с социалистическими преобразованиями большевиками Заполярья. Несмотря на то, что перед нами не поэтический перевод, а всего лишь подстрочник, магия простых строк и сохранённой в подстрочнике манеры мысли и речи (своего рода — северного говора) не может не захватить читательское внимание...

Женская доля

Ты спрашиваешь меня:

Много ли я выделала оленьих шкур?

Хэй! Если все шкуры, мною выделанные, сосчитать — Тысячу, больше тысячи я выделала.

На мои руки посмотри.

Не как старая ли они ровдуга?

Женские руки такие всегда были.

Мою спину ты видишь?

Не сторблена ли она?

Женская спина такая всегда была.

Моё лицо ты видишь?

Не почерневшее ли оно?

Женское лицо всегда таким становилось.

Моя дочь — не хороша ли?

Хороша.

Так, как я, она жить будет?

Нет, однако, так она не будет жить.

Я раньше о комсомоле слыхала?

Всю жизнь свою ничего не слыхала.

Моя дочь о Ленине и Сталине знает.

Я же о них слышала теперь.

Может быть, я иначе буду жить.

Уже сейчас я иначе живу.

Эй! Была бы я молода, как моя дочь:

Моя дочь хорошо стала жить.

Я же хорошую жизнь увидела,

Только старухой став.

В первую и вторую книги альманаха вошли, как мы уже упоминали, основанные на хакасском фольклоре произведения Ивана Ерошина: в первой книге — фрагмент трагедии «Золото», и во второй книге — поэма-сказка «Хаттых Темир».

Вот волшебным образом мгновенно переносящий читателя в неведомый ему мир, в неповторимую атмосферу народного гуляния зачин поэмы о хакасском богатыре:

Ал закат, в долине мгlisto, месяц-льдинка светел, юн,
Каиргасов род справляет шумный и богатый тун.
Словно звёзды в зимнем небе, возле юрт костры блестят.
От котлов, кипящих тихо, мяса, лука аромат.
От айрана пахнет сыром, вкусен пенистый айран.
Свежий, в кадках он дымитсЯ, словно над рекой туман.
Гости шумны, говорливы, веселятся молодёжь.
Там, где хмель, смелее речи и труслива часто ложь.
Вдруг в неясный, громкий говор страстно песня ворвалась,
Все в мгновение замолкли, покорила песни власть...

Красноярский литературовед Г. М. Шлёнская писала о кропотливом и тщательном изучении поэтом жизни, быта, фольклора хакасской земли, которое предшествовало появлению этих созданных рукой мастера произведений:

«Иван Ерошин много ездил по хакасским улусам, с жадным интересом изучал историю, язык, обычаи и фольклор родственных алтайцам хакасов, в чём ему немало помогала жена, человек самобытный и талантливый, хорошо

к тому же знакомый с хакасскими диалектами. Результатом вхождения Ивана Ерошина в новый материал стала поэма о защитнике хакасской бедноты „Хаттых Темир“, работа над трагедией из жизни хакасов „Золото“, публикация переложений ряда хакасских сказок и легенд».

Во втором выпуске альманаха была опубликована и так называемая «новина» (вид считающегося исследователями псевдофольклорным повествования на современные темы в подражание былинам («старинам»). Новины появились и были распространены в советской окололитературной среде в тридцатые — пятидесятые годы двадцатого века.

Автор «сибирской новины», названной «Про Гражданскую войну», — жительница села Зелёноев Емельяновского района Екатерина Ионовна Чичаева. Имя этой незаурядной сказительницы достаточно часто звучало в двадцатых — пятидесятых годах в Сибири. Первой её «индивидуальное устное поэтическое творчество» представила в своих публикациях М. В. Красножёнова, а с конца тридцатых годов и вплоть до его смерти в 1953 году с «Ионовной» работал ещё один интересный исследователь, бывший иркутянин Александр Вениаминович Гуревич, позднее ставший одним из первых членов Красноярской организации Союза писателей СССР.

В записанной им для альманаха новине действуют собирательные и исторические персонажи. Главные положительные герои — коллективные («красные полки» и «силы партизанские»), которых к новой жизни и к победам в Гражданской войне ведут «ясные соколы Ленин да Сталин», а также командиры — Будённый с Ворошиловым и Щетинкин. Здесь же и многочисленные враги героев: «царь Николка», помещики, буржуи, «попы окаянные, долгогривые», «Краснов со Деникиным», «Антанта — долгохвостая, кроважная». Тут же появляется и «негодяй Троцкий», который «сонаёмщикам ворота растворил, и хотел он взять ключи от силы рабочия и передать в руки буржуйские» — но «... скоро сдогадalisя наши ясны соколы, они узнали об изменушке, об изменушке великою»... Но главный антагонист, с которым борются и которого побеждают в этой сибирской новине коллективные красные герои, — «зверь Колчак»:

...А разинул было пасть лъвиную зверь Колчак.
У его туловище-то было звериное,
Голова-то была змеиная,
Пасть его лъвиная.
Он ел котлеты — мясо человецкое,
Он пил вино — кровь рабочую.
Увечил-калечил Сибирь-матушку.

И был тут рабочий люд под огнём да под палками,
Под шомполами и под прикладами,
Под плетями да под нагайками...

«Зверь Колчак» после проигранных им под Омском боёв с красным воинством пытается по железной дороге добраться «до Байкала — моря священного». «Да не тут-то это было, да не так-то это вышло...»:

Партизаны-то наши сибирские — удалые,
Не заспали, не задремалися,
По трактову-то дороженьку
Понаставили пни, колодины,
Накопали рвы да ямины.
Едет-то Колчак, за пни задевается,
За колодины запинаясь,
Из одной ямы вылезет,
В другу падает.
По дороге-то буржуйчики его теряются,
По трактовой-то генералы и полковники
Валяются.
Им были пути непроходимые,
Заграждали путь сугробы снежные,
Перерезали овраги глубокие.
Чахли, гибли колчаки тут от мороза и от голода,
И бросали колчаки тут всё награбленное,
Всё награбленное, всё крестьянское,
И бежали нагёшеньки,
Как собаки голоднёшеньки...

...Интересно это на наших глазах происходит — превращение одного конкретного врага в коллективный, обобщённый образ «врагов-колчаков», изгоняемых красными воинами с советской земли.

А красные-то воины
У океан-моря поклялися,
Что будут служить они
Верую да правдою...

...Постоим-то мы грудью
За родину великую,
За вождей-то дорогих, своих товарищей,
Мы за Ленина и за Сталина,
За честной за народ,
За силу за рабочую,
За силу за крестьянскую...

Любопытен был бы углублённый анализ этой сибирской новины — например, влияния на сказительское творчество Е. И. Чичаевой: с одной стороны — архаических традиций «старо-былинного» фольклора, с другой — современного ей сказительского опыта Восточной Сибири, в частности — новин, песен, преданий о Гражданской войне, бытовавших на Байкале, где

происходит действие заключительных эпизодов её новины (эти фольклорные произведения хорошо знал работавший со сказительницей А. В. Гуревич).

Представляют немалый интерес и те мотивы и образы новины Чичаевой, которые непосредственно связаны с Красноярским краем, например — во вставной новелле «Про завод-то про Знаменский, как приехали в него каратели...», имеющей самобытный характер.

Сравнение содержания двух книг альманаха, 1940 и 1941 годов, показывает, что издатели учли те критические отзывы, которыми «одарили» их коллеги после выхода первого выпуска. Известный новосибирский критик (в прошлом — член группы «Настоящее», боровшейся с В. Зазубриным) Анатолий Высоцкий сетует на страницах шестого номера «Сибирских огней» за 1940 год на отсутствие в альманахе произведений о современности, о «борьбе „Красноярской республики“ с царскими сатрапами в 1905 году», о «высоко поднявшейся в 1918–1919 годах волне партизанского движения, вождями и героями [которой] были Щетинкин и Кравченко». И это, пожалуй, самая идеологически серьёзная претензия в адрес издательства.

«Писать о прошлом, хорошо писать — надо. Художественная литература — спутница истории, — говорил М. Горький. — Однако проходить мимо современности, советской современности, — непозволительно. Художественная литература должна воспитывать любовь к социалистической родине. Как же это можно сделать, если, подобно „Красноярскому альманаху“, ни словом не обмолвиться о сегодняшнем нашем строительстве и наших людях — строителях социализма?»

Во второй книге альманаха меняется редактор-составитель, им становится Тимофей Степанович Аврамич, журналист и партийный деятель, будущий начальник крайполиграфиздата. Исчезает, как и не было её, редколлегия, в которой в первом выпуске значились, помимо представителей издательства, Мария Красножёнова, Сергей Сартаков и (это ещё одно новое для нас имя) один из активных участников «Литературных пятниц», заведующий кафедрой литературы Красноярского пединститута Сергей Фёдорович Савинич (погибнет в 1943 году на фронте).

Зато в новой книге альманаха появились поэтические произведения о Гражданской войне, стихи о социалистических преобразованиях Сибири и о советской молодёжи. Неожиданным элементом второй книги альманаха становится публикация поэтических переводов. Сделаны они жителем города Красноярска Иннокентием Кудрявцевым (?), который обратился к сонетам недавно эмигрировавшего в Советский Союз

из фашистской Германии немецкого коммуниста и поэта, будущего автора гимна ГДР Иоганнеса Бехера:

...Народ, за всё, чем стал, благодарю тебя.

Я лишь тобой живу. Последнее пусть слово

Моё дойдёт к тебе. Не отвергай сурово

Его в последний час, выпитай его в себя...

«Каковы бы ни были недостатки альманаха, он всё же послужил началом собирания писательских сил Красноярского края», — заключал свою рецензию в «Сибирских огнях» А. Высоцкий. Но о вошедших в первую книгу «стихах, серых и стоящих примерно на одном уровне» рецензент своего слова не сказал.

В чём-то критик был, конечно, прав. Но между тем в первом выпуске были опубликованы и такие стихи, которые вряд ли можно было назвать серыми. Это, прежде всего, подборка стихов Казимира Лисовского, к этому времени, несмотря на молодость, не только успешно сотрудничавшего со всеми красноярскими газетами, но и стремительно выраставшего в самобытного автора.

В подборке Лисовского, конечно, представлены идеологически созвучные эпохе строфы («Юностью, не знающей покоя и не покорившейся судьбе, каждой песней, каждою строкою я обязан, родина, тебе...»). И темы стихов тоже созвучны историческим постулатам этого периода: Шевченко — в ссылке в казахстанских степях, Лермонтов — в изгнании на Кавказе... Но отдельные строчки — цепляют внимание, остаются в памяти образами, ритмом, звукописью...

Вот так начинается стихотворение с названием-аллюзией «Смерть поэта»:

Пугливо мчатся грозовые тучи

Над гордою вершиной Машука.

В последний раз

Глядит на них поручик

Тенгинского пехотного полка...

Дальше — правильные и фактологические, по сути, строки, которые мы можем опустить («Там, за горами, сумрак ненавистный. Великосветской подлости печать. В могиле — Пушкин. В ссылке — декабристы. И даже руку некому пожать...»).

Но вот — финал, подобно песне перекликающийся с «запевом» стихотворения:

...Такой грозы земля ещё не знала,

Казалось —

У подножья Машука

В отчаянье Россия отпевала

Поручика Тенгинского полка!

И вот (другим размером, другими ритмами и образным строем, с иными даже цветовой гаммой и звуковой партитурой — каким-то чудесным кинематографическим образом слившимися в единое пластическое решение) — начало стихотворения о «Шевченко в ссылке»:

Степь и степь... Горьковатый, дурманящий
запах полыни,
Серебро ковыля, фиолетовый цвет медуниц.
Только сокол мелькнёт чёрной тенью
на голой равнине,
И протяжная песня надрывной тоской зазвенит...

Дальше — можно вновь смело опустить пять строк («Ночь. мерцанье свечи... Он тайком, озираясь несмело, достаёт карандаш и бумаги клочок; из стихов виден проблеск грядущего, песня борьбы загремела. Здравствуй, радость победы! Но окрик суровый — и вновь...»).

И вновь — настоящие строки, финал, опять зеркальный по отношению к началу:

Оренбургская степь, сумасшедшая
дробь барабанов,
И двуглавый орёл чёрной тенью кружит
над страной...
А заря далека, вся равнина — в молочном тумане,
И на травах — роса, и мучительно веет весной...

И вот — ещё одно, поначалу ничего не говорящее современным читателям имя автора, открывающего своим стихотворением первый выпуск альманаха: Михаил Юрин.

Стихотворение называется «Красноярск».

Сами стихи начертаны опытной рукой, но, пожалуй, особого читательского интереса и эмоционального отклика могут и не вызвать:

Он стоит,
Задумчивый и строгий,
У великих
Северных ворот.
Он ведёт воздушные дороги
От Тувы
До ледяных широт.

Над его лесами
Ветры веют,
Горы
Упираются в закат.
Берега
Седого Енисея
Песни легендарные
Хранят.

Сквозь пургу
И седину туманов

Он пронёс
В страну большевиков
Юность ненцев,
Думы нганасанов,
Радость
Эвенкийских пастухов...

«Как мало в этих строчках поэтического!» — восклицает по поводу этого стихотворения рецензент «Сибирских огней». Но прав ли А.Высоцкий, не прав ли, а наш, современного пытливого читателя, интерес связан сейчас, скорее, не со стихами, а с их автором.

«Забытые голоса» — это как раз о нём, о Юрине.

«Ниточки» этой забытой судьбы, оказалось, возможно «потянуть» с самых разных сторон. От Маяковского. От Есенина. От молодёжных московских журналов двадцатых годов. От дома-музея И.В.Сталина в Курейке сороковых. От Тифлиса и Баку начала и конца двадцатых годов. От Российского государственного архива литературы и искусства, где хранится впечатляюще разномастный личный архив этого автора...

Имя, действительно как бы затерявшееся где-то в пятидесятых годах двадцатого века, по дороге к нашим дням. Отдельные факты из поздних периодов его жизни (преимущественно в связи с его деятельностью в Курейке, Игарском районе и Туруханске) приводятся в работах краеведов, исследующих историю северных территорий Красноярского края, — В.Гапоненко, М.Мишечкиной, Т.Сергиенко и других. Упоминание об «известном (!) поэте», наведавшемся в Красноярский край, встречаются в переписке А.Шадрина и его собратьев по перу.

Но почти все энциклопедические издания, в том числе литературные энциклопедии (и довоенная, и краткая), своим вниманием Юрина обошли. Небольшую библиографическую справку о нём поместил в 1928 году в первом своём выпуске «Био-библиографический словарь русских писателей XX века: Писатели современной эпохи», тираж которого почти весь был, как известно, уничтожен и оказался на долгое время читателям недоступен.

Какие-то отдельные строчки о Юрине встречаются в документальных публикациях о Маяковском, Есенине и других литературных деятелях двадцатых — сороковых годов двадцатого века. Ещё один потенциальный источник информации — небольшие биографические заметки самого Юрина и о Юрине, размещённые в нескольких ранних сборниках его стихов, которые он успел в двадцатых годах выпустить, в основном — в Закавказье, да разбросанные по периодике небольшие заметки и рецензии.

Большой интерес представляет, пожалуй, его документальное автобиографическое повествование «Записки подававшего надежды». В 1929 году «Записки» были опубликованы в журнале «Октябрь», а в 1931 году вышли в издательстве «Молодая гвардия» отдельной книжкой. Именно на эту книжечку опирается М. Ф. Пьяных, автор биографической заметки о М. Юрине, опубликованной в антологии «Комсомольские поэты двадцатых годов» — книга эта успела выйти до конца перестройки, в 1988 году, в «большой» серии «Библиотека поэта». (Поскольку «Записки» написаны до 1929 года, оставшаяся часть жизни героя в заметке в этой антологии обозначена бегло, коротким абзацем на пять строчек. Исследователям ещё предстоит изучить столичные и красноярские архивные фонды соответствующих периодов.)

Если попытаться кратко обозначить сходящиеся и разлетающиеся вновь линии этой незаурядной (и одновременно — очень в чём-то типичной для того периода) судьбы, то получится такая картина.

Из трёх называемых в различных источниках годов рождения Михаила Парамоновича (иногда указывается другое отчество — Петрович) Юрина (1893, 1895, 1905) наиболее вероятным, видимо, является 1895-й, указанный в упомянутом выше словаре «Писатели современной эпохи», основанном на анкетах и текстах, предоставленных самими писателями.

Раннее сиротство («Родственников чувств не понимаю. Рос сиротой...») — напишет он однажды).

Боль матерей ничем нельзя объять:
Ни звуком строк, ни тёплой лаской слова.
Как тяжело, что с детства у меня
Нет ни отца, ни матери, ни крова...

«До 14 лет жил в деревне, был пастухом...» Затем — скитания, тщетные попытки получить хоть какое-то образование; наконец, с саратовских просторов, где он появился на свет, жизнь забрасывает его на нефтяные промыслы Северного Кавказа, на завод «Молот», где он работает до 1918 года: «Жизнь люблю за то, что она с детства приучила меня к борьбе, а Кавказ люблю за солнце, за яркие краски, за пестроту народностей и за мягкую песенную радость...»

Потом Поволжье, Самара и снова — Кавказ и Закавказье: Тифлис, Баку. Комсомол, первые стихи и первые сборники: «Целую ночь бьюсь над строчкой, не зная, с чего начать и чем кончить, а утром читаю рабочим что-то похожее на стихи...»

Несмотря на небольшой собственный стихотворный опыт, он начинает руководить

литературными объединениями местной рабочей молодёжи, издаёт вместе с «комсомольской братвой» журнал «Красные всходы». Запомнился добрый совет прозаика Александра Неверова: «Стихи у тебя плохие... Нужно учиться и больше читать... Может быть, что-нибудь выйдет...» В Тифлисе, потом в Баку, где работал с «литературным бакинским молодняком», а потом и в Москве, куда он в середине двадцатых несколько раз перебирался для работы в молодёжных журналах, — начались его «крепкие знакомства» с молодыми литературными деятелями той поры — М. Светловым, А. Жаровым, М. Голлодом, А. Фадеевым, И. Молчановым (автором текста песни «Прокати нас, Петруша, на тракторе...»), Н. Кузнецовым (рано ушедшим из жизни рабочим поэтом)...

Но потом, спустя годы, чаще всего он будет возвращаться памятью к знакомству с Маяковским («... с Маяковским приходилось встречаться уже очень часто») и — Есениным. Вот и вновь возникают в нашем цикле эти ой какие непростые имена...

В фонде М. П. Юрина в РГАЛИ хранится несколько вариантов воспоминаний о его встречах с Маяковским — писались в тридцатые, ранние сороковые, поздние сороковые, потом — в ранние и поздние пятидесятые годы. Варианты, варианты — меняются времена, перерабатываются воспоминания...

Знакомство и встречи Михаила Юрина с Сергеем Есениным относятся в основном к легендарным, «почти болдинским» есенинским месяцам 1924-го, а затем 1925 годов, когда великий поэт несколько раз бывал и жил в Тифлисе и Баку, когда рождались его гениальные «Персидские мотивы», когда напоминал он своим собратьям-писателям:

Быть поэтом — это значит то же,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие души...

Но руководитель тифлисского литературного журнала Михаил Юрин не решается опубликовать предложенные ему Есениным (практически — за бесценок) стихи.

« — Возьми для своего журнала.

Я подошёл к столу. На столе лежало в рукописях несколько стихов, очевидно, свежих ещё.

Не трогая рукописи, я прочитал первое стихотворение:

Улеглась моя бывлая рана,
Пьяный бред не гложет сердце мне.
Синими цветами Тегерана
Я лечу их нынче в чайхане...

*В 1924 году, в наших условиях, в органе Зак-
крайкома РКСМ. в комсомольском журнале —
и вдруг стихи поэта-скандалиста, вдруг:*

*Синими цветами Тегерана
Я лечу их нынче в чайхане...»*

Зато сам Юрин по просьбе «поэта-скандалиста» прочитал ему свои собственные строчки.

Понравилось Есенину стихотворение комсомольского поэта, посвящённое А.С.Пушкину, которое он потом называл своим у Юрина «любимым»:

*«...Мой век — не тот, к чему таить,
Покрой есенинский мне узок...
...И вот теперь за махом мах
Беру и громче, и смелее,
Но я пою о наших днях,
Как умирали на полях,
Цветущий возраст не жалея...»*

Ему, очевидно, очень понравилась такая дерзость, потому что всё стихотворение он прослушал с большим вниманием. Мы даже прошли редакцию, и когда я кончил читать, Есенин как-то особенно живо отозвался:

— Хорошие стихи, только длинноваты... Поработайте над ними...

Я смотрел ему прямо в рот, молча соглашаясь с ним, а у самого в голове вертелось: „Как бы это побольше выудить от него“...»

«Я уважал и любил его», — напишет потом Михаил Юрин:

*И в золотые вечера
Всё так ли бродит шум весенний?
Слышал я, будто бы вчера
У вас повесился Есенин...
Какой позор! Какой изъян!
Тоска немая сердце гложет.
Я, может быть, пришло, друзья.
Стихи о солнечном Серёже...*

Этими стихами Юрина, написанными после получения известия о гибели поэта, завершается его рассказ о встречах с Есениным в «Записках подававшего надежды».

Необычное название у этого рассказа о себе. Полное иронии по отношению к судьбе, горьковатое. Пророческое?.. В 1930-м ему исполнилось тридцать пять, середина жизни. Что впереди?

Впереди — трудные для всех поэтов тридцатые годы.

Сборники его поэтических сочинений после «Стихов о Кавказе» (1931) больше не выходят. Последние выпущенные им в тридцатых книги носят скорее, если так можно выразиться,

прикладной характер. Как и его современник Вивиан Итин (и как современные ему большие поэты — в переводы), Юрин из поэзии уходит в документальную и производственную прозу: «Литературный кружок на предприятии» (1930), «Наступление на море [Засыпка Биби-Эйбатской бухты на Каспийском море]» (1932), «Тюрчанка в художественной литературе [Микрофонные материалы для радиовещания]» (1935).

На Первый съезд советских писателей он не попадает.

Судя по описям документов из его фонда в РГАЛИ, середина тридцатых будет каким-то образом связана у него с Таджикистаном, где в 1932–1934 годах создавался республиканский Союз писателей. Работа М.Юрина, вероятно, носила временный и организационно-технический характер: сохранились относящиеся к СП Таджикистана докладные записки, планы работы, сметы, проекты писем и заявлений, учебные материалы для молодых литераторов.

Да, «время стихов и маёвок» прошло:

*...В лесной весенней рани
Вдруг выстрел прозвучал.
«Здесь не было собраний!» —
Кустарник отвечал.*

*Казачьи пули метки —
За правду мстят враги.
Берёзовые ветки
Шептали мне: «Беги!»*

*Мы торопились,
кто куда мог,
Листья кружились
у наших ног.
Чашу лесную
режет тропа.
В зелень густую
кто-то упал.
Думали силой
нас захлестнуть.
В сердце хранили мы
нашу весну.*

*И дней мелькнуло много,
И много было встреч,
Но ветерка лесного
Поныне помню речь.*

(«Маёвка», 1929)

Некоторое время он работает заместителем ответственного редактора в инициированном М.Горьким журнале «Колхозник» (в том самом, где до своего ареста работал последние месяцы своей жизни Владимир Зазубрин). Но летом 1939 года журнал этот, бывший своего рода

укромной нишей для сошедших с магистральной писательской дороги литераторов, перестает выходить.

«6 июля 1939 г.» — эта дата обозначена под стихотворением Михаила Юрина в «Красноярском альманахе». Точная дата написания этого фактически лёгкого стихотворного как бы экспромта?.. Датировка писем красноярских литераторов даёт возможность предположить, что в те дни и состоялось первое его знакомство со старинным городом в сибирской провинции, с которым будет потом связана не на один год его судьба. С городом не простым: «Здесь в часы уныния, упадка большевистский поднимался клич. Здесь живя, готовил к жарким схваткам армию народную Ильич...»

Одно из встречающихся в материалах о Юрине объяснений причин переезда когда-то не последнего из столичных литературных деятелей в глубокую провинцию — творческая командировка в северные районы края. Объяснение — не хуже других, из таких «творческих командировок», собственно, состояла и его жизнь, да и жизнь многих его товарищей по перу.

Как свидетельствует переписка красноярских литераторов, он познакомился со стихами красноярских авторов и даже выразил желание написать статью об их творчестве после отбытия из Красноярска в Игарку. Афанасий Шадрин пишет Сергею Сартакову в августе 1939 года: приехал М.Юрин разыскивать потерявшиеся по дороге вещи, а общественность Красноярска думает добиться для него квартиры и оставить редактором художественной литературы в издательстве.

Но — не срастается. Да и мнения писателей о «московском госте» начинают разниться между собой. Кто-то отмечает ум и хватку недавнего москвича, кто-то в нём как в писателе разочаровывается.

Стихотворение в «Красноярском альманахе» заканчивалось строчками о вожде и о знаменитом месте его ссылки:

И отсюда Ленин с молодёжью
Видел мира старого закат.
Сталин, по тайге и бездорожью,
Шёл из Туруханска в Петроград.

Плохо грела рыба душегрейка,
Путь-дорога зла и далека.
Провожала ласково Курейка
Друга своего, большевика.

А теперь, в середине 1939 года, Курейка встречала нового директора Дома-музея И. В. Сталина — Михаила Парамоновича Юрина.

Годы его директорства (с перерывом на участие в войне — в 1941–1942 (?) годах, с последующим

комиссованием по состоянию здоровья) были для музея очень плодотворны (на некоторое время Юрин будет исполнять и обязанности директора туруханских музеев Я. Свердлова и С. Спандаряна).

Как указывают авторы публикаций об истории северных музеев нашего края, музей в Курейке, в домике сирот Перепрыгинных (в котором жил Сталин большую часть ссылки), был открыт 7 ноября 1938 года, но поначалу прозябал без экспонатов и посетителей. «Здание было ветхим. Домик стоял всего в двадцати метрах от берега, ежегодно вблизи размывало яр». К 1939–1940 годам норильчанами был установлен частичный деревянный футляр над домом, стараниями директора было собрано двести десять экспонатов, отражающих жизнь Сталина в ссылке: мебель, предметы быта, охоты и рыбалки. (И «большинство из них — изготовлены собственноручно директором»). Именно Юрину принадлежала, по мнению исследователей, и знаменитая инициатива обязательных экскурсионных остановок всех идущих мимо Курейки енисейских пароходов — «и уже в 1940 г. музей посетили 4698 человек (в 1939 г. — 732)».

Главное же — бывшим поэтом была проведена системная работа по сбору и обработке информации о пребывании вождя в Курейке. В сохранившихся документах указывается на установление им «точных сроков сталинской ссылки», на записанные лично «рассказы и беседы местных жителей о жизни товарища Сталина в Курейке». Собранные Юриным материалы будут, как считают краеведы, использованы для книги «И. В. Сталин в сибирской ссылке», которую выпустит в 1942 году Красноярское книжное издательство (составителем будет обозначен известный российский историк тех лет М. А. Москалёв, автор ряда публикаций по биографии вождя, а ответственным редактором — секретарь Красноярского крайкома ВКП (б) К. У. Черненко).

Собственные же сборники воспоминаний и рассказов «жителей Енисейского Севера о т. Сталине», которые будет пытаться потом составить М.Юрин, останутся в рукописях, осевших затем в архиве.

Середина сороковых для Юрина — время редких стихов, частых очерков на патриотические и производственные темы, публиковавшихся в местной прессе, а также двух написанных им книг о красноярцах — героях войны, которые выйдут в 1944–1945 годах в Красноярском издательстве.

Потом наступят конец сороковых и начало пятидесятых годов. Опись фондов Юрина в РГАЛИ зафиксировала его попытки вернуться в столицу и закрепиться в ней; здесь — переписка

по вопросам работы, быта и пенсии с партийно-литературными функционерами, знакомыми по прежним временам (Фадеевым, Серафимовичем, Сафроновым); здесь же — следы собирания Юриным бесконечных справок и характеристик. И ещё это время — время отказов в публикации рассылаемых им в редакции и издательства произведений: среди его адресатов — «Комсомольская правда», «Детгиз», «Знамя», «Новый мир», «Известия», «Бакинский рабочий», «Нева»...

Академическую пенсию ему всё-таки назначат и окажут материальную помощь — в 1947-м, в Союз писателей примут — в послесталинском 1956-м, а в 1957 году в Саратове выйдет единственная его после 1932 года небольшая (сорок страниц, тираж 3000 экземпляров) книга стихов «Моё родное».

«Большая поэтическая взволнованность характерна для стихов Михаила Юрина, рабочего — поэта и прозаика, автора нескольких стихов и известных „Записок подававшего надежды“. Стихи Юрина о Закавказье, о Баку, о комсомолиш, об освобождённой восточной женщине — темпераментные и яркие стихи,

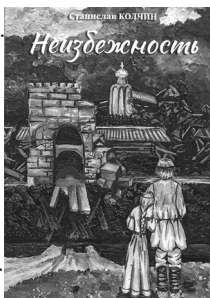
входящие в основной фонд пролетарской поэзии и популярные в рабочих аудиториях», — так писала о нём «Правда Саратовского края» в ноябре 1934 года в статье «На путях к социалистическому реализму» (за два месяца до этой публикации только-только закончился тот самый Первый писательский съезд...).

И ещё одна цитата в завершение рассказа об этой подававшей «большие надежды» судьбе. В 1957 году, готовя для долгожданной итоговой публикации свои стихи, он последние строчки своего «красноярского» стихотворения (те самые, в которых прежде Курейка «ласково провожала» из ссылки вождя) переписал:

...Нежностью обласкан всенародной,
Сторожит преддверие морей
Город мой, простой и благородный, —
Сын великой Родины моей!

Другими, обновлёнными стихами, кажется, не стали. Но дело опять же, наверное, не в стихах, а в судьбе. Которую не выбирают и которую вдруг однажды переписать — нельзя...

ДиН РЕВЮ



Станислав Колчин

Неизбежность

Калуга: ип Стрельцов И. А. (Издательство «Эйдос»), 2023.

В книгу «Неизбежность» вошла патриотическая, философская и любовная лирика Станислава Колчина за 2015–2023 гг., верлибры, переводы на белорусский язык, цикл стихотворений о сакральных и исторически значимых местах — «Знаковые места России». Также в сборнике представлено культурологическое эссе о новом литературном направлении — «Эпоха традиционного модернизма», доклад для II Всероссийской научно-практической конференции по литературно-творческой

педагогике в Челябинске в 2022 году — «Цели и задачи литературной работы» и статья, которая является своеобразным авторским послесловием — «О традиционных модернистских приёмах в авторской системе шифрования образов».

Книга издана на средства государственной стипендии Министерства культуры РФ по рекомендации Российского союза профессиональных литераторов.

Владимир Алейников

Силуэты и тени

Силуэты и тени. Люди — те, кто живы, и те, кого нет на свете, но для меня все они, безусловно, живы, пусть и в памяти, потому что живо то, что создано ими, и останется это надолго, а возможно, и навсегда. И над каждым из них восходит в небесах, неизменно ясных, а поэтому и прекрасных, и сияет его звезда.

Силуэты и тени. Звук, очертивший незримый круг, ставший музыкою земной, той, что рядом всегда со мной.

Силуэты и тени. Свет, из далёких пришедший лет на страницы мои, чтоб вновь закипала, как прежде, кровь.

Силуэты и тени. Лад, выше башен и всех оград, крепче стен и мостов, сильнее всех настоящих минувших дней.

Кто откликнется мне теперь?

Не закрыта для встречи дверь.

И распахнуто вновь окно.

Что же было — тогда, давно?

Что же стало родным почти?

Всё, что смысл обрело в пути.

Из пространства — сквозь время — весть.

Всё, что было, — и всё, что есть.

Генрих Сапгир. Поэт.

Конечно, авангардист.

Другого такого — нет.

Упитан был и речист.

Когда-то — был нищ и худ.

Потом — раздобыл. Усы

отпустил. В нём и кайф, и труд

сочетались — во все часы,

все дни и все годы. Писал

для детей и для взрослых. Жил —

широко. Цену слову — знал.

Со всей богемой — дружил.

Напоказ — не тужил ни о чём.

То скрытен был, то открыт.

Характер здесь — ни при чём.

Причиною — строй и быт.

Дети его — любили.

Взрослые — тоже любили.

Дети у Генриха — были.

Друзья среди взрослых — были.

Много было друзей у Сапгира.

Не вмещала всех их квартира.

Не вмещала всех их — Москва.

Вся страна — вмещала едва.

Может быть, и не все, на поверку,

были друзьями.

Были, скорее, приятелями. Товарищами.

Большинство.

Но со всеми Генрих общался. Пусть

разбираются сами.

Кто из них друг? Не важно. Важно —

что любят его.

Ценят его. Понимают.

Стараются понимать.

Всех Сапгир — принимает.

Всех идёт — обнимать.

Всех Сапгир — приветчает.

Всех угощает вновь.

Всё Сапгир — примечает.

Вот вам и вся любовь.

Обиды — не забывает.

Делает вид — что забыл.

От людей — ничего не скрывает.

Ну, пьёт. Но и раньше — пил.

Ну, гуляет. И раньше — гулял.

Безобразничать, правда, не любит.

Лишь души он — не оголял.

Знал, что это порою — губит.

Душу он от людей — берёт.

Сердце — вот оно, нараспашку!

Мог он друга спасти — видит Бог.

Неимущим — отдать рубашку.

Жил свободно. Прощал долги.

В ресторанах кутил, бывало.

С пьяных глаз не видел ни зги.

Мгла его с головой скрывала.

Протрезвев — он работал. Был

он рабочей лошадкой. Хваткой.

Ничего, что гулял и пил.

Временами — грустил. Украдкой.

Но старался, навеселе,

не хандрить, завязать с тоскою.

Был он — гостем. На всей земле.

Мир был — вечной чистой доскою.

Был — хозяином. На пирах.

Был он в центре любых компаний.

Всюду помнил он — о дарах.

Избегал он всегда — страданий.

Жизнь есть праздник. А может, сон?
 Жизнь есть радость. А может, сказка?
 Размышлял и об этом он.
 Находилась всегда подсказка.
 Жизнь — удача? Зелёный свет?
 Жизнь — кошмар? Или всё же — чудо?
 Жаждал чуда он. Был — поэт.
 И стихи он читал — повсюду.
 Где бы ни был он. Пусть — Париж.
 Пусть — Москва. Сингапур? Годится.
 В небесах он летал, как стриж.
 Всем хотел он впрок насладиться.
 Всё — впитать в себя. Всё — постичь.
 Шелест листьев. Маразм барака.
 Всюду некий он чуял клич.
 Скорпион был — по зодиаку.
 Мог за тридцать он земель
 оказаться, под настроенье.
 А ещё любил — Коктебель.
 Здесь ждало его — вдохновенье.
 Море пело ему: живи!
 Окрылённый, он вторил морю.
 Жил он — искренне. Жил — в любви.
 И — с судьбой никогда не споря.
 Всё сложилось само собой.
 Утряслось. Устоялось как-то.
 Был доволен Сапгир — судьбой.
 Знал он должную цену — факту.
 Не метался, как все вокруг.
 Шёл, упрямо, неспешно, — к цели.
 Был Сапгир — настоящий друг.
 И остался таким — доселе.
 Пусть и в памяти. В книгах. Пусть.
 Это — важно. И это — много.
 Я твержу стихи — наизусть.
 И судить не берусь я строго.
 Ни о нём самом. Ни о том,
 что написано им. Не надо
 забывать на месте пустом,
 сколь был сложен выход из ада
 к свету райскому. Генрих — чист.
 И душою, и сердцем. То-то
 улыбается он, артист, —
 знать, опять приберёт щедроты
 для людей — там, где он сейчас
 пребывает. Но где — не знаю.
 И его — уж в который раз —
 не случайно — я вспоминаю.
 Для детей — сочинял он пьесы для театра
 кукол. Сценарии для мультфильмов, оригиналь-
 ные. То есть был ещё и драматургом.

Переводил стихи и сказки Овсея Дриза.

Издавал, в огромном количестве, регулярно,
 из года в год, книги детских своих стихов, по-
 пулярных, доселе читаемых.

Творчество же для взрослых сапгировское —
 статья не из простых, особая.

Был довольно известным в богеме самизда-
 товским давним автором.

Познакомился с ним я осенью шестьдесят
 четвёртого года. И тогда же мы подружились.

Жил Генрих тогда на улице, название коей ни-
 как не вспомню, неподалёку от шумной улицы
 Горького, в сторонке, на тихой улице, ответвляю-
 щейся от центральной вправо, если идти пешком
 от площади Маяковского к Белорусскому, встарь
 воспетому Пастернаком в стихах, вокзалу.

Там, в доме, ничем решительно в то время не
 примечательном, в заурядной, типично москов-
 ской, коммунальной советской квартире, была
 у него своя комната.

В этой комнате регулярно собирались в далё-
 кие годы весьма интересные люди.

Вся компания лианозовская — ученики Евге-
 ния Леонидовича Кропивницкого.

И прочие. В основном сапгировские приятели.

Но заходили и другие.

Здесь читали стихи. Постоянно.

Спорили — так, для проформы, далеко не все-
 гда, иногда.

Выпивали — в охотку, частенько.

Просто так собирались порой — вечерок ско-
 ротать, покалякать, хоть немного всем вместе
 побыть.

Здесь висели картины: Рабин, Кропивниц-
 кие — и остальные художники авангардные, ле-
 вые, полуподпольные.

Здесь Сапгир писал свои пьесы.

Черновики этих пьес, чтобы комнату не за-
 хламлять, он выбрасывал в туалет — солидные
 пачки бумаги с машинописью, густо правлен-
 ной лёгкой рукою поэта, всегда находились там
 и всеми гостями использовались обычно по на-
 значению.

Генрих был всегда при деньгах.

Зарабатывал он хорошо.

Всё складывалось у него, в смысле заработ-
 ков, удачно.

Был он всегда востребован.

Был любим — как детский поэт, уважаем
 в московских издательствах, выпускающих
 в свет его книги.

В мире кино и театра относились к нему
 с симпатией.

Вполне устроенный в жизни, мог он вполне
 позволить себе после трудов праведных рассла-
 биться, погулять.

Частенько был под хмельком.

Нередко — попросту пьяным.

Ещё без усов знаменитых, уже не худой,
 а полнеющий, вальяжный, можно сказать,
 сидел он в центре компании, внимающей ве-
 черами ему, вдохновенно читающему стихи
 свои, новые, свежие, — а по просьбе гостей —
 и старые.

Читать на публике он любил. И умел это делать.

Наверняка сохранились магнитофонные записи.

Читал он в своей манере, темпераментно, артистично. Наблюдал за реакцией слушателей.

Очень любил, когда все его тут же хвалили.

Произношение было у него весьма характерное, этакое французистое.

Использовал он всевозможные речевые эффекты, любил вовремя, с толком расставленные там, где надо, акценты и паузы.

Всем известное:

— Взрыв!.. Жив...

Или:

— Как маш, как маш, и на, и на, и на!.. Как машина!.. —

это из книги «Люстихи», из любовной его лирики.

Ревновал, случалось, к другим современным друзьям-поэтам.

К Бродскому, например.

Говорил иногда:

— Это надо же, какая, с такой скучищей в некоторых его поэмищах, под которые, при его, Иосифа, чтении, преспокойно выспаться можно, и проснуться, и ровным счётом ничего ведь не потерять, у него широкая слава!

Целых тридцать пять лет Сапгир, непрерывно, то больше, то меньше, — всё зависело от настроения и от выпитого накануне и с утра ещё не поправленного, или вовремя, с чувством, с толком, с расстановкой, как говорится, с удовольствием явным выпитого, потому и определившего превосходное настроение на весь день, уж точно до вечера, чтобы вечером подкрепиться новой выпивкой, ставшей поводом для хорошего настроения, для душевных бесед, после чтения или слушания стихов, с интересом, всё возрастающим, то ли к выпивке, то ли к поэзии, да не всё ли равно, если был он в дни любые, в любых состояниях, неизменно, самим собой, а вот это и важно в поэте настоящем, а он был всё-таки настоящим, я это знаю лучше многих, поверьте на слово мне сейчас, — ревновал ко мне.

Но и тянулся ко мне, открыто, искренне, сам.

Ему интересно было со мной. Да и мне интересно.

Мы дружили, можно сказать.

Он ценил меня, уважал, выделял всегда — как поэта.

По-дружески, по-человечески — даже любил, пожалуй.

Был долгий, славный период, лет пятнадцать подряд, наверное, когда мы с ним, лишь за вычетом отъездов моих из столицы, виделись постоянно.

Помню, в пору моих бездомниц, долгим, с выпивкой, с чтением нами обоими наших тогдашних стихов, согревших сердца и души людей богемных,

шумным дружеским вечером, в семьдесят четвёртом году, зимой, на вопрос лобовой одной приютившей меня у себя в коммунальной квартире дамы обо мне, к теплу и уюту привыкающем:

— Он талантливый? — Генрих, вытащив для порядка в коридор её, негромко, но зато по-сапгировски пылко, убедительно, так, что я, находившийся в комнате, слышал слова его, прозвучавшие для этой дамы приказом, руководством к действию или, вполне возможно, заветом, всё годилось тогда, сказал ей:

— По-моему — очень талантливый!

И дама, очень ценившая личное мнение Генриха, отнеслась ко мне с максимальной нежностью и заботливостью.

Генрих был по-своему добрым человеком. В меру, но был.

Помогал друзьям. Привыкал к ним.

Жизнь его долго делилась на две неравные части.

Первая часть, поменьше, считанные часы, — работа, необходимая, вынужденная, для заработка.

Вторая, значительно больше, — для сочинения собственных стихов, для общения бурного с людьми, ему симпатичными.

Юмор всегда был при нём и нередко его выручал.

Изредка, временами, Генрих бывал и грустным.

Почти всегда — заводным, хмельным, живым, увлекающимся.

И столько было в его поведении от игры, что становилось понятно, почему он умеет писать для детей, — потому что это было ему дано! — и этот вот игровой, немаловажный, момент, присутствие увлекательной, интересной, полезной игры, всегда, совершенно во всём, в чём принимал он участие, где находился тогда, выпивал, разговаривал с кем-то, читал кому-то стихи, — настраивал обычно на хороший лад, неизменно привлекал внимание, втягивал в общую, вдруг разросшуюся игру, — да, именно так.

С ним было мне легко. Легче намного, нежели с другими друзьями богемными.

Солидная разница в возрасте — почти восемнадцать лет — как-то не ощущалась.

Он любил мои ранние книги — за их новизну, как потом, целыми десятилетиями, не забывал он подчёркивать.

Думаю, прежде всего за то, что стихи эти были по-своему авангардными.

Когда манера письма у меня постепенно стала более традиционной — только внешне, для всех подчеркну, и более, нежели в ранних вещах, глубокой и сложной — внутри, в структуре самой, в особого рода образности, в синтезе, в полифоничности зрелых моих вещей, — Генрих воспринимал их уже с натугой, не сразу, и не всё до него доходило.

А может быть, да, конечно, и это скорее всего, просто сказывалась давнишняя привычка, даже инерция, встарь ещё укоренившаяся в нём: авангард, и только.

Ревновал. Почему? Потому что сам он так не писал.

Поглядывал вроде бы издали — со своего привычного, рабочего, личного поля — на моё, рабочее, личное, поле творческой деятельности — и, понимая, что каждому своё, что в работе своей я ушёл далеко вперёд, всё-таки оставался при своём, упрямясь, артачась, продолжая на собственном поле собственные идеи разрабатывать и выращивать свои, по старинке, всходы.

Он всё же немного лукавил. Чего-то недоговаривал.

Авангардист, новатор — любил он поэзию русскую, страстно, преданно, издавна, — в том числе и традиционную внешне, по форме, то есть все лучшие образцы её.

Когда в середине смутных, как бы временных, девяностых, в Коктебеле, зашёл я к нему в комнату, где обитал он, из Москвы приехав, на первом этаже окружённого зеленью корпуса в Доме творчества, увидел я, прямо с порога, сразу же, вовсе не взятые с собою на юг авангардные, как могло бы, наверное, быть у поэта-авангардиста, по его пристрастиям, книги, а лежащие у изголовья, на тумбочке, две, всего-то, и достаточно этого, книги — это были Тютчев и Фет, с собою Генрихом взятые, для души, от большой к ним любви.

Сам же Генрих снова читал мне стихи свои, наинovelейшие, разумеется — сверхавангардные.

Живой человек, живые, меняющиеся пристрастия.

И в период нашего СМОГа был Сапгир неизменно живым, да ещё каким ведь живым, всех живее вокруг, человеком!

Относился к тому, что мы делали, вовсе не с любопытством, божественным, недолгим, временным, и не просто с малозначительным, поверхностным интересом, но более чем внимательно.

Думаю, нас, тогда совсем ещё молодых, он всё-таки понимал.

По крайней мере, двоих поэтов — меня и Губанова.

Остальные смогисты для Генриха — были уже потом. После нас. Интерес к ним брезжил в отдаленье — и угасал. Почему? До сих пор не знаю. Но — догадываюсь: по причине их ненужности — для Сапгира. И — его авангардного мира.

С Губановым вскоре Сапгиру общаться стало непросто — из-за Лёниной непредсказуемости.

Он предпочёл общаться со мной, человеком воспитанным.

И — привык постепенно ко мне.

И я к нему — тоже привык.

Старший друг. Важно было мне знать: есть у меня такой вот хороший, надёжный друг.

Мы с ним как-то разумно, сразу же, не сговариваясь ни о чём, распределили наши личные сферы влияния и области наших личных творческих интересов.

У меня всё было — своё, у него всё было — своё.

Даже в бедах один к другому в душу мы сроду не лезли.

Проявляли всегда деликатность.

Понимали оба отчётливо: почему-то, волею судьбы, не иначе, так получалось, в этой жизни, с её кошмарами чередой, мы друг другу — нужны.

Свои новые тексты всегда Генрих читал мне первому.

Разыскивал специально меня, в период бездомий моих, приезжал туда, где временно я обитал, стихи мне читал — и жаждал поскорее узнать моё мнение о новых своих сочинениях.

Приезжал и в квартиры мои, до и после моих скитаний.

Приезжал, потому что считал: есть у меня особое ухо, за ухом обычным, то есть слух на стихи — абсолютный.

То, что я говорил ему о стихах его, с глазу на глаз, Генрих крепко запоминал.

Сам я читал стихи свои с годами ему — всё реже.

Предпочитал дарить книги свои самиздатовские, чтобы Генрих, в домашних условиях, тексты читал с листа.

Я ещё напишу о Сапгире в других частях своей серии книг о былой эпохе «Отзывчивая среда».

А пока что — вижу его, поэта, в шестидесятых.

Вот он, в возрасте вроде бы зрелом, но достаточно молодым ещё, года за три до сорока, душа развесёлой компании, среди картин, бутылок, рукописей и книг, в окружении чутко внимающих ему, своему поэту, восторженных, вдохновенных, в меру хмельных людей крылатых шестидесятых, — вот он, стихи читающий, весь — в голосе ясном своём, в этих пружинных вибрациях, раскатистых интонациях, понижениях бархатистых или вдруг повышениях тона, в чёткой, отточенной дикции, в игровых, заводных переливах звуков, и рой ассонансов, резких ритмических сдвигов, грассирующих перепадов окружает его, человека орфического, как и всех собравшихся здесь гостей, — а за окном коммунальной, прокуренной, тесной комнаты зима, февраль, и в Москве — белый снег и неистовый СМОГ.

Сапгир пострадал из-за СМОГа.

Не приняли мерзопакостные начальники-негодяи Сапгира в союз писателей.

Обозвали Сапгира — фюрером. Не чего-нибудь там, а смогизма.

Каково было это услышать?

Но Генрих не растерялся.

Перешёл в союз драматургов.

Там его с ходу приняли.

Наплевать на советских писателей.

Видели не одни они — видел ещё и Бог, что Генрих душою всею принимал и приветствовал СМОГ.

Игорь Сергеевич Холин.

Высокий, очкастый, костистый.

Может быть, жилистый? Нет.

Плотная, длинная, твёрдая кость — под кожей. Мослы, сухожилия.

Очки — тяжёлые. Из-под очков — трезвый, холодный, колючий, иногда ещё и насмешливый, изредка — добродушный, но всегда — из-под стёкол, из-под прикрытия, как из укрытия, как на фронте, как при опасности, всегда начеку, всегда, по сигналу тревоги, поднятый в ружьё, всегда в карауле, всегда — есть! — наизготовку, в случае необходимости сразу же мобилизованный, без надобности — обычно сроду не возникающий, сам себе дающий отбой, сам себя ровно в срок пробуждающий, цепкий, бывалый, тёртый, много чего кому-нибудь вроде бы и говорящий, но всё же предпочитающий невозмутимо помалкивать, жёсткий, плотно закрытый от слишком уж любопытных, в присутствии странном своём неизменно, что делать — привычка, где-нибудь постоянно отсутствующий, чтобы если уж появиться, то внезапно, застать всех врасплох, сложный, седой, аскетический, чуть подёрнутый влагой, талый, принимаемый всеми как данность, страшноватый, как у анатома, наблюдательный, как у разведчика, бьющий в цель без промаха взгляд.

Еле-еле, как стебелёк сквозь асфальт под ногами прохожих, пробивающаяся улыбочка на сухих, поджатых упруго, как у пастора протестантского, раскрывающихся иногда — лишь для короткой фразы, для дельного замечания, для мудрого изречения, для житейского поучения, но больше, так уж сложилось, существующих — для молчания, для резко, сознательно суженного речевого, впритык, пространства, в котором, увы, и единственному слову-то тесновато, не то что внезапно явленному целому монологу, вырезанных грубовато, зримо, просто, как на игрушках деревянных, продукции наших российских народных промыслов, без особых затей и без лишних, никому не нужных примет, на висячий замок невидимый зачастую закрытых губах.

Руки — длинные.

Ноги — крупные.

Шаг — широкий, устойчивый, твёрдый.

Походка — не то чтобы лёгкая, не спортивная, но молодая какая-то, не зависящая ни в коем разе от возраста.

Повадки — сплошные загадки, зачастую без всякой отгадки, повадки — штрихи к портрету человека без тени, прошедшего немалую школу жизненную.

Да так ведь оно и было.

И никуда не сплыло.

Холин — легенда. Богемная.

Военная. И тюремная.

Барачная. Не смешная.

Отечественная. Земная.

Холину — всё дозволено?

— Как, вы не знаете Холина?

Холин — практичность, ясность ума, рассудительность, обстоятельность — во всём, что он делал, что говорил, даже в том, о чём он молчал.

Холин с виду — римский сенатор. Бритое удлинённое лицо, короткая стрижка, выразительная седина.

Холин — сама независимость: как хочу я, так и живу, я вас теперь не трогаю — и вы меня лучше не трогайте, я к вам ни с чем не лезу — и вы ко мне вовсе не лезьте.

Холин — острое лезвие, зажатое крепко в руке, протянутой для приветствия.

Но Холин — ещё и гостинец, протянутый в этой же самой, уже раскрытой, широкой ладонью кверху, руке.

Загадочный человек.

Многими — так и не понятый.

Таинственный. В окружении сплетен и вечных баек.

Из окружения этого выходил он — во всеоружии, то есть был он вооружён до зубов — своими стихами. А позже — и прозой своей.

Его уважали. Побавались.

Не любили — так откровенно.

Любили — так убеждённо.

Выделяли — везде и всегда.

Никому он себя не навязывал.

Был — собою. И это — главное.

Это было мне в нём — интересным.

Привлекало. Давало повод не единожды для размышлений. Мы общались довольно тесно, пусть не так, день за днём, год за годом, в лабиринтах бесчаша, часто, как с Сапгиром, но всё же частенько.

Доброе наше знакомство с Холиным длилось тоже тридцать пять долгих лет, как и с Генрихом.

Одновременно почти, в шестьдесят четвёртом году, с ними обоими я, тогда молодой, познакомился.

Одновременно почти, вначале, первым, в июне девяносто девятого, Холин, а потом, через несколько месяцев, осенью, вслед за другом своим, и Сапгир, они умерли.

Оба связаны были учёбой у старика Кропивницкого.

Были тандемом таким дружеским, да и творческим.

Если кто-то встарь говорил: Холин, — то вскорее он же говорил непременно: Сапгир.

Если звучало: Сапгир, — то далее было: Холин.

Были они по всем, как говорится, статьям не похожими друг на друга, но всё-таки соединёнными общей судьбою, наверное, чем-то свыше, той силой, которая выбирает пути людские, избирает из общей массы людской, временами, лишь некоторых и сталкивает их вдруг, сознательно их сближает, одаривает их дружбой, общими интересами, оставляя при этом их личностями полностью самостоятельными, по причине их проживания в России — поэтами русскими, по причине их принадлежности к авангарду — в достаточной степени интернациональными, так я считаю, ведь авангард иногда стирает черты национальные, творчеству придавая некую странную планетарность, что ли, приемлемость в разных странах подлунного мира, — были оба они людьми, о которых можно сказать куда ёмче и проще, по-русски, по-простому: кремень и кресало.

Они высекали — огонь.

В их конкретном случае — творческий.

Холин ко мне был внимателен, ещё со смогистских времён и до последних своих лет, когда изредка с ним виделись мы в ПЕН-клубе, иногда на общем собрании, иногда на предновогоднем вечере, мероприятиях не больно-то интересных и, в общем, невразумительных.

Он и в старости, надо заметить, держался всегда молодцом.

А в шестидесятых годах, ещё до своих пятидесяти, когда мы общались с ним в гуще событий, чтений, посиделок во всяких салонах, хождений по мастерским, встреч почти деловых и приятельских, был он в полной силе своей, был вполне на месте в столице, — и только молва разносила: «А знаете, Холин сказал»; «А слышали, Холин опять написал такое, что просто...» И вмиг — ветерок с говорком кулуарным, непредсказуемым, со смешком, с хохотом, с юморком, с посошком скороспелого слуха полетел по Москве: шу-шу-шу! — с любопытством, с живым интересом, — поскорее узнать бы, когда и где он читать вознамерится свою новую, клёвую вещь!

— Как, вы не знаете Холина?

Да, вы его не знаете.

Всех он ещё удивит!..

И — удивлял. Озадачивал. Огораживал даже, бывало.

Давал по башке. Мозги встряхивал. Поражал.

Холин — чуть ли не монстр? Да что вы?!

Холин — мэтр? Постарайтесь сами разобраться.

На то он и Холин, чтоб о нём вспоминать иногда.

Слышу голос его негромкий.

Пусть расслышат его потомки.

Озадачаться?

Удивятся?

Разберутся?

Не без труда.

А вот и ещё один Генрих. Поэт. Но уже — Худяков.

Человек деликатный, задумчивый, внутри себя долго живущий, глядящий меланхолически сквозь время, будто заглядывающий за некую, только ему и видимую, черту, присутствующий где-нибудь — неизменно, всегда отсутствуя, отсутствующий — присутствуя, ну точно, да вот он, смотрите-ка, находясь где-то близко, вот здесь, в поле зрения вашего, рядышком, ан нет, показалось просто, и нет его — но он и есть, человек высокого роста, длиннолицый, спокойный, сдержанный, тихий, тихоня, казалось бы всякому, — да, это так, но тишина в нём была — пружинистая, с фантазией, и отдалённость от всех была, скорее всего, защитой мечты, или — тайны, или — страсти, допустим — к прекрасным путешествиям в области слов, превращаемой в область снов, бормотаний, противоречий, столкновений смыслов и тем, или, может, к иным путешествиям и мечтам, с которыми сжился он, — и входил он в пространство, как парусник, оснащённый жюль-верновской техникой фантастической, впрок, на потом, а порою казался он птицей, а ещё моделью летучей, в небе детства свободно парящей, — таковы и его стихи.

То он записывал их не слева направо, в строку, а сверху вниз, по слогам, вертикальными, с вязью буквенной, чуть извилистыми полосками, иероглифами, по-китайски, то выворачивал их наизнанку, словно рубашку, то разбрасывал, словно брызги дождевые, по крошечным книжечкам, самолично сделанным им, и раздаривал эти книжечки, и на каждой писал: «Автограф».

То из Фроста, а то из Шекспира возникали темы его.

Наив:

— Пойти, что ль, на телёнка посмотреть?

Вопрос, изогнутый ключом:

— Ли быть, ли нет?

Цикл коротких стихов — «Кацавейки».

Что-нибудь ещё — по привычке, в неожиданном, негаданном роде.

С выдумкой вечной сквозь выверт.

Но интересен был он, человек и поэт, мне всегда.

Бывало, говорили мы часами.

О чём? Не ваше дело. Знаем сами.

О том о сём. Устроит вас? Ну, то-то.

Беседы наши были — сплошь щедроты.

Беседы наши были — откровенья.
 Прозренья жили в них и дерзновенья.
 Стихи кружились в них подобно птицам.
 И свет открытий пробежал по лицам.
 Потом решил покинуть он Россию.
 Уйти в пространство новое. В стихию.
 В тепле грядущем руки отогреть.
 Уехать. «На телёнка посмотреть?»
 Не знаю. Но решение в нём — созрело.
 Встряхнуло душу. Птахою запело.
 Призывно. За собою повело.
 Куда? За словом, ищущим число.

Помню, как встретил его на холодной пустынной улице, направляясь в гости к Сапгиру.

Худяков, худющий, задумчивый, измождённый вконец, шёл туда же.

Сказал мне тихо, растерянно:

— Тоска! Хочу выпить — и не с кем. Куплю бутылку сухого, зайду в какой-то подъезд, выпью там. В одиночестве. Сам. Выйду потом из подъезда. И дальше иду куда-то. Всё дальше иду. Куда?..

Году, наверное, в семьдесят четвёртом, случайно, встретил его в запущенном сквере возле Киевского вокзала.

Был он вместе со Львом Халифом, человеком бравым, бывалым, известным, но не стихами, а романом своим «ЦДЛ».

Оказалось, что оба они — вскорости уезжают.

Зашли, поначалу прикинув, где бы нам провести сегодня, на прощанье, часок-другой, все вместе, вина купив, к живущему неподалёку художнику Лёве Дурасову.

Посидели там. Помолчали,

Выпили символически.

Попрощались. Уже навсегда.

Больше я Худякова не видел.

Оказался он, путешественник в дебрях речи родной своей, далеко от Москвы, в Америке.

Жизнь в свободной, но в то же время совершенно чужой стране оказалась вовсе не сладкой. Для него. Получилось — так.

Писал ли там он стихи?

Не знаю. Может — писал.

Пиджаки он там — разрисовывал.

Получались в итоге абстракции.

Худяковские. Неповторимые.

Их можно было носить, но также — на стену повесить, как холсты, и смотреть на них.

Всё-таки — не кацавейки.

В девяностых годах он вроде бы писал уже настоящие, с размахом, с полётом, холсты.

Огромные вещи. Абстракции.

Однажды устроил выставку.

Никто на неё не пришёл.

Как он сейчас живёт — совершенно не представляю.

Чем он занят — в своём далеке, в заграничном, глухом одиночестве?

Здесь, в Москве, где все его знали, был, конечно, он чудачком, но зато и поэтом. Помнит ли, как читал он:

— Ли быть, ли нет?..

Овсей Овсеевич Дриз.

Выглянувший из сказки в кошмарную повседневность седой мечтатель. Поэт.

В безрукавочке меховой сидел себе в уголке на сборищах у Сапгира, вино попивая. Смотрел глазами своими прозрачными — сквозь всех. Но куда? Кто знает!

Сутулился, вдруг собираясь в пушистый тёплый клубок. Волшебную нить вытягивал оттуда. Струною она вдруг становилась. Являлись шагаловские скрипачи, играли. Дриз улыбался.

Метель за окном бушевала.

А здесь все были — свои.

Хорошо, когда люди — рядом.

Особенно в холода.

Уютно. Тепло. Спокойно.

Стихи читают. Вина достаточно. Сварят кофе. Чашечка невесомая, фарфоровая, кузнецовская, в руке — словно птичка. Певчая.

Свеча на столе. Погасшая.

Но можно зажечь. Горит.

Горит, никого не корит.

Горит, о судьбе говорит.

Жёлтое пламя. Чёрная тьма за окном, с седую метельной, серебряной, пепельной.

Дриз чему-то вновь улыбается.

Но чему? Поди догадайся.

Не получится. И не пытайся.

Мечтатель седой. Молчит.

В уголке. В меховой безрукавочке.

Глаза свои щурит прозрачные.

Скрипачи ему что-то наигрывают.

Время тянет волшебную нить из клубка, за окно она тянется, вьётся в небе метельном, теряется в круговерти неведомой, вроде бы возвращается, вьётся над ним.

Дриз глядит на неё. Улыбается, доброй сказкою в мире храним.

Гена Цыферов. Детский писатель.

Тоже — сказочник. Может — волшебник.

Всё могло у нас быть в Империи.

Всё бывало. И Гена — был.

Соавтор Сапгира. Надёжный.

Многолетний. Любимый. Талантливый.

Ценитель ясного слова. Не бунтарь никакой, не оратор.

Супруг огромнейшей дамы по прозвищу Император.

Чей-то ещё — супруг.

Людям славным — преданный друг.

Добрый увалень. Человек высокий, очкастый. Светлый.

Весь — из Моцарта. Прямо из музыки.

Выйдет из дому — словно из древнего родового замка — в жестокую, с пьянью, с нечистой всяческой, явь.

Улыбается — всем и всему. Призадумавшись, молча идёт по московским бульварам, по улицам.

То на солнышко тихо сощурится, то глядит на деревья, то слушает воркование голубей.

Удаляется тихо в пространство. Приближается вдруг из времён явно сказочных к нам — навсегда.

Внимательный к людям. Тактичный.

Со своей оценкою личной.

Классиков. И современников.

Собутыльников. Соплеменников.

Книжки писал хорошие для детей. Выпивал, бывало. Но тогда выпивали — все.

Радовался: поэзии, речи русской, природе, всегда его окружающей, всюду, во всей красе.

Жить бы ему да жить.

По стогам столичным бродить.

Друзьям помогать и знакомым.

Вдохновляться с детства искомым.

Чем же? Чудом. Взглядов. Речей.

Тайным жаром ночных свечей.

Скромным благом еды, питья.

Непостижностью бытия.

Изумрудным плеском листвы.

Благодарностью всей Москвы.

За талант его, весь в цвету.

За внимание. Доброту.

За любовь. Ко всему. Ко всем.

Жил он щедро. И знал — зачем.

А он почему-то — умер.

Сапгиру так его часто, хоть кричи, нет — и всё, не хватало!

Не только соавтор, но — друг.

Причём настоящий. Верный.

Сокрушался Генрих. Страдал.

В Коктебеле, в семидесятом, всё он Цыферова вспоминал. Посмотрит порой на деревья — и сразу же вспоминает, как подойдёт, бывало, Гена Цыферов, чуть подвыпивший, добрый, благостный, нежный, к дереву, обнимет его, приговаривает с любовью:

— Родное моё!..

И — другим деревьям в округе тихо шепчет:

— Родные мои!..

И тихонько, задумавшись, плачет.

И голос у Генриха вздрагивал, и глаза мгновенно влажнели.

Хорошим был человеком Гена Цыферов. Настоящим. Чистым. Искренним. Честным. Высоким.

Весь — из Моцарта.

Может — из света?

В свет — ушёл.

Стал светом весенним.

Согревает и обнимает все деревья в мире истерзанном. Говорит:

— Родные мои!..

Гена Распопов. Скульптор.

Борода густая. Глаза с искорками весёлыми.

Приветливый, добрый, крепкий, размашистый человек.

В мастерской у него, на Добрынинской, собирались мы часто встарь.

Читали стихи. Выпивали. По традиции. В меру. Всегда.

На стене висела, белея то ли снежною белизной, то ли отсветом смутным больничным, гипсовая, похожая на источник света нездешнего, маска Лёни Губанова.

Сам Губанов, живой, говорливый, храбро пил с Распоповым водку.

Приходили гости, рассаживались на расшатанных табуретках. Начинался очередной, всем приятный, московский вечер.

Засиживались допоздна.

Метро было близко, по счастью.

До закрытия — все успевали.

На такси добирались домой в те года только в крайнем случае, да и то — если деньги были.

Через несколько дней, прошедших в суете, в кутерьме столичной и в трудах, — снова шли к Распопову.

Он встречал, он всех приветчал.

Человек уникальный крылатых, невозвратных шестидесятых.

Общение! Вот что было важнейшим тогда для нас.

Поздний свет в окнах кривеньких старенького, со скрипящими половицами, с потолка высокими в трещинах, но с добротными стенами, дома.

Сугробы, ну прямо арктические, огромные, во дворе.

Беседы наши в тепле.

И компания тёплой была.

Хорошей, действительно. Дружной.

Потом Распопов уехал. Куда-то совсем далеко.

В заморские тёплые страны, где птичье пьют молоко.

Где тропики, пальмы, бананы, океанские волны, рай.

Отсюда, увы, не видно, где находится этот край.

Чуть ли не на Таити. Ну что ж, его можно понять.

Уехал — отнюдь не туристом. Работать. Что-то ваять.

Почти как Гоген. Похожей судьба хоть в чём-то была.

Вернулся. В Москве трудился, как прежде. Ну и дела!

Виделись мы всё реже. После воли — какой покой?

Он умер. В душе остался свет в окнах его мастерской.

Ещё один Гена. Геннадий Бессарабский. Отличный скульптор.

Автор памятника Тургеневу — замечательно-го — в Орле.

Я этот памятник видел. Радовался за Гену.

Был он сокурсником Эрнста Неизвестного. Эрнст о нём с уважением и симпатией не единожды вспоминал.

Потом его неожиданно, по неясной какой-то причине, почему-то парализовало. Ноги вдруг у него отнялись.

Прикованный долгие годы к своему инвалидному креслу, оставался он человеком полноценным во всех отношениях.

Страстно любил стихи.

Очень меня выделял из всех. Поддерживал всячески. Бородатый, само собою разумеется, смуглый, с горячими, прямо огненными глазами, очень работоспособный, на редкость умный, воспитанный, добрейший, добрее некуда, страстный, искренний человек.

Мастерская его, на улице Архипова, справа, если идти по улице вниз, рядом с тихой в шестидесятых, в дни безвременья, синагогой.

Длинный стол деревянный, скамьи.

Жарко горящие свечи.

Маша, Генина верная, преданная, чудо просто, и только, жена, удивительная, спокойная, вся светлая, добрая фея, хранительница очага.

И вдохновенный Гена, собиравший нас у себя, живейшее, постоянное участие принимавший в деятельности нашего, легендарного ныне, СМОГа.

Боже мой! Как я помню его!

Как я вижу его сейчас отчётливо, словно здесь он, близко, рядом! Как слышу его хорошо, различая каждое произнесённое им, неспроста, наверное, слово! Как, мне кажется, лишь сейчас я его наконец понимаю!

Почему, почему же в прошедшие чередую густою, быстрою, за смогистской порою, годы, годы бурь, и роста духовного, и невзгод, и надежд, и свершений, всё реже и реже к нему я заглядывал на огонёк, а потом и вовсе, ведь надо же, перестал, чужак, заходить?

Не знаю. Право, не знаю.

Такое святое, чистое, родниковое отношение к поэту, какое было у него, человека мудрого, особенного, ко мне, молодому, — поистине редкость.

Я хранил его образ в душе.

Мысленно с ним беседовал в период бездомии долгих.

Я возил повсюду с собою, как завет его, как талисман, записанные им, Геной, для меня, чтобы помнил об этом, в середине шестидесятых,

в грозовую, безумную пору, чётким почерком, на билете в музей Андрея Рублёва, пушкинские слова:

«Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв, мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв».

Гена был для меня примером человеческой, личной победы над житейскими обстоятельствами жесточайшими, над судьбой.

Был всегда он самим собой.

Был он труженик настоящий.

Взгляд — и ответ свечи горящей.

Голос тихий — и ясный свет.

Слов его. Всех минувших лет.

Всех прозрений. И всех событий.

Свет наитий. И свет открытий.

Свет душевный. И свет сердечный.

Свет негаснущий. Значит — вечный.

Гена был человеком дивным.

Днём с огнём не найти такого на распутье эпох, на стыке двух веков, посреди междувременья.

Гена был мне великим другом.

Был. Я знаю.

Он тоже умер.

Но живёт он — в своих трудах.

Как и прежде, в былых годах.

Но живёт он — в моих речах.

И в стихах моих — при свечах.

Взгляд его — различаю вновь.

Пробегает по жилам кровь.

Слово каждое — как алмаз.

Только слёзы текут из глаз.

Только шурюсь я вдруг на свет.

В нём — спасенье. И смерти — нет.

Через тридцать с лишним прошедших после встреч наших с Геной лет, после дружбы с ним, драгоценной для меня, старый друг мой, Михаил Соколов, передал мне — от Маши, Гениной верной подруги, наперсницы, музы, вдовы, — небольшую, но выразительную, светлую, свет в себе таящую, или творящую, светом внутри говорящую, светом ритма и форм поющую, светом знать о себе дающую, светом память мою озаряющую, светом правды остаться желающую, светом веры ко мне вошедшую, грань забвения перешедшую, чтобы светом сиять и в будущем всей душою и сердцем любящим, белую, словно свет, незамутнённый, чистый, удивительную статуэтку, вылепленную им, Геной, давным-давно, в середине шестидесятых.

Я увидел — себя, стоящего с закинутой головой, вдохновенного, молодого, читающего стихи.

Сразу вспомнил, как Гена хотел мой портрет когда-то лепить.

Он не только меня, поэта, девятнадцатилетнего парня, в ореоле смогистской славы, читающего, изваял.

Он — голос мой изваял.
Выразил звук — в образе.
Образ наполнил — звуком.
Сумел передать — и порыв, и полёт, и восторг,
и транс.

И — молодой мой голос...
Так. Вспоминаются дамы.
Судьбы. События. Драмы.
Темы: самые разные.
Дамы. Значит — прекрасные.

Дина Мухина. Дама поистине удивительная,
особенная, со своим, гармоничным, прекрасным,
от вторжений всяких извне годами оберегаемым,
чистым по-детски, миром, со своею, лишь ей
одной известной, в душе хранимой, словно свет
целительный, тайной.

Художница. Очень талантливая.

Керамикой занималась.

Маленькая, энергичная, с характерным своим
говорком.

Жена знаменитого Эрнста Неизвестного,
скульптора, спорившего когда-то, на выставке
шумной в Манеже, с самим Хрущёвым.

Держалась Дина в тени своего, прошедшего
ужасы войны, решительно вставшего на защиту
искусства свободного в нужный час, отважного
мужа.

В тени этой — было светло.

Источником света была, разумеется, Дина
Мухина.

Эрнст это — понимал.

Свет в тени — принимал.

Были супруги дружны, по-своему. Были счастливы.
По-своему. Были они людьми совершенно
разными. Но держались, во всяком случае, в шестидесятых, — вместе.

Как на войне. Поскольку Москва не фронт,
но порою обстановка в ней, так получалось,
была почти фронтовой.

Рисковали здесь — головой.

Жизнь была здесь всегда — грозовой.

Сложной. Бурной. Сверхнапряжённой.

С чем-то страшным и впрямь сопряжённой.

С чем-то дивным слитной навеки.

Жизнь была — в живом человеке.

Жизнь была — в жизни их четы.

В проявлениях доброты.

В уважении их — друг к другу.

В отношении — к новому кругу.

Ада, что ли? Спросите у Данта.

Жизнь была — развитием таланта.

(Звёздный путь. Нескончаемый дар.

В тёмном небе — светящийся шар.

Круг магический. Коло. Сфера.

Грань. В грядущем — новая эра.)

Дина с Эрнстом были приезжими.

Людьми со взглядами свежими.

На искусство. И на богему.

Как теперь говорится, в тему.

В Москве — прижились, освоились.

Но вовсе не успокоились.

Покой, как известно, лишь снится.

Что делать, если не спится?

Работать. Они — трудились.

Успехов они — добились.

Трудились упорно дальше.

Открыто жили, без фальши.

Всё было у них — честь по чести.

Славно смотрелись — вместе.

Оба они — с Урала.

Что ж, поднимай забрало!

В бой! За правое дело!

Вели себя они — смело.

И особенно — Эрнст. Везде.

Шёл — к победе. К своей звезде.

Воевал. Утверждался. Всюду.

Проходил сквозь преграды. Рос.

Всё в нём было — только всерьёз.

Дина больше стремилась — к чуду.

Помню, как сквозь летящую золотую листву,
сквозь дымку лиловатую над столицей, сквозь
какой-то благостный, тихий, удивительно свет-
лый дождь, за которым хотелось видеть не
строения городские, а волшебную радугу, осе-
нью шестьдесят четвёртого года потащила меня,
вместе с Лёней Губановым, познакомившим
нас, в хороший, наверное, день, потому что чи-
тал я стихи, и стихи мои были приняты, были
поняты, были по сердцу моей новой знакомой,
на прежних непохожей, особенной, это я видел,
Дина к себе домой.

Там, в обычной московской квартире одно-
комнатной, пустоватой, без прикрас, без богем-
ного шика, без художественности ненужной,
артистичности показной, очень скромной, при-
ятной, убранной аккуратно, чистой, спокойной,
почему-то носившей, мне так показалось тогда,
следы недавнего, налетевшего ураганом воен-
ным, разгрома, битвы, что ли, какой-то, ярост-
ной, разразившейся в этом гнезде, неизвестно за-
чем, стояла тишина, и домашний уют, в каждой
вещи, в любом предмете, освещённом спокой-
ным, приветливым, никуда не спешащим светом
из окна, был столь очевидным, что почувствовал
я себя здесь как дома и улыбнулся человечьему,
с добротой, в тёплом воздухе разлитой, с от-
кровенностью золотою в ясном взгляде хозяйки,
жилью.

Там спала безмятежно в кровати дочь Эрнста
и Дины, Оля.

Там на стенах висели тарелки керамические.
Чудесные.

Словно птицы туда слетались из волшебных
краёв поднебесные.

Словно песни там зазвучали незнакомые мне,
лирические.

Вот какие тарелки были предо мною тогда керамические.

Это были — видения дивные.

Это были — творения Динины.

Увидев своими лучистыми, проницательными глазами таинственной доброй феи сказочной, но скорее, так лучше, глазами талантливой художницы, их создательницы, что мне они очень понравились, Дина спокойно сказала, что было их много, да вот почти все, увы, перебили.

Была здесь изрядная выпивка, публика собралась богемная, колоритная, кого ни возьми, о ком ни подумай — личность, и только, личность, ещё и какая, с характером каждый, с претензиями, с вопросами к окружающим, с неслыханным самомнением, с амбициями, с гордыней в душе, с упрямством, со взрывчатостью внутри, до поры до времени каждым сдерживаемой, но ждущей повода только малейшего, чтобы вырваться вдруг наружу; пили, пили, пока всё не выпили, а потом, конечно, добавили, а потом и по новой добавили, а потом, набравшись гуртом, опьянев до последней степени, разгоревшись, раздухавшись, раскрасневшись, разговорились, оживились, внезапно взвинтились, раскричались, и вот прорвало их, за грудки хватая друг друга, норовя доказать своё, тут же, сразу, всех убедить в правоте своей, утвердиться в торжестве своём над соратниками, собутыльниками, соперниками, в споре, в жизни, в питье, в искусстве, стали все выяснять немедленно, кто и как, лучше, хуже ли, так себе, на четвёрочку, или на тройку, или даже на двойку с минусом, что совсем уж зазорно, братцы, ну а может, и на пятёрку, даже с плюсом, бывает всякое, в этой жизни своей крест несёт.

Эрнст, багровый, с глазами быка, налитыми бешеной кровью, шёл вперёд, как таран, на любого, кто ему возражать пытался, рвался в бой, наклоня слегка свою голову крепкую, с жилами на висках, разбухшими так, что звенели они, как струны, рвал рубахи ворот, ярился, рукава засучив, хрипел на гостей, в атаку готовый устроиться, всю бушевал.

Гена Айги, поэт, маленький, как подросток, никакой не боец, а так себе, свидетель невольный битв, очевидец, не летописец, со страху забрался под стол — и там переждал бушевавшую над его головою бурю.

Выясняли свои отношения заядлые, пьяные спорщики не только на убедительных, или не очень, словах.

В ход пускали и кулаки.

Причём всё чаще и чаще.

Всё привычнее. Всё смелее.

Никого вокруг не жалея.

Как несёшь свой крест? Нет, не так!

Ну а ты? Вообще никак!

Ты — получше? Большой вопрос!

Получай-ка за это в нос!

Ты несёшь дольше всех из нас?

Получай-ка за это в глаз!

Крест — судьба? Пусть потом — потоп?

Получай-ка за это в лоб!

Вот какие были недавно фронтовые здесь сиделки.

Потому-то и перебили, в ход пуская их в драке, тарелки...

На столе у Дины лежали — аккуратно перепечатанные на хорошей белой бумаге плотной — стихи Айги.

Буря, видимо, их не коснулась.

Потом — почему-то — Дина потащила нас с Лёней Губановым именно к Гене Айги.

Что её повело туда?

Может быть, воспоминание тёплое — о сидении Генином под столом во время всеобщей битвы?

Как, мол, там наш поэт?

Успокоился ли? Отдышался ли?

Создаёт ли, на радость поклонникам своим, авангардные, новые, сверхсовременные, то есть такие, каких ещё не бывало в русской поэзии и в европейской, верлибры?

А может, и не верлибры?

Камлания? Заклинания?

Поди разберись! Магические, языческие писания.

Пришлось нам уважить Дину и ехать с ней к Гене Айги.

Дома его, поэта модного, не оказалось.

Отсутствовал. Может, в музее Маяковского находился, где сидел в уголке Кручёных, попивая остывший чай и беседуя с ним неспешно о поэтике футуристов.

Ну а может быть, где-то в гостях, разомлев от спиртного, в облаке сигаретного дыма паря над столом, над притихшими, видимо, от почтения к явному классику авангарда, интеллигентными, с виду, полубогемными, так, для приличия, чтобы слишком среди прочих не выделяться, в кольцах, в бусах янтарных, дамами, почитательницами таланта поразившего всю столицу образованную поэта, он читал им свои стихи.

Всякое быть ведь могло.

Мало ли где находился в тот день осенний Айги!

Только дома его с утра, как оказалось, не было.

Не было и сестры Гениной, Евы Лисиной, известной чувашской писательницы.

Была здесь только Луиза, другая сестра поэта, слегка не в себе, но тихая.

Толя Зверев однажды за несколько мгновений, по вдохновению, находясь под парами винными, написал, на глазах у собравшихся в доме Айги

гостей, её портрет потрясающий, причём при этом он пользовался только окурком, пеплом да ещё какими-то странными, простейшими, вроде вина красного, минимальными, подручными, как и всегда, чтоб далеко не ходить и ничего не искать, довольствуясь тем, что есть перед ним, художником, средствами.

Получился шедевр. Музейная вещь. Настоящий, высший пилотаж. Как сказал бы Сапгир, улыбаясь в усы, — маэстрия.

Не знаю, где, по прошествии более чем сорока лет, сейчас, в наши дни, находится эта работа.

Может, она — у Евы.

Дом, в котором жил Гена Айги со своими родными сёстрами, деревянный, довольно большой, находился в Москве, но ещё и в настоящей старой деревне, расположенной высоко на речном берегу, над Сетункой, где-то за всем в столице знакомой Мосфильмовской улицей, так двойственно — прямо в городе, спору нет, да никто и не спорит, согласитесь, но, факт есть факт, вещь упрямая, как известно всем на свете давно, и в деревне.

Приобрести его Гене помог в своё время Твардовский, после того как Айги перевёл на чувашский язык, хорошо, знатоки считали, поэму «Василий Тёркин».

Напоминал этот старый, деревянный, скрипучий дом, а вернее сказать — изба деревенская, очень сильно увеличенные часы-ходики, в виде домика, затейливого, симпатичного, бывали раньше такие.

Гену Айги мы так и не дождались тогда.

Уехали восвояси, под лепет невразумительный сиявшей глазами детскими из полумглы избяной, бревенчатой, шаткой, скрипучей, городской, вполне вероятно, да всё-таки деревенской, сестры поэта, Луизы.

А с Диной Мухиной я порою, изредка, виделся.

Редкостных, надо сказать прямо, достоинств женщина.

Юра Арендт, Юрий Андреевич, сосед мой по Коктебелю, сын Ариадны Арендт, скульптора очень хорошего, женщины, прожившей долгую, трудную жизнь, из круга давних друзей Волошина, сказал мне однажды, у нас, в Киммерии, вдали от Москвы, уже в конце девяностых, что теперь Дина Мухина пишет ещё и стихи замечательные.

И слава Богу, что так.

Со словом Дина всегда — я-то знаю — была дружна.

Лариса Галкина. Тоже художница. Тоже — хохотая.

Выставлялась она когда-то, в середине шестидесятых, на смогистских, уже легендарных, так вот время идёт, вечерах.

Была она долгие годы приятельницей Распопова.

Там с нею мы и познакомились.

Тихая. Очень скромная.

В ней грусть была — неумённая.

В ней радость была — величайшая.

Тишина в ней была — глубочайшая.

По-настоящему — я-то знаю, что говорю, за слова свои отвечаю, и давно, и теперь, — одарённая.

Светом ясных высот — озарённая.

Хрупкая вроде, худая, бледная, птичка маленькая.

Но в ней энергия творческая — была всегда велика.

Была художница — труженицей.

И работы её давнишние, мне запомнившиеся надолго, темперы в основном, выполненные в особенной, характерной её манере, с проскрёбыванием обычным лезвием для бритья по красочному, бугристому, шероховатому слою высветляющихся, мерцающих, вибрирующих фрагментов, сливающихся в единое таинственное видение, хороши были очень, светились в полумгле мастерской, двоились, разрастались, одна в другую странным образом переходя, вырывались из рам, стремились к свету, к людям, жили своею, независимой, цепкой жизнью, продолжались в памяти, словно дальний шум ночного дождя.

Проявляла порой и характер.

Твёрдость духа. Ясность ума.

К одиночеству привыкала.

Всё умела делать — сама.

Вспоминаю её комнатёнку.

Чистота. Простота. Уют.

Выживала. Растила ребёнка.

Вот и птицы в судьбе — поют.

Вот и шелест лиственный — нежен.

И не страшен — житейский ад.

Вот и взгляд её вновь — безбрежен.

Вот и дело идёт на лад.

Появляется постепенно вереница новых работ. Остаётся вдали мгновенно череда минувших забот.

Вырастает реальность новая — за окном, за стеной, вокруг.

Прямота правоты суровая. Век и труд. Магический круг.

Добрая в жизни, отзывчивая, в творчестве светлом своём — упорно, за шагом шаг, шла своею дорогой.

Да и в жизни, в быту, в общении способна была на поступки.

Ко мне, с нашей первой встречи, была она очень внимательна, особенно в слишком уж трудные для меня, скитальца бездомного, измученного, усталого донельзя, мои периоды.

Носик остренький, птичьих глаза, худенькие, как на фресках египетских древних, плечи,

прямая, как струнка, спина, пепельные, легчайшие, невесомые, тонкие волосы, белые крепкие руки рабочие — вот Лариса.

Больше четверти века, оставшегося позади, я не видел её.

Жива ли? Что с ней сейчас?

Где её уникальная живопись?

Ничегошеньки я не знаю.

Остаётся — лишь вспоминать.

Соня Губайдулина. Известнейший композитор современный, с мировым, так сложилось всё с годами, именем.

Композитор — с особой судьбой.

Авангардный, само собой.

Соня — птица, на воле парящая, но отнюдь не птица в силках.

Дама, свет Востока таящая в непокорных, дерзких зрачках.

— В струны великих, поверьте, ныне играет Восток, —

далеко не случайно сказал грядущее чувявший Хлебников.

Сложен мир, ничего не поделаешь, а порою и просто жесток.

Выжить в нём удаётся не каждому. Нет ни правил таких, ни учебников.

Но уныние — грех, как известно. И спасенье — в труде. Всегда.

И над эхом восточной песни разгорелась воис — звезда.

В струны Сонины в полную силу Восток играет сейчас.

Да и раньше ведь это было. Проявлялось вдруг. И не раз.

И звучали Сонины струны — сквозь каноны минувших лет.

И вставали вдали кануны дней, приемлющих странный свет.

Диковатый. Крутой. Восточный.

Чуть пугающий. Но — живой.

С ключевой водой проточной.

С гордо поднятой головой.

С горьковатой полынной мглой.

С угольками костров ночных.

С далью, сшитую вкось иглой.

Из лоскутьев. Из слов родных.

С высью звёздной. И с глубиной тёмной.

С упоительной тишиной.

С неизбежностью снов укроной.

Чтобы в яви расцвести дневной.

С чем-то выстраданным сквозь время.

С возрастаньем извечным тем.

С тем, что пройдено встарь — со всеми.

Что останется — насовсем.

На моём, поразившем сограждан собравшихся, авторском вечере в ненавидимом нами Доме литераторов, в феврале шестьдесят шестого, смогистского, с отголосками бурь недавних

и событий печальных, года, Соня слушала, как я читаю стихи свои, словно слушала в тихом зале звучавшую музыку мою, молодую, светлую, музыку — навсегда.

После вечера — Соня тут же подошла ко мне и при всех высказала большое желание написать музыку на мои стихи тех времён, свою, губайдулинскую, авангардную, современнойшую, такую, какую она услышала в речи моей тогда.

Не помню теперь, почему я так и не отдал ей тексты.

Желание так и осталось — доселе — просто желанием.

Соня была женой Марка Ляндю, поэта, жившего в Томилино, в домике финском, возле поля, где жители блёклого, затерянного с концами в подмосковных даях посёлка осенью, потихоньку, но упрямо и даже с азартом, привычно, из года в год, копали себе совхозную картошку для пропитания, запасы немалые делая в кладовках и погребках, и Марк выходил на промысел и нас привлекал иногда к работам на поле, и улица, на которой он жил, называлась, конечно же, Полевой, и картошка сгружалась в погреб, который вырыл однажды, самолично, под настроение и, наверное, по вдохновению, Коля Боков, друг Марка, философ, прозаик, поэт, человек с голубыми глазами; потом, после того как погреб вырыт был и картошка в нём обеспечивала питание Марку Ляндю на целую зиму, — Соня стала женой Коли Бокова.

Однажды летом в Крыму, в Коктебеле, с его свободой, бывшей по сердцу всем нам, тянувшимся отовсюду сюда, к берегам киммерийским, к блаженству и счастью, к морю, к синим горам и холмам, к людям, любящим эти места, коктебельцам, как их называли и теперь называют, хоть сильно поредели ряды их, когда-то, в полном смысле этого слова характерного, неисчислимы, году в шестьдесят восьмом, только добравшись в свой рай прибрежный с Кавказа, разительно непохожего на Киммерию с её благородством строгим, с Кавказа буйного, пышного, пряного, декоративного, всё же чуждого несколько мне, в отличие от домашнего, милого сердцу Крыма, из Сухуми, где жил я предместье Диоскурии, древнего города, в доме знакомых, у моря, едва отдышавшись с дороги, выхожу я на коктебельскую набережную, чтобы прогуляться и оглядеться, и вижу такую картину: идут мне навстречу бодро вдоль шумной сине-зелёной, с зигзагами пенными, линии прибоя, видением чудным, Соня с Колей, оба весёлые, загорелые дочерна, невероятно спортивные, сейчас бы таких для рекламы немедленно сняли, в кедах, с тяжёлыми рюкзаками, и рассуждают спокойно, понимая друг друга, пожалуй, с полуслова, нет, с полувзгляда, было так, о высоких материях.

Оказывается, они путешествовали, вдвоём.

Пешком, на ходу рассуждая о том да о сём, без надрыва, наблюдая красоты окрестные, прошли они через высокие кавказские перевалы, вышли к морю, дальше пошли, да так вот и оказались почему-то уже в Крыму.

Страсть к ходьбе, везде и всегда, в Коле жива и поныне, как выяснилось позднее, со временем, лет через тридцать.

Возвращавшиеся на родину эмигранты охотно рассказывали, что Боков и половину Америки исходил, по привычке давнишней, пешком, и всю исходил Европу, и до Святой земли добрался, и всю её тоже исходил, на своих двоих, разумеется, то есть пешком.

Это вполне в его духе.

Может быть, для походов своих он, любитель пеших прогулок, на свежем воздухе, на длительные расстояния, и из пещеры, которую вырыл он для себя в благословенной Франции, выбирался. Да наверняка.

Не сидеть же ему годами в темноте глухой, под землёй!

Иногда, и он это знает лучше многих своих знакомых, полезно и поразмяться.

Ну а Соня, расставшись с Колей, отбывшим в эмиграцию, когда-то, в семидесятых, — спокойно, без всяких сложностей, по собственному желанию, по известным лишь ей одной и весомым, наверное, причинам, уехала за границу.

Как только у нас в стране, после развала Союза, появилась, пусть и особая, не такая, как в прочих краях, необычная, мягко скажем, ибо жёстко стелет судьба для России пути-дороги, заковыристая свобода.

Живёт она вроде в Германии.

Стала теперь знаменита.

Музыка Сонины всюду, повсеместно и повсемирно, широко, постоянно, с триумфом исполняется. Музыка — всё для Сони. И здесь она, как говорится, дома.

Не знаю, ходит ли Соня, как в былые, уже легендарные, отшумевшие времена, подолгу, много, — пешком.

Но уверен я твёрдо, что прежние пешеходные путешествия ей на пользу только пошли.

Данте, бродя в одиночестве по каменистым тропам Тосканы, в тоске по Флоренции любимой, его, поэта, изгнавшей куда-то в пространство, а может быть, прямо в вечность, терцины своей «Божественной комедии» сочинял.

Жаль, что когда-то, в конце шестидесятых, Эрнсту Неизвестному, при иллюстрировании этой книги, не удалось хождение именно выразить, движение, — впрочем, задачи у него были рода другого, да и ещё и офорт, безусловно, — техника не такая уж подходящая, что тут

поделаешь, для передачи движения, — но зато Эрнст вполне успешно осуществил движение в пространстве, прошёл сквозь время, — и, перебравшись в Америку, ездит себе, при желании, по миру, иногда заглядывая и на родину, и наверняка такое движение, без принуждения, исключительно по желанию, помогает ему и в творчестве.

Соня же Губайдулина, без сомнения всякого, помнит прежние путешествия.

И они, вполне вероятно, стимул дают и движение нынешней её музыке.

Откуда она, эта музыка?

Всё оттуда же, из крылатых, невозвратных шестидесятых.

Потому что и Соня сама — из породы людей, о которых можно сказать лаконично: люди шестидесятых.

Талантлива? Да, конечно.

Даже очень. Дано ей это.

Стремление в ней — извечно.

К Востоку. К началу света.

Запад есть Запад. По Киплингу.

Мы привыкли читать между строк.

И на Сонином нотном стане

прочитаем: Восток есть Восток.

В ней живо — самое главное: горение. Поэтому-то — жива её музыка в мире, некая часть которого была ещё в шестидесятых изведена ею — пешком.

Ну конечно же — как же всем без него в богеме столичной обойтись, мне скажите? — Василий Яковлевич, художник, известнейший, нет, знаменитый, по всем статьям именитый, такой, что заткнёт за пояс любого запросто, Ситников.

Борода, жёстким клином, всклооченная, со снежком седины, — вперёд.

Руки, жилистые, ухватистые, рабочие, длинные, сильные — взлетают мгновенно вверх, опускаются разом вниз, раскидываются неожиданно, крестом широчайшим, в стороны, смыкаются, вновь приходят в стремительное движение.

Ноги в старых, но крепких ещё, сапогах начисненных по полу притоптывают, приплясывают.

Фигура крепкая, сбитая — никакого лишнего жира, сплошные бугристые мышцы.

Кость прочная и тяжёлая, ничем её, даже битой бейсбольной, которой ныне пользуются бандиты, сроду не перешибёшь.

Глаза, то с прищуром едким, то широко раскрытые, в зависимости от разных обстоятельств житейских, пронзительные, с этаким, в жёстком зрачке, лукавым смешком, с хохотком; но вот всё вокруг примечающий до поры до времени взгляд превращается вдруг в стальное, разящее наповал при надобности остриё — и тогда уже ждите атаки, тогда леденеют глаза, зрачки сужаются, словно прицеливается в кого-то пощады не знающий

Ситников, рассчитывает свой выстрел из лука, мало кому видимого, но я всегда его, лук этот, видел, так это мне представлялось, — и тетива тугая привычно, умело натягивается, и стрела, удивительно меткая, блеснув на мгновенье, как молния, раскалённая до предела, обжигающая, разящая даже видом своим, летит и точно, в десятку, в яблочко, попадает в нужную цель, промахов не бывает.

А потом опять он дурачится, ёрничает, балагурит, шутит этак порой необычно, грубовато, шероховато, по-народному, а ля рюс, да всё с вывертами, с поворотами, с закидонами вроде, с бредятинкой, а прислушаешься — и тут же понимаешь: всё это, братцы, и свежо, и оригинально, и умно, даже очень умно, и всегда по делу ведь сказано, вовсе не просто так, не для красного, с перцем, словца, не для национального во все, с русским духом сквозь мглу бесчашья безнадёжного, колорита, совершенно не для того, чтобы с диким, дремучим запалом, постоянно, упрямо подчёркивать, что он не такой, как все, — нет, было здесь нечто большее, здесь была своя философия — поведенческая, бытовая, повседневная вроде бы, пусть, а на самом-то деле — творческая, ибо всё превращалось в творчество, и каждое слово его, словцо, иногда и молчание, было чем-то вроде мазка крохотной лёгкой кисточкой по холсту, и соткано всё было из красочных частностей, из деталей мельчайших, каждая из которых работала, будучи частью целого, только на целое, и потому словесные тирады его, рассыпчатые, хрустящие на зубах, как сахар в детстве, и все грозящие перейти границы кем-то дозволенного, переходящие эти границы условные, смело, с куражом врождённым, с победным видом, с геройской повадкой: мол, казак всегда ведь в седле, не забывайте об этом, современные люди, богемная орда, разномастная слишком, чтоб в расчёт её брать, — высказывания, неизменно парадоксальные, поучения, наставления, притяжки, прибаутки — неотделимы вовеки от его ювелирной живописи, да и весь он, такой как есть, вообще неделим, поскольку в любой ситуации — целен, вообще он — сплошная народная выживаемость и независимость, — и, юродствующий, он всегда защищён, и на нём не драная, решето, да и только, дыры, да прорехи, да швы, одежонка, но кольчуга, и кисти его, стрелы его, слова его — всегда и везде при нём, вот и выходит, что он — воин, порода такая, ничего не поделаешь с этим, он воин, пускай одиночка, но так вот, пожалуй, и надо, и это его устраивает, он в поле — во всеоружии, один, а ему — хорошо, ни от кого не зависит он, сам хозяин себе, сам себе голова, и поступки он совершает, поскольку способен совершать поступки, и даже, пусть звучит это громко, подвиги, но бывало

ведь с ним и такое, и я-то об этом знаю, и что-нибудь отвергает решительно, принимает что-нибудь горячо — в одиночку, сообразуясь с тем, что ему подсказывает компас верный, его чутьё, а чутьё у него отменное, — и он из своей коммуналки в центре столицы, где всегда он в центре внимания, выбирается в гости, и там, в шумной компании, тоже, незаметно как-то, без всяких усилий лишних, естественно, потому что нельзя иначе, он таков, поймите, оказывается почему-то в центре внимания, и крутится этаким штопором, ввинчивается, вонзается в самую суть того, что ему открывается вдруг, по наитию, по чутью, и взлетает слегка над полом, и парит в прокуренном воздухе, и весь уходит в движение, поскольку никак нельзя ему без этого, жизнь — в движении, и незачем, право, лодырничать, — работайте, братцы, — «ефто» спасение ваше, а в будущем всей путаной жизни вашей и ваших упорных трудов оправдание, да какое!..

Ситников в СМОГе — был.

Ситников СМОГ — любил.

А вернее, любил он, сразу выделив их из прочих, стихи — мои и губановские.

Помню множество встреч, разговоров.

Помню Ситникова — счастливого: есть поэзия! — русское слово, несмотря на запреты, живо!

Помню его — за работой: холст, мазок за мазком, расцветал. Человек этот был в Москве и во всей стране — очень нужным.

В шестидесятых люди сами тянулись к нему.

Да и позже к нему тянулись.

Для многих художников наших был учителем лучшим он.

Вразумил их вовремя, долго наставлял, опекал, защищал, дал им веру в себя, вывел в люди.

Создал школу свою живописную.

Был любим, уважаем и чтим.

И зачем он уехал в Америку?

Чтобы там — захиреть, умереть?

Непонятно. Непостижимо.

Знать, чужое там было поле.

Оставался бы в поле отечественном, пусть — один, как всегда, по привычке, по традиции давней своей, — может, пожил бы он подольше. Вот и «ефто». Что за судьба?

Впрочем, был он всегда — в движении, а за ним ждало — постиженье: поля нового, доли, боли. Путь. Видать, недосуг ему было потренироваться стряхнуть со лба.

Семья Кропивницких. Славная.

В богеме — наверное, главная.

По всем статьям — знаменитая.

Словно книга — слегка приоткрытая.

Сквозь бесчашье — брезжащий свет.

Групповой — как уж вышел — портрет.

В самом центре, конечно, Евгений Леонидович Кропивницкий.

Глава семейства, большого, творческого. Патриарх.

Самый главный и самый важный в семействе своём талантливым, а может быть, и во всей богемной столичной, таинственный, знаковый человек.

С виду тихий. Всегда спокойный.

Так могло показаться. Кому-то.

Чужим, посторонним людям.

Властям. Но только — не нам.

Внутри — klokотали страсти.

Скрытые от людских, любопытных чрезмерно, глаз.

Не пускались туда — напасти.

Горение в нём великое — было не напоказ.

Вся тяжёлая жизнь бывала иногда прорывалась наружу.

Но — тут же, чуть обозначившись, показавшись, обратно пряталась.

Нельзя, чтобы все — видели.

Нельзя, чтобы многое — знали.

Кому какое, простите и поймите, до этого дело?

— Судьба нелёгкая, — промолвил Лао-Цзы, — как сказал в своей книге «Сонеты на рубашках» его ученик прилежный, Генрих Сапгир.

Генрих — тот вроде бы, так утверждают, буквально одну в своей фамилии краткой, для благозвучия, видимо, когда-то, под настроение, неизвестно зачем, изменил.

Был — углублённый в себя, своим становлением занятый, долгим, упорным, Сапгир.

Стал — обновлённый, встряхнувшийся, состоявшийся как поэт, авангардный, богемный, Сапгир.

«Б» на «п» исправил зачем-то.

(У Хлебникова в «Ладомире» сказано было так:

— Это шествуют творяне, заменивши Д на Т...

Но это — совсем о другом.)

Старый, опытный, мудрый, живущий в мире своём, сберегаемом в глубине души, Кропивницкий — ничего никогда в своей жизни трудной не исправлял.

Он принимал её — всю, такую, какой была она, такая была ему однажды, свыше, — дана.

Он — радовался бытию.

Верил — в звезду свою.

Своему многогранному дару цену прекрасно знал.

Чутью своему точнейшему давным-давно доверял.

Головы, даже в годы тяжёлые, слава Богу, он не сложил.

Он — просто-напросто жил.

Но, замечу тут же, при этом — и не совсем просто.

Был — сплошным продолжением роста.

Духовного, прежде всего.

Творческого. Извечного.

Везде и во всём — человеческого.

Крайне важного — для него.

Жил — свет в небесах любя.

Жил — землю славя свою.

В аду — жил, словно в раю.

Жил он — внутри себя.

А ещё жил — внутри своего, надёжного, узкого круга.

Во время оно им созданного.

Буквально из ничего.

(Так могло показаться кому-то.

Но мне так вовсе не кажется.

Круг доверия и уюта.

Столько судеб в нём вместе свяжутся!)

И получилось ведь, надо же, — кое-что. Даже больше — что-то.

Нечто. Нити срослись духовные. Разрослись, как цветы, щедроты.

Небольшого, в общем-то, роста, но довольно широкий, устойчивый, спокойно, привычно, уверенно ходил он по той земле, которую постигать не уставал, которую, попавшую вдруг в историю, по-своему, разумеется, с неповторимыми нотами, в своём ключе и тональности, без помпезности, без банальности, с откровениями, прозрениями, наблюдениями точнейшими, со словами наивернейшими, ужасаясь всему и тут же неизменно им восхищаясь, ни с властями, ни с общим бредом по привычке не пререкаясь, на своём пути одиноком страстно, искренне воспевал.

Обожал он прогулки, долгие и неспешные, — на природе.

Замечал он то, что другому не дано заметить, — в народе.

Получал он заряд энергии от своих наблюдений в мире.

Лаконичен был он в письме, ну а мыслил — гораздо шире.

В домашних условиях — сживал вроде в сторонке где-то.

Но оттуда — из глаз его — вырывались потоки света.

Но оттуда лишь — от него — исходили всегда все токи.

И стихии кипели в нём, продлевая земные сроки.

И все нити незримые крепко держал он в своих руках.

Вот какие бывают силы в некоторых стариках.

Он был — прирождённый, редчайший, здесь, у нас, педагог. От Бога.

Ненавязчивый. Терпеливый. И давал он всем нам так много!

Был учитель он — по призванию. Был наставником. Добрым другом.

Звёздным странником. Вечным путником —
над земным завьюженным кругом.
Он был — человек созидающий.
О грядущем своём — не гадающий.
Обретающий всё — в движении.
Был он — вечное постижение.
Продолжение всех традиций.
Нарушение всех амбиций.
Утверждение всех новаций.
Сквозь бесчашье — всех навигаций.
Всех сражений — с жестоким злом.
Словом, поднятым — над числом.
Как фонарь. «Ищу человека!»
Неотрывным был он — от века.
Своего. Каков уж он — есть.
Был он весь — как добрая весть.
В жизни многих. И — в судьбах их.
Был всегда он — среди своих.
Благо, были свои — при нём.
Не играл он зазря — с огнём.
Он в себе его смог — сберечь.
Продлевал он — русскую речь.
Сохранял её — от невзгод.
Летописец. И — пешеход.
Бурь свидетель мирских и гроз.
Было всё в нём всегда — всерьёз.
Шёл он — к сути. В корень глядел.
Никогда не сидел — без дел.
Дело жизни — школа его.
В ней — заветов его торжество.
Дело жизни — в созданном им.
Был он выше от бед храним.
И прошёл сквозь них — словно луч.
Был он — верой своей могуч.
Был он — тайной своей силён.
Был велик своим светом он.
Светом правды. Светом тепла.
Перед ним исчезала мгла.
Перед ним открывался — путь.
Внутрь явлений. В самую суть.
Жизни смысл прояснялся вновь.
Ведь в основе всего — любовь.
Ко всему и ко всем вокруг.
Может, кто и воспрянет вдруг.
Может, что и очнётся вмиг.
Вот какой был этот старик.
И он, прозорливец, — учил.
Он, отшельник, творец, — созидал.

Мало того, что в течение долгих, достаточно сложных, а порою кошмарных лет, в затворничестве своём, плодотворном, сознательном, творческом, в отрешении от мирской, чуждой ему суеты, социальных проблем, барачного, подмошного, дикого быта, столичного, заурядного, вопиющего безобразия, всеобщего, всесоюзного, на почве родной наростом прижившегося бесчашья, написал он такое количество своих уникальных стихов, что, уже в нагрывавшей с явным

запозданием для него, не сдающегося, упрямого человека, досадной старости, когда он не то чтобы сразу же, нет, с боем, сопротивляясь всеми силами, духом всем, старению, неприемлемому для горения, одряхлел, но как-то по-стариковски, что, впрочем, вполне объяснимо, если возраст вспомнить его, устал от всего вокруг, с трудом умещались эти писания многолетние во множестве чемоданов.

Мало того, что поистине, полагаю, неизмеримое число работ живописных и графических создал он.

Создал он ещё и свою — нет подобных ей и в России, и в далёких западных странах, в мире нет ей подобных, — школу.

Руководил Кропивницкий — упорным противостоянием отвратительному режиму, всяческой официальной шелупони в русском искусстве — он противопоставлял своё собственное искусство и искусство людей талантливых из своего, надёжного, близкого окружения.

Приветливый, очень воспитанный, чрезвычайно простой в общении с людьми, был он внутренне горд, всегда и повсюду помнил о собственном, личном достоинстве, о крылатой своей душе, и ещё, подчеркну сознательно, прекрасно знал себе цену.

Ещё всё той же, столь щедрой на события и на знакомства хорошие, важные, осенью шестьдесят четвёртого года, когда я, провинциал, степняк, молодой поэт, поступив довольно легко, несмотря на огромный конкурс, в Московский университет, стал жить наконец в столице, когда, непрерывно знакомясь с творческими людьми, впервые услышал о нём, а потом и увиделся с ним, я отчётливо понял: он — легенда, причём не из этих, на скорую руку состряпанных, а настоящая, давняя, с прочной, серьёзной основой, со всеми необходимыми для этого предпосылками, со всем широчайшим, пёстрым, прямо-таки устремлённым к нему одному течением самых разных порою жизненных и творческих обстоятельств, которые все работали — на него, всегда — для него.

Там, в своей тишине, в простоте, в затворничестве многолетнем, был он — может быть, самой сложной и самой загадочной личностью из всех знакомых, которых я считал таковыми.

И живопись ведь его, внешне вроде бы лёгкая, простенькая, отчасти, в чём-то, хотя бы в чистом взгляде на мир, наивная, на поверку, на самом-то деле — очень сложная, с элементами своеобразного эпоса и лиризмом сквозным, трагическая.

И стихи его вроде бы, надо же, такие уж, ба-тюшки-светы, ничего себе, братцы, простенькие, порой почти примитивы, ну вот, например, такое исчерпывающее, точное описание некоей осени:

«Улетели птички. Отсырели спички», —

на проверку тут же оказывались весьма и весьма непростыми, сложными, многоплановыми, это был наполненный всеми приметами бытия, всей окрестной, будничной, праздничной, бестолковой, неповторимой, многослойной и многоликой, той, что щедро была дарована свыше, с детства, той окружающей душу в зрелости жизнью, мир.

Кропивницкий старый, Евгений Леонидович, сам был — целый, всеми звёздами озарённый, всеми радостями звучащий, всеми горестями скорбящий, всеми чаяниями наполненный до предела, верой хранимый и любовью спасаемый, — мир.

И те его современники, соратники, собеседники, кто понимал это, благодарны были ему — за то, что могли вместе с ним бродить в этом дивном всё-таки, несмотря на все сложности или несуразности всякие, частности житейские, огорчения и заботы насущные, мире, могли в нём жить, по желанию, а могли и на время выйти из него, чтобы после опять вернуться, — мир Кропивницкого был объёмным, полифоничным, там вдосталь было волшебной, по-своему тонкой, серьёзной, грустной и светлой, музыки, настоящей, собственной, страстной, современной, из века двадцатого, конкретной, трезвой, осознанной как выход из всем нам навязанного социального тупика на просторы нашей Вселенной, вдосталь было там естества, да и ещё и того вещества, из которого, как планеты, неустанно формировались, под его наблюдением пристальным и всегдашним его руководством, словно им вдохновенно изваянными из рук его выходили, — новые личности творческие, со своими уже, отдельными, так задумано было заранее, так и вышло, больше ли, меньше ли, связи с миром главным учителя ни на миг никогда не теряющими и незримо им направляемыми на путях земных и небесных, но тоже самостоятельными в движении жизненном, собственными судьбами и мирами.

Как уже было сказано, старый Кропивницкий был — прирождённый, дерзновенный, упорный творец.

Следует помнить при этом, акцент здесь особый сделаю, что был он ещё и боец.

Да, представьте себе. Так — было.

Потому что, вроде бы редко появляясь на людях, там, где кипела богемная жизнь, где бурлила жизнь повседневная, где скисала жизнь государственная, советская, узаконенная, замешанная на крови сограждан, чумная, коварная, в основе своей бездарная, мифическая отчасти, с мистическим едким душком, от которого в горле ком нарастал, и сердце сжималось в тревоге, всё возрастающей, в тоске, пределов не знающей, стараясь не навлекать на себя различные беды,

гонения и невзгоды, которых и так уже было на его веку предостаточно, вёл он — всю свою жизнь — борьбу сознательную со злом во всех его проявлениях.

Побеждал он в итоге зло тем, что нёс он людям — добро.

Свет был в нём, животворный, ясный.

Свет развеивал мглу и тьму.

И тянулись люди к нему.

Знали все: человек он — прекрасный.

Ко мне относился он всегда с теплом и вниманием.

Понимал, что мои задачи творческие — совсем иного рода, иного направления, что ли, в стихии русской речи, строя иного, духа, света, пути, восприятия всей Вселенной как дома единого, ясной музыки изначальной, и наития, и чутя, и всего, что формировало непрерывно мою поэтику, и всего, что было моим, незаёмным, особенным, личным, было голосом и лицом, слухом, зрением, осязанием, осознанием себя в распаханном чувствам всем и поступкам всем непростом и прекрасном всё же, мне дарованном свыше мире, нежели все его чёткие собственные задачи.

Уважал — за эту мою очевидную самостоятельность, непохожесть на прочих, которых было вдосталь в те времена.

И я в нём ценил всегда его собственную, безусловную непохожесть на всё остальное, и уважал его искренне — за то, что сумел он выжить, сохранить в себе свет, продлить — сквозь безумие прожитых лет, отшумевших вдали, — несравненное, да, читатель мой, именно так, помни это, горение творческое.

В Кропивницком старом, в одном, — как матрёшки, мал-мала меньше, — все им созданные поэты и художники, начиная с Холина и Сапгира, вся немалая, разношёрстная, лианозовская компания. Но его и ещё на стольких же, полагаю теперь, хватило бы.

Но ему и того, что есть, было вполне достаточно.

Знал он меру во всём. Чувство меры в высшей степени было ему, патриарху седому, присуще.

В стихах моих — он увидел, сразу же, с первых же строк, услышанных им, а потом, чуть позже, ещё и прочитанных с листа в самиздатовских книгах моих давнишних, которые, разбредаясь по всей стране, добирались и до него, совсем другой, интересный ему, импульсивный, собственный, наполненный всеми красками и звуками бытия, изумлявший и притягательный, собственный светлый мир.

То есть то же, что видел я и в его, Кропивницкого, творчестве.

Поэтому с ним общались мы — понимая наличие в каждом из нас абсолютно разных,

существующих самостоятельно в поэзии русской, целостных, жизнотворных, личных миров.

Так вот, в советской действительности, в промозглости дней дождливых, в холода ли, в жару ли, весною ли, в дни, когда тополиные почки разбухают и вот выпускают на волю, поближе к свету, молодую клейкую зелень первых свежайших листков, а дети играют в мяч, и кто-то хлопает форточкой, желая всей грудью вдохнуть побольше тёплого воздуха, и где-то играют гаммы, а воронок милицейский везёт кого-то в участок, и спички уже на кухне барачной не отсыревают, и птички вовсю поют, всё равно — когда, всё равно — в былом, где когда-то все ведь мы, соратники, современники, собеседники давние, жили, общались, порою дружили, задушевно, запросто, с пользой для каждого несомненной, с тайной в каждой душе сокровенной, с тягой к истине впрямь незабвенной, два мира, друг в друга вглядываясь, присутствию каждого радуясь, друг с другом встарь говорили.

Потапова Ольга Ананьевна.

Художница чудная. Тихая, задумчивая, таинственная.

Свет нездешний. Чистейший цвет.

Взгляд — сквозь время. Другого — нет.

В нём — обломки земных примет.

Звёзд остатки. Хвосты комет.

Лет растаявших лёгкий след.

Звук былого. Простой ответ.

На вопросы — извне — любые.

Вздох невольный. Пути мирские.

В поднебесье — тропа своя.

Человечьего знак жилья.

Пусть — провинция. Пусть — барак.

Пусть — Москва. Значит, надо так.

Мрак — отхлынет. И мгла — уйдёт.

Если сердце — чего-то ждёт.

Если в душу придёт — весна.

Если цель впереди — ясна.

Если холод средьзимний — лют.

И спасает — всегдашний труд.

Художница необычная.

Выразительница недосказанного.

Сказительница. Рукодельница.

Может быть — даже волшебница.

Долгие годы — супруга Евгения Леонидовича.

Верная, добрая, умная, достойная, светлая женщина.

Дама. Соратница. Друг.

И слова её — все, без вычетов, негромкие, но серьёзные, значительные во всём, в любой, казалось бы, мелочь, рачительные, разумные, светящиеся на солнце и при свече, горячей в обиталище скромном, на грани города и раздолья пригородного, на грани забвения и вдохновения, откровения и прозрения, в котором ясны очертания других, небывалых миров, уводящих

в дали, где грезится пора блаженных даров, слова со своею музыкой, прерывистые, волокнистые, со сквозной золотой нитью, с прожилками тонкими, — чистые.

И работы её — прозрачные, словно камешки-самоцветы коктельские в дни, когда плещут волны, и берег весь, влажный, летний, усеян ими, собирай — не хочу, бери, если хочешь, в ладонь, смотри, перемешивай их с другими, потихоньку перебирай, словно чётки, сложи в узоры, чтоб ненастья нам ждать нескоро, чтобы цвёл киммерийский рай.

И жизнь её, долгая, трудная, жизнь юдольная, жизнь земная, — при всём, что пришлось ей вынести на пути своём, — очень светлая.

Такая, что чудится мне за нею ныне — сияние.

Лев Кропивницкий. Художник.

Авангардный, конечно. Иначе, наверное, и быть не могло.

В молодости — нахлебался горя, сидел в лагерях, вместе с другом своим, художником очень хорошим, тонким, несколько неотмирным, как могло показаться кому-то, но на самом-то деле просто преображавшим явь по-своему и видения создававшим на фоне страшной действительности советской, в живописи и в графике, лаконичной и удивительно тонкой, трепетной, точной, волшебной, Борисом Свешниковым.

Испытаний разнообразных в жизни Льва Кропивницкого было предостаточно, даже с избытком.

Сын Евгения Леонидовича, он и путь в искусстве избрал себе — непростой. Но — творческий. То есть — в непрерывном движении, в поиске ритмов, образов, красок, форм, новых способов и возможностей выражения мыслей, чувств, дерзких замыслов, смелых решений живописных, графической резкости в каждой линии, грубоватости первобытной какой-то и всё-таки вместе с тем элегантности, даже, я сказал бы, хорошей изысканности в том, что он создавал годами терпеливо, сосредоточенно, как и надо, впрочем, художнику настоящему в жизни вести себя, находиться в трудах всегда, поднимать постоянно планку для себя, чтобы рваться ввысь, вглубь и вдаль, да и марку держать, зная цену себе и другим, в непрерывном этом движении, в беззаветном искусству служении быть, везде и повсюду, всегда, в ситуациях непредвиденных и в быту, в мастерской, у мольберта, неизменно, самим собою

Он многое сделать успел.

Был в жизни он честен и смел.

В искусстве он был — новатором.

Открывателем новизны.

Любителем старины.

И вместе с тем — реформатором.

Не просто — искателем. Нет.

Умел он — своё находить.

Умел — за собой уводить.

Из тьмы выводить — на свет.

Живопись, графика Льва — динамичными были всегда, с энергетикой, в них клокочущей, с электрическими разрядами, с раскалёнными, воспалёнными, оголёнными, словно лезвия, словно иглы колкие, молниями, с гармоничным, при всём абстрактном тяготении к дисгармонии, грозным, ненастным звучанием, с бесконечным, сквозь мглу, молчанием, с угловатым тонов течением, с узловатым, крутым влечением к просветлённости, столь желанной, что была она долгожданной и всегда приходила вдруг, вовлекая в незримый круг слух и зрение, чувства все, в жарком, огненном колесе побывав поневоле, — так возникал сквозь работы — знак: жизни, песни, сплошной борьбы, знак надежды и знак судьбы.

Лев не лез никогда ни в какие, даже в самые перспективные или модные, группировки.

При множестве тесных дружеских и приятельских давних связей — был всегда он, всю жизнь, одиночкой.

Он писал и стихи. Опять-таки не такие стихи, как у всех.

Собственные. Особенные. Такие, какими они получались. Оригинальные. В каждом слове и в образе каждом, да и в букве любой — свои.

В девяностых годах Толя Лейкин издал его книгу, с его же выразительными рисунками.

Помню Льва у Сапгира — собранный внутри, приземистый, жёсткий, крепкий, с железной защитой от всего, что мешало ему.

Взгляд из-под крепких очков — как перископ — наружу — ненадолго, бывало, выдвигается: так, обстановка ясна, — и снова взгляд убирается, как перископ, вовнутрь.

И — подальше от суеты.

В свой, хранимый от глаз недобрых, драгоценный внутренний мир.

Хватало ему вполне всего, чем давно привык он заниматься, день изо дня.

Прежде всего — своего, душу спасавшего, творчества.

Всё остальное — потом.

Занят он был — трудом.

Кропивницкая Валентина. Художница. Дочь Евгения Леонидовича Кропивницкого.

Лицо у Вали — сквозь время, сквозь драмы этого времени, и радости, и печали всегдашние — белое, чистое.

Глаза с большими, какими-то избыточно влажными, тёмными, с особым, сквозь ночь, свечением, внутри, в глубине, зрачками, то грустные, то с весёлою в них искоркой, возникающей сквозь грусть и медленно тающей в хрустальном их отдалении от всяческой суеты, от бреда, для

них излишнего, от шума, совсем не слышного, живущие, как цветы.

Спокойная. Терпеливая.

Конечно, трудолюбивая.

Воспитанная. Рассудительная.

В каждом жесте своём — убедительная.

Все грехи разным людям — прощающая.

Ничего им — не обещающая.

Кроме дивной своей доброты.

Кроме сложной своей простоты.

В тишине её, вовсе не в омуте, водились зверушки некие, сказочные, из её щедрого воображения вышедшие и живущие собственной странной жизнью.

Их она и рисовала.

Была Валентина женой давней Оскара Рабина.

Преданной. Любящей. Верной.

Всё с ним в жизни супружеской за долгие годы — вытерпела.

Всё, что выпало ей на долю, как сумела, перенесла. Молчаливая. Говорила, особенно в шумных компаниях московских, богемных, буйных, говорливых, крикливых, мало.

На людей смотрела она — вроде бы издали, из той страны потаённой, где жили изображаемые ею, всегда загадочные, в природе таких не встретишь, лишь на её работах поводишься с ними, зверушки.

Была хорошою дочерью.

Хорошей, наверное, матерью.

Была вообще — хорошей.

Без негативных черт.

За гранью, вдали, — всё прочее.

Стелилась дорога — скатертью.

Покрылась — белой порошей.

Мир был — жестокосерд.

Чего же в нём только нет!

Былого в нём — нет в помине.

А Валя светла поныне.

И нет в ней совсем — гордыни.

Есть — вера. И взгляд — из бед.

С такими — стоят святыни.

Сквозь морок ненастных лет.

Сквозь весь их разлад и бред.

Страдалица. Берегиня.

Предутренний ранний иней.

След лёгкий за гладью синей.

Неспешный вечерний свет.

Рабин Оскар. Художник.

Лидер неконформистов.

Интересная, подчеркну — далеко не случайная, фигура.

Был очень на месте — в Москве.

Холсты свои продавал порою ещё сырыми, едва успев написать их, — настолько велик был спрос в советские годы на них.

Раз в неделю, в шестидесятых, когда жил он с семьёй своей уже не в бараке пригородном,

а в Москве, на Черкизовской улице, принимал он, маэстро, известный и на родине, и за границей, и на этом акцент я сделаю, что вполне понятно, гостей.

Показывал им свои, как правило, немногочисленные, но зато всегда впечатляющие, безотказно, в десятку, работы.

Невозмутимый, с выбритой, задолго до нынешней моды на бритоголовость повальную тусовочную, головой, поблёскивая очками, стоял у мольберта, изредка давая, к месту, ко времени, краткие пояснения.

Ставил вначале один холст, а потом, помедлив, помолчав, покурив, другой.

Обычно их было немного.

Потому что новые вещи сразу же, незамедлительно, получалось всегда только так, повелось так давно, уходили в чьи-то хваткие, цепкие руки, в основном к иностранцам, любителям авангардного, запрещённого в отечестве нашем, искусства.

Небольшой, без излишеств, скромный, даже скудный, запас работ всё-таки дома держал Рабин — чтобы, при надобности, было что показать зарубежным гостям и согражданам.

Человек очень трезвый, практичный, с политической жилкою, умный, временами казался он мне мозговым, не иначе, центром некоторой, не всей, всех не брал он в расчёт, зачем, ни к чему тратить порош, части московских, близких ему в разной степени, составлявших тесный круг, по различным причинам, даже дружеский круг, наверное, известных у нас и на Западе, и особенно там, на Западе, где свобода была, художников.

Да так оно всё и было, если в корень смотреть, на деле.

Идеи Рабина, все, без вычетов, осуществлялись, и всегда — с неизменным успехом.

Ну вот, например, пресловутая «бульдозерная», со скандалом, с шумом в прессе западной, выставка.

Трезвость в нём и практичность жили везде и всегда.

В трудах его поступательных.

В действительности советской.

И даже в обычном застолье.

Выпить и закусить хорошенько он очень любил.

Но головы Оскар никогда и нигде не терял.

Ничего не могу сказать о его как будто укрытой плотным чехлом образованности.

Он не любил беседовать.

При встречах всё больше помалкивал.

В период нашего СМОГа я довольно часто к нему приводил своих многочисленных, рвущихся поглядеть работы его, знакомых.

Оскар принимал — всегда.

Можно было, под настроение, просто взять да приехать к нему, днём ли, вечером ли, позвонив ему, и сказав, что хочешь увидеться, и услышав

его «приезжай», чтобы там, в квартире на первом этаже, побыть у него час-другой, а то и подольше, немного с ним, в кои-то веки, спокойно поговорить, немного, само собою, и это понятно, выпить.

Оскар всегда был радушен.

И приветлив. И добр. И внимателен.

Был хозяином в доме своём.

Был — моим хорошим знакомым.

Не больше? Но и не меньше.

Приятелей и друзей и так у меня хватало.

Помню его — неизменно сдержанным в проявлении разнообразных эмоций, полностью отдающим отчёт себе в том, что теперь положение у него, несмотря на всю очевидную неофициальность его занятий любимой живописью, на удивление прочное, что молодость и нищета — где-то в далёком прошлом, как и его ученичество у старого Кропивницкого, а теперь есть квартира хорошая, дом в деревне, для отдыха, есть, деловые знакомства всякие, среди них и солидные, важные для карьеры художника, есть, есть надёжные, постоянные, год от года всё более крупные, что любому приятно, заработки, есть известность, всё более крепнущая, да и прочее, необходимое в жизни, есть, остальное же — будет, обязательно вскоре будет, — и усы его, коротко стриженные, шевелились над плотно сжатыми, с ядовитым изгибом, губами, и только в глазах его чудилась иногда мне внезапно мелькающая то ли грусть, то ли просто усталость — от чего? от кого? почему? — никому не узнать никогда.

В семидесятых Рабин, с Валей и сыном Сашей, навсегда уехал на Запад.

Саша вырос, художником стал.

А потом Саша Рабин — погиб.

Как-то видел я по телевизору, в передаче о нынешних «русских парижанах», действительно странных, для чужого-то мира, людях, то есть о бывших московских, в прежние годы, художниках, ныне живущих в Париже, Оскара Рабина с Валей Кропивницкой — оба такие тихие, что тишина в них сущностью их была, сдержанные, молчаливые, с виду совсем, как в сказке русской, старик со старухой.

Будто бы не в парижском ателье сидят они рядышком, а где-то в ином, нарисованном Валей, сказочном мире, даже, возможно, мирке, небольшом, симпатичном, уютном, на берегу спокойного прозрачного водоёма, среди широко разросшихся густых остролистных растений и славных, добрых зверушек, и солнышко пригревает, или в небе сияет луна, всё едино, всё тихо, спокойно, здесь уютно им, здесь они дома, к ним подходят зверушки добрые, разговоры с ними заводят, а они сидят и молчат.

«Простые, тихие, седые...»

Не о них это было сказано.

А припомнишь — так вроде о них...

Александр Орлов

Товарищ Сердце

Для меня он навсегда останется красивым, высоким, широкоплечим с огромным рюкзаком за спиной и двенадцатиструнной гитарой наперевес. Все мои первые годы в школе были связаны с ним. Природная фактура и искромётный артистизм могли бы позволить ему заменить в кино актёра Александра Домогарова, особенно в приключенческих картинах, повествующих о западноевропейском средневековье.

Неутомимый романтик, влюблявший в себя всех окружающих, которого всегда окружали гирлянды женщин. Впервые я увидел его в моё первое учебное школьное утро. Оно было немного прохладное, и мой первый классный руководитель, в тёмно-сером костюме, белой рубашке с аккуратно повязанным синим галстуком и комсомольским значком на лацкане пиджака, обращался к нам и всем, кто начинал новый учебный год. Мы провели вместе три года. Он стал неотъемлемой частью каждого из нас. Потом у него был последующий класс, который он так и не довёл до выпуска из начальной школы. Он ушёл из школы неожиданно. Пропал! Казалось, навсегда. Вновь он появился в школе уже в новом качестве: он проводил часы политической информации в средних и старших классах школы. Он появился неожиданно, как и исчез. Это вызывало у всех запомнивших его чувство новой жизни, совсем не похожей на предыдущую.

Прошло ещё два года, и он исчез как раз перед моим последним двухлетием в школе. Но на наш выпускной он пришёл. Казалось, его ждали больше всех. Он был счастлив, как бывают счастливы родители за своих детей. Он был настолько праздничным и весёлым в белоснежной рубашке и белых брюках, что ощущение радости за всех вместе и каждого в отдельности распространялось по всей школе. Григорий Александрович Фонарёв — мой первый классный руководитель.

Мне не забыть, как мы сидели у него дома в первое лето после школы. Он, как и ранее, пел песни под гитару, и мы говорили честно и долго.

— Саш, а у меня была кличка? Как вы меня называли или называете между собой? — с ухмылкой поинтересовался Григорий Александрович.

— А вы знаете, никак! Так, порой — Фонарь, — робко ответил я.

— Нет, — рассмеялся он и вдарил ладонями по коленям. — Это школьное прозвище никогда от меня не отвяжется.

— В основном всегда Григорий Александрович, редко Гриша, кто-то сыронизировал и прозвал вас ГАФ, с отсылкой сразу к фильму «Наше призвание» и к мультфильму «Котёнок по имени Гав», — сказал я.

— Помню этот фильм, там ещё прекрасный подбор актёров, — обрадовался Григорий Александрович.

— Да! Павел Кадочников, Елена Шанина, Ия Саввина, — начал перечислять актёров я.

— Георгий Тейх, Валерий Золотухин, Валентина Теличкина, Василий Мищенко, — казалось Григорий Александрович готов перечислить всех актёров фильма, но в этот момент мы рассмеялись.

— Ну, давай! — предложил мой первый классный руководитель.

Мы выпили заранее приготовленный напиток по особому рецепту Григория Александровича. С водкой в Москве были проблемы, а вот спирт можно было купить, и из него получался замечательный напиток, который я забрендировал как «Фонарёвка». По вкусу спирт разбавлялся лимонным напитком и немного водой, так получалось жгучее и сильнодействующее пойло.

— Ты читал произведения писателя Николая Огнёва, по которым снят фильм? — спросил Григорий Александрович.

— Нет, — бросил я.

— Обязательно напомни мне перед уходом, я тебе дам его книги. У меня есть его повести «Дневник Кости Рябцева» и «Исход Никитюжа». Его настоящее имя — Михаил Григорьевич Розанов. Он работал педагогом в Обществе попечения, а потом, после революции, — в московских колониях, преподавал в Литинституте, — Григорий Александрович рассказывал очень заинтересованно; казалось, что этот автор значителен для моего первого учителя.

— А вы знаете, что этот фильм снял папа Наташи Полоки, она училась на год младше нас? — спросил я.

— Нет! — удивился Григорий Александрович.
— Как же? — теперь уже пришла моя очередь удивляться. — Она ещё высокая такая, кличка у неё была Продай полметра?

— Нет, не знаю! — и Григорий Александрович расхохотался до слёз. — Хорошая кличка, — всё ещё улыбаясь, сказал он.

— Как так? — не переставал удивляться я. — Мы все учились на одном этаже! Точнее, вы были классным руководителем у нас в первом «Б», ваша жена Маргарита Борисовна, которая нас неизменно ругала, — в первом «А», а потом мы перешли во второй, и пришли новые перво-клашки, и среди них нельзя было не заметить Наташу Полоку, это как Эйфелеву башню в Париже не разглядеть, — не унимался я.

— Нет, не помню её! Я был весь заиклен на вас, никого не замечал, порой даже на жену времени не оставалось, — с улыбкой и горечью сказал Григорий Александрович.

— Тогда почему вы ушли из школы? — осторожно спросил я.

— Вас выпустил, пришёл мой новый класс, а перед глазами вы, и я понял, что люблю я только вас и больше никого и никогда так любить не смогу. Поэтому я их и не довёл до третьего класса. Если не любишь детей, которых учишь, перестаёшь любить своё дело, а так работать нельзя, за зарплату, без души, это лживо, и в первую очередь по отношению к детям. Я понимал, что вы рядом, выше одним или двумя этажами, но вы были очень далеко от меня, дети взрослеют быстро и память у них короткая, — виновато улыбувшись, сказал Григорий Александрович.

— Это не всегда так! — уверенно, но негромко произнёс я.

— Эх! Хочется верить! — растерянно ответил Григорий Александрович.

Я негромко запел:
Остался дом за дымкою степною,
не скоро я к нему вернусь обратно.
Ты только будь, пожалуйста, со мною,
товарищ Правда,
товарищ Правда!

Григорий Александрович мгновенно схватил гитару, и следующий куплет мы пели уже вдвоём:

Я всё смогу, я клятвы не нарушу,
своим дыханьем землю обогрею.
Ты только прикажи — и я не струшу,
товарищ Время,
товарищ Время!

Мы пригубили ещё «Фонарёвки», закусили яблоками, и я, глядя на Григория Александровича, сказал:

— А вы помните, как нас водили в походы? Как мы под Волоколамск к разъезду Дубосеково несколько километров с рюкзаками под палящим солнцем прошли? Как стояли там, где панфиловцы, которых теперь грязью поливают, сражались? — спросил я, но воспоминания меня не отпускали. — Помните? Нам кому семь, а кому восемь лет было, но мы тот поход из всех наших походов помним, поэтому и все слова песни: «Кружилась в поле злая осень, шумела поздняя листва. А их в окопе двадцать восемь, но за спиной у них Москва...» — до сих пор помним.

Начинало темнеть. «Фонарёвка» расходилась по нашим кружкам, а количество яблок на столе постепенно убывало. Мы говорили и пели, пели все песни, которые знали оба, песни, которым обучил нас наш первый классный руководитель. До самого утра из квартиры Григория Александровича можно было услышать «На далёкой Амазонке не бывал я никогда...», «В Кейптаунском порту...», «Песенку кавалергарда»... Ближился рассвет, и я спросил у Григория Александровича:

— Почему вы вернулись в школу?

— Пришёл Горбачёв, началась перестройка, и я посчитал, что буду нужен вам, чтобы разъяснить, что происходит. Но вы уже отвыкли от меня, у вас была своя, более взрослая, подростковая жизнь. Я сам многое не понимал, но хотел вас уберечь, — и Григорий Александрович опустил голову и закрыл лицо руками.

— Знаете, я хорошо помню некоторые события. В начальной школе как вы меня напугали, когда я болтал во время урока, и вы вытащили из ящика стола целлофановый пакет с октябрятскими звёздочками и сказали: «Ты у меня, Орлов, её никогда не получишь!» — я не успел договорить.

— Господи! Какой я был кретин! Ты меня прости, ради Бога! — расстроился Григорий Александрович.

— Да что вы! Это я испугался до первой перемены, а потом октябрятский значок вообще не носил, и вы меня опять ругали, а я просто не люблю значки, — успокаивал первого учителя я. — И ещё тот час политинформации...

— Нет, нет, всё, больше ничего мне не припоминай, — перебил меня Григорий Александрович.

— Подождите, мы же все тогда и были согласны с вами, и до глубины души не понимали трагичность происходящего. Выход Эстонии, Литвы, Латвии весной тысяча девятьсот девяностого года из состава СССР был для нас шоком. Ещё совсем недавно мы же все болели в международных матчах за вильнюсский «Жальгирис», минское, киевское и тбилиское

«Динамо», ереванский «Арагат», бакинский «Нефтчи», за нашу сборную в финале чемпионата мира в Германии, олимпийских чемпионов Сеула. Они все были наши! Мы любили литовских баскетболистов Сабониса, Марчюлёниса, Куртинайтиса, мы болели за наших ребят, победивших в финале тех же олимпийских игр тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года сборную Бразилии, и никто не думал, что Михайличенко — из киевского «Динамо», Кешташвили — из тбилисского, что Яровенко — из алма-атинского «Кайрата», это была сборная единой страны, и страна была едина. Но вдруг потом раз — и мы все не вместе: уже в ноябре Грузия вышла из состава СССР, потом Азербайджан... Это было сложно принять и понять. Всё, что вы тогда говорили, было важным для нас, но мы ещё долго жили со старым советским воспитанием и воспринимали всех, кто нас предал, как братьев, но они такими уже не были, — договорил я.

— Какую страну просрали... — наполняя наши кружки, сказал Григорий Александрович. — Эх, Сашка, а что будет дальше? Вера? Куда исчезла наша вера? Как смотреть в глаза тем, кто отстоял Москву, разгромил врагов под Сталинградом, прорвал блокаду Ленинграда, освободил Киев, Минск, Варшаву, Белград, Софию, взял Кёнигсберг и Берлин?

— Надо жить... — я обронил это тихо, но тут же словно очнулся и сказал: — Так, как в другой песне у Рождественского: «И живу я на земле доброй за себя и за того парня. Я от тяжести такой горблюсь. Но иначе жить нельзя, если всё зовёт меня его голос, всё звучит во мне его песня». Как по-другому?

— Видимо, по-другому — это с Богом, — неожиданно для меня сказал Григорий Александрович. Он был задумчив. — Если мы так мучаемся на земле, если нас, целый народ, способны в течение менее чем столетия так предавать, то, значит, есть высшая правда, и она не на земле, она там, на небе, и мы её ощущаем с каждым восходом солнца, в ночном сиянии звёзд, и она доступна только тем, кто верит, а значит, и надеется на вечную жизнь, и любит всё, что создано неимоверными усилиями с помощью дарованных свыше талантов, и всё это кто-то даёт, и другого объяснения, что этот дар — высший и он от Бога, у меня нет. Я хочу креститься. А ты крещён? — спросил мой первый учитель.

— Да, — коротко ответил я.

Мы снова запели песню из кинофильма «Как закалялась сталь»:

Я снова поднимаюсь по тревоге.
И снова бой, такой, что пулям тесно!
Ты только не взорвись на полдороге,
товарищ Сердце,
товарищ Сердце!
В большом дыму и полночи, и полдни.
А я хочу от дыма их избавить.
Ты только всё, пожалуйста, запомни,
товарищ Память,
товарищ Память.

Мы расстались рано утром, когда августовское солнце сияло в последний раз этим летом. Больше мы никогда не сидели за одним столом, и не говорили, и не пели наши песни. Мы простились со страной и школой, которые нас воспитали. Иногда я встречал Григория Александровича на улице, и мы говорили о жизни, ребятах, хотели встретиться, но дальше разговор дело не дошло.

Прошло девять лет, и мы при встрече обменялись мобильными телефонами, поговорили и решили, что обязательно должны встретиться.

Утром раздался телефонный звонок, и Григорий Александрович говорил, что пришла весна и что в этом году десять лет нашему выпуску, его выпуск, что он хочет покреститься, что время меняет всё, что невыносимо узнавать о своих бывших первоклашках новости, которые сводят его с ума.

— Как это всё слышать? Как это всё узнавать? Этот сидит, этого убили на «стрелке», одна стала проституткой, другая торгует наркотой. Что с моим классом? Эх, Саша, я раньше был таким кретином, но я же во всё это верил и вас этой вере учил. В страну, вождей, партию, народ, дружбу, любовь, наконец. А что сейчас? Что вокруг? Единственное, что я для себя решил, — это то, что надо покреститься, даже если это дико звучит из уст бывшего комсомольского вожака. Эх, «ты только не взорвись на полдороге, товарищ Сердце, товарищ Сердце!»...

В телефонной трубке послышались гудки. Я подумал о том, что сейчас идёт бой, и он, видимо, такой же, как в песенных строчках, написанных Робертом Рождественским. Именно сейчас вокруг тесно от видимых и невидимых пуль, которые уничтожают всех и вся, и никто не знает, сколько лет или десятилетий будет идти бой, и кто останется в живых, и сколько ещё будет погибших.

Сердце моего первого школьного учителя взорвалось на полдороге, оно не выдержало всего того, что происходило вокруг, теперь товарищ Память напоминает мне, как надо уметь тратить себя, тратить так, чтобы хватило на всех, кто в этом нуждается.

Дмитрий Косяков

Задачи русской литературы сегодня

Многие рассердятся на такую постановку вопроса. Как можно говорить о каких-то задачах? Кто имеет право такие задачи ставить? Кто смеет посягать на свободу творца писать то и так, что и как он хочет?

Не переживайте, ставить эти задачи буду не я. Их ставит перед нами время. Я лишь попытаюсь сформулировать их в самых общих чертах. Но зачем вообще их формулировать? Кому их интересно знать?

Кажется, Гёте сказал, что истинный гений — тот, кто сумел ощутить и высказать главную боль своей эпохи. Так вот если вы хотите быть гениальными, если хотите, чтобы вас читали, чтобы к вам прислушивались, чтобы за вами шли, извольте слушать своё время и свой народ. В противном же случае наградой за ложно понятую свободу творчества — «свободу от» вместо «свободы для» — вам будет равнодушие при жизни и забвение сразу после смерти.

Но не будем долго на этом задерживаться. Как говорится, мудрому достаточно. Перейдём к обсуждению тех задач, которые ставит перед писателями время.

Коренные проблемы литературы девятнадцатого века

Саму постановку вопроса я почерпнул из замечательной книги Николая Троицкого «Россия в XIX веке». Возможно, он воспринял это у кого-то ещё, но я впервые прочёл это у Троицкого, на него и сошлюсь. Он обозначил три главные проблемы, которые решала русская классическая литература: «Первая из главных проблем русской литературы второй половины XIX в.¹ — это обличение существующего строя. Второй проблемой было отображение жизни народа. <...> Изображая беды и горе народа, классики русской литературы верили в его лучшее будущее. Поэтому они так часто обращались к третьей из своих главных проблем — к изображению положительного героя, человека будущего»².

1. Я бы счёл эти проблемы актуальными и для первой половины XIX века.

2. Троицкий Н. А. Россия в XIX веке (https://scepsis.net/library/id_1551.html).

Итак, у русских классиков было три больших задачи:

- 1) обличение существующего порядка;
- 2) правдивое изображение жизни народа;
- 3) поиск положительного героя.

Это не значит, что они не ставили перед собой и других задач, просто эти три осознавались как коренные и основополагающие. Остальное примыкало к ним, служило решению этих важнейших задач. Ограничивало ли это творческую свободу великих писателей, делало ли их похожими друг на друга? Вовсе нет.

Скажем, в рамках одной и той же задачи — обличения крепостничества — Тургенев пишет «Записки охотника», Гончаров — «Обломова», Гоголь — «Мёртвые души». Произведения различные по поэтике, по настроению, по стилю, даже по идеям и выводам, но пытающиеся решить одну и ту же задачу, каждое по-своему и на своём уровне её решающие. С другой стороны, уже после отмены крепостного права Достоевский продолжил начатое Гончаровым исследование социального и нравственного разложения дворянства.

Кстати, задача могла быть в ходе создания произведения и не решена. Но сама попытка принесла бесценные плоды. Так было с проблемой поиска положительного героя. Произведения, ставившие перед собой эту задачу, чаще развенчивали своего героя, чем утверждали его. Так вышло у Грибоедова с Чацким, у Пушкина с Онегиным, у Тургенева с Рудиным и Неждановым. Для Гоголя неспособность вывести положительного героя во втором томе «Мёртвых душ» вообще стала писательской катастрофой. А Базаров неожиданно шагнул из антигероев в герои. Результаты получались самые неожиданные, но по большей части благотворные.

Тот же Тургенев, развенчивая своих героев-мужчин (не всех), создал плеяду удивительных женских образов («тургеневских девушек»), на которых было воспитано не одно поколение молодёжи. При этом решение важнейших общечеловеческих задач не мешало ему оставаться тонким психологом и, по словам Голсуорси, «величайшим поэтом, который когда-либо писал прозой».

Тем не менее не будем подробно на этом останавливаться. Наша задача иная. Означает ли вышесказанное, что раз принятые русской литературой на себя задачи остались неизменными? Отнюдь.

Новые задачи: сопоставление нового со старым

Революция 1917 года и Гражданская война внесли свои коррективы. Обличать существующий порядок стало бессмысленно, ибо не стало никакого порядка; правдиво описывать жизнь народа стало невозможно, ибо сама эта жизнь стремительно менялась, теряла прежний, установившийся веками облик; искать героев стало не нужно, ибо они никуда и не прятались — все они вышли на авансцену истории, громко заявили о себе и вступили в открытую борьбу. Все эти бывшие задачи оказались поглощены другой, более актуальной, — осмыслением происходящего переворота в контексте истории России. Гибнет Россия (как считали монархисты) или переживает небывалый зигзаг своей истории, раскрывающий сущность её культуры и её народа? Об этом рассуждали Блок и Маяковский, Брюсов и Есенин.

Именно поэзия первой откликнулась на «музыку революции». Маяковский ещё в феврале 1917 года, по собственным воспоминаниям, «пошёл с автомобилями к Думе» и принялся писать поэтохронику «Революция»³. Куприн хоть и не принял революцию, тем не менее впоследствии написал книгу «Ленин. Моментальная фотография». Никто из крупных писателей России (да и мира) не мог обойти стороной эту предъявленную самой историей тему. За поэзией последовал очерк, короткий рассказ, фелъетон.

По мере налаживания в Советской России нового быта в эпоху нэпа появились новые задачи: описание нового в сопоставлении со старым: так ли новое ново? — и критика остатков старого (в том числе рядящегося в новые одежды). Этим занимались Ильф и Петров, Зощенко, Булгаков. Глазами Воланда Булгаков пристально всматривался в москвичей, стремясь понять, «изменились ли эти горожане внутренне». И Булгаков, и Зощенко заключали, что в горожанах осталось ещё много старого, хотя и делали из этого противоположные выводы.

Также важнейшим вопросом стала переоценка прежних ценностей. Что предстоит взять с собой в грядущую жизнь из прежнего наследия? Сбрасывать ли Пушкина «с корабля современности»? Об этом же раздумывал Олеша в «Зависти», об этом спорили философы и критики.

3. Маяковский В. В. Собр. соч. в 12 т. Т. 1. М.: Правда, 1978. С. 56.

В этом суть спора футуристов с «попутчиками». Даже сам Ленин успел высказаться на этот счёт: «Красивое нужно сохранить, взять его как образец, исходить из него, даже если оно „старое“». Почему нам нужно отворачиваться от истинно прекрасного, отказываться от него, как от исходного пункта для дальнейшего развития, только на том основании, что оно „старо“? Почему надо преклоняться перед новым, как перед богом, которому надо покориться только потому, что «это ново»? Бессмыслица, сплошная бессмыслица! Здесь много лицемерия и, конечно, бессознательного почтения к художественной моде, господствующей на Западе».

Вставал вопрос о том, какой же новый мир мы строим, к чему и ради чего идём. Этому вопросу посвящены вызвавшее много споров стихотворение Алексея Гастева «Башня», а также «Котлован», «Ювенильное море», «Родина электричества» и другие произведения Платонова.

Важной темой стало культурное строительство, борьба с безграмотностью, невежеством, преодоление пропасти между интеллигенцией и народом. И снова вроде бы было не до героев. Героев вокруг хватало. Хотя лица их понемногу теряли индивидуальность и естественность. Как пелось в знаменитом «Марше весёлых ребят»:

*Когда страна быть прикажет героем,
У нас героем становится любой.*

Ну а с воцарением Сталина задачи отпали сами собой. Литература, как любят сегодня говорить, потеряла субъектность. Уже не писатели ставили себе задачи, задачи теперь спускались сверху. И по большей части они сводились к тому, чтобы славить начальство и грозить «врагам». Какая уж там критика существующего строя! В рамках соцреализма можно было критиковать лишь отдельные недостатки (из утверждённого и одобренного списка), сатира умолкает надолго. Умолкают голоса Зощенко и Булгакова. Описывать жизнь народа можно было только в радужных красках, а героя списывать с Павки Корчагина.

Но, опять же, опустим всё это. Я лишь хотел показать, что задачи литературы могут видоизменяться с течением времени. Конечно, потом много ещё чего было: были война и Победа, были «оттепель» и «перестройка», и много значительных художественных произведений было создано — всё это тема для отдельного исследования.

Современные задачи: «Страной наруководили...»

Перейдём к роковому 1991 году и постсоветской реальности. Развал страны, крушение экономики, оплёвывание прежних ценностей

поставили на повестку дня две важнейшие задачи: осмысление произошедшего переворота и оценку советского периода уже в качестве прошлого, в качестве наследия.

С этими задачами литература новой России более-менее справилась. Можно вспомнить «Generation „П“» Пелевина, «Ангел пролетел» и «Красно-коричневый» Проханова, сборник «Убийство часового» Лимонова, «Роман-воспоминание» Рыбакова, «Красный свет» Кантора.

Лимонов пришёл к выводу, что советский «санаторий» был разрушен благодаря психологическому давлению извне и моральному разложению внутри: «РАIX АТОМИQUE сделал невозможным военное столкновение между Западным и Восточным блоками санаториев, но обладание ядерным оружием не уберегло СССР от психологических ударов. Серия „холодных“, психологических войн разрушила коллективную волю Советского государства и подтолкнула его к самоубийству. (Вспомним высказывание Арнольда Тойнби о том, что „великие цивилизации не погибают, но кончают самоубийством“)⁴.

В интервью, посвящённом обсуждению «Романа-воспоминания», Анатолий Рыбаков дал исчерпывающую характеристику правительству Российской Федерации: «Быть заведующими лабораториями — это их потолок. В большом хорошем институте, возглавляемом умными людьми. Там они ещё могли бы руководить. А страной — наруководили, да так, что рухнули и производство, и наука, и образование, и культура. Бардак, одним словом»⁵.

Конечно, философы и историки, такие как Александр Тарасов или Джузеппе Боффа, высказались на эту тему отчётливее и глубже, но и литераторы худо ли, бедно ли сказали своё слово.

Ещё недавно мне казалось, что вышеназванные задачи всё ещё актуальны. Но теперь я вижу, что это не так. Можно считать этот этап отечественной словесности завершённым. Вот уже более тридцати лет мы живём в совершенно другой стране. СССР окончательно стал историей, хоронить или оплакивать его уже бессмысленно. Более того, советская эпоха уже мало чему нас может научить, её реализм стал далёкой прекрасной сказкой, а опыт старших поколений по большому счёту бесполезен в нынешней реальности.

Но если современная идеология и официальная культура предали анафеме и вычеркнули из нашей истории весь советский период, если нас стремятся психологически и культурно вернуть в дореволюционную эпоху (иначе чем же

ещё занимаются Акунин с его Фандориным и Яхина со своей Зулейхой?), не означает ли это и возвращение прежних задач классической русской литературы? Если так, то их, во всяком случае, необходимо модифицировать, исходя из нынешних реалий.

Давайте разберёмся по пунктам.

1. *Правдивое изображение жизни народа.* Да, оно снова актуально. И это связано с тем, что снова образовался глубокий разрыв между образованными слоями и трудовой массой. Правда, теперь это связано не с сословным делением общества, как в царской России, а с неравенством доходов. Снова богема, как и двести лет назад, начинает выдумывать себе сказки о народе, представляя его себе загадочным дикарём, а то и ничёмным паразитом. А как живёт, что чувствует, как мыслит этот таинственный россиянин, на плечах которого, на повседневном тяжком труде которого держится страна и на долю которого достаются наиболее тяжёлые невзгоды? И, описывая народ, заглядывая в его душу, нельзя скатиться до чистой описательности, превратиться в натуралиста, в энтомолога, регистрирующего те или иные особенности. Нужно описывать в народе те черты, которые могут быть полезны или губительны для его спасения.

2. *Критика существующего положения дел.* Безусловно, необходима. Но нужно не просто плакать или смеяться, нужно отыскивать корни зла. Как прежде писатели-классики обнаружили источник всех зол в крепостном праве, так и сегодня нужно найти первопричину наших проблем и учить её при описании частных неурядиц и пороков. Рискну предположить, что первопричина эта заключается в пресловутом всевластии денег, в имущественном неравенстве. Но возможно, проблема лежит глубже или имеет в России какую-то важную специфику, которую нужно осознать и выразить. Ведь деньги, они и в Америке деньги, и всё-таки Россия — не Америка. Стало быть, всевластие денег накладывается на нашу культуру и наше сознание как-то иначе.

3. *Поиск героя.* Важен и нужен. Причём, повторюсь, не обязательно поиск должен быть успешным (как это было с Чацким, Рудиным и другими). Но необходимо искать типы, которые пытаются преодолеть обстоятельства, причём преодолеть их не только для себя (чтобы построить островок персонального счастья посреди моря человеческих бед), но и для других. Герой — тот, с кем мы связываем надежду на перемены к лучшему. Как Гриша Добросклонов у Некрасова или Данко у Горького.

Читателем руководит страх

Теперь давайте посмотрим, как справляется с этими задачами современная литература.

4. Лимонов Э. Убийство часового. М.: Молодая гвардия, 1993. С. 245.

5. Рыбаков А. Зарубки на сердце. Последнее московское интервью // Дружба народов, № 3, 1999 (<https://magazines.gorky.media/druzhba/1999/3/zarubki-na-serdcze.html>).

Если задать «Яндексу» вопрос: «О чём пишут современные писатели?» — то первым делом он почему-то выдаст заметку 2011 года, автор которой сокрушается: «Стоило мне зайти в один из книжных магазинов, взглянуть на прилавок с пестреющими яркими обложками, как мои глаза вмиг округлились: „Тёлки (повесть о ненастоящей любви)“, „Крутые мужики на дороге не валяются“, „Русская мафия — идеальная машина для отмывания денег“, „Порнократия“... Звучные заголовки, ничего не скажешь! Страшно даже подумать о том, что скрывается под обложкой. Вряд ли на страницах этих книг есть что-то, кроме восхваления власти денег, секса и наркотиков. И даже если слова „любовь“ и „дружба“ случайными гостями забредают в эти „шедевры“, то и они невероятно извращаются и опошляются»⁶.

И всему этому валу третьесортной литературы автор противопоставляет Харуки Мураками, который блуждает «по лабиринтам собственного сознания с целью понять себя», и Пауло Коэльо, который тоже «предпочитает окунуться в глубины внутреннего мира». То, что названные писатели иностранные, — это ещё не так страшно. Ибо у Бразилии, родины Пауло Коэльо, немало общего с Россией. Но вот то, что эти писатели вместо решения главных вопросов современности ковыряются в собственном пупке, конечно, не внушает к ним уважения.

А вот обзор творчества нобелевских лауреатов от издательства «Эксмо»⁷. Посмотрим, с какими формулировками вручали «нобелевку» этим господам. Тони Моррисон (1993) — «за полные мечты и поэзии романы». Дж. М. Кутзее (2003) — «за создание бесчисленного количества обличий удивительных ситуаций» («Это, я бы сказала, притча с нулевым градусом письма, текст инопланетного мудреца», — говорит его переводчица Шаши Мартынова). Жан-Мари Гюстав Леклезю (2008) — «за новизну, поэтические искания и чувственность». Боб Дилан (2016) — «за создание новых поэтических выражений».

Поскольку творчество Дилана я уже анализировал, то позволю себе автоцитату: «Метафоры становятся [для Дилана] самоцелью, их разгадывание превращается для слушателей в забавную игру, которая подменяет собой размышления над мыслью и позицией автора. По проторённой Диланом дорожке ринулись многие рокеры, превратившие своё творчество в яркий иллюзион»⁸.

6. О чём пишут современные авторы? (https://www.dunaeva.info/2011/03/blog-post_28.html)

7. В стиле не откажешь: о чем пишут современные нобелевские лауреаты (https://eksmo.ru/trends/o-chem-pishut-sovremennye-nobelevskie-laureaty-ID15575077/?ysclid=lok4838_bhi282793325).

8. Косяков Д. Н. Рок-портреты. Красноярск: Литера-Принт, 2023. С. 24.

Итак, мечты, чувственность, инопланетные мудрствования. Если и упоминаются какие-то насущные проблемы, то они исчерпываются расовой дискриминацией, с которой сегодня так модно бороться. Бесспорно, проблема национальной розни сегодня крайне актуальна, но ведь и у неё есть свои корни, о которых лучше не задумываться, если хочешь стать нобелевским лауреатом.

А вот главная мысль свежей (2023 год) заметки «О чём и как писать современным прозаикам?»⁹ с портала «Многобукв» заключается в том, что «сегодня люди больше нуждаются в эскапизме — в побеге от актуальной современности, преследующей нас в новостных лентах и многочисленных блогах». Соответственно этой задаче отбираются формы и темы. Бегство может осуществляться «через язык, через переводную литературу или отсылки к ней», бежать можно в воспоминания о детстве, в мифопрозу, магический реализм, альтернативную фантастику. Даже описание жизни российской глубинки воспринимается именно в качестве экзотики.

Как писал ещё Вознесенский:

Бегите — в себя, на Гаити, в костёлы, в клозеты,
в Египты —
Бегите!

Но это всё «большая литература», популярная, массовая. А о чём пишут провинциальные авторы? О рыбалке и охоте (бегите!), об адюльтерах, о далёком детстве. Всё мимо, всё по касательной с главными вопросами.

Создаётся впечатление, что провинциальная литература находится на стенках эдакого пузыря, в центре которого находятся темы и вопросы, которых она не смеет касаться: современность, город, общественная жизнь, профессиональная деятельность, культура. Поэтому предпочитают писать о деревне, и не о той, которая существует сейчас, а о деревне своих детских воспоминаний — о старой советской деревне, давно исчезнувшей с лица земли. Воспоминания или сюжеты на исторические темы — лишь бы подальше от современности. Исторические сюжеты авторам принципиально не даются, поскольку они отказываются видеть разницу между прошлым и настоящим, разницу, прежде всего выражающуюся в психологии людей. Они помещают себя и своих знакомых в исторические обстоятельства или приписывают историческим героям свои чувства, свои мотивы и ценности. А эти мотивы и ценности были иными.

Потому и набила у читателей оскомину тема Великой Отечественной войны, что эта тема

9. О чём и как писать современным прозаикам? (https://mnogobukv.hse.ru/news/827046849.html?ysclid=lok5272_trp628038705)

современным писателям не даётся, она им попросту не по зубам: не понять высокий героизм тех лет людям, которые мечтают спрятаться от жизни в бабушкином сундуке, у которых от слов «интернационализм» и «коммунизм» лицо злобой перекашивается.

Страх прорвать оболочку пузыря заставляет соответственно подбирать и возраст главных героев — это либо дети, либо древние старики, то есть люди, ещё или уже исключённые из общественной жизни, замкнутые в мире сугубо личных переживаний или семейных отношений. О семья! Это настоящее убежище для современного писателя! Его персонажи бесконечно выясняют отношения со своими родственниками, но ни в коем случае не с сослуживцами, начальством, согражданами.

В стихотворениях царит созерцательная неподвижность. Герой сосредоточенно нюхает цветочки и любит закатами наедине со своими экзистенциальными переживаниями. То есть опять же вдали от города, от общества, от культуры. Излюбленной темой оказывается смерть: смерть близких, переживания по поводу своей предстоящей кончины. Быть может, это связано с возрастом наших писателей? Ведь чем старше человек, тем больший вес в его сознании получает прошлое и тем эфемернее становятся настоящее и будущее. Но и молодые пишут о смерти и предпочитают строить свои отношения с вечностью, не выходя из комнаты.

Неудивительно, что современность прорывается в литературу лишь в виде бездарных чиновно-патриотических опусов. Любовный и вдумчивый взгляд на страну, на нашу современность оказывается исключительной редкостью.

Выходит, что главным мотивом для современного писателя и читателя является страх. Страх перед жизнью и стремление найти в литературе убежище от этой самой, своей, жизни. Во всяком случае, так считают архитекторы литературного процесса. И в соответствии с этими представлениями о читательском спросе формируют своё предложение, состоящее из романов-однодневок о любви на жарких островах, о битвах магов с инопланетянами и о детстве в деревне с неизменными журавлями в небе и кустом черёмухи под окном. А публика между тем читает всё меньше.

О людях деревни, о людях труда

Можно считать расчёты издателей и писателей-стахановцев оправданными или нет (я лично считаю, что спрос на глубокое осмысление нашей настоящей жизни существует), но нас волнует не это. Эпоха ставит перед современными писателями важные исторические задачи. И эти задачи должны быть выполнены. Во имя

истории, во имя отечественной культуры, во имя народа и ради собственной совести. По плечу ли это современным писателям?

Думаю, да. И примером тому могут послужить произведения Анастасии Астафьевой и Елены Басалаевой.

Анастасия Астафьева замечательно пишет о жителях деревни, о людях труда. Кто-то скажет: «Ещё бы! Ведь это дочь самого Виктора Астафьева. Ей сам Бог велел хорошо о деревне писать!» Но, на мой вкус, дочь кое в чём превзошла отца. Может быть, именно в силу своей женственности она подходит к теме мягче и деликатнее, без позы нравственного учителя, без напускной грубости. В её душевных рассказах правда вытекает не из авторских нравоучительных отступлений, а из самого повествования.

Например, в рассказе «Для особого случая», открывающем одноимённый сборник, речь идёт о доярке Галине, которой предстоит важное мероприятие. Это становится для скромной женщины целой бедой: «Всё надеялась, что обойдётся. Не обошлось». Нужно ехать в райцентр и выкладывать последние деньги на платье, подскивать обувь, на кого-то оставлять хозяйство, пока она будет в отъезде...

И только в конце рассказа мы узнаём, что Галине предстояло получать награду из рук самого президента. И хотя с формальной точки зрения вся эта ситуация и реакция Галины выглядят натяжкой: обычно к таким наградам и денег дают, а кто же сегодня от денег отказывается, да и победителей выбирают не столько по заслугам, — но всё же в финале звучит глубокая психологическая правда:

«В четверг выйдет районная газетка, где на первой полосе, занимая всю её центральную часть, будет красоваться фотография с подписью: „Лучшая доярка России 2010 года Галина Кудряшова принимает поздравления от Президента РФ“. Галина стоит рядом с руководителем страны в зажатой позе, ссутуленная, с испуганным взглядом. На груди у неё блестит медалька, приколотая лично Президентом. <...>

Через три дня Галина снимет вырезку и спрячет вместе с платьем и медалькой в самый дальний угол комода».

В этом финале ощущается звенящая пустота между властью и народом — властью, живущей в праздничном мире пышных церемоний, и народом, задавленным нуждой, делами, вообще живущим своей отдельной жизнью. Это два отдельных мира. Конечно, как-то они связаны, ведь первый мир блаженствует за счёт второго, но психологически они не то чтобы враждебны, а чужды друг другу. Им нечего друг другу сказать.

Эта тема получает развитие, углубляется в притче «Глафира и Президент». Снова президент, воплощение и символ высшей российской

власти, встречается с простой селянкой. Но на этот раз не она едет к нему, а он к ней. Приезжает, чтобы помочь по хозяйству и наладить бабкин быт. И хотя вся эта ситуация оказывается бредом заболевшей ковидом Глафиры, Анастасия вполне реалистично описывает быт и сознание российских деревенских стариков, сознание уходящего поколения.

Интересно, что в этом сознании переплетаются ностальгия по советским коммунистическим идеалам, православная религиозность и наивная вера в доброго царя-президента, который, словно мудрый Сталин, печётся о благе простых людей: «Господь явил им великое Чудо! Такое, которое даётся единицам! Через век из небытия вернулась утраченная иконка! И даже то, что она тогда, давным-давно, сгорела вместе с часовней, утвердил Господь: опалены оказались края у образа! Из огня восстала Богородица! И вот Он доверил им это Чудо! И лично в руки Президенту вложил иконку, будто указуя, о ком надлежит в первую очередь печься земному властителю — о сырых и убогих, о вдовах и детях! И ведь он принял этот образ, а вместе с ним и обет»¹⁰.

Но не стоит думать, что Анастасия Астафьева является обличительницей «язв и пороков современности». Нет, она не восстаёт против несправедливости и вообще старается не ссориться с мировым злом. Это, как вы догадались, уже касательно второй задачи литературы. Не позволяет Анастасии разглядеть зло её идейная установка, ибо она возлагает ответственность за страдания людей на самих людей, на их неискоренимую греховность:

«А люди так и не научились беречь друг друга. Не научились искренности и благодарности. Не умели и не умеют ценить простых земных радостей. Ведь можно утром встать и поклониться солнцу, испить крепкого чаю, погладить кошку, обнять родного человека и стать от этого счастливым. Чего же всё время хочет человек? Почему важное, истинное, сокровенное таит до последнего часа? А брань и проклятия слетают с его языка легко, бездумно? Почему мало ему быть сытым, одетым, жить в тепле, а рвётся он к богатству, к власти? Почему истребляет природу, гадит в доме, в котором живёт сам и оставит жить детей своих? Куда всё быстрее несётся этот земной шарик, раскрученный до немыслимых, гибельных скоростей нашей суетой, алчностью, несправедливостью, нелюбовью? И всё плотнее делается время, и всё острее встают вечные вопросы, а ответов на них как не было, так и нет»¹¹.

10. Астафьева А. В. Глафира и президент//День и ночь, № 4, 2023 (<https://журнальныймир.рф/content/glafira-i-prezident-o>).

11. Там же.

В этих жестоких словах, в этой затаённой обиде на «странных жалких людишек»¹², конечно, слышится голос Виктора Петровича Астафьева. Но Астафьева можно понять: он жил в совершенно иные времена, когда, с одной стороны, идеалы справедливости и равенства лежали в основе государственной идеологии, а с другой, критиковать «самую гуманную систему» было себе дороже. Сегодня всё наоборот: корни зла обнажены, общество открыто объявило войну всех со всеми, зоологический принцип выживания сильнейших, поэтому вторая задача — критика существующего жизненного строя — вполне возможна.

Но я ни в коем случае не упрекаю Анастасию Астафьеву в том, что она не делает следующий шаг. Она честно и талантливо старается решать первую задачу — раскрыть нам жизнь народа. И это уже ох как немало для современной литературы, в упор старающейся не замечать ни народа, ни его жизни.

Многие хвалят повесть Максима Васюнова «Кутига» (опубликована в № 8 журнала «Наш современник» за 2021 год) за достоверное изображение жизни деревни. Впрочем, не из одних селян состоит сегодня народ России. Появляются убедительные и правдивые произведения о жизни промышленных рабочих и даже рабочих-мигрантов.

Преодолеть разъединённость

А вот писательница Елена Басалаева, на мой взгляд, плодотворно работает с несколькими задачами. Во-первых, она с интересом и любовью присматривается к простым людям. Героями её рассказов и повестей становятся и деревенские жители (см. повесть «Девушка из города»), но по большей части это именно городские низы, как у Достоевского и особенно Горького, которого Елена называет своим любимым писателем.

Например, в повести «Школа» Елена не только превосходно воссоздаёт трудности, с которыми сталкивается начинающий учитель, но и внимательно присматривается к школьникам, к другим, уже погружённым в образовательную рутину, педагогам. Ситуации узнаваемы, всякий учитель, всякий школьник признает их реалистичность:

«Я кляла себя за бездарно упущенные первые уроки. Пыталась призывать всех к порядку, вызывала особо распоясавшихся к доске, запугивала близкой контрольной, но получалось у меня всё равно плоховато.

В конце сентября мне довелось ехать в автобусе вместе с одним из своих восьмиклассников, Пашей Левченко.

12. Там же.

— О, это вы, Елена Михайловна! — обрадовался улыбчивый Пашка. — Как вам в нашем классе?»¹³

Но сквозь бытовые картины проступает осознание главной проблемы — разьединённости людей. Причём разьединённости этой служат всепроникающие бюрократизм и формализм. В итоге педагоги работают ради отчётности, дети учатся ради оценок, да и на оценки уже начинают смотреть с равнодушием. Зачем все эти люди собрались вместе, чем они занимаются? Тут уже писательница возвышается до второй задачи русской литературы — критики существующего строя и поиска корней зла.

Помимо государственного мертвящего бюрократизма, источником зла оказываются культ успеха, всеобщая конкуренция и власть денег.

Характерно, что интеллектуалы, люди культуры и знания, зачастую оказываются в произведениях Елены не способны просветить, научить простых людей, чем-то помочь им. Интеллектуалы (не поворачивается язык назвать их интеллигенцией) отравлены постмодернизмом, игрой в бисер. Они говорят на непонятном языке, да и не слишком стремятся быть понятными. Им интереснее в мире мифологем, чем в мире людей с их жизненными трудностями.

В рассказе «Дикари» университетский преподаватель литературы Никита бросает фразу: «Литература — это же вообще условность,

игра». И тем самым роняет свой авторитет в глазах ученика.

Эта импотенция интеллектуалов вплотную подводит писательницу к проблеме поиска героя, но всё же за решение этой задачи Елена Басалаева пока не взялась. Её герои лишь ищут выхода для себя, ищут личного спасения, хотя всё же понимают это спасение как духовное, а не материальное благополучие.

Елена Басалаева постоянно возвращается к теме распада СССР и морально-психологическим последствиям этой трагедии. Она исследует эту тему в своих «Сказках девяностых», в повести «Тайна старого дома» и в других произведениях. Остаётся только пожелать Елене дальнейшей плодотворной работы и новых творческих прозрений.

Как видите, отечественная литература не всецело подчинилась рынку, не все авторы стремятся сбежать от реальности и увести за собой читателя. Не все авторы бесцельно пережевывают события личной жизни или занимаются мещанским морализированием. Есть авторы, которые зорко и вдумчиво всматриваются в современность, чтобы познать свой народ и отыскать корень его бед.

Жаль, конечно, что эти ценные произведения тонут в море коммерческой или псевдоинтеллектуальной литературы. Поэтому каждого такого автора надо отмечать, выдвигать и поддерживать.

13. Басалаева Е. М. Школа. Красноярск: Литера-Принт, 2021. С. 26.

Андрей Расторгуев Тюркиш кофе

Никогда я не был на Босфоре...
С. Есенин

Странное время жизнью живёт двойной,
переслоив мир пополам с войной, —
в ласковый, полулетний осенний зной
можно попасть из зоны прифронтовой.
В людном вокзале или аэропорту,
видя парней, отправляющихся на черту,
молча глаза отводишь, как виноват,
что на восход поехал, а не закат...

I.

От повседневного — туда,
где, поездам давая фору,
видны под крыльями суда,
сходящиеся к Босфору,
где, сопрягаемы вдвоём
и днями, и ночными снами,
мы снова берега сведём
пролива, лёгшего меж нами,
и где не просквозит пока
среди продолженного лета
ракета тонкие бока
взлетающего самолёта.

II.

Лёгкой шторой неотразим,
нашей временной крыши поодаль
с минарета опять муэдзин
будит дремлющий Константинополь,
и, подобно волне приливной,
по крутым переулкам Царьграда
подымается говор дневной
многоликоязычного склада.

Впрочем, что это я говорю?
Из окошка, похоже, надуло...
Незапамятную зарю
возглашают мечети Стамбула,
и в который неведомо раз,
не подвержены утренней лени,
сотворить непременный намаз
правверные клонят колени...

Пролетело немыслимо лет
для досужих писателей блогов,
как булатом прошёлся Мехмет
по империи Палеологов,
а по давним местам и теперь,
пять веков или шесть миновало, —
время, словно нажравшийся зверь,
цареградских руин не сглодало.

Только что я опять говорю?
Ты, похоже, уже заскучала...
Наступает конец октябрю,
ноябрю наступает начало.
Мы с тобою, и солнце печёт,
точно впрямь продолжается лето,
и по-прежнему время течёт,
как за тысячу лет до рассвета.

III.

Московское время, но в небе довольно огня.
Пойдём надышаться свободой тёплого дня —
вчера в минус десять мы грели друг друга в
обнимку.
В желательном нетуристическом уголке
турецкого кофе отведаем на языке,
доверим историю запечатлеть фотоснимку.

И нашу с тобою, и что совершилась давно.
Но что свершено — непременно ли завершено?
Потрогай: жива под землёй вековая стихия...
На разные органы чувств ощущается здесь
Европы и Азии замысловатая смесь,
и в каждой мечети мне видится Айя-София.

IV.

А мир горит войной ещё одной:
взамен ковра два деловитых турка
полотнище с давидовой звездой
прибили на бульваре Ататюрка:
мол, попирай подошвой, люд честной,
виновное светило дел кровавых...
Где два народа сходятся стеной,
трудней делить на правых и неправых.

От палестин восточных далеки,
в жилье попутном или в доме отчем
мы по чужим гербам не ходоки
и собственных тем более не топчем.
Нацистских только, жаль, не извели —
они всегда такой достойны чести...
Вчера две украинки помогли
с тобою мне запечатлеться вместе.

V.
Вечной душе — мечети,
если она в почёте.
Временной плоти храм —
хамам.

Навзничь на тёплый камень —
не шевеля руками,
медленно, без затей
потей.

После на перемене
в мыльной пузырящей пене
банщик тебя помнёт —
свежей водой польёт...

Всё это не реклама
ни одного хамама.
Просто пошли разок —
ок.

Ладно — вам, как родне:
мечеть Сулеймание.

Так хорошо в хамаме —
как при родимой маме:
мрамор, тепло, уют...
А веников — не дают.

VI.
До мути внутренней и донной
играла лодкою вода,
когда кильватерной колонной
пошли военные суда.
И самолёты боевые
взлетели в сомкнутом строю,
переплетая дымовые
следы в единую струю.

Так вдохновляюще и гордо
своё справляла торжество
в былом блистательная Порты —
сто лет республика всего.
Красиво плыли и летели:
мол, нам века, и впереди —
смертоубийственные цели,
когда Господь не приведи...

VII.
Пешими туристами
вновь, как на корню,
мы сошли на пристани
Эминёню.
Турки огорчения
не сдержали: ишь,
столько было рвения —
и где бакшиш?
Рисковали, выплыли —
сверху ни гроша...
Чаю мало выпили
для бакшиша.

VIII.
Джезва, поднос, две чашечки — вроде проффи
делал набор посуды для тюркиш кофе.
Не на базар в галдящую кутерьму —
мы в мастерскую сами пришли к нему.

Лично я тюркиш кофе не очень пьющий —
в рот непременно лезут крупинки гуши.
Разве что для прикола когда подать
да о туманном будущем погадать...

Мастер Месут, казалось, польщён запросом.
Цену назвал, а я отвечал со сбросом:
раз не поторговался — считай, ступил...
Вижу, Месут замялся — но уступил.

А как налили джезvu — всего две стопки,
стала вода сочиться из-под заклёпки.
Дома теперь умельца поди найди,
что запаяет дырочку на меди.

Не поминаю мастера с укоризной.
Сказано — не гоняйся за дешевизной.
Созданное принимая из рук творца,
не оскорби его суетой скупца.

IX.
Материал человеческой жизни хрусток,
сквозь монитор дыханием не согреть...
Хоть на константинопольский перекрёсток
сехаться, да обняться, да посмотреть.

Что вкруговую, дорого — не помеха:
есть до войны отложенные рубли
да на железном занавесе прореха,
выкопанном снова из-под земли.

Время играет пальцами: то придавят,
а то прибавят воздуха на пятак...
Знал: непременно выроют, переставят
ближе — а не догадывался, что так.

Ржавчиною железо — сплошная рана,
две стороны — с обеих освежено,
да заодно на обе взамен экрана
разное всем показывают кино.

Время играет пальцами: год за годом
менее всё его остаётся мне...
С дочерью говорили о чём угодно,
только не о надвигающейся войне.

X.
В мире, где всё дробится,
странная есть граница:
режут её века
в теле материка.

В прорезях ныне живы
реки или проливы,
или открыт ветрам
долгий шершавый шрам.

Ты посмеёшься: вроде
нет её на природе...
Не торопи коней —
я родился на ней.

Где на две части света
разделена планета,
жителям не беда —
ходят туда-сюда.

Не постовыми — просто
по мосту или мосту
на дом или на труд.
Надвое не живут.

Эти вот человеки —
вечные поперек,
а я границы вдоль —
но не чего изволь.

Время не помешало —
к Маточкиному Шару.
Ныне почти сумел —
до Дарданелл.

То есть почти до точки.
Горы, мосты, мосточки...
может, не разорвёт
материковый свод.

XI.
Времени, милая, бросим ли мы упрёк,
если давно с тобой соединены?
Бёдра твои словно карта сибирских рек —
самых великих, малые не видны.

Древние статуи голеней не стройней —
вон как с утра до вечера наравне
тесные улицы римских ещё корней
стойко обходишь, не уступая мне.

Что нам с тобой о будущем говорить
в благословенном крае дождливых зим,
где каждый день Аллаха благодарить
нас призывает пением муэдзин?

Но во Влахернской церкви, помилуй Бог,
где по ступеням в толщу веков сошли,
я попросил о крепости наших ног,
чтобы подолее далее нас вели.

XII.
Никто не знает, что случится далее,
кому встречать победную весну.
Христу сменили берцами сандалии
и тоже отрядили на войну.

Войну Тридцатилетнюю, Столетнюю —
узнаешь, как закончится она.
Несметную в ряду — и не последнюю,
пока идут земные времена.

Пока ещё детей рожают женщины,
пока мужчин не побрала земля,
пока растут невидимые трещины
и разрывают минные поля...

И мы с тобой не ведаем подавно так
в неумолимой смене январей,
когда дождёмся наших внуков-правнуков —
не с фронта, а от наших дочерей.

XIII.
Веками ходкими храним,
в зашедшего не ради Бога
айя-софийский серафим
глядит задумчиво и строго.

Один он тут за небеса,
очеловеченные в краске,
а на другие паруса
надеты звёздчатые маски.

Один, наверно, до конца
над церковью и над мечетью
узнал, как не терять лица
за полтора тысячелетья.

XIV.
И себя надеждой не покинь —
выпитую чашку опрокинь,
обо всём, что суще и несуще,
погадай мне на кофейной гуще.

Кофе горек, гуща невкусна —
выдумка, однако, не тесна,
что за очевидная примета
явится на свет из силуэта.

Против правды, знамо, не попрём,
разве что настолечко соврём —
истиною голой не обидим...
Словом, живы будем — не помрём
и кофейной горечи попьём.
Русской ли, турецкой ли — увидим.

P. S.

Прояснило в поределой чаще —
на свету идти благослови...
Я с недавних пор намного чаще
говорю с тобою о любви.

Здесь напрасен юношеский лепет,
и навзрыд не стоит истерить.
Мы всегда её неровный трепет
языком боялись истереть.

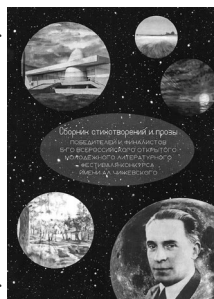
Опасалась и едва касалась
голосов зажатых и она
до поры, пока не оказалось —
слабнет, если не воплощена.

Да не только телом, чтобы снова
в теле наслаждение найти —
ласковое искреннее слово
требуется духу во плоти.

А нашлось, забрызгало огнями —
мы вдвоём на целый окоём.
Хоть Босфор окажется меж нами —
не переплывём, так перейдём.

Будущее прошлого почище,
оттого его не тороплю,
с некоторых пор намного чаще
слыша непривычное «люблю».

*Стамбул — Екатеринбург,
28 октября — 27 ноября 2023*



Сборник стихотворений и прозы победителей и финалистов 5-го Всероссийского открытого молодёжного литературного фестиваля-конкурса имени А.Л.Чижевского

Калуга: 2023

ДиН РЕВЮ

А что такое поэзия и проза? Это не только сами стихотворения, романы и повести, это тексты песен и сценарии фильмов. То есть фактически это один из наиболее эффективных инструментов формирования мышления, мировоззрения и культуры общества. И именно на нас, на творческой интеллигенции, лежит ответственность за то, каким будет наше общество.

В данный момент наша страна вступила в эпоху перемен. Как бы ни развивались события, уже понятно, что пришло время суровых испытаний для всех нас. И сохранение культурных ценностей — это одно из основных условий выживания народа.

Россия — это не только земля, которая может переходить из рук в руки, не только язык, не только религия, Россия — это духовная и генетическая связь, которая соединяет в единой целое всех живых, мёртвых и ещё не рождённых русских людей.

Станислав Колчин, член Российского союза профессиональных литераторов, инициатор и председатель оргкомитета Всероссийского открытого молодёжного литературного конкурса имени А.Л.Чижевского, основатель и руководитель Калужского молодёжного литературного клуба «Арктида»

Сергей Мамзин

Бессонница

Шалаш

Число потерь, число пропаж
Всё больше нас одолевают.
И наш спасительный шалаш
Уже давным-давно не наш,
Не греет и не укрывает,
А время тает, тает, тает...

Поруганное знамя

Зачем ты знамя поднимала,
Встречая ряженных вояк?
Неужто не подозревала,
Что можешь угодить впросак?

И лица вроде бы родные.
Пришли. Пустила на порог.
Смешалось всё: свои, чужие,
Пыльца цветов и пыль дорог.

И знамя красное топтали,
И бесновались упыри,
И долго-долго хохотали,
Как ловко бабку провели.

Жизнь

Со среды на пятницу
И в пике, и ввысь,
То вперёд, то пятится
Раскоряка-жизнь.

И не нажил золото.
И не пропил дом.
Сплав Серпа и Молота
Отвезли на слом.

И в любовь не верится.
И запас иссяк.
И планета вертится
Наперекосяк!

Осенний сад

Осенний сад уже давно отплодоносил,
И, редким дням погожим рад,
Стоит глубоким креном в осень
Поникший, опустевший сад.

Под птиц отлётных крик печальный,
Под прелых листьев дух густой,
Такой забытый, изначальный,
Такой... не выразить какой!

Бессонница

Проснусь и не могу заснуть.
Подумать бы о чём хорошем,
А в голове сплошная муть
Дремотной сыплется порошей.

Хочу представить что-нибудь,
То, от чего вдруг станет легче,
Но эта тягостная муть
Меня терзает и калечит

До двух, до трёх и до пяти
(Уже пропел соседский кочет).
И сну давно пора прийти,
Но он никак идти не хочет.

Хоть на колени становись,
Хоть в перья изорви подушку,
Хоть слёзно умолай: вернись! —
Хотя бы дремою под утро.

Сон не идёт. Идёт она,
Та, что бессонницей зовётся.
Живу в двух ипостасях сна,
Ночь — как гражданская война:
То я в плену, то сон сдаётся.

Да только мне-то это на?..

Гость с Юга

Ещё под снегом чуть припухлым
Дрожат пригнутые кусты,
А там уже сирень набухла
И персик распустил цветы.

Я прилетал, как вестник Юга,
В весеннем стёганом пальто,
И ты, полночная, в испуге
Тревожно спрашивала: «Кто?»

Потом забавно так смеялась.
Ещё бы! Посреди зимы,
Едва лишь только помечталось,
И на тебе! — весна примчалась!

Как часто это повторялось!
Тогда ещё любили мы...

Методом проб и ошибок
Мы расставались с тобой,
Дождь затекал нам за шиворот,
Поздний и затяжной.

Дождь затекал, обжигая
Спины холодным огнём.
Методом проб, дорогаая,
Мы никуда не уйдём.

Мы никого не обманем
Лживой горячностью слов,
Мы никого не заманим
Выслушать спор дураков!

Сонм нерешённых вопросов
На перевале зимы...
Поздняя, поздняя осень.
Поздние, поздние мы.

Мой город

В городе этом быстрое лето,
Осенью — сырость и грязь.
Здесь постепенно и незаметно
Дней моих кружится вязь.

Друг ли далёкий на самолёте
Вдруг залетит на денёк.
Утром умчится, словно приснится.
В небе растает дымок.

Или случайный с Родины дальней
С ветки скворец прокричит.
Крылья расправит. Душу растравит.
И на Стамбул улетит.

Не заметил. Забыл.
Как отпил. Отгулял.
Разве я не любил?
Разве я не ласкал?

Время — хитрый субъект:
Ты богат и красив!
Огляделся — и нет
Ни богатства, ни сил!

Лишь туман всё белей —
За окном молоко.
Силуэты друзей
Далеко, далеко.

Время — подлый субъект:
Ты ещё о-го-го!
Огляделся — и нет
Ни того, ни сего.

Тебя я больше не ревную,
Подуспокоилась душа.
Играет осень отходную,
В подъездах листьями шурша.

Мой опыт жизненный утроен —
Уже на всё смотрю смеясь.
И сам я в эту осень встроен,
Как лист, впечатавшийся в грязь!

Круговорот весны

С крыш — настоящий водопад!
Весна пошла вразнос!
А я сегодня невпопад
Задал тебе вопрос:

«Как, взгляд от солнца заслоня
Под козырёк руки,
Вдруг не узнала ты меня
Сквозь тёмные очки?»

Когда весны круговорот
Безумствует, звеня,
Как прожила ты этот год,
Свободный от меня?

Не задыхалась от хлопот?
Ночами не кляла?
Как прожила ты этот год?»
«А я и не жила...»

Прощальное

Ни в четверг, ни в субботу, ни в среду,
 Ни зачем, ни за что, никогда
 Я отсюда уже не уеду
 Ни назад, ни вперёд, никуда!

Я ещё, как подросток, считаю,
 Что старик — это вовсе не я,
 Я ещё по ночам улетаю
 В те сады. В ту тайгу. В те края.

Где друзья. И зарплата как праздник.
 Где подъезды открыты всю ночь...
 Сны мои и грустные, и напрасны
 И ничем мне не смогут помочь.

Но однажды, в субботу ли, среду,
 В саквояж уложу я года
 И уж точно-преточно уеду!
 Даже знаю примерно куда.

Такая долгая дорога

Всё реже представляю то, что будет,
 Всё чаще — то, что больше не вернётся.
 С ведра — воды в колодце не убудет.
 С дождя — воды в ведро не наберётся.

Тянул, как вол, срываясь от натуги.
 Родил. Построил. Посадил. В итоге
 Всё чаще попадаю в пятый угол,
 Всё реже выхожу я на дорогу.

А та дорога — узкий переулок,
 Которым я пылил когда-то в школу
 В далёком «Плодовинсовхоз»-ауле,
 В полузабытой «Сахартрест»-конторе.

И только помню двери, двери, двери.
 Мельканье городов, домов и улиц.
 И жизнь прошла. А я ещё не верю.
 Мы просто с нею где-то разминулись...

Муха и вечность

Был ведь когда-то и я молодым.
 Трудно сегодня в такое поверить.
 Время взмахнуло рукою, как мим,
 Мухой скользнув в приоткрытые двери.

Был я и счастлив, и бедами бит,
 Был я любим и изменами травлен,
 Но не копил затаённых обид
 И на судьбу обижаться не вправе.

Много чего я теперь не смогу —
 Ни станцевать, ни влюбиться беспечно.
 Муха, кружась, залетела в смолу.
 И угодила — в вечность!

Октябрь в Геленджике

Увозят с пляжей лежаки.
 Октябрь в Геленджике.
 А нам сегодня так с руки
 Идти рука в руке.

Вдали от внуков и детей,
 Вдали от дел мирских.
 Врагов. Друзей. Дождей. Вождей.
 Ушедших и живых.

Окончен бархатный сезон.
 Печален чаек крик.
 За Толстый мыс, за горизонт
 Уходит солнца блик.

Зажглись вечерние огни.
 Давно погас закат.
 И мы опять с тобой одни,
 Как много лет назад.

Олег Ващев

Меломан

Стихотворение

Сначала тайна, потом судьба.
За ними — чувство. Ощущение ритма
граничит с чувством.
Но когда же рифма?
А рифма — их послушная раба.



Я не веду соцсети — они меня ведут.
На виртуальном свете сожмут или сотрут.
Быстрей, чем на «Сапсане», надёжней, чем в «Стреле», —
обзоры на экране на призрачном «столе».
Мерцания и блики с канала на канал.
И «ники», как улики, выводят за портал.
Участвуем в просмотрах, а кажется, летим!
И никаких досмотров, безвизовый режим.
Кто сети разбирает и раздаёт контент,
прекрасно понимает, зачем эксперимент.



Повела плечами, перья распушила.
Жаркими речами чуть не задушила.
Не брезгливо, жадно, славно угостила.
Лихо притянула, тихо отпустила.



Засыпает зимний сад.
Погружение, распад.
Я люблю весну и осень —
пробуждение и уход.
Летом жарко, монотонно,
а зимою — снег и лёд.
Поскользнёшься, отморозишь...
Неприятностей полно.
Я люблю весну и осень.
Эти звенья — как одно
переходное звено.
Годовые кольца кружат
и ложатся заодно.

Над Фонтанкой и Невой —
Летний сад всегда живой.

Йё-о, хо-хо

Выпусти пар, капитан Америка,
и отвали в туман.
Скрылись вдали очертания берега,
где тосковал Бен Ганн.
Остров сокровищ парит на облаке,
кладоискатель спит.
А по соседству, в тенистом округе,
бродит притихший Флинт.
Мститель испанских морей по прозвищу
Чёрная Борода.
Боком вышли ему сокровища,
осточертела вода.
Страшный суд его не касается.
«Весёлый Роджер» со дна
своей братве ядовито скалится,
слюна шипит, как волна!

Система ниппель

Как ни откладывая *завтра* — оно придёт.
Переведут на автонастрой, штрихкод.
Который едва понятен, но вездесущ.
Который малопрятен, но всемогущ.
Явная подоплёка и тайный знак.
Тяжко в плотном потоке тому, кто наг.
Любо в гуще событий тому, кто фат.
Но человек — не рыба, хотя не факт.



Любовь Орлова. Катрин Денёв.
А что такого? Катрин Денёв...
Они похожи, как две звезды:
сначала гроши, потом суды.
Они вкушали запретный плод.
Их окружали журналы мод.
Но предложили одно из двух:
в советском стиле французский «look».
Но на безрыбье — откуда клёв?
Молчи и слушай, Катрин Денёв.
У марафонца — огонь вдали.
И это Солнце в земной пыли.



Деньги приходят и уходят,
времени не хватает.
Но мы всё равно его тратим,
мелочно и комично.

Поспешно и несуразно,
на хорошеньких и смазливых.
По-мальчишески бесшабашно,
по-девичоночьи шаловливо.

На умные разговоры,
забавные взрослые игры,
лайки и перепосты,
копошение, трепыхание.

Изворачиваемся, как можем.
Изопряемся, как умеем.
Как аукнется, так и откликнется.
А молчание всё-таки золото.



Верлибр пробивается сквозь катрен,
не поднимая шума.
«Узнаваемый вальс № 7», Шопен,
«Крейслериана», Шуман.
Малер, «Symphonie № 3»
и «Болеро» Равеля.
Не запирай себя изнутри
гоголевской шинели.
Не заглушай свою музыку там,
где она остаётся.
Пусть окружает гам-тарарам,
музыка пусть льётся!



Есть мягкие, колючие, безликие.
Есть лучшие из лучших и великие.
Но личность — это точно не амбиции.
А что тогда? Культурные традиции.

Меломан

Головка пьезо, тонарм дешманский.
И дека тоже. Я — меломан!
Иглу бросает на диск рязанский.
Вертушка «Sony», но не фонтан.
Зашкалит ценник — и отмахнёшься.
Не по карману, а по душе
звучит музыка, хоть от «японца»,
хоть от Минкульт, на винтаже.



Чип и цап, как режиссёр, делающий сцену.
Перебор — и приговор, даже Супермену.
Поколения детей обходили школу.
А сегодня — веселей, цифровое шоу!
Тяжко хором в унисон. В помощь
первоклашке —
многокамерный смартфон, а не по бумажке.
Не школярство и муштра, классные скандалы.
Залихватская игра, бонусы и баллы!

Владимир Пономарёв

В си-миноре...

Памяти Н. Рубцова

Лето близится к зениту,
Зеленеет в парке травка...
Стать бы завтра знаменитым
И богатым послезавтра,

Чтоб не думать и не спорить —
Всё купить и всем раздать,
Чтобы смочь махнуть на море
Или горы повидать.

Жизнь склоняется к закату.
Не пора ль писать «от автора»?
Завтра дали бы зарплату
И надбавку послезавтра...

Кварталы старых городов
Живут со мной во снах предутренних,
И я, услышав голос внутренний,
Опять туда идти готов,

Чтоб трогать брёвна потемневшие
На срубах деревянных стен
И, не встречаясь там ни с кем,
Просить эпохи отзвеневшие

Сказать о чём-то, что сейчас
Не знает ни один из нас.

Снова гасит краски осени
Неба серый светофильтр
И цвета былых палитр
Покрывает бледной проседью.

Вновь прошедшее — не в счёт.
Но в природе есть движение,
И сезона завершение
Только нечет, а не чёт...



А в си-миноре, в си-миноре,
Непостижимом и непознанном,
Мне было дуновенье послано,
Как бриз, что прилетает с моря.

Я поставлял щеку горячую,
Я жадно ожидал мелодию
Всем существом, всей грешной плотью —
Но всё звучало так незначимо.

Вот, очертив необитаемое —
Пустой строкой в звучащем сне,
Мне си-минор не дал желаемое
И растворился в тишине.



Холодной непогоды малость,
Немного ветра и дождя взаймы...
Всё это — то, что нам осталось
До наступления зимы

От осени, такой беззлобной,
Дарившей и теплом, и светом
И рассказавшей нам подробно
О том и этом,

В метафорах и ярких красках
Свой монолог ведя,
Даруя каждый день как сказку
Без ветра и дождя.

Ах, осень, ты в правах отказывала
Зиме, всё сдвинув «на потом»,
И обстоятельно рассказывала
Об этом и о том.

Но речь «от первого лица»
Была красивой небылицей
Про благодать, что будет длиться
И что не будет ей конца...

Сергей Кузичкин

Откос

Главы из романа

Часть первая. Поезда

*А рельсы-то, как водится,
У горизонта сходятся...*
Михаил Анчаров,
русский писатель, поэт, бард

Путевой обходчик
Идти и смотреть

*Мы знаем, кто мы есть,
но не знаем, кем мы можем быть.*
Уильям Шекспир,
английский поэт и драматург

I.

Обходчик услышал приближающийся поезд: стук колёс, «почухивание» пара. Когда нагонявший его паровоз дал гудок, обходчик сошёл с колес и спустился вниз по откосу.

Состав поезда был небольшим — три грузовых открытых вагона. В одном из них, где по краям у бортов сидели рабочие-железнодорожники, везли рельсы и шпалы, в двух других — сосновые и берёзовые дрова. День клонился к вечеру, и состав шёл по направлению к Тайшету, в депо. В ту же сторону, к своей конторе, шёл и обходчик.

— Прыгай к нам, дружок, подбросим до станции! — скорее в шутку, чем серьёзно, крикнул ему кочегар — лет двадцати, черноволосый, вечно потный и черномазый то ли от угля, то ли от того же пота, то ли от рождения паренёк.

Обходчик помахал вслед уходящему поезду и поднялся снова на насыпь.

Вчера недалеко от моста он увидел, что путь немного просел, и сообщил об этом дежурному инженеру в конторе станции, и вот сегодня с утра туда отправили ремонтников: подровнять, подтрамбовать насыпь, а заодно заготовить дров для работников путейской службы и паровозоремонтных мастерских.

Обходчик поправил на поясе пристёгнутую к ремню сумку с сигнальными флажками, петардами

и гаечным ключом, перекинул с правого плеча на левое молоток с длинной ручкой и продолжил свой путь.

Пятый год работал он на этом участке. От западного переезда станции Тайшет до Бирюсинского моста каждый день обходил свой околоток — расстояние длиной около одиннадцати вёрст, туда и обратно по железнодорожному пути, мимо четырёх огороженных столбиками будочек, стоящих внизу насыпи, метрах в двадцати от полотна, на расстоянии трёх-четырёх вёрст друг от друга. Возле каждой летом две его младшие сестры высаживали грядки с капустой и морковкой, а то и сажали по несколько рядков картошки. Сёстры заботились и о том, чтобы в будочках всегда были свежая вода и что-нибудь из еды. Хотя еда там была вроде бы и ни к чему. Обходчик каждый раз, выходя из дому, брал с собой и хлеб, и несколько сваренных картошек, а когда поспевали овощи, то огурец и пару помидоров. Поздней осенью и зимой в сумке у него обязательно были аккуратно нарезанное кусочками сало с мясной прослойкой и несколько варёных яиц. С ноября по май ему приходилось протапливать железные печурки поочерёдно в одной, а то и в двух будках за день, чтобы отогреться, посидеть на широкой лавке у стола, попить горячего чаю, а после продолжить обходной свой путь. В обязанности обходчика входило и содержание будочек в постоянной готовности, чтобы в любое время, в случае необходимости, там могли разместиться люди, занимающиеся ремонтом пути или расчисткой снега. Но и тут ему подсобляли сёстры: возвращаясь на станцию во второй половине дня, он нередко видел выходящий к небу из трубы сизый дымок над какой-нибудь будочкой.

Еду оставлять в будках обходчик не хотел ещё и потому, что несколько раз вылавливал грызунов за поеданием его хлеба. Суслики, бурундуки, белки, забираясь в будки, быстро находили съестные припасы и, случалось, делились с хозяином, продукты там припрятавшим, не хотели. Грызуны забирались даже в закрытые на крючки шкафчики и хозяйничали там. Обходчик окончательно перестал оставлять сало и хлеб в будках, когда наткнулся на наглую крысу, которая прямо

на столе бесцеремонно, не пугаясь вошедшего человека, поедала кусочки его сала. А один раз погостил в одной из будочек медведь. Самого мишку обходчик не видел, но догадался о его визите по тому, как была выворочена входная дверь, закрытая на небольшой навесной замок, а внутри будки перевернут стол, оторван от стены и разбит шкафчик, выбито стекло в оконной раме. На лавке и у стола остались клочки медвежьей шерсти. Был конец августа, метрах в десяти от будки, ближе к лесу, алели несколько кустов малины, и, видимо, косопалый, позарившись на ягоду, решил заглянуть и в маленькую избушку. А может, это была медведица с медвежатами? Обходчику показалось, что возле будки рядом с большим следом отпечатались и следы поменьше.

— И как ты не боишься, брат? — беспокоилась о нём сестрёнка постарше. — Зимой и волки могут подойти к избушкам, и на насыпь даже выйти, если человека почувствуют...

— Да я ж, сестра, зимой ружьё беру, и фонарь у меня есть. Волки света яркого боятся и громкого стука, когда поезд идёт. Да и выходить я стараюсь всегда после того, как уже рассветёт, и воротиться торопливо засветло, — отвечал он ей. — Летом, когда хорошая погода, идти одно удовольствие. Зимой, конечно, не так приятно. Но привык я. А когда снегопад, то я и вовсе не один — целую артель дорожный мастер отправляет на расчистку пути...

Когда железнодорожники приезжают на расчистку снега, ремонт полотна или заготовку дров, то наполняются на несколько дней людьми будочки. Бывает, оставляют там с ночевой дежурных, особенно в снежные дни и ночи. Тогда в будках сутками топят печки, кипятится чай, варится каша или борщ.

Вот и сейчас проходит обходчик снова мимо этих будочек и думает о том, что всего несколько лет назад в этих местах люди ходили редко, а такого поселения, с названием Тайшет, к которому он держит путь и где живёт сейчас сам, никто и не знал.

2.

С рождения жил он с родителями, сёстрами и младшим братом в большом селе Баера, возле речки с таким же названием. Ловил рыбу, летом заготавливал сено, зимой ставил петли на зайцев. Так жил бы он, наверное, и дальше, если бы однажды вдруг не прошёл слух о том, что скоро станут прокладывать недалеко от них какую-то новую дорогу, по которой, как говорили, будет ходить какая-то «чугунка». Потом прояснилось: железную дорогу, ради которой приезжие люди начали пилить лес на обоих берегах Баеры, а затем возить подводами землю и делать отсыпку в версте от села. Шли разговоры, что уже ставят железный

мост через Бирюсу, и он сам видел, как приехавшие сооружали небольшой мосток через их речку Баеру. С любопытством наблюдали жители Баеры, как рабочие на насыпи укладывали поперёк земляного полотна небольшие брусья (шпалы, как говорили строители), а потом к ним прибывали и соединяли друг с другом длинные металлические балки, называемые рельсами. Но больше всего удивило баерцев (кого напугало, а кого привело в восторг) появление первого поезда с той самой «чугункой» впереди. Не виданный ранее здесь паровоз пытел паром и издавал гудки, а за ним вереницей с неслыханным грохотом катились вагоны.

Строители железной дороги ушли дальше, в сторону Нижнеудинска и Иркутска, через прорубленную тайгу, по новой земляной насыпи. С ними уехали несколько односельчан — в основном молодых, ещё не женатых парней, решивших стать строителями новой дороги.

Приезжих людей, в основном переселенцев, становилось в округе села всё больше. Основательно они стали обустраиваться на ровном почти месте, верстах в семи от Баеры. Как грибы в июле, выросли на пустырях и среди деревьев новые дома, здание станции, и появилась первая улица — Вокзальная.

Новое поселение и новая станция быстро разрастались. В Баеру, по железной теперь дороге, на паровозах, приезжали люди в форме железнодорожников, собирали жителей на сход и агитировали на работу на ремонт пути и в паровозные мастерские. И некоторые баерцы, в числе которых был и он, на агитацию отозвались: стали железнодорожниками и тоже перебрались жить в новое поселение. Выгода была в том, что устроившимся на работу почти сразу давали жильё на выселках в переселенческих бараках и выплачивали денежное пособие — аванс. Большинство односельчан приняли в паровозные мастерские, нескольких — в путеремонтную бригаду, а ему предложили работу обходчика пути.

— Хочешь, парень, на свежем воздухе гулять? — спросил его инженер-железнодорожник в конторе станции. — В мастерских, конечно, тоже хорошо, в тепле и не дует, но свежий воздух очень полезен для здоровья. Ты, я вижу, сообразительный и крепкий на вид. Нужно будет по трассе ходить: следить за состоянием пути. Если увидишь, где какой костыль норовит выскочить со шпалы, подобьёшь его молотком; но в основном надо будет докладывать, как заметишь какие неполадки, в контору. Начальников у тебя будет немного, и на своём околотке сам будешь хозяйничать.

Инженер засмеялся, улыбнулся и он, а через два дня новый обходчик уже шёл по своему участку в сопровождении инженера и пожилого мужика-переселенца, который ходил здесь до него несколько месяцев.

Ещё раз прошёлся с ним, объясняя, повторяя и спрашивая, что он запомнил, от переезда до моста инженер, раза три молча сопровождал бывший обходчик — и всё: в конторе решили, что экзамен сдан успешно, и назначили его ответственным за участок.

Новую станцию и поселение называли Тайшетом. В уезде были деревни с названиями Камышет, Туманшет, Окульшет, Ингашет. И вот теперь Тайшет. По слухам, все эти названия дали населённым пунктам енисейские остяки. Мол, на их языке слово «шет» означает вода. А «Тайшет», как объяснял ему сосед-инженер по имени Григорий Васильевич, что приехал из Калуги с семьёй на строительство Сибирской железной дороги, в переводе на русский будет «тёплая вода». Протекающую за переездом по окраине нового поселения речушку называли Тайшеткой. Но вода в ней тёплой в июле разве что бывала, и то не каждый год. Обходчик и его сёстры хотя и родились в Сибири, предки их были переселенцами из Тверской губернии. Отцы и деды некоторых старожилов Баеры переехали в Сибирь сотню лет назад из Ярославской и Новгородской земель. Старики поговаривали, что, по их разумению, слово «тай» никак не связано с теплом или холодом. По-древнеславянски «тай» — это что-то далёкое, неизведанное, начало слов «тайга», «тайна». Последний месяц года по староверческому дохристианскому календарю назывался «тайлет». Слова «год» славяне раньше не знали. Весь природный цикл — весна, осень, зима — у них назывался «лето». Тайлет был последним месяцем круга лета. А записи, что делали грамотные люди в течение года, назывались «летописью». И сейчас называются. Только лето теперь стало ещё одним временем года.

Старики рассуждали глубоко и говорили о таких словах, как «Алтай» и «Китай», где в конце слов тоже этот «тай». Говорили, что в Москве-городе есть район Китай-город, но там не живут китайцы. По рассуждению стариков, название это происходит от старого слова «кита» — вязка жердей. Жерди применялись при постройке крепостных стен. Пустоты между жердями забивали камнями и обмазывали глиной, и получалась крепкая стена, за которой находились дома горожан.

Чувствовалось что-то тайное и в названии новой станции. В 1904 году в новом поселении построили паровозное депо, появилось несколько новых улиц, а в 1906 году Тайшет стал не только большой железнодорожной станцией, но и большим селом.

И первая авария на Сибирской железной дороге произошла в Тайшете. Ну, может, аварией в полном смысле столкновение двух паровозов возле мастерских назвать нельзя. В ноябре 1904 года замёрзла переводная с пути на путь стрелка, её не смогли вовремя перевести, и паровоз, выезжающий из мастерских, столкнулся с паровозом, туда заезжающим. Лёгкого столкновения хватило, чтобы колёса

паровых машин соскочили с рельсов и паровозы скатились под откос. Небольшой откос находился на расстоянии от главной дороги, но упавшие паровозы перекрыли подъезд к заправочной водостанции и к складу с углём. Авария эта повлияла на движение по всей Сибирской магистрали. Поезда остановились на несколько дней на запасных путях соседних станций, а через Тайшет пропускали только срочные, в основном военные, эшелоны. Россия находилась в состоянии войны с Японией. Дела на фронте шли плохо, и на выяснение причин аварии в Тайшет приехали чиновники из Иркутска, Красноярска и самого Петербурга.

Обходчик запомнил одного из них — полного, высокого усатого господина в дорогой шинели с бобровым воротником.

— Ну что, поваляли мне здесь паровозики? — спрашивал он инженеров, мастеров и рабочих, выстроенных перед ним строем возле конторы станции, при большом скоплении народа. — Вы у меня все отвечать будете. Это вам не игрушки! У вас, выходит, один стрелочник виноват? Так вот знайте: вина стрелочника тут самая последняя. Получат по заслугам все, кто стоял и стоит над этим стрелочником.

Обходчик знал этого стрелочника. Он был его односельчанином. Его брали под арест, возили в Иркутск, но в конце концов освободили. Несколько инженеров вызывали на допросы приехавшие из Иркутска следователи, и некоторых из них потом перевели на другие станции. Отправили дальше на восток и молодого инженера Григория Васильевича из Калуги. Он уехал, а семья его осталась: жена и двое детей — девочка Полина лет десяти и семилетний мальчик Коля. Любопытные дети много что знали и как взрослые разговаривали с обходчиком и его сёстрами. Сёстры обходчика приглашали Полю и Колю к себе и угощали баранками и чаем. Семья инженера жила в одном с ними большом двухквартирном казённом доме, построенном специально для железнодорожников по улице Вокзальной. Сёстры вежливо здоровались с супругой инженера — Анной Георгиевной, называя её «барыней», а между собой — «барынькой Нюрой». Они, с искренним желанием помочь оставшейся одной с детьми барыне, вызывались носить ей воду из колодца, брали стирать детскую одежду. Обходчик, раскалывая во дворе на поленья сосновые и берёзовые чурки для себя и для соседки, складывал их в общую поленицу, заносил её в дом дрова, затапливал печь. Помогал в домашних делах «барыньке Нюре» и отец обходчика: забивал гвозди по просьбе хозяйки, по собственной инициативе отбрасывал от крыльца снег.

А через год авария эта забылась окончательно, потому что произошла другая, с человеческими жертвами.

На рассвете 30 июня 1905 года в районе разъезда Точильный на ходу сошёл с рельсов воинский эшелон, следовавший на восток. В этом крушении погибли двенадцать солдат, ефрейтор и старший унтер-офицер второй роты сто семьдесят четвёртого пехотного Роменского полка.

Разбор того крушения затмил случай со стрелкой. Искали и нашли новых виноватых. Всю вину возложили на дорожного мастера того участка и машиниста паровоза.

А погибших «мученической кончиной» похоронили торжественно на кладбище деревни Черемшанка, установили памятник на общей могиле с перечислением на нём имён и фамилий и надписью: «Человек — яко трава, дни его цвет сельный, тако отцветает».

Обе эти железнодорожные аварии случились до того, как обходчик поступил работать на железную дорогу. Но о них, особенно о второй, вспоминали долго.

3.

Удивительно быстро обходчик получил казённое жильё. Месяца два пожил он в переселенческом бараке, а потом вызвали его в контору, спросили о семье и предложили заселиться в новый, только что выстроенный дом.

Ещё не старый его сорокасемилетний отец, последовав за сыном вместе с дочерьми, был принят на работу кочегаром в железнодорожную баню. А обе сестры обходчика стали работать в прачечной, открывшейся при бане.

Сёстры обрадовались переезду. В большом, общем на обе квартиры дворе для новосёлов были выстроены сараи-пристройки, и вскоре по приезде людей там поселились поросята и куры, а за отдельной перегородкой — лошадь, на которой отец обходчика ездил в деревню и обратно. Под окнами в огороде летом вызревали редиска, лук, репа и редька. Сама квартира начиналась с широких сеней, где стояли кадушки с квашеной капустой и засоленными на зиму огурцами. Просторная кухня была оборудована русской печкой с лежанкой. На плите пекли пироги и шаньги, варили борщи и пельмени. Недалеко от печки располагалась кровать обходчика. Два кухонных окна выходили на две стороны: во двор и в огород. Возле одного поставили семейный обеденный стол-буфет. Чуть меньше кухни, но с большим окном была и комната-спальня, где стояли две кровати: широкая, на ней спали сёстры, и односпальная, где ночевал отец обходчика. Ночевал нечасто. Сутки отец дежурил в кочегарке, потом полдня отсыпался на своей односпалке, а к вечеру запрягал лошадь и на полтора-два дня уезжал в Баеру. Там в оставшемся ещё от предков добротном доме жила его супруга, мать обходчика, с младшим братишкой. В новое село она ни в какую ехать не хотела. Вела в Баере своё

домашнее хозяйство да приглядывала за младшим сыном, который учился в местной сельской школе. Правда, не проходило и недели, чтобы сёстры не ездили в Баеру. Нет-нет да, раз примерно в полгода, приезжали в Тайшет и мать с братишкой.

Когда вся семья собиралась вместе, отец перебирался спать на печную лежанку, к нему забирался младший брат обходчика, а мать располагалась на односпалке отца.

Решивших поменять свою жизнь сельчан из той же Баеры, Окульшета, Кочергиной заимки и других деревень Нижнеудинского уезда Иркутской губернии в Тайшете становилось всё больше. Люди приезжали и приходили на новую станцию и, устроившись кто рабочим пути, кто ремонтником паровозных мастерских, через год-два, пожив в бараках, получали казённое жильё, не оставляя своего в родных сёлах и деревнях. Но были и такие, кто перебирался жить в новое село решительно, окончательно порывая с деревней. На постоянное жительство обустроивались в Тайшете переселенцы из разных губерний России, приехавшие по вербовке на работу. Некоторые из деревенских и переселенцев вызывались строить свои дома сами. Железнодорожное начальство такие пожелания поддерживало и средствами и лесом строительству способствовало.

Большинство новосёлов строили дома недалеко от станции, нередко выбирая место на противоположной от конторы стороне железнодорожного пути. И вскоре в селе появилась вторая большая улица, названная Юго-Вокзальной. Недалеко от железной дороги, за первой — Вокзальной — улицей (вскоре переименованной в Северо-Вокзальную), образовалась улица Паровозная, а чуть дальше — Тракторная, за ней — Базарная. Базарная улица некоторое время оставалась окраиной села, но в начале нового века за ней, ближе к лесу, поставил на пустыре добротный свой дом зачинатель ещё одной улицы — бывший крестьянин Харин, ставший железнодорожником. Напротив дома отца (у лица отца — улица) выстроил свой дом его старший сын, рядом — другие родственники, и улица получила название Харинская.

По этой самой Харинской улице обходчик ходил на рыбалку к расположенному в низине озеру. Когда-то на озере жители окружающих сёл и деревень не только ловили рыбу, но и охотились на уток. Осенью, перед отлётом на юг, собиралось на этом озере по несколько сотен пернатых. В озеро впадал, спускаясь с возвышенности, и вытекал из него, убегающий в тайгу, ручей, названный кем-то Крутеньким. При строительстве железной дороги ручей оказался под насыпью и вытекал теперь в озеро через каменную водосточную трубу. Видимо, что-то нарушилось в природе после строительства, и озеро стало мельчать. Утки всё реже приземлялись на его глади, не прятались больше в камышах у берегов,

заставляя охотников искать другие водоёмы. Но рыба в озере осталась. Обходчику, иногда удавалось выбрать время и сходить туда с удочкой. Особенно доставляли радость выловленные им большие красные караси. Их умели хорошо обжаривать в сметане его сёстры. Они так обрабатывали рыбу, что она становилась нежной и мягкой, и обжаренных карасей можно было есть вместе с костями. Когда большая сковорода ставилась на стол, обходчик с отцом брались за рыбы головы и смачно, с хрустом, начинали их есть.

Несколько раз обходчик брал с собой на рыбалку отца и сестёр. Один раз позвал он и соседа-инженера с семьёй. Этот день запомнился особо. Они шли по улице Харинской, а потом леском к озеру большой шумной компанией, с удочками и вёдрами. Несли с собой картошку, соль, пшённую крупу и прямо на берегу у ручья Крутенького варили уху. Дети инженера, сам Григорий Васильевич и даже «барынька Нюра» — все закидывали удочки в озеро, и каждый что-то да поймал. «Барынька» и дети особенно восторженно радовались своей удаче и с удовольствием ели уху, не брезгуя даже мелкими ёршиками.

А в Тайшет прибывали всё новые и новые жители. Первое время обходчик знал всех, кто жил на Северо-Вокзальной улице, но за последние год-два, после аварии с паровозами, взамен отправленных на другие станции инженеров и мастеров на знакомой улице появилось много новых лиц. Некоторые из вновь приезжих с первого дня приветливо кивали ему, как знакомому, но были и такие, кто проходил мимо с высоко поднятой головой, не опускаясь до обычного разговора и пожелания здравствовать. Обходчик не отвечал им взаимностью, он, несмотря на холодное отношение, всем всегда говорил при встрече: «Здравствуйте», — и того же требовал от сестёр.

4.

Самый большой и крутой откос на его участке находился примерно в версте от переезда. Этот откос тоже был связан с историей, возможно, первого в Сибири, а может, и во всей России, побега арестантов из железнодорожного вагона.

Арестантский вагон, прицепленный к пассажирскому поезду, ставили сразу за багажным. Обычно вторым от паровоза. Поезд шёл на Красноярск и, миновав Тайшет, как и многие поезда, чуть сбавил скорость перед большим поворотом пути, как раз на этом откосе. Вот тогда и выпрыгнули из вагона двое.

Как потом слышал обходчик, оба кубарем покатились вниз по откосу. Один из беглецов прыгнул удачно — скатившись вниз по земляному полотну, шустро встал на ноги, а второй, упав, перевернулся несколько раз и встать не смог. Он, видимо, подвернул ногу и лежал на середине откоса. Увидев это, товарищ его вернулся ему на помощь и,

приподняв, стал помогать спускаться по крутому склону. Но спуститься им вместе было не суждено. Поезд остановился метрах в трёхстах от места происшествия, и по полотну и откосу к беглецам побежали охранники арестантского вагона. Они кричали, ругались, стреляли вверх из винтовок, и здоровый арестант, понимая, что двоим им не уйти, оставив больного, бросился к спасительному лесу. Второй же снова упал и зачем-то пополз назад — вверх по откосу.

Охранники выбрали лежащего и потащили к поезду. Второго, который к тому времени скрылся за деревьями, преследовать не стали. Выстрелили пару раз в сторону леса и ушли.

Через два дня обходчик вместе с инженером станции сопровождали к этому откосу приезжих следователей. На месте происшествия следователи сделали несколько замеров вниз от пути и от основания откоса вверх. Результаты записали в тетрадку. От них обходчик с инженером узнали, что убежавший арестант, по фамилии Петров, был политическим заключённым.

С той поры обходчик останавливался на том месте не один раз и пытался представить себе, как арестанты прыгали, как катились вниз почти с двадцатиметровой высоты. Он спрашивал себя: а смог ли он бы вот так прыгнуть из быстро идущего поезда вниз, под откос? Иногда он содрогался, представив себя на месте прыгунов-арестантов, и отвечал себе: «Нет, не смог бы». Но когда был в хорошем настроении, то смотрел на поступок арестантов с оптимизмом и говорил: «Если бы на кону были свобода и жизнь, то и я смог бы».

Вот и сегодня настроение обходчика было хорошим. Накануне они с отцом поймали в озере три больших щуки и несколько окуньков. Сёстры пообещали сделать из улова большой рыбный пирог, и в предвкушении ужина обходчик торопился домой. Он на минутку остановился там, где выпрыгнули из вагона арестанты, и подумал, что если бы прыгнул он, то прыгнул бы удачно, и, как и политического Петрова, его бы тоже не смогли догнать.

Евгений-Володя

Упасть и выжить

*На этой земле всё же лучше
карабкаться, чем катиться.*

Владимир Солоухин,
русский поэт и прозаик

I.

Пассажирский поезд № 1 Владивосток — Москва прогреготал по железному мосту через небольшую речушку, промчался мимо таёжной

станции и, дав пронзительный гудок, ещё более прибавил оборотов.

В дверь купе постучали.

— Открыто! — крикнул Евгений, бросив на столик газету, которую перелистывал и читал последние полчаса.

Вошла проводница.

— Кофе будете, Евгений Васильевич? — слегка опустив глаза, спросила она.

Белый передничек на коротеньком синем платье едва прикрывал крутые красивые бёдра проводницы, а глубокий разрез на груди подчёркивал красоту её бюста.

— А скоро ли стоянка, Тамарочка? — Евгений встал, потянулся и, подойдя к проводнице, обнял её за плечи.

Та ещё ниже опустила голову.

— Минут через десять Тайшетград будет, стоим там немного, а большая остановка только утром, в Красноярске.

Тамара подняла голову. Рука Евгения скользнула по её спине и опустилась на бедро.

— Хорошо. Кофе попить после.

Пассажир притянул проводницу к себе, его губы коснулись её лба, щеки, подбородка.

— Ну Евгений Васильевич, не время сейчас... Мне работать надо... — не пытаясь освободиться из объятий, проговорила Тамара.

— Обслуживание пассажиров — это главная работа проводника, — слегка отстранившись от неё, сказал Евгений. — А качественное обслуживание — обязанность всех работников министерства путей сообщения. Согласна со мной?

Тамара закивала и закрыла глаза. Его рука уже нырнула в глубокий разрез на груди.

— Евгений Васильевич... Евгений... Идти же надо...

— Хорошо, иди, — он поцеловал её в губы. — Придешь через часок. Кофе не надо, коньяк пить будем.

Тамара улыбнулась, ещё раз кивнула и, открыв дверь купе, вышла.

Евгений глянул в окно. За стеклом уже была видна восточная окраина Тайшетграда, проплыли корпуса строящегося машиноремонтного завода, горка по сортировке вагонов. Сердце учащённо забилося, когда он увидел красную пятиэтажку, а рядом двухэтажное здание из белого кирпича. Во дворе этой пятиэтажки прошло его детство, а с двухэтажным зданием городской прокуратуры у него были связаны не самые лучшие воспоминания.

«Ну что, Володя, скажешь? Куда цепочку золотую девал?» — спрашивал там его помощник прокурора. В то время его звали Володей, Евгением он стал потом. Тогда заместитель прокурора, молодой ещё, в принципе, человек, почти его ровесник, приказал снять с него наручники, угостил чаем. А он по-своему воспользовался гостеприимством:

взял и сиганул в окно со второго этажа. В зелье лета, в жаркий июльский день...

Спрыгнул неудачно, подвернул ногу на асфальтной дорожке. Подбежавшие конвоиры закрутили ему руки, стали бить по лицу, голове, наносили удары в живот, а когда он упал, начали пинать ногами. Если бы не помощник прокурора города, его бы, наверное, забили до смерти. Помощник и следователь (откуда-то появившийся вдруг там в то время) оторвали его от милиционеров, помогли прийти в себя.

Этому вот следователю он и рассказал потом всё. Обаятельный был мужик, опытный и знал подход к людям.

Боже! Сколько же лет прошло с того дня? Восемнадцать! Целая жизнь. Да нет — несколько жизней: тюрьма, зона, бега, фарцовка, налёты... А фамилия того следователя, кажется, была Антонов. Антонов... Точно, Антонов.

Воспоминания тяжёлым грузом надавили на сердце. «Ну их...» — Евгений поморщился, как от крепкого напитка.

А за окном уже показался перрон знакомого с детства вокзала, сам вокзал. Поезд замедлил ход, в душе защемило.

«К первой платформе подкатываем, — отметил про себя Евгений. — Лет двенадцать точно здесь не был...»

Вагон остановился как раз напротив центрального входа в здание вокзала. Перрон был почти пуст, если не считать нескольких старушек, торгующих сигаретами, пивом и пирожками. На городишко опускался хмурый сентябрьский вечер, и, очевидно, охотников отправиться в путешествие на фирменном поезде среди земляков Евгения не нашлось. Не было видно ни встречающих, ни провожающих.

Накинув пиджачок, Евгений поспешил к выходу.

— Десять минут стоим, не отстаньте, — улыбнулась ему Тамара в дверях вагона.

Она уже была одета в фирменные рубашку и юбочку, белокурые локоны выбивались из-под её пилотки с железнодорожной эмблемой.

— Не отстану, — Евгений подмигнул ей и шагнул на бетонный перрон.

Пройдя мимо торгующих старушек, он зашёл на вокзал, купил пачку «Мальборо», местных газет.

«А на вокзале ничего не изменилось», — отметил он про себя, возвращаясь к поезду.

Выйдя на перрон, достал из новой пачки сигарету, прикурил. Несколько мелких капель коснулись его руки.

«Вот и дождичек начинается», — сказал он сам себе, глядя в серое небо.

— Прикурить не дадите? — вдруг услышал за спиной громкий голос.

Он, слегка вздрогнув, повернулся. На него смотрел пожилой человек в помятом старом плаще,

шляпе, воротник его тёмной рубашки был наглухо застёгнут. В одной руке мужчина держал старомодный обшарпанный портфель, в другой — дешёвую сигарету, очевидно, «Приму». Взгляд его показался Евгению знакомым.

— Пожалуйста, — Евгений протянул руку, чиркнул зажигалкой.

Мужчина, кивнув, склонился с сигаретой над огнём. Это движение тоже показалось знакомым.

— Благодарю вас, — сказал мужчина, подняв голову.

Его взгляд ненадолго задержался на наколке Евгения, сделанной много лет назад возле большого пальца на тыльной стороне ладони: «В. С.».

— Игры беспечной молодости? — спросил мужчина.

— Ошибки молодости, — отреагировал на замечание Евгений и, глубоко затянувшись сигаретным дымом, направился к вагону.

«Похож на Антонова, — подумал он о мужчине. — Похож. Такой же взгляд, такой же жест с сигаретой. Неужели менты меня выкупили? Не может быть... Пять лет прошло, как „упал на дно“... Никаких дел, никаких засветок. А если всё-таки кто-то выследил?»

— Евгений Васильевич, поторопитесь! Отправляемся, — крикнула ему кокетливо улыбающаяся Тамара.

— Тома, посмотри, пожалуйста, куда мужик в шляпе пойдёт, — сказал он, подойдя близко к проводнице.

Тамара насторожилась.

— Что-то случилось? — спросила она.

— Да нет, ничего, — Евгений старался быть спокойным и даже попытался улыбнуться. — Но ты всё-таки посмотри за мужиком.

— Да он на вокзал пошёл... — Тамара смотрела на пассажира уже несколько встревоженно.

— Вот и хорошо, — Евгений легко вскочил на подножку, впорхнул в тамбур, зашёл в вагон.

2.

Закрывшись в купе, он присел на минутку.

«Неужели это был Антонов? Да нет, вряд ли... Ведь ему сейчас примерно шестьдесят, наверняка на пенсии — помидоры на даче выращивает. А что, если он остался фанатиком и до сих пор бежит за преступниками? Помнится, за какое-то дельце, не понравившееся начальству, когда он посадил не того, кого надо было отцам города, его уволили из следственных органов. После он работал в угрозыске. Потом были у него осложнения с руководством в годы перестройки, и его снова отстраняли от дел...»

Евгений осторожно выглянул в окно: на перроне подозрительного человека не было. По радио объявили отправление поезда, и за окном вагона медленно поплыл вокзал. Порывшись в сумке,

Евгений достал небольшой, с ладонь, пистолет и положил его во внутренний карман пиджака.

От стука в дверь он вздрогнул, прежде чем сказать привычное: «Открыто», — сунул руку за пазуху, нащупал рукоятку пистолета.

Вошла Тамара.

— У вас всё в порядке, Евгений Васильевич? — оспведомилась она.

— Нормально. Показалось мне кое-что. Так, ерунда, — Евгений старался казаться спокойным, но какая-то тревога уже поселилась в его душе.

— Вот и хорошо, — привычно улыбнулась проводница. — Кофе будете?

— Попозже. Через часок примерно.

— Хорошо.

Едва за Тамарой закрылась дверь, Евгений снова задумался. Допустим, что на вокзале он видел Антонова. Но кто мог сообщить местным ментам, что он едет именно в этом поезде? Этого никто не знал. Случайная встреча? Он давно уже не верил в случайности и совпадения.

Евгений вышел из купе. Вагонный коридор был пуст. Он прошёл в конец вагона, зашёл вначале в туалет, потом вышел в тамбур, закурил. Прикуривая, отметил, что руки его трясутся. Давненько он не испытывал такой дрожи. Сделав несколько глубоких затяжек, осторожно приоткрыл тамбурную дверь и замер. По коридору шёл тот самый человек, который так был похож на Антонова. Теперь Евгений не сомневался: это был именно Антонов.

Антонов остановился возле его купе. Подошёл ещё один человек, огромный детина в плаще, и встал рядом. Ещё двое в штатском торопливо направились к тамбуру.

Евгений вынул из кармана пистолет и ринулся было к правой двери вагона, попробовал открыть, не смог, тут же бросился к противоположной, но и та была закрыта на ключ.

«Спокойно, Женя, спокойно!» — успокаивал он сам себя. Подскочив снова к тамбурной двери, он взялся левой рукой за ручку, а правой прижал к груди пистолет.

Вычислив, когда идущие к тамбуру люди приблизятся к двери, он резко распахнул её. Расчёт его был верным: идущего первым человека ударом распахнутой двери сбilo с ног, а опешившему второму Евгений выстрелил в ботинок. Ещё один выстрел он произвёл наугад вдоль коридора, поверху, над головами, туда, где стояли Антонов и его напарник.

— Сапрунов! Сапрунов, ты что делаешь? Прекрати, Сапру... — закричал ему Антонов, пригибаясь к полу.

Едва Евгений закрыл дверь, как услышал выстрел. Теперь уже стреляли в его сторону. На его счастье, дверь в соседний вагон была открыта, но едва он выскочил в тамбур следующего вагона,

как увидел через стекло вагонной двери милицейскую фуражку.

«Обложили, гады! Наверняка человек двадцать здесь орудует!»

Купе проводников было открыто. Две ещё довольно молодые женщины-проводницы о чём-то беседовали, не подозревая, что произошло в соседнем вагоне. Мгновенно сориентировавшийся Евгений схватил одну из них за белокурые кудряшки, подставил пистолет к виску.

— Быстро на выход с ключом от двери! — крикнул он.

Напарница заложницы, очевидно, не успев испугаться, смотрела на происходящее широко раскрытыми глазами.

Перепуганная заложница молча показала на висевший у неё на поясе ключ, которым открывают железнодорожные вагоны.

— Быстро в тамбур! — приказал Евгений и потянул проводницу к выходу.

Несколько пассажиров, стоявших возле бака с кипятком, увидев картину захвата проводницы, буквально застыли на месте.

— Всем в вагон! — рявкнул захватчик.

На пол полетели стаканы и кружки. Две женщины завизжали и одновременно ринулись в вагон, застряв в дверном проёме.

Вытащив проводницу в тамбур, Евгений заставил её вначале закрыть двери в соседний вагон и открыть дверь входную. Когда же она сделала всё, что сказал захватчик, он бесцеремонно отшвырнул её и, широко раскрыв двери, глянул вниз.

Поезд мчался по крутому, высотой метров пятнадцать-двадцать, отсыпанному щебёнкой откосу. Где-то там, внизу, уже в сумерках, виднелся кустарник. Моросил дождь.

— Чтобы вы все передохли, петухи проклятые! — крикнул Евгений и прыгнул под откос — в сентябрьские ненастные сумерки, в приближающуюся осеннюю ночь...

3.

— Старший сержант Мазуров!

— Я!

— Сержант Травкин!

— Я!

— Сержант Зотченко!

— Я!

— Сержант Матзагиров!

— Я!

— Рядовой Сапрунов!

— Я!

— Рядовой Ханкаев!

— Я!

— Выйти из строя!

Командир второго взвода второй роты старший лейтенант Санталов, в шинели и фуражке, единственный среди офицеров танкового батальона,

не полностью перешедший на зимнюю форму одежды, громко и отрывисто зачитал приказ начальника штаба полка о том, что первая группа увольняющихся в запас должна через час прибыть к контрольно-пропускному пункту с вещами.

Построение танкового батальона проходило на спортивной площадке недалеко от двух одноэтажных казарм, где жили танкисты. Необычно холодный ноябрь 1978 года жал под минус двадцать, и комвзвода то и дело, читая приказ, потирал кончики ушей большим и указательным пальцами.

— Так вот, товарищи дембеля, сопровождающим до самого эшелона у вас буду я, — сказал он выстроившейся перед ним счастливой шестёрке — четырём командирам танков и двум наводчикам орудий. — У меня не забалуete. Документы ваши лично передам в Борзе, перед посадкой в эшелон, сопровождающим вас дальше офицерам из дивизии.

Санталова, засидевшегося в должности взводного и с лета ожидавшего приказа о присвоении очередного воинского звания, весь батальон знал как самого строгого офицера, не дававшего спуску ни молодым, ни «старикам». Наверное, было бы лучше, если увольняющихся в запас танкистов сопровождал бы кто-то другой из офицеров батальона, но, по большому счёту, теперь им было всё равно.

Они ехали домой!

Они возвращались к родителям, братьям, сёстрам, друзьям. Они возвращались к гражданской жизни! И пусть их сопровождает сегодня хоть сам командир полка, хоть замполит дивизии! Они согласны. Главное — служба подошла к концу, приказ об увольнении подписан, два года в БТВ стали историей, служба в армии — прошедшим этапом в жизни каждого из них.

Домой!

Едва последовала команда разойтись и дембеля батальона, не попавшие на первый эшелон, кто с явной завистью в глазах, кто с улыбкой на лице, пожимая руки отъезжающим, стали говорить напутственные короткие речи, Юрка Матзагир потянул Володю за рукав шинели:

— Бежим в каптёрку, пока Колесник тут с Санталовым якшается, заберём свои шмотки.

— А как мы туда попадём? — спросил Володя. — Он же на ключ дверь всегда закрывает...

— Да я уже месяц как ключ подобрал, — настойчиво подтолкнул земляка Матзагир. — Бежим скорее, пока он ворон ловит.

Они быстро заскочили на невысокое, в шесть ступенек, крыльцо казармы, прошмыгнули в дверь и, пробежав мимо поста дневального, направились к каптёрке.

Юркин ключ без труда справился с замком, и сержант, влетев в каптёрку, первым делом бросился к вешалке, где висели приготовленные для поездки домой их новенькие шинели и кителя.

Володя последовал за ним, снял свою шинель, взял портфель, купленный ещё летом в посёлке, когда ходили они с Матзагиром в патруль вместе с молодым лейтенантом Косяковым.

— Шлемофоны будешь брать? — неожиданно спросил земляк.

— Какие шлемофоны? — не понял Володя.

Юрка откинул несколько вещмешков в углу под вешалкой и раскрыл большой картонный ящик.

— Вот видишь, Колесник, старшина-то наш, штук десять новеньких зимних шлемофонов грабанул по случаю. А я видел, как они с Демидом их в расположение роты принесли. Колесник Демид старшиной роты за себя оставляет и каптёрком по совместительству. А тот из благодарности молчать будет, и все проделки его шитыми-крытыми останутся. Он позавчера чуть ли не при мне Махамбету из управления батальона предлагал купить один шлемак за двадцатьпятку. Понял, какой жучара наш старшина? Таких наказывать точно надо. Возьмём по парочке. А если он и хватится, то шум поднимать не станет. А может, сразу и не хватится. А мы через час уже тью-тью. Как будто никогда нас тут и не было. Берём?

— А если спалимся при досмотре на кпп или перед посадкой в эшелон? Тогда не домой поедет, а сам знаешь куда... Да и зачем они мне, шлемофоны? Я же по городу на гражданке в шлемофоне ходить не буду...

— Ну как хочешь, а я возьму. Они тёплые. На мотоцикле и зимой можно в них по посёлку рассекать. И каски не надо. Один дядьке отдам. Он охотник-промысловик. Наденет в тайгу вместо шапки, будет волков и рысей пугать.

— И медведей-шатунов, что в спячку не залегли, — добавил Володя.

Матзагир негромко засмеялся, спешно затолкал в портфель два шлемофона, затем, оценив, сколько места они заняли, прихватил ещё один.

— Я всё равно с чемоданом поеду. Он у меня большой — семейный. Портфель положу прямо в него, а там, возле эшелона, чуть что, шмоном запахнет, выброшу портфель вместе со шлемаками, чтобы не спалиться, — пояснил приятель.

Юрка застегнул портфель. Взял шинель и китель.

— Ну, ты своё всё забрал? — спросил он.

— Да, всё, — Володя оглянулся. — А что ещё?

— Тогда пора уходить, пока Колесник нас не накрыл, — сказал деловитым тоном сержант.

Они быстро вышли из каптёрки, и Юрка прихлопнул дверь. Английский замок щёлкнул. На звук его обернулся стоявший возле тумбочки дневальный Тагаев.

— Тагаев, если скажешь старшине, что мы заходили в каптёрку, я тебя тут же возле тумбочки застрелю из пистолета Макарова, понял? — пригрозил сержант рядовому.

— Поняль, — сказал малыш Тагаев, смягчая окончание слова и шевеля растопыренными, как у Чебурашки, ушами, на которых висела не по размеру большая шапка.

— Хорошо, что поняль, — сказал своему экипажнику, заряжающему орудия, командир танка. — Не посмотрю, что дома меня ждут старушка-мать и сестра-красавица, отрежу тебе уши и пристрелю.

Тагаев попытался улыбнуться, открыл рот и показал верхний ряд своих маленьких реденьких зубов.

— Вот так-то! Служи, сынок, а дедушка домой поедет.

Володя зашёл в своё расположение, пошёл к своей кровати, открыл тумбочку, сложил в портфель ещё неделю назад приготовленные им зубную щётку, пасту, крем для обуви, пару новых носков. Затем снял шинель, хэбэшку и нижнее бельё, облачился в рубашку с галстуком, под военные брюки надел штаны-трико, накинул китель со значками «Отличник Советской Армии», «Воин-спортсмен» второго разряда, синим солдатским значком второго класса. Эти знаки висели на его кителе вряд справа, а слева красовалась новенькая «Гвардия», полученная из рук замполита батальона капитана Теребова.

— Давай я тебе знак первого класса дам, — предложил Матзагир, успевший переодеться раньше и подошедший к приятелю с первоклассными знаками отличия. — И «Воина-спортсмена» надень первый разряд.

— Да ладно! — отмахнулся Володя. — Кому там всё это на гражданке надо? Там никто ничего не понимает в этом.

— Те, кто раньше нас отслужили, понимают, — настаивал Юрка, — да и остальные, кто и не служил, и женщины даже, и девчонки, сразу поймут, что первый разряд лучше, чем второй.

— Ты сержант, вот у тебя и пусть будет всё перворазрядное, а я рядовой: чистые погоны — чистая совесть, мне и второй разряд сойдёт...

— Ну, как хочешь, а я лишние значки в эшелоне кому-нибудь загоню или обменяю на что-нибудь полезное.

Казарма к тому времени стала заполняться вернувшимися после построения сослуживцами. Некоторые подходили к ним и говорили новые напутствия, большинство из которых было связано с выпивкой и девчонками. Одни предлагали им во время застолья всегда пить за тех, кто на посту, другие советовали совсем не пить, третьи — не жениться сразу и даже с любимыми, ожидавшими их девчонками первое время быть поосторожнее, присмотреться к ним (мало ли что за два года было там, на гражданке), и только убедившись в их верности, принимать решение: идти в загс или подождать.

Володя сразу вспомнил о Кате — двоюродной сестре Юрки, с которой он переписывался

восемь последних месяцев службы, её красивых длинных волосах и глазах с большими ресницами на фотографии. «В жизни она ещё красивее», — говорил ему земляк Юрка, способствовавший их заочному знакомству и переписке. И Володя иногда думал: «Ну как тут устоять, не растаять перед такой красавицей?» Он тоже пытался способствовать заочному знакомству и переписке между приятелем и своей двоюродной сестрой Ольгой, но после двух-трёх писем переписка их захлебнулась, и теперь Володя чувствовал себя несколько виноватым перед земляком-приятелем. Виноватым чувствовал он себя и перед Катей, потому что не поставил её в известность, что подал документы на подготовительное отделение исторического факультета Иркутского госуниверситета и что первого декабря его ждёт собеседование в городе на Ангаре, где и жила его двоюродная сестра Ольга. Катя, закончив торговое училище, работала теперь в леспромхозовском магазине в посёлке, где жил Юрка, и Володя должен был за две недели, вернувшись домой, успеть не только подготовиться к собеседованию, но и побывать в дальнем леспромхозовском посёлке и отметить с друзьями по школе, тоже вернувшимися этой осенью из армии, встречу в лучшем ресторане города.

— Ну что, дембеля, надели кителя? — голос старшего лейтенанта Санталова вывел Володю из раздумий. — Если готовы — на выход!

На выходе из казармы уже стояли в шинелях, новеньких шапках и с дембельскими чемоданчиками и портфелями Зотченко, Мазуров, Ханкаев и Травкин. Санталов по-прежнему был в повседневной шинели и фуражке. В руках он держал портфель-дипломат.

— Выходим! — скомандовал старлей и сам первый шагнул в дверь на двадцатиградусный мороз.

Остающиеся в казарме солдаты и сержанты по очереди пожимали уходящим навсегда руки и выкрикивали новые напутствия:

— Вовка, Сапрунов! Стань режиссёром, сними кинушку про армию!

— Юраха, Матзагир! Будешь моряком — привези из заграничья кокосов и маленькую кенгуру!

— Мазур, когда вырвешься в министры в своей Калмыкии, не забудь нас пригласить в правительственный загородный коттедж!

Травкину желали стать главным охотоведом, Ханкаеву — трактористом-ударником в родном его совхозе, Зотченко — почему-то милиционером. Уходящие навсегда из этой казармы кивали и говорили все одно:

— Ладно, ладно, ладно...

Уже на выходе Володя окликнул дежурного по роте:

— Жунусов! Выгони кого-нибудь с веником на крыльцо. Пусть следы заметёт.

— Понял! — быстро отозвался Жунусов и дал команду дневальному: — Тагаев, возьми щётку в умывальнике.

Володя вышел на улицу последним. Увольняемые уже выстроились в колонну по двое. Он встал рядом с замыкающим Ханкаевым.

— Так, все шестеро? — проверил ещё раз Санталов. — Ну что, проведу вас в последний раз по полку.

Дверь казармы хлопнула ещё раз. На крыльцо выскочил Тагаев с щёткой на длинной ручке и начал быстро подметать.

— Ну вы, друзья, и даёте! — ухмыльнулся старший лейтенант, глядя на дневального. — Я тоже уезжать отсюда буду — попрошу, чтобы и за мной следы замели.

Старлей дал команду, и они прошли. Сначала вдоль казармы, потом свернули по направлению к контрольно-пропускному пункту. На повороте Володя чуть сбавил шаг, глянул на длинное белое здание, служившее ему кровом полтора года. Он понимал, что видит его в последний раз в своей жизни. На крыльце стояли Жунусов и Тагаев. Жунусов помахал рукой. Володя в ответ поднял левую руку.

«Их я тоже вижу, наверное, в последний раз в жизни, — подумал он. — Один из Казахстана, второй из Киргизии. Навряд ли судьба сведёт нас когда-нибудь снова...»

4.

Белая, подновлённая за лето снаружи казарма, и белое крыльцо, и стоящие на нём Жунусов с Тагаевым вдруг поплыли сначала влево, а потом вверх. Поплыла асфальтовая дорожка с притоптанным снегом на ней. Растаял впереди идущий старший лейтенант Санталов, закачался строй счастливых дембелей, и Юрка Матзагир, и Травкин, и Мазуров, и Зотченко с Ханкаевым растворялись и исчезали прямо на глазах.

«Что со мной? Что? Куда они?» — испугался Володя.

Строй пропал, а перед глазами возникли вдруг зелёные ворота контрольно-пропускного пункта с большими красными звёздами на створах. Створы раскрылись, и густая темнота стремительно помчалась на него.

5.

Несильный мелкий дождик освежал лицо — лоб, щёки, подбородок. Евгений попробовал поднять правую руку, лежавшую у него на груди. Но небольшое движение отдавалось болью по всему телу. Левая рука была за спиной. Он понял, что лежит на ней, подогнув ноги. Попытка разогнуть колени отозвалось уколом в пояснице.

«Неужели я и ноги, и руки повывихнул? — пришла в голову страшная мысль. — Не дай Бог, повредил ещё и поясницу...»

Память вернулась сразу: вагон, проводница, вокзал, Антонов со сворой ментов, перестрелка в поезде и прыжок под откос.

Было темно, но он разглядел внизу, метрах в десяти-двенадцати, мокрую от дождя дорогу. «Видимо, Московский тракт», — вспомнилась ему география родных мест. За дорогой чернели кусты и журчала вода.

«Речушка... Туда не надо. Там вокруг болотистая местность. Кочки. Если они уже бросились на поиски, то первым делом поедут по тракту и начнут прочёсывать низину. Надо ползти наверх, за железной дорогой кладбище. С города туда ментам напрямую не проехать: только через переезд, потом вдоль отходящей от Транссиба Абаканской ветки, после им придётся спуститься вниз по дороге, и только потом смогут заехать на кладбище. Если успею добраться наверх и спуститься вниз с откоса, то можно попытаться пройти через кладбище, выйти к дороге на Абакан и зацепиться за проходящий там по однопутке на низкой скорости товарняк».

Евгений глянул наверх. Ползти предстояло метров пятнадцать по острой, грубой щёбёнке. Он попробовал повернуться сначала на бок, потом на живот. Боль в пояснице была нечеловеческой, но он стерпел и, преодолевая её, попробовал ползти. Попытка оказалась неудачной. Щёбёнка под ним зашевелилась и поехала. Евгению показалось, что он тоже скатился вниз вместе с камнями на полметра, а то и больше. Он потянул правую руку вверх и снова сделал попытку подтянуться, но камушки предательски катились на него.

«Каюк! Скоро милицейский наряд будет здесь. С собаками и автоматами. Возьмут тёпленького, на этом вот откосе, у тракта, где в детстве грибочки, маслята с боровичками, собирал».

От негодования и бессилия он начал шевелить пальцами обеих рук, разводя руки в стороны. Правая рука неожиданно коснулась чего-то холодного и мокрого. Евгений на ощупь определил, что это холодное и мокрое — тонкое и металлическое. Повернул лицо. В темноте различить было сложно, но он догадался, что это проволока, тянувшаяся то ли сверху вниз, то ли снизу к железной дороге. «Заземление какое-то, что ли? — подумал он. — А если она под напряжением? Нет, если бы под напряжением была, то шарахнуло бы уже. Надо цепляться за неё и подтягиваться».

Евгений потянул на себя проволоку. Она не поддалась, осталась на месте. Он подтянулся к ней. С трудом уцепился второй рукой. Потом, перебирая её, словно канат, попробовал потянуть тело вверх. Помогая ногами, он сделал первую удачную подтяжку.

«Пять сантиметров, наверное, есть, — отметил он. — Таким темпами как раз к утру до путей доползу, а потом ещё через рельсы и шпалы час-полтора переползать буду... Если проходящий поезд не отрежет голову, то к обеду доберусь до кладбища. Только вот дадут ли мне товарищи милиционеры время на такое путешествие?»

Думая об этом, он ещё раз перехватил проволоку и подтянул ноги. На этот раз, как ему показалось, он уже точно поднялся немного вверх.

На душе сразу полегчало. И он попробовал улыбнуться.

Надо же, воинская часть вдруг как наяву увиделась... Казарма... Армейские друзья... Правда, другом можно назвать из всех, кто пригрезился ему, только земляка Юрку Матзагира, остальные — просто сослуживцы.

Евгению вдруг захотелось, так захотелось увидеть снова всех их, тех молодых парней, увольняющихся в запас из Советской Армии в ноябре 1978 года, обнять каждого и сказать: «Ребята, мы сейчас, вот в это время, в эти часы и минуты, самые счастливые на свете люди! Давайте сбережём эти минуты и мгновения. Они не повторятся больше никогда!»

Поняли бы тогда они, те молодые двадцатилетние парни, два года проводившие вдали от родного дома, в полном смысле его слова? Понял ли бы он сам, если бы ему кто-то сказал так? Наверяд ли. Все они в то время, в тот день, в те часы были убеждены, что жизнь для них только сейчас и начинается, всё худшее позади, а впереди только лучшее.

6.

Возле контрольно-пропускного пункта собралось двадцать восемь человек из тридцати, назначенных приказом на первый дембельский эшелон.

— Один в санчасти застрял, видно, домой уже не хочет, — пояснил Санталову дежурный по полку командир артдивизиона капитан Смирнов. — А ещё одного замполит полка лично отпустил вчера. Выдал ему документы, а патруль наш его на автобус рейсовый посадил. Отправили и помахали. Видимо, чтоб не вернулся. У него что-то дома там. В общем, попросил, чтобы по семейным делам его раньше отпустили. Но, думаю, соврал, он штабной был писаришка. Выслужился перед замполитом, видать.

— Да и Бог с ним! — махнул Санталов. — Мне меньше мороки.

Среди первых увольняющихся из части танкисты приветствовали Толика Камаева, окончившего с ними танковую учебку, но по прибытии в полк почему-то направленного в артдивизион, в отдельный зенитный взвод.

— А Лёха Кисель, мой земляк, на потом остался? — спросил Толик танкистов.

— Да, на потом, — ответил ему Юрка. — Многих на потом. Это нам повезло.

— Повезло! — улыбнулся письмоносец Кривцов, штабист, два года ходивший рядовым, а теперь, к удивлению всех, надевший сержантские погоны. — Повезло нам. Мы — первые!

— Можно и так сказать... — отреагировал на его слова Матзагир.

Камай оказался единственным из артдивизиона, записанным на первый эшелон. Кроме штабиста-письмоносца, трое увольняемых представляли разведроту, двое — автороту, остальные были из мотострелковых батальонов. Танкисты и зенитчик Камаев хоть не один раз видели их на общем построении в полку, но по фамилиям и именам не знали никого.

— В две шеренги становись! — скомандовал дежурный по полку, заметив приближающихся к КПП замполита полка подполковника Жирненко и начальника полкового штаба майора Мацука.

Увольняющиеся в запас выстроились в два ряда на дорожке, идущей от ворот контрольно-пропускного пункта.

— Равняйся! Смирно! — скомандовал капитан Смирнов и, повернувшись к подошедшим замполиту и начштаба, взял под козырёк.

— Товарищ подполковник, — обратился дежурный по полку к Жирненко как старшему по званию и должности. — Группа военнослужащих, увольняемых в запас и отбывающих к эшелону, построена. По списку тридцать человек, по факту — двадцать восемь. Докладывает дежурный по полку капитан Смирнов!

— Да я в курсе, что их двадцать восемь, капитан, — тоже взяв под козырёк, сказал подполковник и скомандовал: — Вольно!

— Вольно! — повернулся к уволенным в запас дежурный капитан.

— Ну что, братцы, дождались? — спросил по-домашнему их замполит, подойдя близко к строю. — Никто на сверхсрочную не хочет?

Отбывающие на эшелон молчали.

— Да, вижу, не хочет никто, — улыбнулся подполковник. — Ну ладно. Смотрите там, на гражданке, держите марку гвардейцев и помните: вы остаётесь воинами. Только пока будете в запасе. Ну а если что, тогда по первому зову Родины — к боевым машинам. Понятно?

— Так точно... — ответили несмело несколько человек из мотострелковых батальонов.

Замполит довольно кивнул.

— А оружие или боеприпасы никто из вас с собой не прихватил? — спросил то ли строго, то ли шутя начальник штаба. — Санталов, ты своих проверял?

— Так точно, проверял! — отозвался, сопровождающий старлей, стоявший недалеко от дежурного по части.

Юрка толкнул Володю:

— Молодец Санталов! Соврал замполиту. Можно сказать, отмазал нас!

— Рано радуешься, ещё в эшелон пройти надо, — тихо сказал другу Володя.

— Может, и там пронесёт. Кому хочется в такой радостный день настроение друг другу портить?

— Это для нас праздник, а для офицеров обычный день.

— Да не скажи! Лучше дембелей сопровождать к эшелону, чем в полку тут болтаться на глазах начальства, — заметил Юрка. — А сегодня действительно знаменательный день. Десятое ноября тысяча девятьсот семьдесят восьмого года, пятница.

— День милиции, — напомнил ему Володя.

— Да, надо же, в День милиции увольняемся, — улыбнулся Юрка. — Это знаменательно. Помнишь, нас же десятого ноября, ровно два года назад, увозили с тайшетградского вокзала?

— Ещё бы не помнить...

7.

Володя хорошо помнил, тот солнечно-морозный день десятого ноября 1976 года.

Была среда. Он, уже остриженный наголо, почти не спал свою последнюю ночь на гражданке. Встал около семи. Мать, видимо, тоже не спала. В сковородке жарилась яичница с колбасой. К девяти часам он, мать и две сестры поехали в военкомат. В походной сумке его было немного поклажи: полотенце, мыло, щётка, зубная паста, небольшой кулёк конфет, булка белого хлеба и около килограмма сала с прослоечкой, как он любил. Мать специально принесла сало накануне и завернула ему в полиэтиленовый пакет. Она предлагала Володе взять с собой ещё на запас тёплые вещи, шерстяные носки, но он отмахнулся:

— Там всё равно заберут и выдадут форму.

В военкомате собрались двенадцать человек, призванных на этот день. Володя никого из них не знал. Местные были из другой половины города, а семеро призывников приехали из сёл и деревень района.

Их выстроили в одну шеренгу в коридоре военкомата, провели перекличку. Затем капитан и майор вывели призывников на улицу. За призываемыми в армию последовали их родственники, числом превосходившие новобранцев как минимум раза в три. Пока шла перекличка, родственники захватили все стулья и скамейки в коридоре военкомата. Тем, кто помоложе, мест не досталось, и они крутились возле строя и мешали делать перекличку.

Укрыльца военкомата призывников построили в колонну по двое, и капитан сообщил, что до вокзала они пойдут пешком. Родственнички шумной гурьбой последовали за строем. Вначале они все

шли сзади, изредка выкрикивая своих, но на повороте с улицы Горького на Транспортную самые бойкие из родных вклинились в строй и пошли рядом с новобранцами. Майор вначале пытался одёрнуть подвыпивших отцов, братьев и друзей молодых солдат, но, осознав тщетность своих усилий, успокоился и пошёл рядом с капитаном впереди распавшегося строя.

На вокзале они узнали, что едут не воинским эшелоном, а обыкновенным пассажирским поездом, в плацкартном вагоне. На перроне их ещё раз построили, провели новую перекличку, а потом отпустили на полчаса к родственникам. До прибытия поезда.

На вокзал пришёл и Володин дядька — двоюродный брат матери Виктор. Он работал слесарем на мясокомбинате и принёс племяннику полпалки докторской колбасы.

— До Иркутска полдня ещё и ночь ехать будете — проголодаетесь, — пояснил дядька, заталкивая колбасу в сумку племянника, не беря в расчёт, что у того есть сало.

— И сало съедите, и колбасу. Вон вас сколько, архаровцев, едет...

«Архаровцев» пригласили по громкой вокзальной связи на перрон, когда подошёл поезд. Снова построили.

— Ваши два последних плацкарта и четыре боковых места, — объяснил майор. — С вами поедет сопровождающим капитан Попов. Но у него билет в другой вагон, поэтому вас разместит и пойдёт к себе. А вы, я надеюсь, люди самостоятельные и сами вполне за себя ответить можете.

— Так точно! — крикнул из строя стоящий левее всех парень в синей болоньевой куртке, с объявленным вокруг шеи красным шарфом.

— Молодец! — похвалил его майор. — Как фамилия?

— Призывник Кухарук! — снова бойко ответил парень.

— Назначаясь старшим группы, — сказал ему майор, — в течение поездки будешь докладывать капитану Попову, как обстоят дела. Ясно, призывник Кухарук?

— Так точно, товарищ майор! — снова отозвался бойкий призывник.

— Ну и отлично, — сказал майор уже капитану, — вот с этого бойца и спрашивай за всех!

— Есть, — отдал честь капитан.

В вагон их посадили сразу, как только проводники открыли двери. Поезд стоял ещё минут двадцать, и всё это время призывники, прильнув к окнам, махали руками родственникам, а родственники им.

Володе и упитанному смуглому паренёку достались боковые места возле двери.

— Юрка! — представился паренёк, когда Володя назвал своё имя. — Ты где спать любишь — наверху или внизу?

— Да мне всё равно.

— И мне всё равно. Давай тогда я наверх полезу, а ты уже внизу будь, — предложил парень.

— Давай.

Так Володя познакомился с Юркой Матзагировым — татарин из леспромхозовского посёлка, с которым они прослужили все два года.

Они спали рядом на деревянных нарах в призывном сортировочном пункте в Иркутске. Там их, вместе с Кухаруком, определили в одну команду. Вместе ехали потом эшелоном до Читы и были распределены в танковую учебную часть. Кухарука заместили и там — направили учиться на командира танка, а Володю с Юркой зачислили в роту наводчиков орудия средних танков. Друзья попали даже в один взвод.

Зима с 1976-го на 1977 год выдалась суровой. Курсантам-наводчикам, да и будущим командирам железных машин, и механикам-водителям, постигавшим азы армейской жизни, пришлось несладко. Нужно было в холодном тренажёрном зале за восемь секунд по команде успеть оторвать люки Т-54 и уместиться на местах заряжающего, наводчика и командира. На трансмиссии танка стоял сержант с толстым прутком — коленом от танковой антенны — и подхлёстывал не успевших уложиться в срок.

Друзьям-новобранцам поначалу нередко доставалось по спине и по затылку. Доставалось и после неудачных стрельб. Зато ближе к весне они влетали в танк уже за шесть с половиной секунд и поражали цели отведённым для них количеством патронов.

По-разному складывалась служба земляков в учебной части. Володя в начале марта на вожении танка отморозил правую щёку, и она покрылась вначале волдырями, а потом коричневой коркой — коростой. В санчасти ему выдали какую-то мазь, а старшина определил горе-курсанта на трое суток дневальным по роте. В апреле Юрка отличился на полигоне в стрельбах из движущегося танка и был отмечен командованием полка.

Нередко на общих разводах и построениях они встречали хваставшегося своими успехами в боевой и политической подготовке Кухарука. Политподготовка Володе давалась гораздо легче боевой. Замполит роты восхищался его знанием географии и рассказами о политическом строе в той или иной стране и ставил в пример остальным курсантам взвода.

К маю, когда появилась первая травка, молодых танкистов чаще стали выгонять на спортивные площадки, и вот там не слишком ловкий на турнике курсант Сапрунов показал себя хорошим футболистом. Впрочем, и земляк его, курсант Матзагиров, владел мячом неплохо.

После сдачи экзаменов, десятого мая, друзья в числе двадцати курсантов полка отправились

из учебной части в дальний путь. Их путешествие по Забайкалью проходило на автомашинах, поездах, автобусах и даже на пароме. С пересадками добрались до города Сретенска, где их группа сильно поредела: тринадцать бывших курсантов остались там, а остальных через сутки повезли дальше — к советско-китайской границе, к реке Аргунь, в стрелковую часть, в состав которой входили танковый батальон, артдивизион и разведроты. Снова ехали теперь уже бывшие курсанты по дорогам Забайкальского военного округа автомашинами, переплывали паромом через реку Шилку. А до посёлка, на окраине которого стояла воинская часть, они добрались на рейсовом пассажирском автобусе. В пути и познакомились земляки с Травкиным, Зотченко, Мазуром, Ханкаевым, Камаем.

8.

И вот полтора года в воинской части, среди сопков и редких пролесков, с короткими выездами на полигон, остались позади. Армейские переживания, стрельбы, наряды по роте и на кухню, в караул можно забыть навсегда. Впереди другая жизнь.

— Ну что, Санталов, командуйте, — приказал сопровождающему замполит полка. — Машина у ворот ждёт вас.

— Есть! — старший лейтенант поднёс правую руку к козырьку фуражки. — Группа, направо! На КПП шагом м-марш!

В последний раз каждый из них прошёл через проходную КПП, потрогал руками знакомую вертушку и вышел за пределы полка.

«Урал», крытый брезентовым тентом, уже ждал их.

Возле машины построились снова.

— Товарищи дембеля, — обратился к ним вышедший следом за ними из КПП краснопогонник в бушлате. — Просьба занимать скамейки ближе к кабине и садиться плотнее друг к другу. Первую от борта скамейку желательно не занимать. Обдуть будет. И снежная пыль, и дорожная могут доставить неудобства. Я прикрою тент сзади, укреплю так, чтобы была вентиляция.

— Водила, что ли? — спросил Юрка земляк.

— Похоже, что нас повезёт, — предположил Володя.

— Эй, Сидор, — выкрикнули из строя. — Вешайся, пока не поздно. Тебе ещё служить и служить!

— Да полгода осталось. Зиму перекантуюсь и — как вы, в родные края! — отозвался с улыбкой водитель.

— Тоска тебе!

С водителем, видимо, общался кто-то из своих — авторотчиков.

— По двое загружайся! — прервал разговоры и выкрики Санталов.

Дембеля, помогая друг другу, забрались в кузов «Урала».

Володя с Юркой оказались в середине. На одной скамейке с ними — Зотченко, Ханкаев, бывший письмоносец Кривцов и сержант из мотострелков. Травкин с Мазуром уселись на следующей скамье — ближе к кабине. Тент закрылся. Было слышно, как Санталов поторопил водителя, дверцы хлопнули, ожил мотор, и машина подалась вперёд!

— Поехали! — крикнул Юрка. — Прощай, Нерчинский завод!

— Прощай! — повторил за ним Кривцов.

— Прощай! — подхватили несколько голосов.

— Давай, водила! Вези прямо на ту сторону Байкала! — выкрикнул Володя, поддерживая земляка.

— Дава-а-а-а-а-а-а-ай! — закричали спереди и сзади.

— А мне бы до этой стороны озера добраться! — высказался Травкин.

Володя знал, что Травкин жил в Бурятии, недалеко от Байкальского заповедника.

Восторг переполнял грудь Володи и, наверное, каждого, кто был в кузове машины. Поначалу все враз заговорили. Шутили и громко смеялись. Но через полчаса пути разговоры начали затихать, и некоторые даже задремали.

Примерно часа через два машина остановилась.

— Калга, видимо, — сказал кто-то, хорошо знавший географию этих мест.

— К машине! — последовала извне команда Санталова.

— Отбрасывайте тент! — крикнул им водитель Сидоров.

Сидевшие ближе к выходу приподняли брезент.

На улице уже начинало смеркаться. Короткий ноябрьский световой день заканчивался.

— Полчаса времени на приём пищи и другие дела, — сказал Санталов спрыгнувшим с машины солдатам и сержантам. — Вот кафе-столовая, за ней отхожее место. Через полчаса все стоят у машины. Кто опоздает — остаётся. Ждать не буду никого. Понятно!

— Так точно! — ответил за всех старший сержант Мазуров.

Уволенные в запас рванулись к деревянному одноэтажному зданию с высоким крыльцом. Вмиг пустовавший зал кафе-столовой наполнился движением. Шинели снимать не стали. Некоторые сразу заняли места за столами — на себя и сослуживцев, другие, оставив портфели и чемоданы на стульях, выстроились в очередь возле одинокого умывальника.

Юрка с Володей взяли по рассольнику и картошку-толчёнку с котлетой, компот. К их столу подсоединились Зотченко с Ханкаевым.

— Случайте, бойцы, там водка продаётся, — сказал Зотченко. — Может, возьмём бутылочку

на четверых? По сто с лишним грамм на брата получится. Нормально, чтобы не замёрзнуть.

— А Санталов разрешит? — спросил Юрка.

— А кто его спрашивает? Вон краснопогонники уже затарились и распивают... — кивнул Зотченко на соседние столы.

— Давай? — глянул Юрка на друга.

— Давай, — кивнул тот.

— Я беру, а вы пока тут скидывайтесь, после отдадите, — сказал Зотченко, возвращаясь к кассе.

Санталов сидел один за столиком у самой стенки, недалеко от входа.

— Может, позовём? — предложил Юрка, глядя на Зотченко.

Зотченко кивнул и пошёл к столику старшего лейтенанта. Присел на свободный стул. Всем было видно, как сержант подошёл, обратился к старлею, а когда тот кивнул, подсел на свободный стул и начал говорить. Санталов вначале слушал, потом посмотрел на него, повернулся к их столику, а потом, отодвинув тарелку с солянкой, поднялся и подошёл.

— Товарищ старший лейтенант, выпейте с нами сто граммов для сугрева, — встал ему навстречу Матзагир.

— Только по сто и не больше, — согласился Санталов.

Зотченко поднёс ему до половины налитый стакан.

— Ну, за вас. Чтобы вам всем хорошо жилось на гражданке! — произнёс короткий тост старлей и стоя выпил.

— Спасибо, спасибо, товарищ старший лейтенант! — заговорили все четверо.

Санталов кивнул и хотел было вернуться к своему столу, но буквально подлетевший к ним Мазуров предложил сопровождающему офицеру пройти к их с Травкиным столику.

Санталов замотал головой, давая понять, что больше не хочет, и пошёл назад, к своей остывающей солянке.

Но старший сержант Мазуров не растерялся и принял, на взгляд всех танкистов, очень правильное решение — отнёс полстакана водки к столику командира. Санталов молча принял подношение.

Дальше поехали снова весело. Вздобрённые и согретые солдаты и сержанты опять заговорили все враз, едва машина отошла от стоянки.

О чём они тогда говорили с Матзагиром и Зотченко, какие реплики вставлял Ханкаев, Володя уже не помнил. В памяти осталось построение перед посадкой в эшелон, при свете тусклых фонарей. Эшелон искали на запасных путях. Под командованием Санталова они примерно с полкилометра прошагали от вокзала до вагонов. Потом Санталов разыскал начальника эшелона, вручил им документы какому-то капитану и,

лично за руку попрощавшись с каждым из солдат и сержантов своей части, пошёл обратно к вокзалу.

— Ну что, готовьте свои чемоданчики к досмотру! — скомандовал капитан, проведя перекличку. — Поставить их перед собой и раскрыть!

Стоявший рядом с Володиёй в первой шеренге Юрка быстро юркнул во второй ряд.

Они стояли на неширокой платформе между путей, перед вагонами. Точнее, перед вагоном с номером девять. Позади их вагонов не было, и, как понял Володя, приятель, скорее всего, на ходу решил открыть свой объёмный чемодан и бросить портфель со шлемофонами под платформу.

Капитан светил фонариком и заглядывал в чемоданы и портфели. Смотрел он поверхностно, не наклоняясь и не сильно разглядывая дембельскую поклажу.

— У остальных примерно то же? — спросил он, когда обошёл первую шеренгу.

— Так точно! — выкрикнул из второго ряда Юрка Матзагиров.

— Автоматы, пулемёты, пистолеты Макарова, патроны, гранаты, взрывпакеты никто с собой на гражданку не прихватил?

— Никак нет! — раздался снова из второй шеренги голос Матзагира.

«Ну что он орёт? Сам к себе внимание привлекает...» — беспокоился за приятеля Володя.

— Ладно, верю, — сказал капитан. — Поднимайте свои дембельские чемоданы — и шагом марш вперёд, к седьмому вагону. Заходим по одному и занимаем первые свободные места. Всем всё понятно?

— Так точно! — на этот раз ответил первым Володя, думая отвлечь на себя капитана и дать возможность другу принять новое решение.

Немного сбив строй, Володя перескочил во вторую шеренгу и нашёл Юрку. Тот не успел затолкать портфель со шлемофонами в чемодан и теперь держал в одной руке две ручки, прикрывая портфель снаружи чемоданом.

— Иди рядом и прикрывай! — сказал он Володе. — Там, в вагоне, уже всё уложу.

Капитан стоял у двери вагона и следил за посадкой.

Земляки в компании с бывшим письмоносцем подошли к вагону последними. Володя встал перед капитаном и подтянул ближе к себе Кривцова. Юрка остановился за их спинами.

— Фамилия? — спросил капитан, очевидно, сразу всех троих.

— Сержант Матзагиров! — выкрикнул Юрка.

— Есть такой, — сказал капитану находившийся рядом с ним и заглядывающий, очевидно, в список незнакомый им старший сержант.

— Проходи, — кивнул капитан.

— Рядовой Сапрунов! — не дожидаясь напоминания, выкрикнул Володя, едва приятель подошёл к двери вагона.

— Есть, проходи, — скомандовал ему старший сержант, делая отметку в списке.

Володя подтолкнул друга, поднимающегося вверх по ступенькам, и, едва не наступая ему на ноги, заскочил на подножку.

— Осторожнее, вы! Успеете! — сделал им вслед замечание капитан. — Не хватало ещё покалечиться и к маме с папой с переломами и ушибами приехать.

— Сапрунов, Матзагир, сюда! — услышали они, едва вошли в вагон.

Из другого конца, стоя в проходе, им кричал и махал Зотченко.

Юрка с Володей протиснулись по узкому проходу в конец вагона.

— Мы решили все вшестером тут обосноваться, в последнем плацкарте, — пояснил Зотченко. — Так как вы замыкающие, вам достались боковушки у дверей.

— Ну прямо один в один, — улыбнулся Юрка, очевидно, вспомнив день призыва и места, на которых они ехали в пассажирском вагоне.

— Да, от судьбы не уйти, — понял его Володя, присаживаясь за столик на боковушку у дверей.

Эшелон простоял всю ночь. Утром было видно в окна, что привезли ещё одну группу дембелей и определили их в соседние вагоны. Несколько раз по эшелону проходили офицеры, спрашивали, кто из какого подразделения прибыл на эшелон и кто куда следует.

— Ну, такими темпами мы и к понедельнику домой не доберёмся, — сказал Юрка всем танкистам, когда они сели то ли завтракать, то ли обедать часов в одиннадцать.

Открывали консервные банки и ели выданные им тушёнку и перловую кашу с мясом, запивая кипятком, подкрашенным рассыпной заваркой.

После полудня эшелон наконец дёрнулся с места, закрипел тормозами и медленно отправился в путь. Поезд то набирал ход, то полз тише черепahi. От нечего делать они весь день играли в карты.

К вечеру добрались до Читы, где снова стояли долго. Разведка донесла, что к эшелону подцепили, по одним данным, два, а по другим — ещё три вагона. Дальше поезд снова пошёл с переменной скоростью. Юрка с Володей попеременно забирались на верхнюю полку и пробовали читать прихваченную ими из части книгу колумбийского писателя Маркеса «Сто лет одиночества». Чтение шло медленно, как и движение состава. Мало что запоминалось. Матзагир дважды прошёлся по вагонам: в одну и другую сторону в надежде обменять значки. Но обмена не получилось. У всех уволенных в запас знаков оказалось с запасом.

9.

Ранним утром в Улан-Удэ простились с Травкиным. Особо горячо прощался Мазур. Со слезами.

— Ты, Толик, только пиши мне, пиши обязательно, — даже не просил — умолял он. — И как только будет возможность, приезжай ко мне в Элисту или в Волгоград, где я буду учиться.

— Хорошо, Лёня, хорошо. Я обязательно напишу, обязательно приеду, — говорил ему Травкин.

Было видно, что он разрывается между печалью и радостью. Ему трудно прощаться с армейским другом, и в то же время он торопится быстрее сойти с поезда и во весь дух помчаться домой.

— Мне сейчас на автовокзал надо, на автобус, — объяснял сержант Толя Травкин. — Ещё почти двести километров пылить. Но вечером уже дома буду — сто процентов.

— А мы такими темпами к вечеру и до Иркутска не доедем... — вздохнул, когда проводили Травкина, Зотченко.

Он, к счастью для многих, оказался неправ. Поезд набрал обороты, миновал по краю заледевший у берегов, но ещё бушующий Байкал и на всех парах помчался к Иркутску.

Примерно в районе Слюдянки раздалась команда:

— Тем, кто едет до Иркутска, получить документы в штабном вагоне!

— Давай и мы пойдём, — предложил Юрка Володе. — Сопровождающим сейчас всё до лампочки: чем меньше народу в эшелоне, тем им лучше.

Они пошли вместе с Зотченко и Ханкаевым в штабной вагон и на удивление, лишь назвав свои фамилии, сразу же получили документы.

— Сойдём в Иркутске, переночуем у моей тётки, — сказал Юрка, — там, где Катя твоя жила, когда училась здесь. Завтра с утра погуляем по городу, твоих навестим, а вечером на «Ангаре» домой поедem.

— Ну ладно... — не стал спорить с ним Володя.

— Братцы, просто не верится: ещё двое суток назад мы выезжали из своей части, а сегодня я дома. В чистой постельке, как белый человек, спать буду! — радовался Зотченко.

Остававшийся один в плацкарте Мазур снова прослезился, прощаясь с сослуживцами.

— Ну что, закатим в ресторан? — предложил Зотченко, когда они вышли на перрон.

— Ресторан нам не по карману, — сказал Юрка. — Да и патруль ещё нас может прижучить, подвыпивших.

Володя понимал: земляк всё ещё переживает за шлемофоны, что лежат у него в чемодане.

— Да я угощаю. У меня деньги есть! — настаивал Зотченко. — А патруль что нам? У нас документы в порядке. Мы — уволенные в запас. Мы уже гражданские, Матзагир, Юрания, пойми это!

— Пока в форме — не гражданские, правда, Вовка? — попросил поддержки у приятеля Матзагир Юрания.

— Вообще-то да, — поддакнул Володя, но, наверное, всем было заметно, что сказал он это неуверенно.

Володе понравилась предложение Зотченко посидеть на прощание в ресторане. Это было одно, а второе — он вдруг с новой стороны открыл для себя Зотченко, который в батальоне числился в угодниках начальству, и поговаривали, что даже был стукачом.

— И Ханкаеву на автовокзал надо. Правда, Дамир? — искал ещё одного сторонника Юрка.

— Дамир у меня переночует, а завтра его на автовокзал отец на «Жигулях» отвезёт, — не сдавался Зотченко.

И вдруг он на ходу сменил тактику.

— Идея! Вы все оставайтесь сегодня у меня на ночлег. У нас трёхкомнатная квартира. Всем место найду! Не хотите в ресторан — поехали ко мне. Сейчас тачку поймаю.

Второе неожиданное предложение Зотченко показалось всем заманчивым, и друзья-земляки и Ханкаев капитулировали перед натиском неуступчивого сержанта.

А через десять минут белая «Волга» мчала танковый квартет по освещённым улицам города, через мост над Ангарой.

То, что Зотченко зовут Сергеем, друзья вспомнили, когда услышали это имя от родителей сержанта.

Отец, открывший им дверь, растерялся лишь на миг, быстро сообразил, что к чему, и, крикнув в квартиру:

— Серёга вернулся! — кинулся обнимать сына.

Из квартиры в коридор выскочили мать и сестра Зотченко и тоже бросились к сыну и брату.

— А это мои друзья, папа, познакомься! — представил сослуживцев счастливый сержант. — Два года, батя, на броне вместе, понимаешь?

— Ого! Целый экипаж! — воскликнул отец, пожимая гостям руки. — Да я как никто понимаю, сынок! Я же ведь, не забывай, тоже танкист! Ещё «тридцатьчетвёрки» застал. Служил на Украине. Меня Борис Семёнович зовут, а мать — Ольга Андреевна, сестра Сергея — Тоня.

После застолья с обильными едой и питьём Сергей лично расстелил Юрке и Володе на диване, Ханкаеву поставил раскладушку, а сам лёг рядом на полу, постелив себе шубу.

Володя уснул почти сразу, а когда проснулся, Ольга Андреевна с Тоней уже накрыли новый стол на кухне.

После того как умылись и позавтракали, Борис Семёнович, подогнал к дому «Жигули» и поехал сначала к автовокзалу, где высадили Дамира Ханкаева, а потом к вокзалу железнодорожному. Перед тем как выйти из «Жигулей», Зотченко-младший достал из бардачка машины начатую бутылку

водки, колбасу, хлеб и, наливая по полстакана, заставил выпить Юрку с Володей.

— На прощание, друзья мои! Не забывайте. Приезжайте, всегда буду рад. Знаете же теперь, где я живу.

— Ну и ты нас, Серёга, не забывай, — сказал после выпитого Юрка. — Будешь в наших краях — дай весточку.

— Непременно! — согласился Сергей, обнимая через сиденье сразу двоих сослуживцев.

Ю.

В воинской кассе вокзала им сказали, что нужно зайти в военную комендатуру на станции и взять разрешение на проездные документы.

— Объясните дежурному причину, почему сошли с эшелона, тогда он даст вам разрешение.

— А может, на свои денежки уедем, в кассе возьмём билеты? — предложил Юрка. — До Тайшетграда должно быть недорого в общем вагоне. В «Ангаре» сиденья мягкие. Отлично доедем.

— Да давай зайдём в комендатуру, — не согласился на этот раз с другом Володя. — Я скажу, что поступаю на подготовительное отделение университета. Поэтому и сошёл с эшелона.

— А я что скажу?

— Скажешь, что ты со мной.

В комендатуре ничего объяснять не пришлось. Едва они зашли к дежурному, тот сразу спросил:

— Со вчерашнего эшелона? Танкисты?

— Так точно!

— Куда надо ехать?

— В Тайшетград.

— Давайте документы.

Дежурный — старший лейтенант с эмблемами артиллериста — поставил штампы и сделал записи в их документах.

— Идите в воинскую кассу.

Они сознательно отказались от плацкарта и попросили кассиршу дать им места в вагон, «где кресла».

До отправления оставалось три часа, и друзья поняли, что не успеют посетить Юркиных родных, а поэтому они только пробежались по ближайшим магазинам, купили хлеба, колбасы, конфет и вернулись на вокзал.

Неторопливый поезд «Ангара» шёл от Иркутска до Тайшетграда почти шестнадцать часов, зато прибывал ровно к восьми утра.

Автостанция находилась в старом здании вокзала и открывалась в девять часов.

— Я провожу тебя, а потом уже домой пойду, — сказал Володя Юрке.

— Ну хорошо, — согласился друг. — Пойдём тогда посидим на вокзале. Здесь отродясь патруля не было. Никто не помешает.

На вокзале народу было немного. Они зашли в зал ожидания и подсели к молоденькой девчужке

в синей лёгкой курточке и синей же вязаной шапочке, с книгой в руках.

Девушка, казалось, не обратила внимания на солдат.

— Ну вот и наше время расставания приходит, — улыбнулся Юрка.

— Да уж... — подыграл ему Володя. — Целых шестьдесят километров нас будут разделять. Ты пиши — не забывай.

— Я звонить буду... — делая вид, что плачет, сказал Юрка.

Девушка оторвалась от чтения и посмотрела на них.

Володя заметил, что и глаза у неё были синие. Синие-пресиние зрачки, каких Володя сроду ни у кого не видел. Он обратил внимание на название книги. Синеглазка читала «Анатомию человека».

— Девушка, а вы — студентка? — спросил он её.

— Нет пока. Я в десятом классе учусь. Собираюсь поступать на следующий год в медицинское училище.

Володе показалось, что не слова, а живые звуки вылетают из уст девушки. До чего красивым был её голос! Он даже различал по цвету каждое сказанное ей слово. Зелёное, бордовое, жёлтое, синее, снова синее, ещё синее. Синих было больше.

— А как вас зовут? — не ожидая от себя такой смелости, снова задал вопрос Володя.

— А вы что, со мной познакомиться хотите?

Голос девушки немного изменился. Звуки потеряли цвет.

Володя растерялся.

— Пойдём, — дёрнул за рукав его Юрка. — Вставай, а то и вправду ещё с ходу женишься.

Володя приподнялся, продолжая смотреть на девушку. И его, и её вопрос так и остались без ответа.

— Ты что? Она же малолетка совсем! — сказал сердито Юрка, когда они вышли из зала ожидания. — Да и какая-то не от мира сего... Что, сам не видишь?

— Да я вижу... Я же просто... Так, заговорил с ней, и всё... — начал оправдываться Володя.

— Ну и ладно, пошли уже, пошли, — потянул его к выходу друг. — Пошли к автовокзалу.

II.

Евгений двумя руками держался за проволоку. Он лежал, прижав руки грудью, лицом уткнувшись в щебёнку.

Неужели он снова терял сознание? Сколько времени он пролежал? Полчаса? Час? А может, две-три минуты всего? Столько событий и лиц пронеслось перед глазами за это время! И воинская часть, и «Урал» с дембелями, и кафе-столовая в Калге, и эшелон, и иркутский вокзал, и их ночёвка в квартире родителей Зотченко, и девчонка

с синими глазами на тайшетградском вокзале, и отъезжающий на междугороднем автобусе Юрка Матзагир...

Но почему и зачем именно события тех последних армейских дней всплыли в памяти сейчас? Появились перед глазами так отчётливо, словно кто-то задокументировал их последние часы в воинской части, всю поездку домой и прибытие на родной вокзал. Снял на кинокамеру и прокрутил ему, лежащему сейчас на железнодорожном откосе, безлюдном и тёмном, это кино.

Дождь, так и не переросший в крупный и затяжной, стих совсем. Внизу поблёскивала мокрая трасса, сверху давила темень.

«А я же тогда, проводив друга на автобус, всё-таки вернулся на вокзал, чтобы ещё раз увидеть синеглазку... — вспомнил Евгений. — Но её уже не было в зале ожидания...»

Он вспомнил, что в поисках её выскочил на перрон, но её не было и там. От вокзала отходила в западном направлении электричка, и, видимо, она и увезла от него её, синеглазую, и знакомство их не состоялось...

«Всё, всё, всё! Хватит! — отмахнулся от воспоминаний Евгений. — Надо гнать от себя все эти видения! Надо ползти вверх! Сейчас надо только вперёд и вверх! Вверх, вверх, вверх! Там спасение!»

Люба-Любава

Подняться и мечтать

*Три вещи никогда не возвращаются
обратно — время, слово, возможность.
Старайся не терять времени, выбирать
слова, не упускать возможности.*

Конфуций,
китайский философ

I.

Пассажирский поезд № 2 Москва — Владивосток миновал речку Бирюсу по железному мосту и, грохоча на рельсовых стыках, промчался по откосу и далее — мимо населённого пункта с названием Бирюсинка.

Люба проводила его долгим взглядом — пока последний вагон не скрылся за поворотом, за вечными соснами. Гул уходящего состава ещё не затих, когда она поднялась на откос.

Сегодня фирменный поезд застал её недалеко от платформы, где останавливалась электричка, и ей не пришлось делать больших усилий, чтобы выйти на путь. Крутой откос, начинающийся сразу от моста, сходил на нет метров через двести, и у платформы поезда шли по ровной открытой

поверхности, уходя ещё метров через двести пятьдесят, уже по низине, в сосновый лес, пологом спускающийся с двух сторон к магистрали.

Любе нравилось подниматься на откос и провожать уходящие на запад и восток пассажирские поезда. Особенно фирменный московский, который назывался «Россия». Чаше это случалось утром, когда «Россия» мчалась из столицы до самого края земли — к океану. Люба смотрела вслед уходящему составу и думала о тех, кто ехал на край света из Москвы и других городов. Зачем и почему они едут туда? Понятно, когда люди стремятся в Москву, в столицу, но вот когда из неё...

«Москва» — волшебное, сказочное слово, которое она хранила в себе, а услышав его, трепетала. Люба всегда мечтала о Москве и даже иногда представляла себя москвичкой. «Если бы я жила в Москве, то куда бы не уезжала из этого города, — думала она. — С утра и до позднего вечера стояла бы на Красной площади и слушала бой курантов или весь день сидела бы на скамеечке возле памятника А. С. Пушкину, где влюблённые назначают свои свидания, а приезжие — встречи друзей. Вечерами прогуливалась бы у Патриарших или Чистых прудов... Обязательно ходила бы, один-два раза в месяц, в Большой театр, на балет „Лебединое озеро“ или оперу „Кармен“. И, конечно же, каталась бы в метро по бегущей вниз и поднимающейся вверх лестнице-чудеснице, проходила по оживлённым переходам со станции на станцию и ездила бы в синих вагонах электропоездов, где говорят таким красивым голосом: „Осторожно, двери закрываются!“ — и поезд с гулом ныряет в подсвеченные подземные коридоры, чтобы через полторы-две минуты снова вынырнуть у платформы залитой светом станции».

А ещё Люба знала, что где-то в подмосковном Воскресенске жила когда-то её бабушка Настасья Филипповна и что оттуда родом был её отец, и один раз, когда Люба ещё не родилась, отец возил маму в гости к бабушке. И они заезжали в Москву.

2.

Два раза в своей жизни Люба собиралась поехать в Москву.

Один раз — с мамой в 1980-м. В том году Любе исполнилось шестнадцать, и мама, а за ней все родные и знакомые, за исключением школьных учителей, ещё звали её, как маленькую, Любашей или Любушкой. Мама работала дежурной по станции и один раз в год имела право бесплатного проезда в пассажирском поезде вместе с несовершеннолетними детьми. Отпуск мамы выпадал на середину лета, и она заказала билет до Москвы, вписав туда свою единственную дочь Любушку. Любушка-Любаша прыгала от восторга, но когда мама стала оформлять проездные документы, ей сказали, что в Москве сейчас проходят

Олимпийские игры и приехать в столицу можно только по специальным приглашениям. Приглашения у мамы не было, и она, к разочарованию дочери, оформила билет в обратную от Москвы сторону — в Иркутск. Там жила мамина подруга — Татьяна. Тётя Таня. Тётя Таня вместе с мамой училась в железнодорожном училище в Иркутске и после окончания учёбы осталась работать в областном центре, вышла замуж и всё время звала подругу в гости. И вот выдался случай.

Люба впервые в жизни оказалась в большом городе, где по улицам ходили трамваи, стуча колёсами на рельсах и предупреждая пешеходов и пассажиров о своём движении звонками. Увидела работающие от электричества троллейбусы, как автобусы, только подсоединённые «усами» к проводам идвигающиеся бесшумно. Её поражали старинные здания — деревянные и каменные, узорные и со скульптурами на крышах и фасадах.

— Ну вот, Любушка, хоть это и не Москва, а посмотреть есть на что, — говорила ей мама, и Люба согласно кивала.

Совершив несколько прогулок по городу, по набережной Ангары, они вместе с тётей Таней, её мужем дядей Пашей и их дочерью — ровесницей Любы Аней через три дня поехали на озеро Байкал, в посёлок с названием Листвянка. Люба видела там больших белых чаек, с мамой и тётей была в знаменитом Байкальском лимнологическом музее, узнав, что «лимнология» в переводе с греческого на русский означает «озероведение». Узнала Люба и то, что в озере обитают необычная рыба — омуль и особый вид тюленя — байкальская нерпа. Потом они совершили по берегу экскурсию к месту, где река Ангара вытекает из озера Байкал. Посмотрели издали на знаменитый Шаман-камень, который, по легенде, отец Байкал бросил вслед дочери Ангаре, когда она побежала от него к красавцу-Енисею. Люба слышала эту сказку-легенду ещё в школе, на уроке природоведения, и вот увидела этот камень наяву.

Впечатления от поездки в Иркутск, от огромного сибирского моря восхитили Любу, она была так взволнована, что даже пробовала свои впечатления записать в тетрадку. На обратном пути, в поезде, Люба сочинила несколько стихотворений и прочитала два из них маме. Однако по приезде домой впечатления от поездки в Иркутск и на Байкал стали остывать, и в сознании опять на первое место выплыло слово «Москва». Снова встрепенулась от надежд и предчувствий душа её, и грустью застряла в сердце не сбывшаяся пока мечта.

Второй раз Люба собиралась в столицу тоже летом, в августе, четыре года спустя. К тому времени она, окончив в Тайшетграде медицинское училище, уже работала фельдшером в здравпункте родной своей Бирюсинки. По сути, это был фельдшерско-акушерский пункт, где дежурили посменно

два фельдшера, две медицинских сестры и две санитарки. Опытный фельдшер Виталий Петрович много лет был заведующим здравпунктом. Да и весь коллектив медработников этого небольшого учреждения отличался стабильностью — состоял из людей, работающих здесь по десять и более лет. Молодой фельдшер Люба, выпускница медучилища, пришла на смену пенсионерке Марии Степановне, отработавшей в бирюсинском здравпункте более тридцати лет.

Здравпункт относился к железной дороге, и Любе, как и маме, один раз в год тоже полагался бесплатный железнодорожный билет. И в первый же свой отпуск она, конечно же, собиралась осуществить свою мечту. Поехать решила вместе с подругами-одноклассницами: Светланой — студенткой педагогического института и Тamarой — лаборанткой гидролизного завода.

Девчонки выстраивали планы, предполагая побывать за неделю и в Москве, и в Ленинграде. Составили список, куда сходить обязательно и куда в первую очередь. Люба сожалела, что с ними не могла поехать мама. Отпуск ей в тот год летом не дали. Но мама была рада за дочь, помогала ей откладывать деньги на поездку и готовиться в дорогу. Казалось, что мечта Любаши вот-вот осуществится: она оформит железнодорожный билет, сядет с подругами на вокзале Тайшетграда в вагон поезда дальнего следования, и поезд помчит их на высокой скорости мимо Бирюсинки, мимо здравпункта, мимо станционной платформы, мимо родного дома, через мост над речкой Бирюсой на запад, в столицу Родины — Москву. Люба уже представляла, как мама стоит на платформе станции и машет ей рукой, а они с девчонками смотрят в окно на родную Бирюсинку. Рядом с мамой — родители Светланы и Тamarы. «Хорошо хотя бы в окно успеть разглядеть их всех и поприветствовать», — думала Люба.

Но не помахала мама своей Любаше с платформы станции, и не села Люба в вагон поезда дальнего следования, и даже не оформила она билета до Москвы.

3.

Люба шла на последнее перед отпуском дежурство и думала о предстоящей поездке. Вспоминала, всё ли собрала в дорогу и что ещё нужно взять с собой. Она вышла к откосу, когда утренний пассажирский поезд № 2 Москва — Владивосток вылетал из пролёта Бирюсинского моста. Люба остановилась на тропинке, идущей внизу откоса к станции, и проводила взглядом состав. Большинство пассажиров ещё спали: окна были задёрнуты белыми занавесками. Только в двух или трёх вагонах она заметила людей.

Сердце стучало взволнованно и тревожно. Вот так же через несколько дней и она поедет

на фирменном поезде «Россия» — может быть, даже на этом самом, когда он будет возвращаться с Дальнего Востока в Москву и промчит мимо Бирюсинки.

Люба привычно махнула вслед уходящему к океану поезду и пошла следом за ним вдоль откоса.

Здравпункт находился за станцией, метрах в ста от орсовского железнодорожного магазина, и каждый раз по пути Люба, вне зависимости, работала ли в то утро её мама или нет, заходила к дежурным на станцию, здоровалась с ними и желала им хорошего наступающего дня. Часто она заставляла на станции двоих дежурных — отработавшего в ночную и пришедшего на дневную смену. Иногда бывало, что дневная смена мамы и день дежурства Любы в здравпункте совпадали, и они шли утром на работу вместе. Случалось и так: мать и дочь в одно утро заканчивали дежурства и возвращались вдвоём домой.

Ещё издали Люба увидела на платформе начальника станции с сигнальным флажком и поняла, что сегодня почему-то он, а не её мама, встречал и провожал московский поезд. Мама заступила на дежурство вчера вечером, и она должна была утром, перед сменой, выйти навстречу идущей на восток «России».

«Наверное, Дмитрий Алексеевич пришёл пораньше и решил сам встретить поезд, — подумала Люба. — Он же сейчас подменяет тётю Машу, ушедшую в отпуск на прошлой неделе».

— А я тебя поджидаю, — сказал начальник, когда Люба подошла к нему и поздоровалась.

Человек предпенсионного возраста, всю жизнь отработавший на железной дороге, он стоял перед ней в светлом железнодорожном костюме с петлицами и нарукавными нашивками. По вискам и по краям форменной фуражки отливали сединой коротко стриженные волосы.

— Меня? — Люба замерла.

Восторженное чувство, ещё минуту назад наполнявшее её, отступало и менялось на тревожное.

— Да ты не волнуйся, Любонька. Главное — не надо волноваться... Ничего вроде страшного не случилось... — заговорил неуверенно и осторожно начальник станции. — Маме твоей, Катерине, ночью плохо стало, и её увезли на скорой в город, в больницу... Тошнота что-то у неё началась, боли в животе. Может, отравилась чем, а может, аппендицит...

— Да ей ещё в молодости аппендицит удалили... — сказала Люба.

Тревожное чувство в ней нарастало, подступало к горлу.

— А чем мама отравиться могла? Она всегда в еде аккуратная и за мною следит ещё...

— Ты не волнуйся сильно, Любаша, говорю — не волнуйся... — Дмитрий Алексеевич взял её

за руку. — Иди на дежурство, а я часам к девяти, когда все врачи соберутся, свяжусь по телефону с больницей, узнаю, как там, и приду в здравпункт тебе расскажу. Ладно?

Люба кивнула.

— Ну вот и нормально. Иди, Любушка, иди, работай. Не думай о плохом. Всё уладится, всё будет хорошо. Она же в нашей, железнодорожной больнице. Врачи там хорошие, опытные.

Дмитрий Алексеевич пришёл в здравпункт около полудня заметно повеселевшим.

— Прооперировали Катерину, — сказал он с порога Любе. — Я же говорил, что ничего страшного нет. Кишечная спайка у неё, как оказалось. Сейчас уже лучше. Я договорюсь сейчас с вашим заведующим Виталием Петровичем, чтобы тебя завтра утречком пораньше сменили, а ты семичасовой электричкой езжай в Тайшетград, к матери в больницу.

Люба никогда не видела маму больной. Может, и недомогала она иногда, но ни дочери, ни отцу Любы, когда он жил с ними, никому другому она о болезнях своих не говорила, и не помнила Люба и представить не могла маму свою, Катерину Петровну, лежащей в окружении врачей. Мама и названия таблеток-то многих не знала. Когда Люба была студенткой медучилища и рассказывала ей о симптомах разных заболеваний и лечении, она только посмеивалась.

И вот теперь Люба увидела маму на больничной койке, бледную, худую, беспомощную.

— Ах, Любонька, как не вовремя меня угораздило с операцией этой... Тебе бы ехать и радоваться, а теперь переживать всю дорогу будешь, обо мне думать... — сетовала мама, отводя от Любы глаза и стесняясь своей беспомощности.

— Ты что, мама? Я никуда не поеду, не оставляю тебя! — воскликнула Люба. — Ты что придумала? Дядя Дима говорит, что тебе больничный дадут на месяц. Он сам намерен свой отпуск перенести на осень, когда ты поправишься и на работу выйдешь.

— Да что там этот Алексеич выдумывает? — встрепенулась было мама, но тут же на лице её отразилась боль от неловкого движения. — У меня всегда всё быстро заживает, я через неделю уже на работу выйду или раньше. Завтра домой попрошусь. Мне уже легче...

— Ну что ты, мама, выдумываешь? Ты кому говоришь такое — мне, фельдшеру? Тебя ещё тут неделю, а то и больше продержат. Ещё смотреть будут, как чувствуешь после операции. Потом швы снимут, снова понаблюдают, а уж потом только о выписке домой речь пойдёт...

Мама загрустила от Любиных слов.

— А как же ты одна будешь? У нас же корова там, поросёнок, куры...

— Я справлюсь, — сказала Люба. — Я уже взрослая. Ты же одна справлялась, когда я училась.

— Ну, это я... Я с детства с хозяйством привыкла, — пробовала возразить мама. — У нас же, сама знаешь, всё время хозяйство большое было. При дедушке с бабушкой ещё... При отце твоём... Без хозяйства в сельской местности нельзя...

— И я, если ты знаешь, с детства с коровой и курами, — сказала ей Люба, — хоть и семья у нас не такая большая: ты, да я, да мы с тобой...

Маму выписали из больницы через две недели. Лечащий врач сказал Любе, что были некоторые послеоперационные осложнения. Забирать её вместе с Любой приехал Дмитрий Алексеевич на своём «Москвиче». На больничном режиме мама была до середины сентября. Её допустили до работы, но запретили дежурить в ночную смену. Послеоперационные осложнения всё же сказались на здоровье Катерины Петровны. Она крепилась, старалась не подавать виду, но Люба видела, как тяжело даётся маме работа по дому, и старалась сама сделать как можно больше и не разрешала матери поднимать ведра с водой и другие тяжести.

И во второй раз обстоятельства отложили свидание Любы с Москвой. Она выходила к вечернему московскому поезду № 1 «Россия» вместе с родными Тамары и Светланы и махала подругам, уезжающим в столицу, и кричали все они вслед промчавшемуся мимо них составу:

— Счастливого пути!

А состав, пролетев мост над Бирюсой, скрылся за вечными соснами, унося счастливых подруг в Москву.

Дмитрий Алексеевич под свою ответственность оставил маму работать на станции, давая ей только дневные дежурства. Сам выходил в ночь. Помогал им в заготовке сена, копке картошки.

— Ничего, доченька, я крепкая, я сильная, я обязательно поправлюсь, и на следующее лето ты поедешь в Москву обязательно, — говорила Любе мама. — Может, на следующий год и лучше даже, чем сейчас. Там снова фестиваль молодёжи и студентов всего мира пройдёт. Как в пятьдесят седьмом, когда ты ещё не родилась. Мне только семнадцатый год шёл. У нас и телевизоров ещё тогда не было. Мы по радио слушали про фестиваль и в газетах читали. Все об этом только тогда и говорили. А потом к нам в Бирюсинку документальный фильм про фестиваль привезли. Народу, помню, собралось — больше, чем на художественный. За один раз все в клуб не поместились. Два раза кино показывали.

Люба кивала, улыбалась, подбадривала маму:

— Конечно, поправишься, мама. Ты у меня ещё сама молодая. Мы обязательно с тобой вместе в Москву поедем.

Но не пришлось поехать Любе и на следующий год в столицу. В мае в стране заговорили о перестройке и ускорении. Первые вести о переустройстве и гласности вызвали восторг у населения.

Но восторг длился недолго. Прошёл, как только появились большие очереди в магазинах за продуктами питания, начались сокращения рабочих мест. Железная дорога перешла на белорусский метод работы, который подразумевал оптимизацию производства. Здоровье Катерины Петровны не улучшалось, она первой попала под сокращение, а когда в здравпункте освободилось место санитарки, Люба уговорила маму пойти на работу туда.

4.

Любовь забираться на откос и провожать поезда передалась Любе от отца. Она помнила, как её, пятилетнюю, отец на руках поднял однажды на откос и они стояли долго и смотрели на четыре стороны света: на дома и улицы посёлка, расположенные к югу от железной дороги; на полосы рельсов, уходящие на восток — к станции и в тайгу; на склон и гору, с северной стороны у вершины покрытую лесом; на мост через Бирюсу, по которому поезда шли на запад или с запада, и саму речку Бирюсу и на то место, где в неё впадает речушка Бирюсинка.

Отец был большой, как былинный богатырь, с бородой и усами, и имя у него было княжеское — Святослав. Под стать имени и отчество — Игоревич. Святослав Игоревич преподавал в школе историю, знал многое из того, что связано с прошлым России, особенно с историей древней Руси. В студенческие и молодые годы, до того как стать учителем, он участвовал в археологических раскопках под Новгородом и Псковом. Школа, где отец работал, находилась в городке, что раскинулся за рекой и мостом. Городок так и назывался — Городок, а если точнее и официально — Городок на Бирюсе. Такое название он получил в середине шестидесятых годов, а до того звался деревней Суетка, отмечаемой на железнодорожных картах как разъезд. Городок был промышленным: круглосуточно дымил трубами гидролизный завод, весь день не смолкали пилорамы на деревообрабатывающем комбинате, и каждое лето было шумно от криков сплавщиков на Бирюсе. У сплавной конторы с весны до поздней осени можно было видеть необычных людей в интересных расписных одеждах и шляпах, приехавших в Сибирь на сезонный сплав леса с предгорья Карпат, — гуцулов. И, конечно же, большинство жителей Бирюсинки ездили на работу в Городок. По утрам на первую электричку торопились и школьники, чтобы успеть на уроки в восьмилетнюю и среднюю школы. В Бирюсинке была только начальная школа-четырёхлетка.

В средней школе Городка и преподавал историю Святослав Игоревич. Любе не пришлось бывать на уроках отца, но она слышала восхищённые отзывы старшеклассников и учителей о том, как отец интересно рассказывал и строил свой урок так,

что и пятиклассники, и выпускники школы, и даже нечастые проверяющие из района заслушивались и теряли ощущение времени, забывая, где они находятся. У слушающих Святослава Игоревича разыгрывалось воображение, и им казалось, что они присутствуют на новгородском вече, участвуют в походах славян на Царьград, сражаются на Чудском озере, идут в прорыв под Полтавой и Бородино. Иногда только звонок об окончании урока приводил детей и взрослых в чувство осознания реальности.

А ещё отец Любы хорошо знал русскую классическую литературу и любил повторять дома и знакомым, что жену себе он выбрал по имени героини пьесы Островского «Гроза», что мать его Настасья была названа именем героини романа Достоевского. Дочери же своей он дал имя Любава. Так звали дочь новгородского посадника Дмитрия Завидича, впоследствии жену киевского князя Мстислава Владимировича — сына Владимира Мономаха.

Да, полное имя Любы, записанное у неё в свидетельстве о рождении, а потом и в паспорте, было не как обычно у многих — Любовь, а Любава. Люба была Любавой. И за то, чтобы у неё было именно это имя, отцу пришлось повоевать не только в сельском совете, но и в районном отделе записей гражданского состояния, и даже в самом райисполкоме.

— Если у нас родится сын, назовём его Ладомиром, а дочь — Любавой, — говорил после свадьбы Святослав Игоревич своей Катерине Петровне.

А та и не спорила с ним.

5.

Летом 1962 года молодой историк, кандидат наук Святослав Рюрик добирался из Пскова в Забайкалье то ли на конференцию, то ли на съезд археологов, а пассажирский поезд Москва — Чита неожиданно остановился на небольшой станции Бирюсинка, недалеко от Тайшетграда. Из окна своего вагона двадцатисемилетний археолог на крыльце станции увидел девятнадцатилетнюю красавицу в железнодорожной форме и влюбился. Он выскочил из вагона, нарвал на откосе ромашек и подарил встревоженной его вниманием Катерине букетик.

— Вас зовут Катерина? — спросил пассажир с поезда дежурную по станции, вручая ей букет и целую ручку.

— Да... — ответила растерявшаяся красавица. — А откуда вы знаете?..

— Я знаю, потому что я Святослав... — сказал он и, убегая вслед отправляющемуся поезду, крикнул: — Жди меня, Катерина! Я обязательно приеду!

Поезд стоял не больше пяти минут, а парень возле неё и того меньше, но Катя успела разглядеть

черты лица и запомнить серо-зелёные глаза, русый волос, улыбку...

Улыбка его всё и решила. Она запала в сердце девушке по имени Катерина. И Катерина стала ждать и мечтать о встрече.

И парень по имени Святослав, оставивший своё сердце на станции Бирюсинка, запомнил глаза и улыбку сибирской красавицы-железнодорожницы и день и ночь думал о ней.

Он приехал в Бирюсинку почти через год — в конце мая 1963-го. Бросил археологию, свои раскопки и устроился учителем истории в средней школе Городка на Бирюсе.

Новому педагогу, да ещё кандидату исторических наук, сразу предложили комнату в общежитии гидролизного завода, но Катерина настояла на том, чтобы молодые поселились в доме её родителей. Дом был большой, построенный специально для железнодорожников, с двумя просторными комнатами и широкой кухней. Отец Катерины Пётр Фёдорович, фронтовик, много лет работал в путеремонтной бригаде и даже одно время был бригадиром. Следил за состоянием железнодорожного пути на вверенном ему участке, в летнюю путевую страду менял искривившиеся рельсы и подгнившие шпалы, зимой выходил на борьбу со снежными заносами. К сорока пяти годам он основательно подорвал здоровье (обострилась фронтовая рана в правом плече, до того надолго притихшая), и к тому времени, когда в доме появился зять, числился Пётр Фёдорович уже станционным рабочим: подметал перрон, помогал заготавливать уголь и дрова для здравпункта, школы и орсовского магазина. А ведущей и одновременно продавцом в орсовском железнодорожном магазине была мать Катерины — Анна Васильевна.

Пётр Фёдорович и Анна Васильевна Кувшинниковы, как и большинство сельских жителей, держали домашнее хозяйство: корову, поросят, курей, — и паре сильных молодых рук Святослава сразу нашлась работа. Зять родители Катерины приняли вначале осторожно (всё-таки человек иного, чем они, склада), но Святослав очень скоро расположил их к себе, сразу по-свойски стал называть тестя батей, а тещу — матерью. Тесть с зятем, доказывая делом своим женщинам, что руки их на многое способны, провели переустройство дальней комнаты, соорудив там стенку-перегородку, прорубили ещё одну дверь на кухню, и в доме получилось две спальни. Бракосочетались молодые скромно. Расписались в районном загсе, купили десять бутылок «Старорусской» водки, пять портвейна, шампанского, позвали несколько человек из числа родных, знакомых, соседей и подруг Катерины. Приглашали из Иркутска и подругу Катерины Татьяну с мужем Павлом, но они приехать не смогли и прислали только поздравительную телеграмму.

За прожитые вместе восемь лет не случилось ни одного недоразумения между старшим и молодым поколением. Несмотря на свою занятость школьными делами, Святослав по первому зову тещи или тестя все свои дела откладывал и срочно брался выполнять наказы старших. Всегда с улыбкою и шутками. Лишь один раз видели Пётр Фёдорович и Анна Васильевна зятя возбуждённым и настойчивым — когда родилась Люба. Вернее, когда пошли они через несколько дней все вместе в сельский совет записать её имя и получить свидетельство о рождении. Но секретарша сельсовета, узнав, как они хотят назвать ребёнка, воспротивилась.

— Нету в перечне разрешённых имён никаких Любав! — сказала настойчиво им секретарша, а председатель согласно поддакнул:

— Мы даже имя Алёна не записываем. Пытались тут одни записать Алёной девочку, мы их переубедили и записали Еленой.

— Как нету? — забасил, грозно надвигаясь на председателя сельского совета и его секретаршу, молодой отец. — Это старинные русские имена: Любава, Забава, Алёна! Может, у вас в перечне имён ещё и Святослава нет? Я вот — Святослав!

— У нас нет, — сказала отступающая к окну секретарша. — У нас бы вас Станиславом или Владиславом записали.

— А я не Станислав и не Владислав, я — Святослав! По имени русского киевского князя! Вы историю в школе проходили?

— Мы проходили и помним, — сказал, уже стоя у окна, председатель сельсовета. — Только у нас не древняя Киевская Русь и не царское время, а советская власть, и имена княжеские нам не нужны, уважаемый Святослав Игоревич. Это вы у себя в школе там рассказываете своим ученикам про князей, вам за это деньги платят. А мы свою работу будем делать. Позвольте уж.

— Я не позволю вам ломать судьбу моей дочери! Она будет Любава по имени, а по отчеству Святославовна.

— Нет! — неожиданно резко возразил председатель сельсовета. — Либо записываем её Любовью, либо — до свидания! Езжайте в районный загс, в райисполком и там доказывайте свою правоту.

— До свидания! — попрощался с работниками сельсовета Святослав и, решительно взяв из рук Катерины кроху-дочь, вышел на крыльцо.

За ним молчаливо последовали жена, теща и тесть.

Стоял тёплый солнечный день начала третьей недели сентября. Некоторые берёзки уже позолотились по вершинам, но большинство деревьев ещё украшала крепкая, казалось, изумрудно-зелёная листва.

Они шли домой по улице мимо залитых солнцем домов, мимо соседей, копающихся в огороде

и запекающих на кострах картошку. Огородный дымок щекотал ноздри и возбуждал аппетит.

— А давайте тоже сейчас разведём костёр в огороде и напечём картошки, — предложила Катерина.

— Конечно, давайте. Что мы — хуже других, что ли? — поддержал дочь Пётр Фёдорович.

— Давайте напечём! — улыбнулся знакомой, всем привычной улыбкой Святослав.

Несмотря на мелкие огорчения, всем хотелось жить и радоваться.

— А мне и Любовь имя нравится, — решила высказаться Анна Васильевна. — Всё равно ведь, Святослав, пока она ребёнок, её Любой звать все будут.

— Да, Анна Васильевна, её все, пока она ребёнок, наверное, будут звать Любой, но записана она будет Любовью, а не Любовью! — утвердительно и убедительно для всех сказал Святослав.

Через день Святослав и Катерина с маленькой дочкой поехали в Тайшетград и к вечеру вернулись счастливые — привезли свидетельство о рождении на имя Любовы Святославовны Рюрик.

Люба помнила отца всегда жизнерадостным и отзывчивым. В школе он вёл кружок по изучению родного края, летом ходил с добровольцами-старшеклассниками в турпоходы в верховья Бирюсы. Святослав Игоревич хорошо плавал. Запросто переплывал Бирюсу в самых широких её местах, что делали не многие даже местные жители. Боялись топляков — погрузившихся под воду тяжёлых деревьев, оторвавшихся от сплавных плотов и путешествующих по Бирюсе самостоятельно. Были случаи, когда на такие не видимые на поверхности топляки нарывались далеко заплывшие купальщики, и иногда это им стоило жизни. Случалось, что топляки торпедировали рыбацкие лодки — пероворачивали их или наносили пробоины. Каждый год после весеннего половодья, словно огромные рыбины, на берегу оставались лежать скользкие, чёрные, обросшие водорослями, разбухшие от воды брёвна. Специальная бригада сплавщиков расчищала от них берега и увозила их в отведённое недалеко от сплавной конторы место складирования. Сплавщики же в середине мая обследовали и места купания, вытаскивая с помощью шестов и тросов залёгшие недалеко от берега в тине и песке топляки, или, как они сами говорили, «морёный лес».

Бирюсинская ребятня сравнивала этот процесс с разминированием берегов, называя спрятавшиеся в тине деревья минами, а вытаскивающих их сплавщиков минёрами. Некоторые шутники после проведённых сплавщиками работ ставили на берегу таблички с надписью: «Мин нет».

Святослав Игоревич топляков не боялся. Хорошо ориентировался и держался на воде. И свою Любу-Любаву он обучил плаванию рано, лет в пять-шесть. Ещё дошкольницей Люба чувствовала себя в воде как дома. Да и не было в этом ничего удивительного: все мальчишки и девочки Бирюсинки к школьным годам

уже пробовали если не переплыть речку, то хотя бы один раз доплыть до её середины. А уж ныряли с обрыва головой вниз, едва научившись ходить.

В мире, согласия и любви жила семья Кувшинниковых — Рюриков. Святослав Игоревич с заботой и любовью относился к Катерине Петровне. По возможности провожал её на работу и встречал после смены. Вместе ездили они на ярмарки в Городок и Тайшетград. А на второе лето совместной жизни, когда Катерина была на седьмом месяце беременности, решили молодые поехать на родину Святослава — в Воскресенск. Сын представил матери жену. Мать одобрила выбор сына. В общем, невестка приглянулась свекрови, а Настасья Филипповна, ещё не старая, приятной наружности женщина, понравилась Катерине. Туда и обратно в Сибирь ехали Святослав с Катериной через столицу, и после Люба-Любава думала-гадала: была ли она в Москве? Вроде бы её возили, но ведь она тогда ещё не родилась...

В Бирюсинке многие с симпатией относились к Святославу Игоревичу и Катерине Петровне, любили и привлекали их дочь Любу, всегда ухоженную и опрятную. Уважали учителя истории и коллеги-педагоги, и многие родители его учеников. Но, видимо, были и такие, кому чужое счастье не даёт покоя, кто завидовал семье Рюриков и тайно мечтал о том, как бы навести на счастливых людей порчу или сглаз.

Каждому, даже внешне кажущемуся счастливым, человеку выпадают в жизни испытания. Иногда посильные, и люди преодолевают их через волю и терпение. Иногда тяжёлые и в одиночку неодолимые. Тогда-то и проверяются на прочность любовь, характер, внутренняя сила каждого. Тогда-то на первое место и выходят сплочённость и поддержка тех, кто рядом. Но и эти испытания способны выдержать люди. Хуже всего, когда беда приходит неожиданно и не одна. Одно несчастье тянет за собой второе, а второе, бывает, и третье... И, случается, сбиваются в одну стаю горе и несчастья...

Испытания — беда, горе, печаль — пришли в дом Кувшинниковых — Рюриков на девятом году совместной жизни Катерины и Святослава, доселе благополучной и счастливой.

6.

В середине января 1972 года, перед крещенскими морозами, заболел сильно Пётр Фёдорович. Выходил утром во двор, а когда возвращался, упал вдруг в сених и не смог подняться. Зять и дочь занесли его в дом, положили на кровать. Он бредил, то и дело терял сознание. На скорой отправили главу семьи в районную больницу. Почти месяц врачи пытались привести его в нормальное состояние, но не смогли. Отец Любы узнавал и дочь, и зятя, и жену, но речь к нему не возвращалась. Он лишь бормотал что-то вполголоса, приподнимался на кровати, даже садился иногда, но ноги его не держали. В конце февраля привезли Петра Фёдоровича домой, и спальня родителей

превратилась в больничную палату. Больному носили еду, лекарства, помогали есть, пить, умываться. Анна Васильевна перебралась в зал, стала спать на диване. Спала плохо. Всё время прислушивалась, заглядывала в спальню, проверяла: как там муж?

А в марте, во время весенних школьных каникул, Святославу Игоревичу из Воскресенска пришла телеграмма: *«Срочно выезжай тчк Мать больна тчк Шура»*.

Как понял Святослав, телеграмму отправила тётя Шура — соседка Настасьи Филипповны. Он в тот же день собрался и поехал на скором московском поезде, но живой мать не застал.

Святослав пробыл в Воскресенске неделю, после похорон помог оформить документы на дом матери её младшей сестре, своей тётке Павлине Филипповне.

— Я, да и Шура приглядим за домом, Святослав, — говорила ему тётка Павлина. — Если надумаешь приехать жить один или с женой — знай: дом этот твой.

Павлина Филипповна жила в городе Пушкино. Святослав помнил её молодой и незамужней. Он был школьником, когда приезжал сватать Павлину из Пушкино отслуживший армию сержант Сева в военной форме. Помнил он свадьбу и слова матери: «Павлинку замуж в Пушкино отдали». Так она говорила своим знакомым и соседям.

Ещё на два дня Святослав задержался в столице. Заезжал к своим друзьям-археологам, и, как оказалось, заезжал не зря.

В Бирюсинку он вернулся с желанием отправиться на лето в археологическую экспедицию. Поездка изменила Святослава. Он, бывало, сидел задумчивым по полчаса, глядя перед собой или в окно, и, казалось, не замечал ни жену, ни дочь, ни тещу. Катерина с Анной Васильевной даже иногда не узнавали его.

— Как подменили, — сказала мать дочери через неделю после возвращения зятя.

Катерина понимала, что смерть своей матери муж переживает мучительно, и старалась не замечать его странностей.

— Время лечит, — ответила она Анне Васильевне.

— Я, Катя, договорюсь с директором школы, чтобы отпустил меня в конце мая в отпуск, напишу ещё без содержания и поеду на лето в экспедицию, — сказал как-то Святослав жене. — Есть интересная работа. Кажется, целый древний город нашли в Новгородской области. Предположительно постройки пятого-седьмого века. Может сенсация произойти в области археологии. Мне там надо быть обязательно. К сентябрю вернусь.

Катерина кивнула ему, соглашалась. Согласился с его доводами и директор школы, и двадцать седьмого мая 1972 года, в субботу, Катерина проводила мужа. Он уехал скорым московским поездом.

Первое письмо от Святослава пришло в начале июля из Старой Руссы. Он сообщал, что участвует в раскопках, занят работой с утра до вечера («с рассвета до заката», — было написано в письме) и иногда

так увлекается делом, что даже забывает про обед. В конце небольшого послания муж писал Катерине, что скучает по ней и по дочери и уже думает о том, какими подарками их удивить по приезду.

Катерина сразу же написала ответ на номер почтового отделения с пометкой «До востребования», как велел Святослав.

«А у нас всё так же. Отец никак не поправляется, а в остальном всё нормально. Мы тебя ждём и тоже скучаем. Но ты работай, совершай свои открытия, сильно за нас не переживай», — написала она в своём послании.

Второе, совсем коротенькое, письмецо прислал Святослав в середине августа. Из него Катерина поняла, что муж собирается в Москву — повезёт находки и, возможно, там задержится на несколько дней, о чём сообщит директору школы телеграммой.

«Ты, Катя, мне сюда уже не пиши. Письмо не успеет, наверное. Я сам скоро приеду. Целую тебя и Любаву. Самые лучшие пожелания Анне Васильевне и Петру Фёдоровичу. Пусть отец поправляется», — такими словами заканчивалась весточка Катерине от мужа.

К первому сентября Святослав Игоревич в Бирюсинку не вернулся. Как выяснила Катерина, директор школы от него никакой телеграммы не получал. Не приехал он ни через неделю, ни через две, ни через месяц.

Катерина дома, а директор в школе забили тревогу. Катерина не знала, что делать и куда обращаться. Директор тоже знал немного. Решили написать письмо в Москву, в институт археологии, про который говорил Святослав. Нашли адрес и письмо отправили. Но ответа ни в октябре, ни в ноябре не получили.

В двадцатых числах декабря Катерина обнаружила в почтовом ящике среди газет помятый конверт, без указания обратного адреса и штемпеля. Тетрадный листочек внутри конверта тоже был измят. Видимо, его не один раз складывали и вдвое, и вчетверо.

На листочке размашисто и торопливо, как поняла Катерина, было написано почерком Святослава:

«Катюша, милая моя, произошло чудовищное недоразумение. Нас с друзьями обвинили в сокрытии и похищении археологических находок. Арестовали и увезли в тюрьму. Ты, главное, не расстраивайся и никому ничего не говори. Я думаю, скоро разберутся и нас отпустят. Письмо никому не показывай. Мне обещали, что передадут его тебе лично в руки. Прости и жди. Я невиновен. Святослав».

Катерина прочитала письмо на кухне, положив газеты на стол и присев на табурет, а когда прочла, письмо выронила и схватилась за сердце. Это увидела хлопотавшая у печи Анна Васильевна.

— Что? Что с тобой? — бросилась мать к дочери. — От кого письмо? От Святослава?

Катерина ничего не могла ей сказать. Она сидела побледневшая, прижимая обе руки к груди.

Анна Васильевна подняла с пола листок.

— Боже, Боже! Боже! — воскликнула она. — Святослав... Что теперь о нас люди-то скажут? Святослав...

Катерина, задыхаясь от нехватки воздуха, хотела что-то сказать матери, но та вдруг широко открыла рот, откинула голову назад и рухнула на пол.

Видя это, Катерина попыталась подняться, но почувствовала резкую острую боль под сердцем и потеряла сознание.

Она пришла в себя оттого, что её тормозили за плечо. Открыв глаза, увидела над собой заплаканное лицо дочери.

— Люба, Любонька, ты что, уже со школы пришла? — спросила её Катерина.

— Да, мама. А что ты и бабушка на полу лежите? — всхлипывала и вытирала руками слёзы Люба.

Катерина приподнялась. Рядом с упавшим возле неё табуретом, с открытыми остекленевшими глазами, лежала её мама — Анна Васильевна.

7.

Анну Васильевну похоронили двадцать пятого декабря 1972 года на сельском кладбище, а двадцать восьмого декабря умер Пётр Фёдорович. Он несколько дней до этого не видел жены и подавал знаки дочери — видимо, пытался узнать, где она. Катерина молчала и отводила глаза. Отец, было видно, встревожился, явно что-то почувствовал: перестал есть и отказывался от лекарств. Он лежал тихо весь день двадцать седьмого. Катерина несколько раз подходила к его постели и в ночь на двадцать восьмое декабря. Отец дышал ровно, лежал с закрытыми глазами. Спал он или нет, дочь так и не поняла. Утром он силился ей что-то сказать, делал движения руками и пальцами, но, поняв бессмысленность своих попыток, притих и отвернулся лицом к стене.

Катерина заглянула к нему после полудня, хотела покормить с ложечки, но едва коснулась его руки — поняла, что он умер.

Вскрытие делать ему не стали и похоронили в субботу, тридцатого декабря, рядом с могилой жены.

Так получилось, что к похоронам Анны Васильевны заказать оградку не успели, и теперь сделали сразу на двоих одну. Её привезли из Тайшетграда, длинную и широкую, покрашенную в синий цвет. Рядом с могилами поставили столик и две скамеечки.

Супруги Кувшинниковы снова были рядом, теперь в одной просторной оградке. Активное участие в похоронах принимали железнодорожники. Всю организацию вторых похорон и большую часть первых взял на себя Дмитрий Алексеевич, начальник станции Бирюсинка. Это он заказывал оградку, столик и организовывал поминки.

Катерина и в первые, и во вторые похороны с трудом верила в происходящее. Ей казалось, что она видит страшный нескончаемый сон и должна вот-вот проснуться. Но сон не заканчивался, а сознание то и дело возвращало её в реальность и подсказывало, что всё происходит наяву и надо что-то делать, как-то жить дальше. Мысленно она благодарила начальника станции, но всё же не проронила ни слова на похоронах. Лишь плакала и прижимала к себе дочь. Глядя на свободное место в оградке, она невольно подумала, что это место оставлено для неё.

После похорон и поминок, в воскресенье, тридцать первого декабря, во второй половине дня, начальник станции принёс Катерине с Любой аккуратную ёлочку и большой пакет конфет и фруктов — подарок Любе.

— Горе горем, Катя, а всё-таки Новый год наступает, — сказал Дмитрий Алексеевич. — Я понимаю, что тут вам не до веселья, но ёлочку давай всё же поставим. Она вам горе скрасит.

Люба запомнила тот новогодний вечер на всю жизнь. Впервые они сидели возле ёлки вдвоём с мамой. В полутьме. Маленькой Любе казалось, что любимые ею и любящие её дедушка, бабушка и папа ушли за подарками и скоро придут, вернутся вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, и снова в доме станет светло. Дед Мороз раздаст всем подарки, бабушка зажжёт бенгальские огоньки, а папа выстрелит в потолок пробкой от шампанского...

Но не было в тот вечер ни Деда Мороза, ни Снегурочки. Не пришли, не вернулись дедушка с бабушкой, не пришёл папа.

Лишь трещала поленьями в полутьме топившаяся в доме печка, бросая на входную дверь полосы света, выбивающиеся через щёлку в печной дверце, да падали в открытое поддувало искорки и гасли, превращаясь в золу.

8.

Люба подошла к платформе. Несколько жёлтых листочков, упавших с берёзок, шурша, катались по асфальту. Ярко светило сентябрьское солнце, но вдали из-за сосен Любе навстречу плыли небольшие кучевые облака.

«Сегодня к вечеру дождь обещали, — вспомнила Люба про переданный по радио прогноз погоды. — Вот уже и сентябрь набирает ход... Мой месяц. На следующей неделе мне исполнится тридцать семь лет. Скоро, совсем уже скоро пожелтеют берёзки под окном здравпункта и закружит, закружит листва... Прошло, пролетело ещё одно лето... Пролетит и осень — не заметишь... Придут за ней зима и Новый год... Очередной год... Идёт, идёт время, летят, летят годы... Куда, куда же они летят?..»

Сергей Задереев

Чёрное копыто

Страшен сон, да милостив Бог.
Русская пословица

Заунывный, занудный, противный звук пилы. Как всегда, опустился ниоткуда. Опустился мраком и принёс страх.

Расчлениют гранит, это будут надгробия. Каменная пыль во рту. Забивает нос, нестерпимо хочется чихнуть. Так пахнет опустошение. Закрываю глаза и вижу: летят во все стороны искры. Осыпаются у ног. Уже запорошили ступни. Теперь не встать, ноги как зацементировало.

Тополя. Сухие тополя. Тополя спят. Дряхлые листья. Столбы без проводов. Иду на работу. Чёртова чурка. Кто-то пищит. Дурак в плаще. В носу ветер. Лодка. Где лодка? Лодка не самолёт. Впереди пни. Гнилые. Труха. Мурашки по коже. Муравьи убегают. Муравейники горят. Сегодня не буду. И вчера не буду. Всё-таки асфальт. Чёрный. И небо чёрное. Впереди. Что впереди? Торчат гвозди. Кривые...

Как мне всё это надоело. И попёрся же, и послушался. Психотерапевт сраный. Говорит, бормочит что попало — и страх уйдёт. Конечно. Он только сильнее с каждым днём накачивает. А началось всё...

Проснулся, нет, вскочил, сбросив одеяло на пол, сердце колотилось, словно взбежал на девятый этаж, перепрыгивая через ступеньку... Кто-то же гнался за мной, или беда и горе наверху, а выручить только мне. Ошалело осмотрелся: в зеленоватом свете ночника комната была узнаваема, на стене — картина «Подсолнухи», репродукция любимого Ван Гога, на тумбочке — бюстик Пушкина, «на холмах Грузии лежит ночная мгла». Подошёл к окну. Спортивная площадка пустынна, ровные ряды машин на автостоянке. Хоть бы одна пискнула. Сон, был какой-то дурацкий сон, но в голове даже намёка нет на чертовщину, так напугавшую меня. Вдруг заметил, надо же, насколько всё было реально, тело покрылось бисеринками пота. Машинально растираю их по груди, животу. В ванной сполоснул липкие ладони. Сердце уже не потряхивало, и я улёгся. Сон не шёл, всё хотелось понять: что же выдернуло из постели? Но даже

малой зацепки не было. Вставали только, как в дыму и гари, громадные грибы и из них словно в ускоренной съёмке выползали кровавые черви. И ещё был звук пилы. Заунывный, занудный, противный. Так пилят надгробные камни.

Первый раз увидел его в полдень. Бездумно курил на крыльце офиса, прикидывая, где лучше испить кофейку. Всегда ошалевшая от автомобилей улица почему-то была пустынна, осмелевшие прохожие переходили где попало. Две девчухи вообще обалдели, остановились посреди дороги и, хихикая, болтали по смартфону. Была какая-то странная тишина, и только их голоса говорили о жизни. Солнце, казалось, пробивало всё насквозь, и даже под асфальт уходили осколки его лучей. И вдруг какой-то свист, скорее беззаботное пошвыстывание заставило меня оглядеться. В этой неумелой мелодии угадывался незнакомый марш. Обычно они настырно-победные, этот же был грустно-обречённым; наверное, с таким должны вышагивать на казнь, не сомневаясь в необратимости, принимая это как должное.

И я увидел его. Он шёл от храма Вознесения Господня, неся на плече здоровенный крест. Почти двухметровое сооружение, явно нелёгкое, похоже — из морёной лиственницы, казалось ему совсем не в тягость. Он шёл как на прогулке, насвистывая, уступая встречным дорогу, с улыбкой провожая их взглядом, иногда что-то говорил вслед, слов было не разобрать, но, казалось, он знал нечто важное и пытался поделиться. «Чокнутый», — подумал я, выкинул окурки и потопал в ближайшее кафе.

Обеденное время, и зал был переполнен; выждал свободный столик, и уже чашка парила ароматом, но в голову опять вернулся чокнутый. «Чего я раздумываю? Это просто поклонный крест, в церкви сделали, и он несёт его по назначению. Нормальный мужик, только верующий. Вот и всё. Мы же мимо церкви проходим равнодушно, как мимо гастронома. Крестики носим так, на всякий случай. А он верующий, по-настоящему. Прилично одетый человек. Чего я привязался к нему?»

Пустынная улица, пока пил кофе, ожила, машины в обе стороны шли сплошным потоком.

На светофоре собралось, наверное, человек десять, и когда загорелся зелёный, я замешкался, и уже на середине дороги меня застал жёлтый; нелепо подпрыгивая, побежал и одной ногой уже ступал на тротуар, меня чуть не сбило такси, кажется, даже колыхнулся пиджак на спине. Глубоко вздохнул, замер, глядя вслед автомобилю. Скотина, невольно перекрестился, вот так и гибнут по-дурацки. Вот так и принесут тебе крест, опять вспомнил чудика. И странно и необъяснимо меня вдруг накрыло чувство страха. Он был беспричинным, как и прошедшей ночью, будто вошёл в меня вместе со вдохом. Страх как приступ, как удар из-за угла, как кирпич с крыши по голове, как волна дикого шторма; огляделся — всё же нормально, не спеша, боясь споткнуться, шёл на работу.

Прежде чем ступать на ступеньки, приостановился, посмотрел на козырёк крыши — всё нормально. Идиот. Дверь в кабинет была приоткрыта; уходя, я захлопывал. Кто ко мне лазил? Внимательно осмотрел всё — никаких следов посторонних. Чертовщина какая-то.

День прошёл в ожидании неприятностей, но всё закончилось как обычно. Домой возвращался на такси, чтобы лишний раз не переходить дорогу. И уже у подъезда встретила кровавая лужа, не переступить. А из неё клыками мерцали куски стекла.

— Вот, не донёс, — со скамейки привстал дедуля. — Трёхлитровка томатного выскользнула. Говорила внучка: бери тетрапак, — нет же, пожадничал.

— Вам помочь?

Дедуля обречённо махнул рукой.

Домашний страх отступал, то накачивал, телевизор не помогал, на местном канале чиновники долго препирались о том, когда в городе будет метро, кто сколько украл на строительстве, кого надо посадить и насколько, а я подумал: лучше пожизненно, пусть там облизывается, — и пришлось достать из холодильника бутылку.

Уже перед сном, в липкой, как болотная тина, дрёме, появился чудик с крестом на плече. Он на мгновение как бы вынырнул из тумана и исчез, и лишь крест, вдруг потерявший свой вес, парил в сизом море. Чего он ко мне привязался? Попручили тебе нести, вот и исполняй безропотно...

Утро не задалось. Пару раз вырубали свет, ненадолго, но нервирует, когда по-быстрому привык сварить кофе, потом и того хуже — отключили, почему-то без предупреждения, горячую воду. Матерясь, поплескал на лицо студёную и без всякого желания побрёл в контору.

Страх сидел во мне, он, как зверёк, затаился где-то внутри и ждал малейшего позыва, он лапками теребил внутри, было не больно, но противно, он не давал сосредоточиться на работе, и я плюнул и решил прогуляться.

Осень в этом году была не осенью. Солнечно, тепло, парни в футболках и шортах, девчонки вовсю светят ногами, можно ходить бездумно, дышать свободно, как в первый день отпуска.

Вышагивал, покуривал, и хотелось вспомнить какую-нибудь любимую песню, чтобы мысленно промурлыкать. Но в голову ничего не шло, кроме грустной эмигрантской «здесь под небом чужим», и я направился на странные звуки в центре города. Там что-то грохало и урчало, как-то натужно, через силу, будто надсмотрщик заставляет, а трудяга упирается, пердит, оглядывается, нельзя ли всё бросить и смыться, раздавить чекушку да и прилечь на травку, погода-то вон какая.

И мне открылась великая стройка. Вчера видел по телеку, но не придавал значения. В центре, на главной площади, где стоял, по задумке градоначальства, самый высокий в стране бронзовый Вождь, где проводили на утеху ему парады и манифестации, а когда перестройка и демократия как бы распахнули запертые наглухо двери, сюда стали приходить и в одиночку, и группами недовольные чем-нибудь, кричали о маленьких пенсиях или о несправедливо осуждённом вору, здесь можно было всё, только что голым не позволили бы танцевать. Хотя кто его знает? Короче, не жизнь, а малина, и назвали это свободой. Только от чего, понять никто не мог...

Вся здоровенная площадь с Вождём в центре была огорожена двухметровым забором, весело разукрашенным картинками из будущего. Тут тебе и сказочные станции метро, и эскалаторы, заполненные счастливыми людьми, и надписи, какая прекрасная жизнь нас ждёт после создания этого чуда.

Метро... Городок наш когда-то был маленький, заштатный, но, как и всем мелким, ему не просто мечталось, а нестерпимо хотелось выделиться хоть чем-то, стать заметным, чтобы о нём не просто упоминали, а говорили уважительно и с придыханием. Такое иногда и с людьми бывает, наверное, многие замечали: сам букашка ничего не значащая, а гонору, а самомнения. Ничего в этом зазорного, по большому счёту, нет. Грешен человек со времён Адама...

И вот когда ещё в царские времена в городке приняли решение построить кафедральный собор, то, конечно, местом для него стала центральная площадь; правда, тут располагался главный базар города, но его быстро расхерачили, торговые ряды, так будет быстрее, просто сожгли, а архитектора позвали из Москвы, и не простого, а того, что поставил в столице храм в честь большой победы над лягушатниками. Были, конечно, и в городке головастые мастера-зодчие, но их ведь дальше местной околицы никто не знает.

Когда проект был готов, оказалось, что денег на постройку потребуется столько, что лучше бы

и не затевали. Глава губернии покумекал, почесал затылок и не только объявил народный сбор средств, он созвал золотопромышленников городка, а золотишка в окрестностях намывалось в ту пору ой как много. Уважаемые люди покряхтели, перетёрли меж собой, да и дали согласие. Как не порадеть за родное гнездо? Но ребята они деловые, предприимчивые, были бы пустозвоны — в драных штанах ходили, они сразу замастрячили несколько кирпичных заводиков, и стройка как на дрожжах потянулась. Начали летом, и через четыре года, только уже осенью, кафедральный красовался как перед венчанием. Оставалось кресты на купола утвердить.

Но вот же незадача: чем золотопромышленники, а, не ровён час, и сам губернатор прогневили Всевышнего, а это только Ему и ведомо, но сентябрьской ночью, когда городок и не помышлял просыпаться, храм рухнул, рассыпался по кирпичику, только полторы стены растрескавшихся торчали, как стариковские гнилые зубы.

Была мечта, вот же она, уже не только полюбоваться, но и потрогать можно, припасть на колени и вымолить прощение за всё, что было непутёвого и что может быть... Ан нет, что-то не так пошло. «Осечка», — сказал тогда Сидор Щегольков, главный золотодобытчик, он и пообещал губернатору уже на свои кровные поставить храм, только с условием: в Москву архитектору не сообщать, позора не оберёшься, а каждый новый кирпич должен быть клеймён, чтобы в случае чего было кого выпороть. «Знаю я их, лихоимцев. В раствор не дюжину яиц добавляли, а хорошо если пяток. Да и дров на обжиг жалели», — красиво матюгнулся и плюнул себе под ноги.

Был бы Сидор провидцем, он вообще бы мог в запой уйти. Ведь московский храм того архитектора тоже сто лет простоял — и как не было. Лягушатник на его месте объявился, зато самый большой в столице бассейн.

Пока я шарашился вокруг стройки, на которой уже успели разворовать то ли сто миллионов, то ли целый миллиард, правда, никого ещё не выпорол, хотя можно было бы и расстрелять, никакой страх меня не донимал — видимо, исторические познания отвлекли, но только затих рабочий гул, я вздрогнул, показалось — кто-то преследует. Оглянулся. Подозрительный тип сзади. Чего ему надо? Не торопясь закуривал, пока он не пройдёт мимо, а тот, чуть прошагав, остановился, и когда я поравнялся с ним, он как-то сурово, не по-доброму, попросил закурить. Ишь чего удумал!

— Это у меня последняя, — и зачем-то показал не пустую пачку.

А он даже не извинился и пошёл назад.

Дунул бы сейчас ветер, подумалось, и сорвал с него дурацкую шляпу. А лучше пусть рога у проходящего троллейбуса отвалятся и по башке ему. Пусть валяется, корчится, следопыт сраный.

Троллейбус прошуршал мимо, ни ветерка, никто меня не слушается. В конторе, наверное, тоже потеряли, ведь никого не предупредил. А вдруг... А что вдруг, но необъяснимая тревога с холодком страха опять подступала. Ускорил шаг, никогда такого не было, теперь внимательно смотрел под ноги, не запнуться бы, и уже у крыльца офиса увидел его. Теперь он был в спортивном костюме, кроссовках, на плече всё тот же крест, только теперь он горбился под его тяжестью, его водило из стороны в сторону, покачивало, он устало брёл уже в сторону храма.

Он что, не нашёл где водрузить, кому передать? Я остановился, а он вдруг опустил на асфальт свою ношу и выжидательно посмотрел в мою сторону. Может, ему помочь? Перешёл дорогу и не успел спросить, как он, почти заглывываясь заговорил:

— Тайфуны, пожары, землетрясения, наводнения. Ты посмотри, посмотри, посмотри. Все люди несчастны. Ты посмотри вокруг, ты оглянись. Улыбки и смех — это пустое, шелуха. Загляни внутрь каждому. Ты посмотри.

— Куда смотреть-то?

— На небо. Всё там.

И я, как замороченный, задрал голову, а он подхватил свою ношу и обречённо побрёл, и уже на повороте, прежде чем скрыться, обернулся, расправился, словно освободился от тяжести, и крикнул в мою сторону:

— Страх правит миром!

И он туда же... Машины неслись бесконечной вереницей; тупо стоял, не решаясь перейти, подумал: хорошо быть слепым, сейчас бы, постукивая перед собой палочкой, остановил этот безжалостный поток.

Из головы весь день не выходила фраза: страх правит миром... Наверное, это и в самом деле так. Только добавить бы сюда ещё жадность и зависть. Ведь если подумать, все беды в мире заключены в этих трёх словах. Сидя за компьютером, даже поинтересовался, что же это такое. И столько заумностей начитался, но понял главное: страх — ожидание будущей угрозы. Он сигнализирует о неведомой опасности. И это ощущение может свести с ума. Знать бы, чего надо избегать, сторониться.

Узенькую дорожку к дому с двух сторон обступали ранетки. Весной их сиреневые, бело-розовые цветы всегда казались заморской сакурой. Хорошо бы там побывать, мечталось каждый раз. Загадочные гейши, суровые самураи... Сейчас яркие разноцветные ранетки осыпались на брусчатку и с чавканьем лопались под ногами. Вот тебе и Япония. Вместо очарования — эти дурацкие звуки. Была красота, а теперь ты её грязными подошвами. Обернулся. И там, где ступал, словно пятна запёкшейся крови оставались.

В квартире, никогда такого не было, машинально, будто ритуал, заглянул в плательный шкаф,

потом в туалет, ванную, на четвереньках под диван. Никого. А кто здесь может быть? Перед сном, как и вчера, проверил входную дверь.

Нет, надо всё-таки позвонить Нинке. Она же врач. Расстались мы нормально, без скандалов. Не пошлёт на х... А то и сам не замечу, как сойду с ума. Крест этот ещё, как щепка, застрял в голове.

— Витенька, ты оглянись, посмотри на себя. Сколько в жизни нагрешил. Ты думаешь, я не знала, что ты мне изменял? — бывшая говорила спокойно, как и полагается медику. — Я догадывалась, что ты женился на мне по расчёту, это я, дура, вторилась, потом ещё и залетела. Куда было деваться? А ты рассчитывал на моего папеньку. Надеялся, что он поможет. Нет, Витюша, отец сам всего достиг. Чтобы я была в достатке. Он весь избит, исцарапан, изломан. В него даже стреляли два раза. Ты не знаешь этого, да и зачем тебе? Сходи лучше в церковь, покаяйся, свечку поставь.

— Нина, я же серьёзно. Я просил у тебя прощения. На колени вставал. Кстати, как там наш Юрка?

— Вспомнил. Хоть бы на день рождения пришёл.

— Я многое помню. Даже нашу первую ночь. Тогда утром я спросил: тебе кого больше хочется, мальчика или девочку? Ты долго смотрела на меня, потом как-то шкодно улыбнулась и сказала: у нас будет самолётчик. А ведь и правда, Юрка неугомонный, как истребитель.

— Не дави на жалость. А со страхом своим... В Бога ты не веришь. Сходи к психотерапевту. Телефон записывай. Юлия Николаевна. Скажешь, что от меня. Что сопишь? Чем-то недоволен?

— Да нет. Почему же? — и нажал кнопку.

«Ты будешь доволен собой и женой, своей конституцией куцей», — мысленно прочитал любимого Блока и подумал: может, уйти в запой — и всё пройдёт?

Но страх не уходил, он разрастался, как опухоль. Просто уснуть теперь не мог, отключался только под бормотание телевизора, утром открывал глаза, а он всё нёс какую-то околесицу. А вдали, не за городом, не в небе, а из неведомого пространства, доносился дребезжащий, заунывный звук пилы. Он то затихал — казалось, ещё чуть-чуть, то вдруг резко нарастал... И когда у него закончатся эти каменные плиты?

Совсем пропал аппетит, есть себя заставлял, ведь нужны силы, чтобы жить. Хотя зачем? Теперь впереди только страх. Был в нём как в липкой паутине, обречённо трепыхался и уже не ждал ничего.

Утром выпал первый снег, он всегда приносил мысли об обновлении, его детская чистота возвращала далеко назад, слышался скрип детской кровати, запах материнской груди, тепло её глаз, хотелось выбежать на улицу, слепить снежок и запустить в небо, засмеяться просто так, пробежать, оставляя следы, потом смотреть на них изумлённо, словно пытаюсь разгадать неведомую надпись.

Сегодня смотрел в окно, и снег был мертвенно-серым. Это не снег. Это выпал пепел. Надо идти к психотерапевту. Хватит откладывать.

Адрес показался символичным: улица Свободы, — и уже шёл, не озираясь, не ждал дурного подвоха, как последнее время. Мне помогут, дадут хоть какой-то ответ.

На пути оказалась небольшая церквушка, и опять это знак: вошёл, и когда спросил у бабули, сколько свечей надо поставить, чтобы искупить грехи, она посмотрела как-то странно — наверное, не расслышала, и переспросил.

— Милоч, у нас нет такого количества, — бабуля поправила очки и уткнулась в книжку.

Меня здесь не ждали. Раздосадованный, пошёл по адресу. Хотелось, чтобы это был небольшой уютный дом, но оказалось, психотерапевт располагался в громадной высотке, неприветливо и сурово торчащей среди хрущёвок. И нужный кабинет был на последнем этаже. Пока ехал в лифте, представил, как бы некрасиво падал с этой верхотуры. Потом лежал рядом с детской песочницей, бесформенный, как половая тряпка, никому не нужный, обходили бы безгласно.

На двери нужного кабинета висела странная картинка: в детской коляске сидел малыш и безмятежно смотрел в небо, на рукоятке примостился белоснежный голубь со сверкающим сундучком в клюве, а на асфальте разноцветными мелками было выведено: «Всё будет хорошо».

— Здравствуйте.

— Проходите. Присаживайтесь, — навстречу встала невысокая, опрятная женщина.

Взгляд её понравился, она как бы сразу предлагала себя в моё распоряжение.

— Юлия Николаевна, мне страшно, — пристально посмотрел ей в глаза, хотелось увидеть, понимает ли она меня.

— Страх чего? — она улыбалась, будто давнему знакомому, по-доброму и как-то доверчиво.

Я вдруг вспомнил мать, когда она меня, нашкодившего, гладила по волосам, ерошила их и сразу прощала.

— Это не объяснить. Просто страх. Страх везде и практически всегда. Он как часть меня и всего, что вокруг. Может, это психическая болезнь?

— Вспомните, когда он у вас появился. Что могло стать причиной, — она взяла со стола стеклянный шар и начала катать в ладонях.

— Вот сейчас боюсь, что запустите его в меня.

— Постарайтесь вспомнить, — она положила шар на стол, он нехотя покатился и упал.

Стук был таким резким, что оба вздрогнули. Шар оказался у моих ног.

— Видите, вы не хотели, а он... — отвернулся от психотерапевта и стал говорить невидимому собеседнику в углу кабинета: — Вначале я увидел человека с крестом. Он его нёс куда-то. Потом

меня чуть не сбила машина. Да, перед всем этим был ещё непонятный сон.

— Про сон, пожалуйста, подробнее.

— Какие-то грибы червивые. Кто-то камни пилил. Противно так.

— Может, у вас на работе проблемы?

— На работе?.. Да нет.

— Вот видите, как вы ответили. И вроде да, и вроде нет.

— Вы наблюдательны, — иронично улыбнулся. — На работе всё нормально.

— У вас есть какое-нибудь хобби?

— Раньше были рыбалка, охота. Всё надоело. Давно не был ни в лесу, ни на реке.

— Попробуйте чем-то увлечься. Коллекционируйте значки, монеты. Много что можно. Ходите по музеям, да заведите себе хотя бы кота или собаку. Вы ведь один, Нина Петровна мне говорила.

— Домашних животных я ненавижу.

— Что ж вы так?

— Они должны жить своей жизнью. Кот должен ловить мышей, собака — помогать на промысле. Будь моя воля, я бы запретил зоопарки. Там лучше содержать тех, кому дали пожизненное. И в цирке бы запретил дрессированных животных. Себя надо дрессировать.

— Вы очень практичны, рациональны... Может, у вас сексуальные проблемы?

— Если вы согласны, давайте проверим.

— Извините. Но ведь у вас женщины нету?

— Как-то так.

— Вот кот или собака и скрасили бы ваше одиночество. Это и будет их главным делом.

— Доктор, вы не о том. У меня другой страх. Он глубокий. Он не только во мне, он под ногами, он в небе, я дышу им.

— У вас просто выгорание. А чувство страха — его результат. Знаете, у меня недавно был мужчина, только у него не страх, у него было хуже. Он здоровый, молодой, успешный, но не хотел жить. Просто не хотел, и всё. И я, не знаю почему, посоветовала ему разводить цветы... Он недавно приходил с громадным букетом, чуть не в ноги кланялся. Не поверите, моя рекомендация спасла его. Он даже встретил свою любовь, — психотерапевт встала, подняла стеклянный шар. — Она работает в цветочном магазине.

— Про цветы я подумаю.

Не сюда мне надо было, не сюда, подкатывало раздражение, и, чтобы не ляпнуть грубость, встал.

— И ещё, Виктор, знаете, когда страх приходит в неподходящий момент и какой-то необузданный, попробуйте бормотать мысленно, не вслух, всякую ерунду, и он должен отступить.

— Это как?

— Давайте попробуем. Только голосом. Я должна слышать.

— Как-то неловко, — напрягся, уставился в пол.

— Не стесняйтесь.

— Всякую ерунду? Можно и матом?

Подумал: скажет — нельзя, и уйду, хлопнув дверью.

— Можно. Что в голову придёт, то и говорите, — и лицо её словно шторкой задёрнулось, как бы в туман ушло.

— Пол, половицы, линолеум, паркет. Бегут тараканы. Хочу наступить. Всё трещит. Валится. И коровы. На зелёном лугу. И вода кругом. Как по песку ползу. Вот сейчас...

— Достаточно,

Я уже боялся, что это бормотание уведёт в ещё худшую от страха сторону, но психотерапевт улыбалась как родному и, казалось, сейчас обвинит меня.

— Достаточно, — повторила она. — У вас получится, — и протянула визитку. — Можете приходить в любое время.

Вдруг захотелось ещё побыть здесь, даже если и не говорить, то просто помолчать, но Юлия Николаевна листала какой-то журнал, изредка поглядывая на стеклянный шар, а я неожиданно подумал: глупенькие, это не мы всё решаем, это жизнь руководит нами, помимо нашей воли она ведёт нас в неведомое, мы всего лишь отражение чьей-то прихоти, кого-то всемогущего, порой милостивого, а иногда и безжалостного, но знающего наперёд — так надо, он нас, как слепых кутят, пытается научить или образумить.

На улице вспомнил о визитке, достал, на обороте её было красивой вязью напечатано «Ключ ко всем дверям. Трансформация сознания, самораскрытие, улучшение качества жизни». А ниже, уже мелким шрифтом, шёл текст из Гоголя, ведь читал когда-то его, но слова эти как-то незаметно прошли: «Воззови к дремлющему человеку, брось ему с берега доску и закричи во весь голос, чтобы спасал свою бедную душу: уже он далеко от берега, уже несёт и несёт его ежедневное сонное опьянение текущей жизни, с её обманами, поклонением копейке и нечувствительно облекается он плотью и стал уже весь плоть. Уже почти нет в нём души. Без живой души человеческой погибнет Земля. Пусть в мире будут живые, а не мёртвые души».

Да, не простой человек эта Юлия Николаевна. Многого хочет, но сможет ли добиться? Это ведь как головой об стену. Таких сегодняшний мир не понимает, даже больше — он их отвергает...

А может, психотерапевт просто очередная шарлатанка? Когда в мире неразбериха, когда пахнет бедой, эти чудо-целители, как тараканы, сбегая на тухлятину. А я привык думать о людях хорошо. Вот когда-то Гагарин перед полётом в космос сказал, что он рад и горд, что вступает в небывалый поединок с природой. Юрий Алексеевич не знал, что мы этот поединок проиграем. У меня не эмоциональное выгорание, это всеобщее

эволюционное выгорание... Когда-то студентами мы придумали секту дырников. Мы молились на солнце, как на Бога. Ведь без него не может быть жизни. Значит, Бог — это солнце. А сейчас подумал: мы все пришли из дырки и уйдём в дырку. Но если та была волшебна и прекрасна, то эта наполнена страхом и скрежетом. Та открыла нам солнце, а эта...

Страх совсем не было, я брёл бездумно, пока опять не оказался на строительной площадке метро. В разноцветном пространстве ограды ворота были распахнуты, и я, озираясь, чтобы не погнали охранники, вошёл. Передо мной, на самом краю котлована, стоял великий Вождь. Он был громаден; городок наш, когда затевали это чудо, уже не заштатный, но в крови чиновников почему-то было неизбежно желание во всём быть первыми, и они заказали скульптуру самому известному, самому дорогому ваятелю и с условием, чтобы Вождь был самым высоким на необъятных просторах. Чтобы он смотрел далеко, чтобы видел всё, а непослушным и подзатыльник мог отвесить. Истукан таким и получился. Живым его никто не видел, но старики говорили, что даже шурился Великан как живой. Ещё он был, как и положено, непоколебим и неудержим в помыслах. К нему подходили с робостью, ноги в коленях сами собой подгибались, люди клали цветы на постамент, сердце бухало от волнения, у сентиментальных, говорят, и слезу вышибало, и приходилось, не оглядываясь, уходить. Не дай Бог спросит о чём...

Сейчас Великан стоял на самом краю котлована, чёрная провальная яма была словно пасть, готовая его поглотить. Он же рухнет, со страхом подумалось, чего они намудрили? Хотя задницу показывает начальству, отвернулся от главного дома: ничего, мол, у вас не получится, устою вопреки.

Вокруг стройки были раскопаны останки кирпичной кладки — похоже, жалкие следы торговых рядов. Когда их решительно пожгли, раздосадованные купцы бурчали меж собой: уж будет вам, — и они не ошиблись. Как московский храм знаменитого архитектора, так и этот пришедшие к власти новые хозяева жизни решили снести. Но строго блюл его возведение золотопромышленник Щегольков, как-никак свои кровные вбухал, яйца на раствор со всей округи свозили, а на обжиг — берёзовую рощу под корень, ни сосна, ни осина на такое не годны, жар от них хилый, и как ни били его ломами энтузиасты в красных рубахах, как ни подкапывали девачи в красных косынках, стоял храм нерушимо. Отступать нельзя, столице уже отрапортовали, и начальство в кожаных картузах подвезло телегу динамита. Бабахнули, кафедральный покряхтел, вздрогнул возмущённо от такой хулиганской выходки, но устоял. Был бы жив Щегольков, он бы

не только пальцем погрозил нехристям, мог бы и с вилами на них пойти.

Подвезли вторую телегу динамита, да так нагрузили, что битюг от натуги попёрдывал, а копыта в земле вязли. И пошло тогда всё тело храма глубокими рваными трещинами. Не уgomонилось начальство, хлопнули кожаными картузами об пол и на третью телегу разорились.

Вначале облако пыли пошло в небо, потом вся земля в округе загудела и как бы вздохнула горестно. А когда осело серое марево, на месте самого большого храма в Сибири была бесформенная груда кирпичей, многие из которых, как глазком, поглядывали клеймом с двуглавым орлом и фамилией заводчика на сотворённое бесовство.

Парни в красных рубахах, девки в красных косынках, впереди начальство в кожаных картузах — сгрудились, как на поминках, у смердящей пороховой кучи и сфотографировались. Они не плакали, а были суровы и не улыбочивы. Что-то всё-таки, наверное, свербело в душе. А за углом, у покорёженной лиственницы, прижавшись щекой к стволу, ухватившись рукой за ветку, плакала старушка. Лицо её от горя как коростой покрывалось. Слёзы были мелкие и терялись в морщинах.

Бабуля ещё не знала, что на фундаменте храма земляки её поставят главный дом губернии и назовут его не как-нибудь, а Дом советов. Отсюда будут исходить все наставления народу. И где пахать, и где сеять, только что где нужду справлять упустили, — короче, чтобы жизнь шла по новым правилам. И опять сибиряки не стали мелочиться, проект заказали не кому попадая, а профессору архитектуры, что главную дачу придумал самому главному тогда начальнику страны.

Рылся я в памяти, перебирал все эти то грандиозные, то нелепые события, разглядывал останки базарных рядов, красный кирпич которых в лучах осеннего солнца, казалось, до сих пор источал жар того, вековой давности, огня. Вспомнилось вдруг, чудные мы, сибиряки, когда приняли решение поставить грандиозный собор, подкинул кто-то губернатору мыслишку: мол, первый закладной кирпич хорошо бы освятить если и не в Иерусалиме, то в Киеве точно. Конечно, не в Москве. Это уж близко очень. И долго дебатировали, беззлобно переругивались, кого снарядить с почётной миссией, сколько рублёв на это выделить, но молодец Щегольков, он был не только самый богатый, но и самый смекалистый, хотя ещё не догадывался, во сколько обойдётся ему затея. Он поёрзал, поскрипел в кресле и буркнул, не вставая, но чтобы все слышали: вы с этой экспедицией год проваландаетесь; строить надо; я сто серебряных в заклад даю, да и золотых не пожалую. На том и порешили, только коннозаводчик Ренат Байгутдинов расстроился, он уже нацеливал своих ушлых ребят отправить, дела бы поправил

и авторитет приподнял. Чертыхнулся татарин и вышел, освободившись от обиды харчком. А вот кому не повезло по-большому с этим Щегольковым, так это ребятам в красных рубахах. Был бы жив золотопромышленник, расстреляли бы без суда и следствия, да и не дожил бы он до такой лёгкой смерти, запинали бы и в грязь втоптали мироеда чёртова. Ведь парни сколько ночей крадучись рыли ямы в поисках серебра и золота, потом махнули рукой и днями стали выходить с лопатами наперевес, пообещав власти добрую половину богатства. Поперессорились, поперепились на этой затее, только Щегольков, наверное, лыбился на всё из-под земли. Он-то точно знал, где закладной металл, но и при жизни бы никому не сказал.

Доски. Камни. Песок. Оживают дубы. Не хочу никуда. Паруса и ветер. Всё оживает и умирает. Птица и ветки. Чертополох. Пройти и не наступить. Гора в овраге. Подняться бы вниз. Берег в реке. Река в море. Пусто. Как в яйце. Убежал и вернулся. На плахе топор...

Страх покинул, когда подходил к офису. Невольно ждал этого и не ошибся. Он был на прежнем месте, только без отягчающего креста. Он сидел на брусчатке, выставив ноги на асфальт.

Он что, каждый раз наряжается? На нём была тельняшка, дырчатое, с пузырями на коленях, трико, обут в берестяные лапти, как из сувенирной лавки. Он смотрел на меня и чему-то улыбался. Улыбка его показалась страшной. И чего он сюда припёрся? Захотелось разглядеть его ближе и спросить. Выждав паузу в потоке машин, сломал, как палку, сухоостину страха и перескочил дорогу. Сердце бухало, словно после стометровки.

Лицо у него было какое-то кривое, раньше этого не замечал, оно было как бы измятое временем, а потом неумело выправленное, один глаз был ниже другого, нос свёрнут, вместо второго уха зияла розовой кожицей неровная дырка, всё было какое-то несуразное, но не отталкивающее или вызывающее жалость, как урод или калека. Казалось, он таким и должен быть.

Только хотел спросить: «Может, вам чем-то помочь?» — как он вскочил, поддёрнул трико и побежал, истошно выкрикивая:

— Он упадёт! Он упадёт!..

Он никому не уступал дорогу, прохожие покорно расступались; да он ведь за мной гонится, пришла нелепая мысль, и я, не дожидаясь просвета в движении автомобилей, лавируя, ринулся через дорогу. От истошного звука клаксона чуть не подпрыгнул, водитель высунул голову в опущенное стекло, покрутил пальцем у виска.

Дорога. Бутылка. Отвёртка. На небе всё было. Уйди. Я устал. Оглобля и водка...

Дыхание перехватывало, надо заняться делом, пора в офис.

Вечером никак не мог решить, чем же поужинать, и не придумал ничего лучшего, как запарить доширак. А впереди ещё надо было как-то заставить себя уснуть. Вспомнил совет психотерапевта: может, и правда — значки, монетки, перебирал бы их, пока дрёма не навалилась. Всё-таки это баловство, рано впадать в детство, лучше цветы. Когда-то у матушки весь подоконник был заставлен горшками. Растения однообразные, а вот цвели, словно хвалясь друг перед другом. Один — пушисто-розовым, другой — щедро-фиолетовым, третий — таким пронзительно-красным, словно его вынули из кузнечного горна.

Отец каждое утро после бритья растирал щёки и подбородок одеколоном, смачно покряхтывал, мне же запах не нравился — наверное, потому, что так пахло от классного руководителя, и я уходил в комнату матери и у подоконника старательно вдыхал аромат её цветов. Он был успокаивающим и необыкновенно свежим, ни на что не похожим. Потом, когда был постарше и увлекался летающими тарелками, мне казалось, так же должно пахнуть прибытие инопланетян.

Да! Я посажу несколько таких цветков. Буду их поливать по утрам, разговаривать с ними перед сном. Это тебе не собачка и кошечка, которые лезут в постель, канючат еду, не дадут побыть одному, или затыкают, или замявкают... И вспомнил, конечно: матушка называла их геранью. У меня будет герань, и она победит страх.

По дороге на работу зашёл в цветочный киоск, и продавщица, маленькая, как бутончик, смуглая и заспанная, обрадовалась мне, долго отговаривала от герани, за ней особый уход и неизвестно, примется ли, пришлось купить большую розу и оставить ей на прилавке, а за геранью, сказал, зайду, возвращаясь домой.

Вот интересно: страх ведь приходит, когда совершил что-то недоброе, злое, ждёшь наказания, знаешь, оно неизбежно. Да если и только задумал гадость, уже боязно это сделать, тебя как бы пеленой страх, остаётся закрыть глаза и рубануть, будь что будет. А потом — страх, как из-за угла, с верёвками, мешками, дубинами.

Я ничего не сделал, ничего дурного не замыслил, страх пришёл как непогода вопреки лживым синоптикам. Пока только моросит, но еле заметный ветерок всё нарастает и, чувствую, скоро шквалом нагонит набухшую тучу. Сейчас за шиворот противно стекает. Поёживаясь, иду на встречу. Чему? Вопреки. Чему? Что впереди?..

После обеда не утерпел и попёрся на стройку, это становилось ритуалом. Какого чёрта меня туда тянет? Сослуживцы посматривали косо: дружище, ты каким-то другим стал, не случилось чего? Всё нормально, отмахивался и натужно улыбался. Увидеть бы в зеркало этот оскал. Да и как им объяснить, что со мной происходит?

Сегодня удивился: третий раз всматриваюсь в груды земли и щебня, теснящуюся беспорядочно технику, а ни одного человека. Да они, наверное, все там, в глубине, под землёй. Представил, как они упорно вгрызаются в ещё никем не потревоженную твердь. Матюгаются, потеют. Да когда ж начальство опять разворует деньги? Норам этим конца не видно, а так, может, ещё бы на четверть века застопорилось. Пока искали бы, кого в кутузку упрятать, новое поколение землероев вырастет, а мы уж на дачке бы пивко попивали да вспоминали, будь оно неладно, это метро.

Вокруг строительной площадки — ровные рядки голубых елей, берёзки, ведь в центре — Вождь-великан, облагорожено всё. Покуриваю, шуршу листьями — и не заметил, как чуть не рухнул в яму. Она была неожиданной, вокруг ни комочка земли, это был провал. Боясь оступиться, подошёл к самому краю, из тьмы дохнуло сыростью и сквозило, почва ушла, и теперь воздух туда же втягивало. За края этой хищной дыры, вцепившись корнями, свисали кустики и деревца. Они подрагивали мелко, держались из последних сил, не хотели уходить в мёртвое пространство.

Всё понятно, вдруг осенило. Совсем рядом главный дом губернии. Это роют секретную дорогу к нему, всё должно быть как в столице. Для больших людей должна быть тайная тропа; когда нагрянет беда, это будет их дорога к спасению. Призрачному, но теперь я был уверен: метро точно будет, ведь на кону столько поставлено...

Вечером долго примерялся, где поставить горшочки с геранью, но лучшего, чем подоконник, места не нашлось. По телевизору шли последние новости, меня это не трогало, любовался цветами, то так, то эдак переставлял, чтобы больше солнца ловили. И вдруг диктор начал рассказывать о раскопках на месте будущей станции метро и что археологи там нашли десяток медных монет, несколько аптечных пузырьков, в лепёшку смятый медный котелок, кости то ли животных, то ли человеков, но самое интересное, диктор сделал на это особый упор, чёрное копыто лошади, на удивление сохранившее даже остатки смоляной шерсти на обрубке ноги. Молодой учёный на экране вертел в руках эту находку и восторженно, словно это был клад Щеголькова, пояснял: мол, благодаря этому копыту мы скоро узнаем много нового. Осталось только добавить, подумал я, столь много, что заживём ещё лучше.

Ночью приснилось чёрное копыто, оно стало как бы новогодней ёлкой, радужные лучи от него разбегались по всему небу, осыпая хвоями искр центр нашего города, и когда медленно поплыло в зенит, чтобы бесследно исчезнуть во мраке космоса, раздался взрыв, и глухие раскаты его, как утробное рычание умирающего зверя, заполнили страхом всю округу.

Я проснулся. Страх был везде, во всём, он блуждал по сонным улицам города, он словно набирался сил, и я понял: он не покинет меня, от него не избавиться, не увернуться.

Подошёл к цветкам герани. Вдохнул глубоко, но того чудесного, как в детстве, запаха не было. Пахло влажной землёй, гнилью, и ещё шло ощущение какого-то сиротства.

Натянул одеяло до подбородка и, как научили, бормотал всякую ересь...

Новый день был выходным, и слонялся без дела, поливая герань, приговаривал: пейте, родимые, не тоскуйте, я вас не брошу. Лепестки в ответ даже не колыхнулись. Залез в интернет в надежде узнать, как ухаживать за ними, вычитал, что второе название цветка — журавельник; да, хорошо бы сейчас за город, уже и не помню, когда видел этих птиц. Осень, и они, наверное, покидают нас.

Вспомнил: отец взял меня на рыбалку, весь день моросил дождь, мне надоело пучиться на поплавок, червяки противно скользили, когда их насаживал на крючок, сопротивлялись, и я ушёл в палатку. Отец был так увлечён, даже не посмотрел в мою сторону. Капли монотонно шуршали по брезенту, и я задремал. Во сне пришла мама, печально смотрела на меня и беззвучно плакала. Сейчас я думаю: она видела моё бестолковое будущее.

Из сна я вышел от странных звуков. Они шли неизвестно откуда, они были как бы везде, равномерно-однообразные, как шум воды или потрескивание костра, они были сами по себе, безучастны, и мне стало одиноко, потерянно... Высунулся из палатки. Отец, сгорбившись, сидел на пеньке, удочка была воткнута в землю. «Папа, — окликнул, — это что?» Он, не оборачиваясь, махнул рукой. Так не хотелось выползть на мокрую траву, но подошёл.

«Первый раз слышишь? — он показал в небо. — Журавли».

В серой недостижимой выси медленно уходил треугольник чёрных зазубринок, и мне было непонятно, кто их нанёс на небосклоне и почему они двигаются.

«Это птицы?» Отец кивнул головой. А странные, загадочные звуки, будто предназначенные не для нас, а ведомые другому миру, который знают только они, таяли за горизонтом. Так грустно мне больше никогда в жизни не было. Что-то похожее было лишь после смерти отца, когда последняя лопата земли упала на могильный холмик.

Отряхнувшись от воспоминаний, машинально оделся, вышел и так же машинально дошёл до стройки. Какая-то дурацкая привычка, подумал, обходя её вокруг цветного забора. «Метро разгрузит транспортную сеть города, сократит время поездки, сделает город экологичнее, а передвижение комфортнее». Прочитал и уже хотел поворачивать, но что-то заставило обернуться.

Среди голубых елей мужчина приветливо махал рукой. Сослуживец? Едва ли. Другья далеко. Ошибся, наверное. Но направился. И каково было удивление, даже нет, оторопь: это был всё тот же человек, что носил по городу крест.

Сегодня его было не узнать. Строгий дорогой костюм, белая рубаша, чёрный в серебристую блёстку галстук и туфли манерные, явно из модного бутика. Но больше всего озадачивало его лицо, оно уже не отталкивало, не казалось таким обезображенным, да, следы какого-то пожара или катастрофы на нём остались, но, пожалуй, больше всего располагал к себе взгляд, даже притягивал.

— Здравствуйте, — стараясь быть равнодушным, сказал я. — Похоже, мы не первый раз встречаемся.

Он молчал и улыбался, будто поддразнивал.

— Это же вы крест носили?

— А что делать? Приходится.

— И где он теперь? Где-то поставили?

— Он плывёт.

— В смысле?

— Я пустил его по реке. Все должны видеть.

— Что видеть?

— Что нас ждёт.

— Странный вы человек.

— Вы в церковь ходите?

— Редко. Как говорят, когда жареный петух клонет.

— А я по воскресеньям. Вы курите? — он предложил сигарету, и мы присели на скамейку. — Каждый раз беру несколько просфорок. Съедаю не все, остатки убираю в кастрюльку. Когда она наполняется, увожу их в загородный дом. Рядом лес, и я раскладываю просфорки на пеньки. Птичкам, бурундукам, мышкам.

Он замолчал, поднял с земли ветку, долго разглядывал, вертел её, словно хотел что-то вспомнить или не решался сказать. Я уже хотел извиниться и уйти, но он положил руку мне на плечо.

— И вот ведь как. Неделю назад я их увёз. Был вечер, и не хотелось блудить по кустам. А утром, когда собрался в лес, вдруг почувствовал: что-то не так. Вроде всё как всегда, я стоял на крыльце, озираясь и понял: была пугающая тишина. Даже зимой изредка, но чирикают птицы, может застучать дятел, а здесь конец сентября — и ни одного голоса. Они что, в Африку, к теплу, все улетели? Разложил просфорки, а на следующий день решил посмотреть. До единой были целые. Это что? И зверьки разбежались?

Про себя подумал: у меня с головой не в порядке, но этот точно чудик.

— Это знак. Понимаете? Шестая печать скоро будет сорвана, — он резко встал и скрылся за кустами.

Стало одиноко, озираясь, хоть кого-то увидеть хотелось; вдруг ожила стройка, загудело, забабало, какой-то чуждый запах гари и металла

накрывал сквер. О чём он всё время говорит, что должны видеть все, кто уйдёт, какая печать, почему надо смотреть на небо? И вдруг понял: больше его не увижу, он сказал всё. И было страшно, мне этого не разгадать, не понять никогда. Удручённый возвращался домой.

Меня никто не ждёт, герани я не нужен, она сама по себе, не полюю — зачахнет и не обидится, спокойно уснёт. Отчего такая обречённость во всём и везде? Включил новостной канал, рассказывали о нашем метро, какого-то чиновника осудили условно за украденные миллионы. Подумал: вот бы мне так, утащить сумку денег, жить припеваючи и как бы быть невиновным. Да ведь не знаю, где эти деньги, и воровать не умею. Всё заранее predetermined каждому. Может, этот чиновник и не хотел грешить, но что-то давно было заложено в его судьбе, ему было не увертеться.

Диктора сменил уже знакомый археолог. Он смотрел с экрана прямо на меня и рассказывал только мне, я даже невольно буркнул ему: привет, — а он в ответ улыбнулся и поведал: загадку неведомых костей и чёрного копыта они раскрыли. На месте базарной площади, оказывается, когда-то было захоронение татаро-монголов, в подтверждение уже нашли три человеческих черепа, полусгнивший лук со стрелами и седельную сумку с коваными гвоздями. Для чего кочевникам они — непонятно, ведь ничего не строили, жили в юртах; может, благодаря им хотели понять, раскрыть тайну нашего упорства, бесхитростной простоты и негибкости.

И опять пришёл звук пилы, за ним последует страх, и я понесу несусветную околесицу, на грани бреда, пока не забрезжит просвет в сознании.

Пули пукают. Воняет говном. Кровавая кровь. Плачут дети. Вопят жёны и матери. Доска, молоко. Всё улетело. Стружки ветер унёс...

Отступило, и я приготовил чай, разглядывал бесхитростные лепестки герани. Вот живёт цветок и не ведаёт, что у меня в голове. Наболтала в ней жизнь всякой муты.

Вспомнил: в деревенском доме, где прошло детство, отец в палисаднике посадил ёлку. Мать бурчала, хотела занять это место малиной, но батя сказал: ты посмотри, она одним ростом с нашим сыном, вот и будем смотреть, как они тянутся к небу. Я был недавно на родине, пришёл к развалюхе нашей, крыша поросла мхом, хотелось погладить его, а ель — чтобы разглядеть верхушку, пришлось задирать голову до хруста шейных позвонков. Была крохотная, пушистая, когда он её сажал, дитя, да и только. А сейчас вон как заматерела. И страха у неё нет. И, наверное, она всё знает, что было и что будет. Деревья, ведь они тоже как люди. Просто мы их не понимаем. Или не хотим. А может, нам это было дано, но мы всё распылили в суете, разбазарили. Не к тому стремились.

А ёлку, теперь вижу, для чего отец посадил. Это он лестницу в небо для меня приготовил.

Затрещал вдруг телефон. Первый раз я не узнал её голос, это была моя бывшая. Она говорила как-то неуверенно, робко, будто остерегалась кого-то или боялась, что я, как всегда, брошу трубку.

— Ты это, у психотерапевта-то был?

— У тебя кто-то рядом?

— Одна. Юрка в спортзале.

— Привет сыну.

— Передам. Юлия тебе помогла чем-нибудь?

— Дала совет. Даже два.

— Ну и как?

В кои-то веки ей вдруг стало интересно, как я здесь один. Скорее всего, у самой неприятности.

— Нормально. Учусь гадости говорить.

— В смысле?

— Это я так. Цветы выращиваю.

— Помогает?

— Даже очень. Сейчас вспомнил девчонку, у которой покупал герань. Она советовала взять бонсай, но я в память о матушке выбрал журавельник. Это по-народному так называют. А бонсай, сейчас подумал, куплю и подарю ей. Очень уж красиво о нём рассказывала. Говорит, был бы не такой дорогой, себе бы купила.

— А сколько он?

— Рублей пятнадцать.

— Ты всё так же, тыщи рублями. Лучше бы Юрке отправил, он опять какие-то дорожные кроссовки надумал.

— Отправлю. Ты всё-таки какая-то другая.

— Приезжай, посмотри. Бабёнку не присмотрел себе?

— Как-то недосуг.

Пустой разговор. И что ей надо? Были вместе — всем была недовольна, а когда после очередного скандала, как всегда пустякового, хлопнул дверью, вдруг стала помогать, звонить. Произошёл разлад, а отчего и откуда — ни я, ни она понять не могли. Словно исподволь всё произошло. Непогода незаметно переросла в шторм, а синоптики судьбы нам неведомы.

За окном потемнело, осень торопилась забрать остатки тепла, света, деревья почти раздела, всех готовила к отдыху, хотела погрузить в спячку.

А мы с тобой будем жить, подошёл к подоконнику, коснулся ладонью одной герани, другой. Нет запаха, значит, ушёл в глубину, в корни...

Сон сморил как никогда быстро. Навстречу вышла старушка с торбой за спиной. Мы стояли посреди пустыря, он был бескрайний, заросший полынью.

«У тебя что в сумке?» — хотелось помочь, дорога должно быть у неё была долгой, и конца ей она не видела.

Она сломила стебель полыни и протянула. Горький запах утраты и одиночества. Переспросил, что она несёт.

«Кусочек смерти, — было в ответ. — Совсем малый, а какая тяжесть».

«Кому он?»

«Меня ждут».

«У тебя вся спина мокрая. Какие-то кляксы сиреневые. Сними, пусть обсохнет».

«Это слёзы ангела», — и исчезла, растворилась в осенних сумерках, только ветка полыни осталась у меня в руке. Ветра не было, но она колыхалась как живая. А в каких-то семи шагах угрожающе высилась бронзовая громада Великана.

Заматерел ты с годами, хотелось сказать ему. Взгляд только стал другой, не всевидящий и уверенно-твёрдый, а усталый и скорбный.

«Куда-то всё рукой нам показываешь. Куда? Что там? Что нас ждёт?»

«Поизносились вы. Не дойти вам. Вы искали счастья? А что для этого надо? Плащ, котомка и посох. Для жизни больше ничего не надо. Правда, сам я это поздно понял, — и он опустил руку. — В качалке уже когда сидел. Немтырь немтырём, сказать ничего не мог. Да вы и не спрашивали. Вы всегда были как бараны. Вы пригодны только на убой».

И засвистела пила-камнерезка на бешеных оборотах, заволокла всё искрящаяся пыль, и вышел чудик с крестом на плече, взошёл на холм и водрузил его на вершине.

«Ты кто? Тебя как зовут? Мы ведь так и не познакомились».

«Иоанн», — прошептал он.

«Иван?» — прочитал я по губам.

Он не ответил, он смотрел в небо, где несуразным дирижаблем парило чёрное копыто. Из него что-то сочилося, и там, где капли касались земли, вставали грибы взрывов. Оттого, что они были беззвучны, страх был невыносим.

Открыл глаза, колотила дрожь, всё тело было липким от пота. Хотелось в реку, не ту, что летом манит прохладой, а ту, что после ледохода, от которой сводит судорога и надеешься только на чудо...

Вот и связалась эта дикая цепочка. Кладбище, базар, храм, Дом советов, метро... Кто бы мог подумать, что она станет такой нерушимой? А каким будет следующее звено? И, уже ведомый непонятной силой, подошёл к окну, распахнул створки, дохнуло прелыми листьями и упадком. Машинально, не глядя на них, брал в ладони горшки, касался их губами и опускал вниз. Они глухо бились об асфальт, и казалось, это не цветы, а чьи-то черепа, рассыпаясь на осколки, уходят в небытие.

Страх покинул... Верига страха, кандалы страха, удавка страха оставили меня, и с мыслью: всё знаю, — облегчённо улёгся в кровать. Знал: герани уже нету, — но цветы перед глазами источали аромат. И это было ещё не всё. Сон вернулся.

Великан стоял на самом краю провала, и у него от страха подрагивали ноги, и во всём была обречённость и пустота. Его никто не подталкивал, но он обернулся, и это стало его прощальным взглядом. Он рухнул в чёрную бездну, оставив, как надгробие, постамент из чёрного гранита.

Хотели же похоронить по-людски, подумал я. Из провала торчали только две ноги. Настолько он был велик, что заполнил собой всю яму. Одна нога — в башмаке, а вторая, на ней даже носка не было, отсвечивала красным, как светофор в тумане, заскорузлой потрескавшейся пяткой.

Откуда-то пришёл голос Левитана. И я понял: будет война. И я плакал. Какое же неизбывное горе пришло к нам. Слёзы текли ручьями, и в них ничего не отражалось. Было жалко всех.

Подушка утром была сухой. В недоумении встал у окна. Всё стекло покрывали мелкие сиреневые брызги...

Прежде чем идти на работу, решил сходить на строительную площадку, посмотреть, как там Вождь после моего дурацкого сна. Рассвет только брезжил, но город уже ожил, суётился, торопился, толкался на остановках, всё выглядело бестолково и бессмысленно, будто жестяную игрушку завели ключиком, и она тарыхтит вопреки своим помыслам. На лицах у людей ещё видны следы тайных, сокровенных желаний, но они не в силах побороть сталь тугой пружины.

Вождя у котлована не было. Испуганно осматривался, не хотелось верить в случившееся. Чуть в стороне, на скамейке у голубых елей, о чём-то разговаривали три старушонки. Может, они что-то видели? Подошёл.

— Увезли. Краном сдёрнули и увезли, — ответила одна и радостно посмотрела на меня.

— Куда увезли?

— На склад. Его же беречь надо.

— Ага, на склад, — сердито посмотрела на неё другая. — Хорошо бы. На металлолом уволокли. Он же бронзовый, дорогущий. Знаешь, сколько тыщ за него дадут?

— Догонят и ещё дадут, — третья бабуля поправила сползающий на глаза платок. — Он сам ушёл. Тайными тропами. Он вернётся. Вот увидите.

— Дурында. Я тебе говорю, черти на металл упёрли.

Старушки неожиданно умолкли, смотрели в разные стороны, а я с улыбкой подумал: а что, если бы Вождь и в самом деле ушёл? Ушёл бы в столицу, ведь там, как в осином гнезде, все смутьяны собрались. Они что-то ещё удумали. Утрясётся всё, и затеют для нас новую химеру, поведут, как слепых, к призрачному счастью. И он будет впереди.

Не заметил, как подошёл к самому краю котлована. Из земли торчало раздвоенное чёрное копыто. Оно щерилось жуткой улыбкой. Всё правильно. Ведь у лошади не одна нога была.

Нет, завтра надо идти в церковь. Никаких завтра! Прямо сейчас. Оглянулся. Старушек уже не было, а на скамейке, где сидели они, лежали усыпанные ягодами ветки рябины. Из-за куста её кто-то выглядывал и показывал рукой в небо.

Вспомнил вдруг: самолётик... А ведь Юрка родился от меня. Значит, я — самолёт, и у меня просто усталость металла. Может, крылья скоро отвалятся и фюзеляж пополам...

Палки. Доски. Ветер. Звери. Черти. Волки. Хватит. Уносит и в землю. Крутая дорога. Идти, не сбиваясь. Не страшно. Бессмысленно. Надо в церковь. Надо. Надо. В церковь. В церковь.

Никогда дорога не казалась такой долгой. На перекрёстках останавливали потоки машин, иногда вдруг засматривался на необычное здание или бродяжку, что-то выискивающего в урне с мусором. А вон две красотики, разнаряженные, словно с модного подиума, так активно обсуждают, наверное, похождения в ночной клуб, вызываясь смеются, а на малыша рядом, а похоже, это чей-то сын, ноль внимания. Ребёночка, тоже разодетый, как в гламурном журнале, такого даже в тупой рекламе по телевизору не увидишь, загребаёт с обочины наивной розовой ладошкой грязную снежную кашу и облизывает.

— Мальчик, это кака. Не надо в рот, — не выдержал и подошёл к нему.

Он удивлённо посмотрел на меня.

— Пошёл в ж...

Нет, надо в церковь. И когда дошёл, уже на пороге храма посмотрел в небо. Оно было безоблачным. И я понял, почему расстался с семьёй и откуда пришёл страх, и ещё понял: войны не будет. Не будет, если все мы...

Дарья Франц

Железные крылья

I.

Александра Вячеславовна с ласковой, озорной бодростью смотрела на не по-зимнему быстро плывущие в водянисто-голубом небе — за огромным, от пола до потока, клетчатым окном аэропорта — облака. Бывает так, особенно летом, что облака низкие, лёгкие, рваные, бесшабашные, почти хмельные, разных причудливых ватных форм, стремительно меняющихся прямо на глазах. Облака эти неуловимы и неудержимы, как несущий их ветер, и движение их вдаль неотделимо и неотлично от смены их формы, так что всякая малейшая смена формы будет уже одновременно и движением вдаль.

С наслаждением думала Александра Вячеславовна об этих облаках. Казались они ей пудовыми, неподъёмными, почти железными, несущимися на железных крыльях. И всё же мчались они так свободно и задорно, так по-детски непосредственно и сладко, — точно прыгали на одной ножке, точно взмывали в подскоке, точно и впрямь были детьми, точно подхватили вместо простуды — детскую невинность и детскую улыбку, убежали в свой детский сон, где всё им было можно, — и вот, стотонные, неуклюжие, с блеском стальным да с обшивочными листами, заклёпками и стыковочными швами, — в простоте Христовой поверили в то, что умеют летать, и — полетели.

Странно всё же было согласиться с тем, что такие-то облака зимой возможны. В тот год выдался необычный январь — не с морозной клюквой на щеках, не со скрежещущим костяными зубами острым лезвием катка, не с багряной кровью, с хохотом хлещущей из прилипшего к нечаянно лизнутым саням языка. Нет, январь выдался какой-то средневропейский, с оттепелями и дождиками, с робкой, стеснительной, спешащей убратся слякоткой, с временами даже воскресающей из мёртвых, снова пытающейся зеленеть зомби-травой. И Александра Вячеславовна нежно погладила ворот своего белоснежного осеннего пальто, в котором было, благодаря этому нездешнему, неслыханному чуду, не холодно улетать из Москвы в месяце январе.

Насмотревшись на облака, вспоминала она Новый год — этот уж русский совсем, наплевавший, можно сказать, нахаркавший на предательский, продавшийся Западу январь. Новый год в кругу семьи:

в кругу мудрого и доброго, скромного и тихого папы Славы, который, всегда после седьмой, а никак не после пятой, возьмёт и затянет почти про себя, словно испытывая неловкость или боль от обнажения столь глубинных, ничем не защищённых, трепетных, как открытая рана, сторон своей души, — далёкую песню на не переданном своим детям, должном оборваться на нём, Славе, пронзительно красивом родном своём языке — языке одного из малых народов его многонациональной родины;

в кругу суетливой и хозяйственной, решительной и волевой, заботливой защитницы мамы Светы, зычно, лучше всякого громкоговорителя, оглашающей дом победными звуками, не по факту, а по одному своему тембру возвещающими о наконец-то свершившемся торжестве мировой революции, — в связи с необходимостью перенести из кухни в зал оливье, селедку под шубой, салат «Мимоза» и, само собой, голубцы;

в кругу крошки-сестры Ники, Вероники, Веры, то Веры, не Ники, но клубники, то черники, то костяники, то ежевики, то голубики — очаровательной такой малышки, в которой было всё и всего было — самая крошечная малость: и крошка вредности, и крошка нежности, и крошка зубрёжки, и крошка когтистой кошки; сестрёнка курила, но тоже немножко, видимо, понарошку, чуточку бранилась непотребно и самую уж невидимую капелюшечку пыталась выкинуть что-нибудь эдакое, чтобы её заметил и оценил весь мир: то ли шляпку надеть эпатажную, то ли мальчика зацеловать в метро, то ли взять и завалить уже какой-нибудь экзамен, со всеми-то пятёрками в зачётке, в своём экономическом вузе; не решаясь ни на что из перечисленного, Вера-Ника хмурила бровки, отпускала подростковые колкости, прикрикивала по пустякам на родных от избытка юношеского максимализма — и вдруг вставала, кричала громче всех: «Ура!!!» — и, звонко

со всеми перечокавшись, опустошив свой бокал шампанского, во весь голос, страшно фальшиво исполняла советский гимн, полностью заглушая телевизор с гимном российским;

в кругу мирно и ненавязчиво выживающей из ума бабули Динули, которая всё порывалась куда-то лететь, видимо, тоскуя по тому городу, где провела жизнь, сыграла все свои второстепенные и одну главную театральные роли, родила и вырастила детей и похоронила мужа:

по городу, где узнала она наконец истинное счастье любви не с мужем, а с временно квартировавшим в том городе инженером Колей, который оставил в сердце до глупого неизгладимый след всего одним каким-то четверостишием из, не приведи Господи, французского символиста Малларме; оставил не потому даже, чтобы Динуля понимала по-французски или верила столь стоически, что по-французски понимает Коля, а потому, что рассказал он ей это четверостишие, склеивая её самую любимую, случайно разбитую во время их свидания вазу, в которую она хотела поставить его белые розы, склеивая её так, будто он и в самом деле понял, что ваза эта была величайшей, единственной её, Динули, святыней, и склеил её поэтому так, что никто никогда не заметил ни единой трещинки;

по городу, где дворники мели в августовское пекло сухие листья во дворе каждое утро ровно в десять минут шестого, а листья эти заносил до январских сугробов тополиный пух, рвавшийся неведомо куда, и зачем, и к кому, а лесные голуби тоже срывались с ветки и летели к воде.

От этих воспоминаний у Динули обрывался её умоляющий скорее ехать в аэропорт голос, а сердце и вовсе отрывалось и летело к себе домой уже совсем само, своими силами, роняя на поля редкие красные слёзы.

Александра Вячеславовна вдруг резко, испуганно вздрогнула, точно только что чуть не задохнулась. Это сон смаривал её, и мысль утекала неведомо куда, словно те облака-реки из железа. Она вернулась к истоку своей реки. Новый год... Праздник, когда все эти подавленные и жестокие, несчастные, мучающие друг друга люди вдруг вспоминают о том, кто они, когда они наконец по-настоящему веселы, внимательны, заботливы (даже если мама гаркнет папе: «Наливай уже, чего ждёшь-то? Что как не мужик!»), когда в глазах дрожит драгоценная искорка счастья от вручённого подарка (даже если в ответ не блестит и намёка на искорку удовлетворения от него), когда нужно слушать поздравление, загадывать желание, петь гимн — первый раз в году из двух (второй — Девятого мая), ни с того ни с сего, по неясному поводу, гордясь своей родиной и любя её (для того, верно, что как встретишь Новый год, так его и проведёшь), когда под и убогую, и прекрасную,

и звенящую, и пугающую музыку отбиваешь ноги и заламываешь руки, а потом напряжённо и настороженно вслушиваешься до утра в тревожные военные действия, развернувшиеся в остолбеневшем от удивления, так привыкшем к малышам на качельках собственном дворе.

Александра Вячеславовна и впрямь страшно хотелось хотя бы подремать. Бессонные ночи перед окончательным отлётом к суженому, страх самолёта — всё тут играло свою роль. Нужно было выпить ещё кофе. Александра Вячеславовна огляделась. Блестящий пол отражал десятки разноцветных огней вывесок и указателей, он казался рекой, в которой всё это добро давно потонуло и теперь лежало на дне, inferнально сверкая живыми, изнемогающими, затуманенными тиной глазами. И только десятки ламп, тоже канувших в загробную реку, нарушали близящийся к катарсису творческий беспорядок мокрого, как асфальт, пола своей строго выверенной, занудной геометрией.

Пол тянулся вдаль, за стойки дьюти-фри, за эскалатор, ведущий в нижний этаж, за терминал контроля личных вещей пассажиров, за кабинки контроля паспортного, за красный и зелёный коридоры, и впадал в просторный холл, где тридцать минут назад Александра Вячеславовна и в самом деле сидела в кафе и пила кофе со своей школьной подружкой Улечкой, прилетавшей повидать отца и согласившейся её проводить.

Улечка жила в Европе, именно там, куда теперь летела и сама Александра Вячеславовна. Куда она летела, с точностью она не знала. Какая-то ничейная земля между тремя государствами. Первые два были республикой и королевством, это она помнила в точности, а третье — никак не могла запомнить она этого — то ли герцогством, то ли княжеством. И самих названий этих стран она чувствовала себя не в состоянии заучить. Она же преподаватель английского и французского, а не географ, в конце концов. Александра Вячеславовна посмотрела на свой посадочный, но название города, стоявшее в нём, не сказало ей ни о чём.

Зато помнила Александра Вячеславовна, что в школе Улечку звали Ульяной Владимировной. Даже уже в пятом классе. Улечкой же она стала не тогда, когда встретила мужчину своей жизни и съехала с ним гражданским браком, ладно сварганив семейное предприятие общепита. Не тогда, когда родила сына Андрейку и стала водить его в детский сад и на плавание. Не тогда, когда пыталась спасти совсем уж безнадежно больную маму, рыдала, стучала кулаками, не спала ночи, бегала по инстанциям, выгрызала ей операцию под ленивое ворчание врачей о бесполезности этой зловещей медицинской процедуры и чуть не продала свой единственный бизнес. Она стала Улечкой не тогда, когда маму свою похоронила.

Нет, Улечкой она стала, когда ревела ночами в подушку, не давала уснуть и мужу и кляла чёртову российскую жизнь. Когда встретила европейского мужчину с грязными, взъерошенными волосами и запахом табака, алкоголя и пота. Когда этот мужчина объяснил ей, как она может и сама стать европейской женщиной. Когда отец её ребёнка, видя её истерзанность, обречённо и тихо кивнул и второй раз в жизни выкурил сразу две сигареты подряд — первый раз был в тот стираемый из памяти его лечащими психологами день из далёкой студенческой молодости, когда питбуль на его глазах терзал какого-то ребёнка. Когда она взяла Андрейку, побрила голову, словно для монастыря, и получила в паспорт штамп о том, что её мужем является Ив Камю.

За поющим трепетный французский шансон именем, за нагруженной философскими и даже сугубо экзистенциальными смыслами фамилией скрывался человек, который был женат третий раз, и третий раз на русской, и третий раз фиктивно. Русские женщины поступали к нему в рабство, устраивались уборщицами в местные госучреждения, стирая себе руки сначала до волдырей, потом до синдрома запястного канала, затем до операции и, наконец, до инвалидности. На заработанные таким образом деньги русская женщина, для себя и Ива, снимала квартиру и добывала пропитание. Сам Ив лежал на диване в задумчивости о бренности мира, достойной его фамилии, и два раза в неделю ходил пешком, чтобы не тратиться на проезд, по десять километров в одну, потом в другую сторону за табаком и алкоголем, которые в одном их трёх бог его знает как называющихся государств стоили дешевле, чем в двух остальных. Пот же везде, кажется, стоил одинаково.

Улечка отпахала европейской рабыней пять лет, получила паспорт, с чистой совестью отпустила благоверного со своей квартиры ехать за новой невестой, вшила в свой сдавленный срединный нерв не инвалидность, конечно, а справку о профнепригодности к тяжёлым физическим нагрузкам, а заодно и такими жертвами доставшийся ей европейский паспорт. После этого к ней приехал отец её ребёнка, чеканящего на чуждом его родителям языке не хуже, чем на родном, — её «не фиктивный» муж, которому тоже предстояла своя пятилетка, но уже не столь драматического характера. Самые тяжёлые испытания, как обычно то и бывает, опять легли на хрупкие женские плечи.

Александра Вячеславовна напряжённо следила за Улечкиными приключениями, пытаясь понять, ради чего же такого человек мог бы положить пять лет жизни и здоровье на европейский жертвенник. Пытаясь осознать это, она ездила к Улечке подержать её; останавливалась в местной гостинице; взирала на огромный, почерневший, какой-то сгнивший палец Ива, торчащий из колоссальной,

больше самого носка, в нём дырки, с почти таким же ужасом, как и на его небритое лицо, на ветвях которого расселся беспардонный остаток приготовленного Улечкой обеда — макаронина, или рисина, или просто красноватое пятнышко чёрт его знает чего. Она слушала, как Улечка научилась халтурить на работе, протирая одни только пороги, да ещё разве что вычищая мусорки, и вообще ловко симулировать бурную деятельность, но вот руку спасти это никак не помогало. Кроме сгнившего пальца и обречённого нерва руки, в ничейных тех землях больше, кажется, не было физиологического хоррора, а был обычный европейский город, с церковью и собором, с рыночной площадью и мясной лавкой, с вечно закрытым парком и памятником у железнодорожного вокзала, изображавшим голого крылатого мужчину в горизонтальном положении. Там не было даже фонтана, даже старинного замка или дворца, даже театра или филармонии. И Александра Вячеславовна разводила руками — не понимала зачем.

Раньше она думала, что только в Сирии и Ираке существовали такие вот ничейные земли, где разрешалось рабство. Оказалось, что и в Европе тоже было такое явление — правда, в данном случае рабство претворялось в жизнь по обоюдному согласию сторон. Нет, она сочувствовала Улечке и в целом догадывалась, что та пошла на такие жертвы не от хорошей жизни, несмотря на весь свой бизнес. Какова была цель всего этого, какова была искомая польза, она, правда, никак не могла сообразить, но ведь не можем же мы быть умнее всех, не можем влезть во все головы и выведать там все тайны. Если Улечка так поступила, значит, в её ситуации это был выход. И нечего судить да рядить.

Но она-то, она, Александра Вячеславовна, согласилась бы на брак только из чувств, что бы там ни было. Всё остальное в её понимании жизни не имело к браку никакого отношения. Ей хотелось принца на белом, как тополиный пух в городе бабули Динули, коне, и чтобы хвост того коня, будто тамошние дворники, ловко вымел из её судьбы все горести и невзгоды.

Улечка понимала и прелести, и совершенства, и потребности Александры Вячеславовны лучше, чем сама их обладательница. Однажды она познакомила свою бывшую одноклассницу с Жеромом — человеком, во всех смыслах пригодным для лишённого досадных фикций брака. Человеком с европейской зарплатой коммунального (то есть муниципального) служащего — против российской учительской зарплаты Александры Вячеславовны; с очищенной от досадных родственников квартирой — против «трёшечки» в подмосковной высотке, где любящие и ненавидящие друг друга домочадцы ютились впятером; с неописуемо

огромным состоянием, которое, как единственно-му наследнику, грозило свалиться Жерому прямо на голову через каких-то двадцать лет.

Но не это, не это вовсе привлекло Александру Вячеславовну в Жероме и её к нему притянуло. Её подкупила изысканность французской медлительной речи, и меланхолическая усталость взгляда, выдававшая человека, который мечтает о том, чтобы его осчастливили, и его какая-то детская травмированность и беззащитность, сквозившие в небрежности и несвязности речей и мыслей. Она не могла не прильнуть к нему всей своей пылкой душой за одно уже то, как он довольно смеялся, шутя о том, что она будет варить ему русские борщи, рагу и прочие блюда из не самой популярной в регионе белокочанной капусты, а он, так уж и быть, покажет ей, что делать с луком-пореем, и с сельдереем — черешковым и корневым, и с фенхелем. Само слово «фенхель», звучавшее по-французски как «фенуй», было крайне волнующим и будоражающим нервы. В нём причудливо переплелись и гастрономические чудеса разных стран мира («нуй» — французское слово, означавшее китайскую лапшу; средиземноморский «рататуй»; татарский «сабантуй»), и какой-то запредельно искусный фэншуй, и град глаголов повелительно-ласкательного наклонения, вроде «целуй», «балуй», «милуй».

За какую-то из многочисленных соблазнительных сторон этого сумасшедшей притягательности «фенуя» Александра Вячеславовна и начала ездить уже не столько к Улечке, сколько к Жерому. Теперь она летела к нему с двумя тяжеленными чёрными чемоданами, сданными в багаж (второй, разумеется, за дополнительную плату), с маленьким кокетливым чемоданчиком, купленным специально к случаю и пошедшим в ручную кладь, и с ноутбуком в тесной сумочке. Через месяц они планировали пожениться во имя обнаруженных друг в друге прелестей, потребностей и совершенств.

В самолёте Александре Вячеславовне всегда было дико неуютно, непривычно и очень страшно. Она вжималась в сиденье, читала молитвы и мелко дрожала. Есть почти не могла. Но, слетав к Жерому три или четыре раза, она стала более адекватным человеком. Тем более помогало ей, когда рядом оказывался не просто сосед по перелёту, а интересный собеседник. В этот раз получилось именно так.

Женщина, которую звали Милашка — то ли от скорее русской Людмилы, то ли от скорее белорусской Миланы, — летела в город, в названии которого была двойная согласная, да ещё к тому же и буква «ц» (хоть убей Александру Вячеславовну — ну не запоминала она названий), то ли Ниццу, стало быть, то ли Биарриц, а может, и вообще куда-то в Африку, в логово мухи цеце. В цыкающем грозно, свысока, городе

существовали: любовник и потенциальный муж Милашки, большая квартира, три тысячи евро ежемесячного дохода, какие-то сумасшедшей красоты и истории города поблизости — Ангулем, Аркашон, Ангушон, Аркалем (разве можно человеку упомнить такое?), и устричные поля, и беспрекословная готовность купить новый телефон, если вдруг старый смоем несносный, дерзкий, страстный развратник — Атлантический океан. Всё это сочное блюдо, к несчастью, было приправлено тридцатилетней разницей в возрасте, которая сама по себе полная ерунда и даже достоинство, но в сочетании с решимостью завещать всё своё состояние родным сыновьям, а не обожаемой супруге, — непреодолимое препятствие для брака. Впрочем, дело ещё не было решено окончательно, ага, потому-то Милашка и продолжала летать в город, выпятивший свои симпатичные це-рожки. Всё из-за того, что по другую сторону двух железных крыльев существовали: Саратов, Самара, два мужа, оба бывших и потерявших к Милашке любой интерес, взрослый сын, интересующийся этой не чужой ему женщиной едва ли активнее, чем его отец и отчим, набивший оскомину бизнес и огромное желание уйти на по-европейски красивый и даже элегантный, вполне заслуженный покой после стольких-то трудов праведных.

Александра Вячеславовна очень быстро потеряла нить Милашкиной болтовни, перестала слушать, ответила пару раз невпопад, задумалась о своём, размечталась. В этой мечте она гуляла по лугу и всё разглядывала тонкие тростинки, любовно смахивала с них росинки, прижимая к губам, сдувала с них пылинки и былинки — они ведь росли у большой дороги, по которой неслись гружённые фуры, и приходила в такой восторг, что поминутно ловила в ладонь свои смешинки и даже счастливые слезинки.

Через месяц на руку ей надели золотое кольцо, и она стала просто Сашей.

II.

Февраль в том году настал ещё в январе, и не в середине января даже, а почти в самом начале. Пошли снегопады, парализующие начисто автомагистрали, несмотря на довольно большое количество уборочной техники, а ветер-злодей хлестал плёткой по щекам и рукам, точно сёк провинившееся дитя, точно саму душу желал высечь, выбить из тела, и гнать, и гнать её, и гнать перекасти-полем по городам и весям, до самых дальних земель, до самой России.

Так бы Саша хотя бы не расплакалась. Конечно, тошно ей было донельзя, но ведь донельзя только, а не до слёз. Но ветер надел перчатки с острейшими железными шипами, схватил Сашины руки, отчего на них выступили большие, обидные трещины и капельки крови, а потом

хлопнул одновременно по обеим щекам, словно зашедший в истерику шут гороховый. И Саша тихо всхлинула, жала потрескавшиеся губы над прыгающим подбородком, быстро растёрла рукой выдавленные из её нутра слёзы.

А ветер всё мчался, как адская железная птица, изломал её зонт, рвал с неё шапочку и шарф, кусал за шею, словно острокрылый вампир, и резал глаза, чтобы ещё больше слёз полилось из них, чтобы полились слёзы и те, и эти, и о себе, и о нём, окаянном, и от одной, и от другой — одинаково нестерпимой — боли. И терзал, и рвал он её, как бешеный пёс, воя и причитая о собственном огромном, невыразимом и потому только жестоко навязываемом чужому человеку горе, воя до свиста в ушах, до того, что земля уходила из-под ног, что всё тело запрокидывалось назад, почти на спину, ревя и раскидывая руки в демонической, растаскивающей тело надвое амплитуде, и, наконец, взлетало, поднималось, несло на неверных, шатающихся, пугающих железных крыльях.

Бедная Саша пробивалась сквозь этот ветрище к кафе и всё думала, откуда у природы вдруг взялось столько досады на человеческий род, почему не поливает она землю обильными тёплыми дождями, как положено ей по сезону, а нещадно избивает своей дубиной, срывает лоскуты кожи режущей, как нож, семихвосткой, да ещё и метёт заодно, и лепит снегом, так что ноги заплетаются и оступаются, так что высеченный, выжженный глаз и вовсе не видит, не разбирает дороги.

Такую злую вьюгу помнила она по своему детству в подмосковной школе, когда очень любила залезть поглубже в сугробы и пробираться, пробираться, пробираться, долго и упорно, несмотря ни на какую погоду. Вообразала она себе, верно, экспедицию за полярный круг. Хорошо было вернуться домой, когда ноги мокры от снега, несмотря на самые прочные, новейшие из новеньких сапоги, когда, упав несколько раз в снег, приносишь его и в рукавах, и в волосах, и за шиворотом. Когда мама гаркнет, конечно, в свой громкоговоритель: «Ох, Санечка! Ну когда же ты, дурёха великовозрастная, повзрослеешь уже?» — а потом разденет, натрёт спиртом или водкой, укутает, отпарит ноги в кипятке, будет брать то одну, то другую стопу и растирать каждый пальчик, отпоит чаем с малиной, а вернее, залитым кипятком малиновым вареньем, так как никакого чая в этом напитке сроду и не было вовсе. И если попросишь ну очень-очень ласково — даже полежит с тобой рядышком на ночь, пока не уснёшь.

То было давно, и теперь Саша жила далеко от мамы — в квартире, бесплатно предоставленной её мужу коммуной, то есть, на местном наречии, «коммунальной» квартире. В первом этаже, который назывался «ре-де-шоссе», помещалась столовая для коммунальных служащих,

а во втором этаже, называвшемся первым, жили они с мужем в двух комнатах. В этой «коммуналке» никто не гаркнул бы на неё теперь, упави она в снег и утони в нём со всем своим многострадальным сломанным зонтиком. Никто больше не умел на неё гаркать, не держал в доме спирта и водки, не держал и варенья малинового, и даже чая, а вода была, наверное, в дефиците, потому что всегда её нужно было экономить. Отпаривать в ней ноги запрещалось. Экономилось или запрещалось и много других вещей, которые она так любила. Дом топили плохо, даже зимой, свет нельзя было зажечь, чтобы читать книжку, нельзя было пользоваться ни одним энергоёмким прибором, и если, когда становилось вдруг скверно-скверно на душе, хотелось сделать бутерброд с двойной колбасой, как в детстве, с двумя ломтиками сервелата, накладываемого прямо на язык, то мог выйти скандал.

Саша больше не могла. Она легла на землю, закрыла глаза и стала вспоминать Новый год. Мысль её долго скользила по тому месту, где он должен был помещаться в её воспоминаниях, капризно ища, за что бы зацепиться перво-наперво. В итоге мысль зацепилась за устрицы, привезённые — зачем исключать такой вариант? — из краёв, облюбованных Милашкой. Устрицы эти так неприятно хрустели на зубах — видимо, частичками своей скорлупы, что даже их необычный, пронзительный вкус можно было бы им простить, только бы избавиться от этого хруста.

Устрицы подавались лишь в самых богатых домах. Их с мужем дом зажиточным считаться никак не мог: пока здравствовали его родители, приходилось жить на «коммунальные» харчи. Саша сама до сих пор не работала, а помогать финансово детям в этой ничейной земле, видимо, принято не было. Зато на праздники и на обеды её и Жерома приглашали в гости, хоть и не часто, друзья его родителей из соответствующих кругов. Там можно было посмотреть на красивую жизнь:

на жизнерадостного главу семьи, который сам, своими руками, построил фамильный дом, заработал за десять лет бизнеса состояние для детей и для внуков; мастера на все руки, трудящегося их не покладая, и великого шеф-повара, известного на весь регион, проверяющего готовность любого мяса и крема термометром, чтобы слюнки текли по подбородкам даже у самых заядлых гурманов, объезжающего пять магазинов в поиске истинного фуа-гра, — на эту гордость и славу, оплот и твердыню большой семьи;

на живущую в своё удовольствие жену его, никогда не красящуюся, не имеющую ни одного элегантного наряда, первозданную, весёлую и довольную своим естественным безыскусным видом; жену, у которой всё спорится и горит в руках, получается легко и славно, истинную хранительницу

очага, где каждая вещь лежит на отведённом ей месте, каждое дело сделано в отведённое ему время, каждое слово сказано в подходящем для него случае; жену, которой можно доверить и искусный выбор вина из погреба, скрывающего не менее тридцати наименований, и замысловатую, артистическую раскладку по тарелкам сладчайшей дыни и деликатесной ветчины, перемежаемых капельками привезённого прямо из Португалии порто, загущённого до состояния соуса, и поиск, по отзывам и рекомендациям, ландшафтного дизайнера для реализации старинной мечты — прелестного озера с белыми гусями-лебедями и дорожками «па жапоне»;

на их милую, пригожую дочь и мужа этой дочери, нарожавших в первой молодости столько детей, что совместные стали им противопоказаны, — только и успевай рассовывать уже имеющихся по их отцам и матерям в разных городах трёх соседних государств, названия которых так и оставались для Саши загадкой, чтобы соблюсти очерёдность пребывания с ребёнком обоих его родителей;

на великое антикварное сокровище — бабулечку Мадлену, почитаемую прародительницу, любящую порассказать о своих дворянских корнях, о том, что их застолье не стоило бы и ломаного гроша, знай хоть кто-нибудь из них так же хорошо, как знала она, как проходили застолья в древних родовых замках то ли графов, то ли баронов, где приборов на столе не семь, а двадцать, где обедают не четыре часа, а все восемь, где для дорогого гостя открывают вино 1865 года, где мужчины встают и не смеют сесть, если одна из дам вышла в уборную.

Почти заснувшая Саша с протяжным криком, напоминающим звук втягиваемого воздуха, очнулась от своего наваждения, замотала головой, отплевалась от снега. Медленно и неохотно, как вурдалак из могилы, вылезла она из своей белой постели в объятия железнокрылого, в пыточных перчатках палача-ветра. Мысль её тут же соскочила с цепи воспоминаний и не напомнила ей ни о танцах до упада, ни о музыке, ни о телепередачах, ни о минуте, посвящённой отечеству, ни о подарках, ни об искренней радости от наступления Нового года. Не запомнила даже не потому, что всего этого и в помине не было в новгородный вечер, а в большей степени из-за того, что Новый год до сих пор так и не наступил, ведь нельзя же приманить его иначе, чем боем курантов, отпевающих его предшественника, отброшенного в амбар истории на неловко сваленную кучу тех лет, что были и того раньше, — ну нельзя никак его приманить, просто посмотрев на часы, а потом сухохато, почти безразлично поздравив друг друга, даже без шампанского.

Вот в силу какого горького несчастья Саша всё оставалась и оставалась в том самом году, когда

переехала в Европу, а другие годы для неё не наступала. И время для неё остановилось.

Она отряхнулась и вновь побрела в кафе, размышляя о том, хрустят ли устрицы на зубах, как песок, в графском замке, где, уже совсем как положено, накрыто целых двадцать приборов, и если у тебя дети от трёх разных мужчин, а у твоего мужа — от четырёх разных женщин, то могут ли два сиамских кота всё-таки сойти за ваших совместных детей. Видимо, это можно было как-то проверить, поставив им кулинарный термометр. Но бедная Саша не знала, куда ставят термометр котам, поэтому так и не пришла ни к каким окончательным выводам.

Тогда-то подумала она, как протекала бы их с мужем жизнь хотя бы и не в замке, а если бы они были столь же умеренно богаты, как титулованные шеф-повара. Такая перспектива представлялась вполне возможной через то неопределённое количество лет, которое отделяло их от наследства. И тогда она видела роскошный пароход, плывущий из Сан-Франциско на Капри, видела там если не старую, то уж точно дряхлую и никому не интересную женщину, которой не хочется даже не хрустящих на зубах устриц, даже крема, выверенного до сотой, а не до десятой доли градуса, даже вина 1765 года, и, страшно сказать, не хочется даже того, чтобы сам высококровный принц Монако остолбенел, отдавая честь с лицом, торжественным, как у главы государства, поздравляющего с Новым годом свой народ, — пока она будет растряхивать свои одереженевшие кости в уборной целых семь с половиной минут.

Из-за непролазности снега шла она так немисливо долго, что уже, казалось, можно было прийти не только в кафе, но и в не очень от него удалённый аэропорт. И, завидя, наконец, вдалеке сквозь белую пелену знакомую вывеску, Саша почти приняла её приглушённый свет, напоминавший города-привидения из фильмов ужасов, за аэропорт, разбомблённый и разрушенный, стёртый с лица земли совсем новеньким, где она полюбила одного очень хорошего человека.

Она полюбила его, верно, за то, что он, как и дядя Коля — бабуле Динуле, дарил ей, Саше, только белые розы, которые поэтому можно было ставить в любимую бабулину вазу. Полюбила за то, что брал её руку, прижимал к своему сердцу и заставлял её слушать и даже верить, что от её руки оно бьётся всё быстрее и быстрее. Полюбила его за то, что он видел её в длинной, в пол, юбке гофрэ, искренне наслаждаясь этим зрелищем, и, если налетал летний ветерок, говорил, что она вылитая Мэрилин Монро.

Полюбила за то, что жарил картошку, которой Динуля пела дифирамбы не менее трёх минут, не прерываясь ни на секунду; за то, что обещал увезти её, Сашу, в Новую Зеландию; за то, что так

трогательно смаковал шуршание старой бумаги и часами мог разглядывать бабушкины подшивки, сделанные в те святые времена, когда из кипы литературных журналов ещё валяли настоящие произведения искусства для домашней библиотеки и ставили в книги печати, обозначающие фамилию их владельцев; да просто за то, что любил он её в её самом любимом, на всю жизнь, городе, на её самых любимых улочках, аллеях и бульварах, под её самыми любимыми тополями, пух которых они могли и вдыхать, и ловить губами, потому что был он для них безобиден; за то, что целовал её на берегах «ставков» и в милых сердцу руинах источенного и обрушенного природой летнего кинотеатра, после смерти ставшего незлобивым фантомом; за то, что сажал её там на каменные ступени, а сам взбегал на эстраду и пел ей так, будто за его спиной грохотал Большой симфонический оркестр.

Сладко помечтав об этом, Саша поняла, что пришла она не в аэропорт-привидение и даже не в город-привидение, населённые призраками её первой молодости, а просто в кафе, где её ждала Липочка.

С Липочкой Саша познакомилась, когда недолго работала в гастрономическом отделе находившегося тут же, рядом с кафе, супермаркета. Достойной работы она себе найти не могла, а деньги были нужны почти любой ценой, вот и пришлось тягать упаковки молока и расставлять банки с консервированной рыбой, распаковывать резаком коробки чипсов, а иногда, если требовалась помощь в соседнем отделе свежих продуктов, и морозить себе до боли пальчики, засовывая в холодильники йогурты. В морозильном отделе работать без перчаток Саша не могла, это было смерти подобно.

Тогда-то и там-то она познакомилась и с бодрой пожилой Терезой, у которой муж учил русский и пытался с говорить с Сашей, да только она его всё равно не понимала; и с ярко накрашенной помешанной Матильдой, выдававшей себя за дочь Элвиса Пресли и совавшей ей в лицо свой портмоне с фотографией отца-кумира; и с несчастной алкоголичкой Вероникой, пытавшейся порыдать у неё на плече об отчаянном состоянии своих финансов и устраивавшей драки на кассе; и с той самой Липочкой, которая жила в двух шагах от супермаркета и приходила туда почти каждый день.

Липочка была, наверное, лет на двадцать постарше Саши. В жизни её всё происходило само собой и случайно. Случайно познакомилась она со своим мужем из местных в самолёте. Сам собой закрутился с ним роман. Сама она не заметила, как оказалась с ним под венцом. Опомниться не успела, а уже получила местное гражданство. Неожиданно для себя услышала предложение о фиктивном браке от какого-то возжелавшего

её новоиспечённого гражданства лица неясного происхождения, развелась с мужем и проносила в паспорте штамп с фамилией этого спонтанно нарисовавшегося лица пять лет, будто пятикратную или шестикратную беременность. Поняла наконец как-то более чем внезапно, что бизнес на паспорте можно делать хороший.

Разбогатев на своём европейском гражданстве, Липочка в крайнем изумлении узнала о том, что на ней хочет жениться архитектор, дышащий на ладан, но крайне любвеобильный и ещё более, чем любвеобильный, богатый. Архитектор этот был человек здоровый и прогрессивный, поэтому спал и видел, как бы оставить Липочке всё своё состояние. Правда, и с придурью он был, конечно, но кому же это непростительно в его-то возрасте? Липочка усердно пекла ему пирожки с капустой, с яйцом, с яблоками и с мясом; отпаивала кефиром, ряженкой и откармливала творогом — всё сплошь собственных рук производства, так как подобных продуктов в местных лавках не водилось; выдраивала квартиру, в которой уже видела себя хозяйкой; смахнув скупую слезу, танцевала для её-то возраста не такой уж и лёгкий танец живота.

Когда у архитектора переключивало сознание, то он мог выставить Липочку из дому на улицу на неопределённый срок чуть ли не в чём мать родила и закрыть изнутри дверь. Видимо, наблюдая за тем, как она там билась, за стеклянной дверью, в истерике от холода и злобы, он получал уже единственное доступное ему на тот момент его жизни эстетическое наслаждение от динамической импульсивности полуобнаженного тела и отсутствия при этом малейшего шороха, так как стекло в двери было звуконепропускаемым. Тогда архитектор вспоминал свою молодость, вспоминал, как ходил на немое кино с девушкой, которую нужно было во что бы то ни стало покорить энергией, страстью и напором, и видел уже вовсе не сморщенную Липочку, а ту юную и желанную девушку, раздетую именно до того состояния, до какого ему было нужно, видел и совершенно немое, даром что не чёрно-белое, кино. Рука его опускалась на антикварный проигрыватель, и оттуда какой-нибудь Адамо или Беко умолял его в надрывно-поэтическом шансоне всё смотреть и смотреть, как падает снег на обнажённые, худые, беззащитные плечи, и представлять себе, что Липочка кроет его не трёхэтажным матом, а клятвами вечной и чистой любви.

Сволочью оказался архитектор. В один прекрасный день нагрянула его какая-то, что ли, внучка со своим мужем-ментом, и Липочка была бесславно и жестоко исторгнута из того лона, о котором уже заботилась как о своём родном.

Саша и Липочка дружили. Когда-то Липочка была Олимпиадой Викторовной, подающим надежды бухгалтером. Олимпиада Викторовна

работала в солидном банке и зарабатывала много и даже больше, чем могла потратить разумно и без мотовства. И если бы так безбожно случайно не угодила она в тот самолёт с его железными ветрами, то была бы она сегодня руководителем всей бухгалтерии, самым главным бухгалтером, играла бы в преферанс и в рулетку с миллионерами и флиртовала с обрусевшим британцем — ведущим модной кулинарной передачи.

Саша добрела до кафе, оплатила «чеками питания» кусок клубничного торта и чашечку латте маккиято, плюхнулась перед Липочкой за столик на верандочке и затараторила о том, как же тяжело ей жить с таким мужем; о том, что у мужа нет ни единого интереса и увлечения; что с ним никуда не сходишь и ничего не купишь; что даже городов европейских она с ним не посмотрела ни одного и до сих пор не знает ни культуры местной, ни достопримечательностей. Что муж гонит и её мыть полы до разрыва срединного нерва, а впрочем, она пытается пробудить в нём и душу, и былые чувства, и даже уважение. Но терпение её на исходе: скоро, очень скоро она плюнет, с досадой плюнет на всё, плюнет и вернётся в Россию.

Взгляд Липочки и её отношение к Сашиней исповеди были настолько же туманны, как и пейзаж за окном веранды, начисто скрытый отчаянными погодными явлениями. И Саша сбивалась со своего монолога, называла себя замарашкой, называла смазливой мордашкой, то дурашкой, то очаровашкой, то жалела она себя, то кляла, провозглашала себя мелкой несчастной букашкой, желала лучше уж стать чебурашкой и — плакала у Липочки на плече, совсем как ещё всего несколько месяцев назад алкоголичка Вероника плакала на плече её.

III.

Стремительных облаков по небу опять проносило так много, что почти кружилась от них голова. Но плыли они не сами: их свирепло, без всякого сочувствия или жалости, гнал ветер, подстёгивая, как взмыленных лошадей, которых обязательно нужно уморить. И облака тянулись вереницей, покорные, тихие, на всё согласные, тянулись и гибли за горизонтом, сменяемые новыми нескончаемыми вереницами. Вот почему их не было и не могло быть жаль, вот почему никому и никогда и в голову не пришло бы заметить их утраты. Ни в одном из них не читалось ничего уникального, незаменимого, неповторимого, а значит, нельзя, никак нельзя было их любить или жалеть. Никто не плакал о них, провожая взмахом платка в последний путь, и только как-то внутренне неловко всё же становилось за бесшабашный ветер, на железных крыльях нёсший эти послушные, бесшумные, не издающие никаких душераздирающих криков создания на забой.

Шурку — так теперь все взяли моду называть Сашу — тоже было неудобно за ветер, как неудобно нам за тех, кто на наших глазах, при нашем попустительстве, без нашего вмешательства, с нашего молчаливого одобрения вытворяет бесовские безобразия и бесчинства. Поэтому она тупила глаза на свои обкусанные, обветренные руки и всматривалась в чашку, на дне которой не осталось никакой кофейной гущи, или в пятно пролитого кофе на столике, пытаясь угадать по этим последним свою судьбу.

Судьбу угадать было непросто. Для начала хотелось бы понять, где именно она находилась. Но она этого не помнила, а может быть, никогда и не знала. Было ли это кафе в московском аэропорту, и она вылетала в Европу? Или, может быть, располагалось это кафе близ европейского супермаркета, где она работала когда-то, и она собиралась взять отсюда такси и ехать в аэропорт, чтобы лететь в Москву? Шурок не имела об этом ни малейшего представления и даже не пыталась строить догадок.

Опасливо взглянула Шурок на окно, за которым бесчинствовал ветреный палач. Нёс он теперь, раскидывая, размётывая в разные стороны, и стаю каких-то птиц. Но птицы хотя бы гаркали на него, сопротивлялись, останавливали его вздетое над ними крыло крылом своим, а иные и просто зависали в полной неподвижности, развернувшись к нему передом. «Птицы не погибнут!» — успокоительно твердила про себя Шурок.

Да, и ей нужно скоро лететь вместе с этими птицами, вероятно, даже туда же, куда летят птицы, а может, и туда, куда летят облака, — и ей тоже очень не хочется гибнуть, как облака, на ветру. Нужно лететь — это-то она знала. И ещё помнила, что сейчас январь, потому что лепит мокрый снег вперемешку с дождём, потому что ветер совсем очумел и не щадит ни единой живой души, потому что в окно плеснули противообледенительной жидкостью и она стала растекаться так, будто это было окно субмарины, разгоняющейся по воде, чтобы потом нырнуть на самое дно.

Шурок уже сидела, получается так, не в кафе, а в самолёте и болезненно вспоминала, как, забыв про заляпанный столик, вдруг потянулась вдаль — то ли по чёрному траволатору зелёного коридора в Москве, то ли по чёрному шоссе в направляющемся к европейскому аэропорту зелёном такси. Никак и никому нельзя было понять, что же именно произошло — то или это, как нельзя понять, где аквамариновое море, а где лазурное небо, а где голубые горы, когда сольются они все воедино.

Куда же она летела? Если был январь, то недавно встречали Новый год. Где же она его встречала? Она долго поздравляла маму, но это могло быть и по скайпу. Она долго плясала под музыку без ярко выраженной национальной принадлежности,

но, возможно, плясала одна, потому что напилась. Она явно брала за руку бабулю Динулю и о чём-то хохотала с ней, но ведь если она и впрямь уснула тогда на диване в половине третьего утра, то это могло ей просто пригрезиться, только и всего.

Она решительно ела устрицы в этот Новый год, но разве она не сама купила их, чтобы поразить родителей европейским чудом? Она смотрела «Иронию судьбы», но не потому ли, что ей единственный раз в жизни удалось уломать мужа на советский фильм? И салат оливье мог быть остатком её собственного — сделанного за неделю до Нового года, от тоски по тому, что опять всё будет «не как у людей».

Стоп, а два сиамских кота? Это уж точно неопровержимая улика. Но ведь полтора года назад она подарила двух сиамских кошечек своей сестре, которая, наконец, придумала, решила, выкинула нечто такое, что потрясло весь мир: начала сама снимать себе квартиру в Москве.

Шурок сжала голову. Ей вспомнились её местные подруги, многие из которых имели, по её представлениям, очень благополучные и счастливые семьи, имели детей и достойный заработок. Наверное, они были уважаемы и любимы в своих фамильных гнёздах. А может, хотя бы на одну минуту каким-нибудь неловким, неудачным, невольным жестом им давали понять, что и они хоть чуточку — девчонки, короткие юбочки, чухонки из далёкой сторонки, чьи руки так тонки и звонки, что лопаются перепонки.

Одна девчонка-юбочка и впрямь оказалась в очередной раз соседкой Шурка по перелёту. Звали её уже от рождения Верчонком, а не какой-нибудь там Верой Николаевной — ну не досталось ей столь замысловатого имени. Верчонок вышла замуж почти так же случайно, как и Липочка, — то ли по любви, то ли по нежности, то ли по привычке, то ли по привязанности, то ли от нечего делать. Когда она вышла замуж, то стала называться уже Сверчонок. Потом ждала пять лет паспорта. Паспорт показался ей слишком малой ценой, уплачиваемой за лучшие годы самой бурной и активной деятельности её души и тела, поэтому она решила при разводе отсудить у мужа дом и пожизненные алименты в две тысячи евро. После такого решения, кроме как Скверчонок, её больше никто никак именовать даже и не думал.

— Ты куда летишь, Шнурок? — поинтересовалась Скверчонок, которая плохо расслышала имя Шурка и поняла его по-своему.

— Кажется, в Россию, — промямлила её соседка, тоскливо глядя на дрожащие струйки антифриза.

— И чего ты там забыла?

Шурок сжала губы, передёрнула плечами.

— Тошно, — покачала она головой в полнейшей неопределённости. — Тошно.

— Ну а сколько тебе до паспорта ещё?

— Мне до паспорта месяц остался.

— Ты что, вообще долбанулась, Шнурок? — выпучила глаза Скверчонок. — А что же ты паспорта не дождёшься? Зачем же ты тогда пять лет в Европе с каким-то там — жила?

Шурок подняла на Скверчонку чистые глаза уводимой на забой тёлки, в которых яркими, влажными акварелями заиграли школьные уроки английского и французского (на эти уроки она всегда приходила такой очаровательной, весёлой, подтянутой, немного строгой); заиграли парты и ученики за ними — ребята, которых хотелось всех нежно погладить по головам, даже тех, которые были самыми отчаянными разбойниками; заиграли её терпеливые исправления по десятому разу одних и тех же ошибок, долгие объяснения грамматических сложностей, которые не был способен понять никто, кроме неё; заиграли лукавые искорки, загорающиеся оттого, что дети смотрели на неё как на сверхчеловека, без подсказок и словаря знавшего перевод любого текста.

Когда взгляд её встретился со взглядом Скверчонки, она сразу же отвернулась, подпёрла рукой подбородок и со страдальческим видом уставилась в орошаемый мутно-белёсой жидкостью иллюминатор.

— Ну, тогда полечу в Европу, — сделала она одолжение Скверчонку.

— Да на фига попу гармонь, если ты там всё равно жить не хочешь? — не приняла её собеседница этой брошенной ей кости.

— Не хочу жить больше с мужем, — пожалла плечами Шурок. — А Европа мне нравится, конечно. Там и люди вежливее. И пища вкуснее. И экология лучше. И зимы без снега. В Европе я жить хотела бы. А с мужем — больше не хочу.

— Да ты ушиблась на всю голову, как я посмотрю! Что он там, в Европе, один, что ли? Что его здесь, в Европе, в штучном экземпляре, что ли, произвели? Есть чудесные брачные агентства, а у меня одной — целых десять знакомых женихов, и все только и воют: «Русскую, русскую, русскую дай!» Это же товар, торговая марка, этим пользоваться надо, чтобы поймать с них всё, чего тебе в жизни хочется! Найдём тебе богатого-пребогатого, умного-преумного, благородного-преблагородного, и возвышенного, и утончённого, и со вкусом, и с виллой, и с яхтой! Только и тебе нужно продать себя уметь!

Скверчонка несло, и у Шурка от этой болтовни начинался звон в ухе, звон, искажавший уже всякое содержание человеческой речи. И казалось ей, что Скверчонок убеждает её в том, что они оборванки, а продать себя надо уметь, тогда они будут содержанки, сварят мужьям манки, будут закрывать для них на зиму банки, будут поить их лекарством из склянки, скормливать им с ложечки запеканки, привозить гостинцы-баранки,

обматывать ноги в портянки, укутывать на ночь в вышиванки...

— Алло, контора! — разоралась Скверчонок. — Шнурок, проснись, твою!.. Я тебя спрашиваю: тебе молодого, чтобы пожить ещё с кайфом, детей родить, или уж сразу лет под девяносто, чтобы раз-два — и наследство?

Шнурок тупо уставилась на Скверчонок и вдруг — поняла её мысль, увидела себя на рассекающей море яхте, на рассекающем воздух планере, на рассекающей шоссе «феррари», с мужчиной, которому можно было безошибочно и без зазрения совести дать от двадцати до девяносто, потому что вместо глаз у него сияли два личных самолёта, вместо носа дрейфовал собственный остров в Карибском море, а рот открывался пароходным гудком, выпускающим соблазнительный, подкашивающий ноги и сладострастно утягивающий в отверстие пасть жар. Брови Шнурка дрогнули, рука вялой птицей подлетела и прижалась к горлу, а потом звонко, против всяких правил какой бы то ни было авиакомпании, влетела в иллюминатор с разбегу разбивающимся об оконное стекло ворушском, застыла, к иллюминатору прилипнув, и тихо сползла, расчищая его от бледного налёта.

И за налётом этим померещилось ей на секунду выжидающее в спокойном, холодном, настойчивом требовании лицо Липочкиного архитектора, который то ли пришёл за тем, что принадлежало ему по праву, то ли подполз к загипнотизированной им жертве. Тогда Шнурок в истерическом припадке бросилась по коридору самолёта и вниз по трапу, отбрасывая хрупких стюардесс, вырываясь от охраны, бросилась в любимый лес, где тропа вдоль то мертво-спокойной, то сморщенной и тихо искрящейся, то бурлящей мягкой пеной на порошках реки, где благоухали от дождя пронизывающие весь материк, от Бреста белорусского до Бреста французского, одни и те же растения — крапива, папоротник, одуваны, осока, сныть, берёзы, ели, где, если совсем долго бежать, встанут отвесной серой стеной и тысячелетние, нерушимые горы, и преградят тебе путь, и ошестинятся сухостоем голых деревьев, напоминающих высохшие за зиму борщевики.

— Так куда же я всё-таки лечу? — с мольбой в голосе вдруг спросила, очнувшись от глубочайшего и долгого сна и судорожно лоя губами воздух, Шнурок у Скверчонка.

— Им виднее, куда ты летишь, — видимо, имея в виду пилотов, ответила ей Скверчонок, очевидно, вышедшая за время сна соседки из состояния лихого сватовского запала. — Хотя даже им не видно ничего, кроме неба. Понимаешь два пилота в кабине, а вокруг — одно только небо, небо, небо, и снова небо, и ниже небо, и выше, и левее, и правее, и всё — голубое, и всё — одно. И летают

в нём, кроме железных птиц, одни только птицы живые. Правда, железные птицы сожрали живых, но живые всё-таки продолжают дышать, двигаться и развиваться в утробе у железных, а значит, у них по-прежнему есть путь и судьба. Куда летят они все, куда стремятся, чего ищут? Разве же знает об этом хотя бы одна живая душа?

— Да отчего же, отчего, за что эти чёртовы люди разлетались так, как птицы? — горестно воскликнула Шнурок, почуввав уже полнейшую безысходность.

Но отвечать ей на вопрос — тем более на такой, риторический, — было неудобно: гигантская железная птица, которая проглотила их со Скверчонок, вдоволь растеревшись противообледенительной жидкостью, поползла, потом побежала, потом бешено разогналась и — взмыла, рассекая воздух, вспарывая ему брюхо, спешно всасывая в себя свои механические ноги.

За окном неба не было, не было моря, не было даже гор. Не было облаков и ветра. Не было и той родной стаи пернатых птиц. Все иллюминаторы забили, разросшись до неприличия, одни железные крылья. Они маячили без фона в каждом окне, отблескивая стальной каёмкой и крупными болтами прошивки.

Шнурок нервно сглотнула от ужаса, вцепилась в ручки сиденья. Но крылья всё росли. Они пробили обшивку салона, они влезли вовнутрь, зловеще подбываясь к ней до тех пор, пока она не завопила, не расстегнула ремень, не влезла с ногами на сиденье, не сжалась. Крылья подползали, тянулись к ней в немой мольбе. Как немислимый океан Солярис, остановились они в каком-нибудь сантиметре от её тела, в благоговении своём не смея к нему прикоснуться.

Несколько минут зачарованно смотрела Шнурок на ползучие крылья, начиная вновь дышать ровнее и спокойнее. Затем на душе у неё посветлело. Она наконец поняла, что летит не в Россию и не в Европу, а в стёртый с лица земли, но самый дорогой на веки веков её сердцу аэропорт, источенный картечью и размётанный на куски неведомым миномётно-авиаударным питбулем; в аэропорт, откуда она когда-то возвращалась к себе домой и где в последний раз видела и целовала того, кого полюбила.

Да, посветлело у Алечки на душе. Алечка — так называл он её, он один, даже не Санечкой, как мама, а совсем уж невыносимо-ласково — Алечкой. С детской улыбкой, украденной у летних облаков, оперлась она на два титанических крыла, покорно лёгших у её ног, как два дракона или грифона, и раздвинула их, несмотря на тяжесть. Да и какая, какая могла быть тяжесть, когда крылья эти не просто летели сами по лёгкому, как дыхание, воздуху, но и безо всякого усилия несли на себе — всех людей, все вещи, весь мир?

Раскинув по сторонам железные крылья, она увидела его, и ей сразу стало спокойно, почти безмятежно. Он лежал в высокой несмятой траве, в тени, на берегу ставка, такой худой, почти слившийся с землёй. Только длинная травинка, зажатая у него в зубах, тревожно вертелась, как балансир неумелого канатоходца.

Алечка сначала подошла к круто обрывавшемуся и глубокому в этом месте ставку, и, как любила она всегда делать, окунула в него руку и долго пыталась ловить маленьких быстрых серых рыбок. Эта миниатюрная бухточка казалась ей её собственным аквариумом, который был у неё в десять лет, — особенно тяжёлые, словно пластиковые, тёмные зеленоватые водоросли и растопыренная коряга.

Потом она не спеша вытерла мокрую руку о край платья и легла возле него, положив голову ему на грудь.

«Только небо... — думала она. — Пилотам вид-но только небо... Вот оно, вот оно, наконец-то...»

Выцветшее от почти сорокаградусной жары, раскалённое сильнее солнца, небо, в котором больше не пели птицы, плыло перед её глазами, и, кроме него, существовала на свете только травинка, щекочущая это небо то лёгким покачиванием, то внезапным резким скачком или рывком, от которого колеблющийся воздух сгушался комочками бусинной слизи и вдруг пританцовывал, расплывался, будто пожираемый языками костра и на них плавающий. А ведь где-то там, не так уж и далеко, на высоте всего-то десяти километров, то ли от единства и борьбы противоположностей, то ли от неугомонной, вездесущей пляски инь и ян, сорокаградусный зной оборачивался сорокаградусным морозом...

— А где же январь? — вдруг удивлённо и взволнованно спросила Алечка, проглазев на травинку несколько долгих минут.

Он ответил ей так, чуть подумав:

Сыпались в озёра апельсины,
И жара тряслась, как холодец,
Посреди безжизненной равнины
Позабыл о ласточке Творец.

— Ох, не надо это, не надо это стихотворение, не надо, прошу тебя, милый! Я не вынесу его сейчас!

Он, будто рассердившись, отбросил травинку, сильным и властным движением привлёк к себе Алечку и долго целовал её, так долго, что налетела какая-то жирная туча. И хотя она разрослась только в полнеба, а не во всё небо, но прорвало её таким ливнем, что они, не переставая друг друга целовать — уже больше для того, чтобы прятать свои лица от секущей их воды, — почувствовали, как их стремительно смывает в ставок новорождёнными, задорными ручейками-селями.

Момент падения в глубокую воду показался немного страшным, потому что тело пронзила не-движимость. Нельзя было пошелохнуться и пальцем, и только пробивала пульсирующая, спорадическая дрожь, словно пытаюсь спасти, вытолкнуть на поверхность, не дать навсегда остаться под водой. Дыхание стало столь поверхностным и незначительным, что слишком долго оставаться в таком положении было жутковато. Через какое-то время нос и рот и впрямь начали инстинктивно захватывать воду с тем же шлёпаньем, с каким захватывает воздух рыба. Вот только веки всё ещё невозможно было разлепить.

Но тело уже оживало. Как плавник, дёрнувшись в невольном балетном движении Алечкина рука и — мягко опустилась на мужскую грудь.

Она открыла глаза лишь после глубокого и чистого вздоха. С неба, похожего на одну из плёнок со старинными кинолентами архитектора, ласково смотрел на неё шеф-повар, отец-покровитель большого семейства. Едва-едва, но всё же узнаваемый контур его лица был словно нарисован тушью для каллиграфии на бледно-бежевом пергаменте. Он предстал по пояс и занял всё небо. У него были гигантские подушечки пальцев, и, кажется, он держал в руках термометр. Алечка толком не могла разобрать, потому что она до сих пор так никогда и не видела кулинарных термометров.

Она заметила, что по ставку плыли вовсе не апельсины, а разные другие фрукты — клубника, красная смородина, малина, костяника, черника, ежевика, голубика... Изредка попадался и физалис.

— Физалис! — поправил её небесный кулинар. — В моём блюде он называется физалис, а не физалис. К тому же «физалис» рифмуется со словом «сифилис», в котором ударение тоже на последнем слоге.

И шеф рассмеялся своей незатейливой игре слов.

Ещё среди фруктов проплывали цветы. Их было два вида — фиолетовые, как фиалки, и сакурно-розовые, словно японские. Алечка с удивлением вскинула взгляд на иероглиф повара, и тот добродушно улыбнулся и кивнул ей, подбадривая. Тогда она протянула руку, выловила фиолетовый цветок и с настороженностью взяла его в рот. Она очень боялась, что он окажется солёным. Но он был вовсе не солёным, а, наверное, сам по себе безвкусным — но сладким от крема. Алечка ещё раз повозила рукой в кулинарном шедевре, облизала пальцы и поняла, что они плыли в английском креме с ванилью.

— Мне что-то это напоминает — плыть по течению среди фруктов и цветов, когда только-только упал в воду, — вдруг беспокойно сообщила она творцу трёхзвёздочно-мишленовских десертов. — Мне напоминает это что-то.

— Плавающий остров, — пожал плечами её собеседник. — Это блюдо называется «плавающий остров».

— Плавающие острова! — зашпорил она с ним, как глупая, упрямая школьница.

— Здесь нет островов, — покачал он головой с мягким укором. — Здесь остров только один. Я так хочу. Я так создал вас. Это один, только один остров.

И он, пугающе огромный, вдруг задвигался, взял какую-то посудину и начал из неё всё на свете порошить шоколадной стружкой и лепестками миндаля. И Алечка смеялась от щекотки, и переглядывалась с тем, на чьём плече лежала её голова, и стряхивала своей ручонкой с его лица сладкие съедобные опилки, и вылавливала ему клубники из английского крема, потому что от смородины он отказывался наотрез, и вновь

целовала его только для того, чтобы они могли спрятать свои лица от несносной кондитерской присыпки, и внезапно обхватывала губами его щеку, чтобы смешать вкус сакурно-фиалковой малины со вкусом шоколадно-ванильного миндаля. Когда Алечка слишком сильно на него облакачивалась, он больше не мог плыть на спине и выпрямлялся во весь рост, а она всё смеялась и смеялась тому, что и лоб, и волосы, и рубашка, и губы у него в английском креме, и бросалась ему на шею, а он крепко обнимал её, гладил по волосам и с грустной улыбкой всматривался в вечно другое, вечно движущееся, вечно непредсказанное и непредугаданное, вечно налетающее, вечно гудящее, вечно молниеносное, вечно гремящее, вечно грядущее, вечное, крылатое небо, гордо и покорно распахивая ему навстречу отражение своих стальных глаз.

ДиН симметрия

Демьян Бедный

Вперёд и выше!

На ниве чёрной пахарь скромный,
Тяну я свой нехитрый гуж.
Претит мне стих языколомный,
Невразумительный к тому ж.

Держась формы чёткой, строгой,
С народным говором в ладу,
Иду проторенной дорогой,
Речь всем доступную веду.

Прост мой язык, и мысли тоже:
В них нет заумной новизны, —
Как чистый ключ в кремнистом ложе,
Они прозрачны и ясны.

Зато, когда задорным смехом
Вспугну я всех гадюк и сов,
В ответ звучат мне гулким эхом
Мильоны бодрых голосов:

«Да-ёшь?!» — «Да-ёшь!» — В движение массы.
«Свалил?» — «Готово!» — «Будь здоров!»
Как мне смешны тогда гримасы
Литературных маклеров!

Нужна ли Правде позолота?
Мой честный стих, лети стрелой —
Вперёд и выше! — от болота
Литературины гнилой!

Татьяна Масс

Божья песенка

Отец Жак пытался набрать в Word праздничную проповедь. Всматривался в экран, писал текст, стирал его, вновь стучал по клавиатуре. Свежих примеров для вразумления своих прихожан у него уже не находилось. За полвека служения кюре успел перебрать в своих выступлениях с амвона даже мелкие грешки рода человеческого. И его уже не вдохновляло вновь и вновь объяснять своей пастве, зачем родился Спаситель. Он замечал, как все они облегчённо вздыхают, когда органщик начинает нетерпеливо перебирать ногами по деревянным педалям церковного органа, что означает близкое завершение проповеди.

Священник поднял глаза от экрана, посидел в тишине. За окном моросил мелкий декабрьский дождь. К замку, что высился неподалёку на холме, подъехали два мини-автобуса с рабочими.

«Значит, баронесса всё-таки приедет», — подумал кюре.

Баронесса предпочитала отель в Монако или в Лос-Анджелесе. Она не любила этот замок. И не жила в нём. Но, как и предыдущие поколения владельцев, баронесса заботилась о своём родовом гнезде.

Замок был реликвией, ветшающим знаком их древнего рода, бывшего господства фамилии и мощи, воплощённой в этих стенах. Музей, а не место жительства.

Баронесса любила тепло, солнце, движение, толпу. Но в каждое Рождество она приезжала на три дня в маленький городок в Нормандии, устраивая торжественный обед для нынешней «знати»: мэра, полицмейстера, кюре.

Перед её приездом управляющий нанимал дополнительных работников, чтоб очистить дорожки парка от листвы и веток, проветрить и вымыть дом, начистить паркет и люстры, проверить трубы, паровые котлы, канализацию, заменить электролампочки, закупить у лучших фермеров продуктов и вина.

В этом году прошёл слух, что баронесса не приедет. Но вот опять, как всегда в середине декабря, управляющий развёл работы вокруг замка, что означало скорый приезд хозяйки.

На колокольне зазвонили колокола. Это была репетиция перед праздничными мессами. Новенькая — монахиня Катрин — привезла из монастыря в Германии компьютерную программу для колокольни и проверяла её сейчас, закладывая в базу данных новые мелодии. Монахиня была молодая, в ней ещё играли кураж и озорство. Вот сейчас на всю округу церковные колокола запели старинную немецкую песенку: «Ах, мой милый Августин, Августин, Августин!»

Прохожие на площади удивлённо заворачивали головами на колокольню. Городок превратился в большую музыкальную шкатулку с наивными куколками-людьми, двигающимися под механическую сентиментальную мелодию. Хмурый булочник выглянул из своей пекарни: посмотрел на церковь, почесал голову, поправил свой колпак и скрылся.

Кюре от души рассмеялся.

Зажужжал телефон, ползая, как жук по столу, и, ещё продолжая смеяться, кюре ответил на звонок: — Слушаю.

Голос викария удивлённо спросил:

— Вы что, смеётесь?

— Ну не плачу же, монсеньор, — ответил кюре.

И викарий сделал тяжёлую паузу.

— Я не хотел вас беспокоить перед Рождеством, дорогой брат, но вынужден сделать это.

— Всё по той жалобе?

— Да. Вы же знаете, что господин Вильен вместе со всей своей семьёй сейчас перешёл в другой приход, но собирается вернуться после того, как я сообщу ему о результатах моего разговора с вами, дорогой брат во Христе.

— Я не буду извиняться перед ним, — резко ответил кюре.

— Помолчите и выслушайте: Вы нарушили принцип таинства исповеди, обругав человека, который вам доверил свои тайные пороки. Это недопустимо в нашей церкви.

— Я его не обругал, я просто напомнил ему, что про этот тайный порок он рассказывает мне уже тридцать лет — и не делает никакой попытки от него избавиться. Для него исповедь, видимо,

просто традиция, обряд. У него ни капли сожаления или раскаяния. Что я мог ещё ему сказать?

— Помолчите, — приказал голос викария в телефоне. — Если вы не принесёте ему свои извинения, вам могут грозить серьёзные неприятности, а мне было бы жаль наказывать вас. Вы знаете, что я всегда относился к вам с большой теплотой.

— Хорошо, в следующий раз я выдам ему индульгенцию на этот грех, чтоб больше никогда не слышать о нём, — рассердился кюре.

Викарий в возмущении замолчал и прервал разговор.



Через два дня кюре получил приглашение на Рождественский сочельник у баронессы. Он хотел было отказаться: устал, вымотался за последнее время. Но, подумав, всё же решил пойти. Сочельник в церкви, а потом ненадолго к баронессе — и домой, чтобы успеть отдохнуть перед воскресной мессой.

«Ну, я им задам праздничную проповедь!» — думал священник. Он был немного раздражён в последнее время — возраст давал себя знать. И ещё усталость, накопившаяся в его устарелом теле.

От сырого промозглого ветра болели суставы, он с трудом выстаивал мессу в последнее время.

Ещё жалоба, которую написал на него викарию его постоянный прихожанин... Да, он сорвался, резко сказал ему во время исповеди: «Послушайте меня: сколько можно повторять этот грех?» — вместо слов: «Иди с миром!» И человек обиделся и теперь ездит на мессы в другой храм за тридцать километров.

Да, видно, месье Вильену легче поменять приход, чем перестать разглядывать непристойные журналы...

Христос как будто не приходил в этот мир — горько думал старый священник. Или мы уже привыкли к тому, что Он приходил...

Вернувшись вечером к себе (он жил в приходском крошечном доме), отец Жак решил наконец-то разобрать накопившиеся счета и бумаги. На кухне хозяйничала старая монахиня Тереза. Она готовила ему ужин. Был пост, на плите томился овощной суп. Влажный запах капусты и лука повис облаком.

— Тереза!

— Да, отец Жак?

— Вы были сегодня у мэра?

— Да, отец Жак.

— И что он ответил на мою просьбу?

— Он сказал, что, к сожалению, он вынужден убрать рождественские ясли из мэрии. Это приказ префектуры... По всей Франции из публичных пространств убирают рождественские символы.

— Но почему...

— Говорят, что эти символы оскорбляют мусульман, — перебила его Тереза.

— Я знаю эти смешные аргументы. Но почему мэр согласился? Ведь он, да и другие мэры могли бы побороться...

Перед сном, поев невкусного овощного супа — Тереза не умела готовить, — кюре помолвился горячо о том, чтобы Христос не покинул Францию, где Его так попирают...

Лёг спать, покряхтывая временам от боли, стремящей в суставы. Перед сном кюре всё думал, правильно ли он сделал, став священником.

«Отец, а может быть, ты был прав, и мне следовало бы стать врачом? Я, кажется, зря прожил свою жизнь, никого не обратил в веру, я негодный старый пердун, а не священник!» — ругал себя старик. Он даже заплакал от тоски и одиночества. В минуты разочарований и усталости собственная жизнь, как никогда, кажется глупой пародией, презрительной шуткой.



Вечером в сочельник в храме кюре сказал самую короткую проповедь в своей жизни:

— Вчера моя помощница Катрин включила светскую песенку на колокольне. Колокола отбивали такт, перезванивая, как шкатулка с музыкальным сюрпризом. Все люди на площади удивились, услышав эту музыку. Может быть, кто-то из вас вчера слышал эту старинную песенку с нашей колокольни?

(Многие слушатели закивали головами.)

— А лишь одна женщина на площади не удивилась этой музыке. Она удивилась лишь тому, что все прохожие останавливались и смотрели на колокольню. И знаете почему? Потому что уважаемая дама эта — магрибинка, женщина в хиджабе, и она просто не знает эту знаменитую в Европе песенку про милого Августа. Она могла подумать, что это молитвенный гимн или ода Господу. Ну, такая Божья песенка. Ей всё равно. Мы все подобны этой женщине, не умея разбирать духовные мелодии нашей жизни. Нам по большому счёту всё равно — нежная ли это грусть, радость о Господе или зависть к соседу стучится в наше сердце. Мы не слышим! Проходим мимо самого важного — того, что живёт внутри нас... А ведь это наши собственные чувства и мысли. Мы совершенно не знаем себя и не имеем трезвой оценки своего внутреннего состояния. Христос родился в мир, чтобы мы научились слышать невидимое — голос Святого Духа — Обличителя и Наставника. Я вот думаю: неужели Христос пришёл зря? И мы за две тысячи лет так и не научились духовному слышанию? Мы — давайте признаем это — чужаки на территории Святого Духа.

Прихожане внимательно слушали его. Кажется, впервые в жизни. Конечно, проповедь была не-праздничной, слабой с точки зрения церковной риторики. Тут не привыкли к таким простеньким речам с кафедры. Но священник говорил как власть имеющий. И некоторые слушатели задумались. Ненадолго. Потому что людей ждали семейный ужин, подарки, радость любимого праздника — Рождества.

Баронессе было за сорок пять, но на вид не больше тридцати пяти. Смешливая, живая, подвижная, смуглолицая, с крупным породистым носом. Глядя на неё, никто бы не назвал её пышным титулом — баронесса.

Она уважала пластическую хирургию — и часто меняла своё лицо.

Кюре, войдя в гостиную и обняв баронессу, сказал ей:

— Ну вот, ты опять изменилась! Как посвежело и помолодело лицо. Жаль, что нет таких врачей, которые бы враз так улучшили бы нашу душу...

Незнакомая с кюре мадам, приехавшая с баронессой из Парижа, удивлённо подняла брови, выслушав такой странный комплимент от старого священника. А баронесса рассмеялась. Она знала этого человека с детства, он крестил её и её сестру, проводил конфирмацию, ему она исповедовала свои первые детские грехи.

Ужин проходил тепло и уютно. За окном бушевала буря, ветер хлестал по деревьям парка и по окнам мощными порывами. В большой столовой за огромным столом, покрытом хрустящей льняной скатертью, шли неторопливые разговоры, раздавался смех, стук приборов. Неслышно сновали приглашённые официанты, метрдотель следил за порядком подачи блюд.

После ужина баронесса начала вручать подарки. Для каждого у неё был припасён приятный и многозначительный сюрприз. Мэру она подарила галстук Шарля де Голля, полицмейстеру, увлекающемуся игрой на скрипке, — старинный поупитр. Для кюре она привезла гобелен, выполненный по картине «Грехопадение» художника шестнадцатого века Корнелиса Корнелиссена. Адам и Ева стоят голые, едва прикрытые фиговыми листиками, а райские животные в страхе жмутся к земле.

Кюре посмотрел-посмотрел на гобелен и решительно отказался принять его, сказав, что ни за что не повесит его ни в доме, ни в храме.

— Голые люди не могут находиться в святом месте! — проворчал старик.

— Это же прародители, — улыбнулся полицмейстер, подмигнув незаметно всем.

— Ну а папу и маму нужно уважать, — ответил ему кюре.

— Да, эксцентричный у вас кюре! — шепнул на ухо баронессе один из её гостей.

Той было неловко за свой неудавшийся сюрприз.

В кабинете баронессы, куда она пригласила кюре, все стены были увешаны семейными фотографиями: Барон Т., дедушка баронессы, на охоте рядом с тушей убитого им кабана, свадебная фотография её родителей, фото младенцев — баронессы и сестры.

Вот она — девочка пяти лет в сарафанчике — на яхте, с плачущим лицом.

— Я впервые вижу это фото здесь, — обратился отец Жак к баронессе.

— Да, я недавно нашла его, — баронесса пошла к стене с фотографиями. — Помню, как я заплакала оттого, что увидела мёртвую чайку на нашей яхте.

— Какая же ты была ангел, — сказал кюре. — Твоё чистое сердечко залилось слезами от сострадания... Ну как ты живёшь, моя дорогая?

— Спасибо, отец Жак, всё у меня по-прежнему.

— Ну да, всё по-прежнему... В храм не ходишь, не молишься, Евангелие не читаешь. Даже сегодня, в сочельник, не пришла на мессу.

— Было много дел... — улыбнулась баронесса.

— А я знаю, отчего ты не ходишь в храм. Ты думаешь так: «Ну о чём мне молиться, дорогой отец Жак? У меня всё есть!» Я скажу, чего у тебя нет, — продолжал кюре. — У тебя уже нет слёз сострадания, которые были у тебя в детстве, а значит, в тебе уже нет истинной жизни. Моё дорогое дитя, прости мне такие резкие слова. Я сказал их, потому что не уверен, что мы ещё раз увидимся. Я ведь уже очень стар.

— Ну что вы, отец Жак! Вы в прекрасной форме! — запротестовала баронесса. — Я уверена, мы ещё не раз увидимся с вами. Но если у вас возникнут проблемы со здоровьем, я отправлю к вам наилучших врачей. И вы будете жить долго, наш дорогой кюре.

Баронесса привезла из Парижа знаменитого философа, только что выпустившего новую книгу. Месье был ироничен, умён, наблюдателен. Он скромно просидел весь ужин, тихо переговариваясь с ближайшими соседями по столу, но в гостиную по просьбе баронессы он рассказал немного о своей теории Креста и нынешнего положения человечества:

— Вертикаль Креста — это дорожный указатель Бога, а горизонталь — это путь человека. Человечество сегодня актуализируется в обыденном — люди стали внимательнее к себе, к своим мыслям, устремлениям. Мы научились ценить каждый день

жизни, но при этом мы стали эгоистичны. Когда человечество наживётся в этом «умении жить» по-земному и устанет от него, тогда мы приблизимся к вертикали Креста, соскучимся по Духу. Это будет сознательный путь людей к точке пересечения — к крестовине, и наша горизонталь пересечётся с вертикалью божественного пути.

Присутствующие невольно посмотрели на кюре, видимо, ожидая комментариев от духовного лица, но старик как будто ничего не слышал — он дремал в кресле: казалось, тепло камина и сытный ужин совершенно разморили его.

Баронесса же хорошо знала своего духовного отца.

— Отец Жак, вам не избежать наших вопросов после презентации новой теории, — обратилась она к нему.

— Да что тут нового? — невинно открыл свои голубые выцветшие глаза кюре. Видно было, что он совершенно бодр и свеж и не собирался спать. — Люди испокон веков придумывают новые теории, чтобы держаться подальше от Бога. А на самом деле эта горизонтальная жёрдочка, на которой мы сидим, это и есть наша жизнь. И мы в ней просто устраиваемся поудобнее. И вовсе никуда не движемся. Разве только меняем один сорт кофе на другой. Поверьте-ка старому священнику: никакого пути к Богу без сознательного выбора и усилия для человека не существует. Посмотрите, как высоко мы оцениваем, к примеру, творения человеческого гения: картины продаются сегодня на аукционах за миллионные суммы! В каждый истинный шедевр вложено немало усилий и труда — и самой человеческой личности. А по теории, которую я сейчас услышал, выходит, что духовная жизнь может совершиться автоматически, без всякого усилия, по инерции: наскучит нам наслаждаться обычной жизнью — тут нас и поджидает путь в райские обители. Извините, тут даже не хочется ни о чём спорить. Ведь на самом деле жизнь по инерции — это путь в ад...

Философ как-то по-особенному благожелательно улыбнулся кюре, окинув взглядом присутствующих:

— Святой отец, благословите меня доработать с учётом ваших пожеланий. И молитесь обо мне! Я люблю жизнь — каюсь, люблю красивых женщин, хорошее вино.

Кюре внимательно посмотрел на него:

— Вы мне напомнили одного нашего прихожанина, который так долго кается в своём тайном пороке, что, кажется, даже гордится им.

— Уж не мужчин ли лобит ваш прихожанин? — вступил в разговор месье в кожаной куртке и табуировках.

— Нет, что вы! — замахал руками отец Жак.

— Он прелюбодей? Рукоблуд? Извращенец? — легко выстреливал вопросами татуированный гость.

Священник совершенно растерялся от этих нападок и замолчал. Его худая шея неуклюже высовывалась из белой сутаны, он сник и ссутулился.

Некоторые гости рассмеялись: кюре при этом споре потерял все аргументы, сбитый с толку энергичным натиском человека в кожаной куртке, и выглядел как-то уж очень по-детски беззащитно и растерянно. Смеялась над ним по-доброму и баронесса.



Возвращаясь домой, кюре остановил машину на общей стоянке. Буря ещё не утихла. Священнику приходилось останавливаться, пережидая порывы холодного влажного ветра. Он вспоминал вопрос, что задала ему одна гостья напоследок: «Зачем вы, христиане, всё время призываете страдать?» Он ей ничего не ответил. Она, кажется, спросила искренне. Может, надо было ответить? «Струсил, побоялся вновь стать осмеянным, — укорял себя кюре. — Где моё дерзновение?... Старый я, никчёмный человек...»

И, проходя мимо храма, он увидел, что ветер хлопает тяжёлой дверью. Было уже два часа ночи, монахини должны были убрать и закрыть храм, поэтому кюре, сильно удивившись, толкнул тяжёлые ворота и взгляделся в полумрак. Прислушался. Да, там у алтаря горел свет, и кто-то как будто плакал.

— О Господи! — вздохнул кюре. — Что опять случилось? Даже в Рождество нет покоя!

Но, проходя меж рядами стульев и приближаясь к алтарю, он понял, что здесь произошло что-то невиданное, особенное: некоторые стулья были опрокинуты, светильники сброшены со стен... В алтаре плакала женщина.

— Боже милостивый! — испугался кюре. — Что здесь происходит?

Из алтарного помещения вышли на звук его голоса три человека. Их лица были закрыты чёрными масками.

— Что, старик, не ждал в Рождество гостей?

— Что вам тут понадобилось?

— Мы пришли проверить вашу веру. Твои монахини уже отреклись от Христа — старая сказала, что Христос для неё не важен. (При этих словах раздался тихий всхлип Терезы, которая, оказывается, сидела связанная на полу у кафедры.) Ну а молодая просто соглашалась со старой. За это мы подарили им жизнь.

— Да кто вы такие, чтоб дарить жизнь? — не сдержался кюре. — Этой возможности у вас нет, не льстите себе. Вы не Господь Бог.

— Что ты мелешь, старый идиот? — угрожающе усмехнулся главный из трёх. — Ты бы видел, как твои монашки целовали нам руки!

Монахинь приволокли поближе. Они были избиты, со связанными руками. Тереза постоянно тихо всхлипывала, Катрин молчала. У неё на лице виднелся огромный кровоподтёк.

Трое в масках приказали целовать им руки — монахины послушно перецеловали руки этим людям. Но тем показалось этого мало, и они выставили вперёд свои ноги, приказав «почистить слезами» их кроссовки. Монахины со всхлипыванием подчинились.

Священник смотрел на всё это с опрокинутым дрожащим лицом.

— Ну а теперь твоя очередь, старый кретин, — обратился главный из этих троих к нему. — Ну давай, отрекайся от своего Христа и поклонись нам — мигрантам, грязным арабам. Иначе...

— А вот тебе отречение! — кюре выставил фигу в лицо главному. — И вот тебе поклонение! — выставил вторую фигу.

— Ы-ы-ы! — страшно захрипел он, когда они полоснули ему по горлу ножом.

Полицейские, допросив монахинь в госпитале, куда их привезли с ранениями и ушибами, ушли под утро. Катрин, засыпая на койке скорой помощи, с тяжёлой от лекарств головой, вдруг сказала:

— А ведь мы были бы уже с Ним сейчас.

Тереза заплакала.



В храме при отпевании отца Жака викарий сказал о том, что это был человек праведной

жизни: во время службы в армии в Алжире он, молодой солдатик, отказался убивать людей. И что во время подготовки к похоронам оказалось, что у отца Жака нет ни одной незаштопанной сутаны: все свои деньги он отдавал бедным семьям и нуждающимся людям. Люди слушали эти речи и переминались с ноги на ногу.

При отпевании кюре компьютер дал сбой, и колокола на храме несколько минут вызванивали песенку «Ах, мой милый Августин!» вместо надрывного траурного боя. И почему-то именно тогда вся церковь залилась слезами.



Рассказ написан на основе реальных событий. В 2016 году СМИ сообщили: «Сторонники „Исламского государства“ захватили заложников в церкви городка Сент-Этьен-дю-Рувре, расположенного в Нормандии на севере Франции. Жертвой нападавших стал восьмидесятишестилетний настоятель храма Жак Амель. По сведениям всё того же британского издания, злоумышленники перерезали ему горло, а затем нанесли сильные ранения ещё одному посетителю храма — в настоящее время он находится в госпитале в тяжёлом состоянии. Ещё с тремя освобождёнными заложниками работают психологи».

Франция, июнь 2021

ДиН симметрия

Валерий Брюсов

Мир N-измерений

Высь, ширь, глубь. Лишь три координаты.
Мимо них где путь? Засов закрыт.
С Пифагором слушай сфер сонаты,
Атомам дли счёт, как Демокрит.

Путь по числам? — приведёт нас в Рим он.
(Все пути ума ведут туда!)
То же в новом — Лобачевский, Риман,
Та же в зубы узкая узда!

Но живут, живут в N измереньях
Вихри воли, циклоны мыслей, те,
Кем смешны мы с нашим детским зреньем,
С нашим шагом по одной черте!

Наши солнца, звёзды, всё в пространстве,
Вся безгранность, где и свет бескрыл,
Лишь фестон в том праздничном убранстве,
Чем их мир свой гордый облик скрыл.

Наше время — им чертёж на плане.
Вкось глядя, как мы скользим во тьме,
Боги те тщету земных желаний
Метят снисходительно в уме.

1924

Пётр Любестовский

Отчий дом

В купели белых черёмух

Весна вихрем ворвалась в город.

На исходе марта установились погожие дни, и щедрое солнце усиленно сушило внешние воды, отогревало землю, оживляло природу.

Так длилось и весь апрель, а в начале мая всё вокруг окрасилось в яркие зелёные цвета. За городом, в пойме реки Десны, на зелёном луговом ковре вспыхнули жёлтые огоньки одуванчиков. А по-над рекой закучерявились молодые ивы, распустили длинные косы берёзки, в белые одежды облачились кусты черёмушника, расточая на всю округу дурманящие запахи.

Заядлый рыбак Фёдор Асмолков, тридцатилетний хорошо сбитый мужик с добрыми светлыми глазами цвета внешней воды, всё свободное время проводил на реке. В пору цветения черёмухи хорошо шла на удочку белая рыба: язь, плотва, елец, голавль, уклейка.

Едва река входила в берега, Фёдор, захватив свои нехитрые рыбацкие снасти — телескопическую удочку, набор крючков, грузил, поплавков и небольшую подхватку, чуть свет направлялся к мосту через реку, чтобы перебраться на другой берег, густо поросший лозняком, ивой, крушиной и черёмушником.

В то погожее майское утро Фёдор встал по обыкновению рано, наспех перекусил и хотел тайком улизнуть из дома. Но жена услышала шаги, проснулась и добродушно, с грустью спросила:

— Опять на весь день — от зорьки до зорьки? А я всё одна и одна...

— Надюша, сегодня обещаю вернуться пораньше — дома есть дела, — заверил жену Фёдор. Подошёл к кровати, погладил пышные Надины волосы, наклонился, чмокнул в щёку. — Поспи, ещё рано...

За рекой, на высоком взгорье, виднелось большое старинное село Покровское, с полуразрушенной церковью — памятником архитектуры семнадцатого века. Фёдору доводилось бывать в этом живописном селе. Из Покровского была родом его жена, рано оставшаяся сиротой.

Окончив техническое училище, Фёдор был призван на Северный флот, а после увольнения

в запас устроился на завод токарем. Там и приметил бывший моряк молоденькую станочницу Наденьку Тихомирову, стройную, как берёзка, красавицу с синими глазами, похожими на утреннее небо весной, и русой косой, которую она укладывала венцом вокруг головы.

Фёдор долго любовался девушкой издали, а когда осмелился и проводил домой, то немало узнал о её нелёгкой судьбе. Мать Нади тяжело болела и ушла рано, когда девочке не было и десяти лет. Отец попытался заглушить горе вином. Как-то, возвращаясь с работы в сильном подпитии, свалился с моста в ледяную воду и утонул в Десне. Близких родственников у Нади не оказалось, и девушку, оставшуюся сиротой, направили в детский дом, где она хлебнула горя по самые глаза.

Фёдора глубоко тронула судьба девушки, и в его сердце закралась жалость к ней, а это, как известно, первый признак настоящей любви. Надя жила на частной квартире, экономила каждую копейку: в кино не ходила, скудно питалась, одевалась скромно.

Фёдор решил, что отныне ответственен за благополучие девушки, судьба которой оказалась так немилостива к ней. Парень был предельно внимателен к Наде, на каждое свидание приносил ей сладости, а с полочки дарил небольшие подарки, чем ещё больше расположил девушку к себе.

Асмолков всё чаще задумывался, как в дальнейшем облегчить Надину жизнь. Но о женитьбе пока не помышлял — сам ещё не встал как следует на ноги. Однако, видя, как за красавицей Надюшей увиваются ребята в цеху, Фёдор, боясь потерять девушку, всё же решился на ответственный шаг, будучи уверенным в том, что без Нади ему не прожить.

Мать Фёдора, Тамара Михайловна, не одобрила выбор единственного сына — бесприданница-невестка её не устраивала. И Фёдор, опасаясь, что Наде тяжело будет ужиться со сварливой свекровью, принял решение сразу же после свадьбы уйти с женой на частную квартиру.

Трудно пришлось молодым в первые годы совместной жизни. За непослушание родители помощи сыну не оказывали, и молодожёнам

приходилось рассчитывать только на себя. А своих средств едва хватало, чтобы свести концы с концами.

Но пару лет спустя умерла бабушка Фёдора — Дарья Семёновна, горячо любившая внука, по сути — его вторая мать, поставившая мальчишку на ноги. Как это ни прискорбно звучит, но старушка, уйдя в иной мир, облегчила участь молодой семьи, оставив в наследство внуку свою неказистую хибару.

Фёдор сумел потихоньку наладить старую избу — благо руки у него были хозяйственные: подвёл прочный фундамент, заменил подгнившие брёвна, перебрал полы, сменил подоконники и лутки, поставил новые рамы, обшил стены тёсом, перекрыл шифером крышу, пристроил большую светлую веранду. И дела у Асмолковых пошли на лад.

Теперь можно было подумать и о первенце. Но тут у Надюши раз за разом случилось два выкидыша. А потом она долго лежала в отделении гинекологии городской больницы, надеясь с помощью врачей всё исправить. Но при выписке слова лечащего врача не оставили никаких надежд: «Весьма сожалею, но у вас нет шансов иметь своего ребёнка...»

Надюша тайком плакала, виновато прятала глаза, а Фёдор всячески успокаивал жену и убеждал, что следующей весной аист обязательно принесёт им первенца. И сам свято верил, что в их доме рано или поздно зазвонят детские голоса и их жизнь наполнится новым смыслом. Однако время шло, и с каждой весной их надежды на первенца таяли, как прошлогодний снег.

Надюша, чувствуя свою вину, замкнулась и всё больше уходила в себя, постепенно отдалялась от мужа. А Фёдор не знал, как утешить её, как унять её душевную боль, как облегчить страдания.

Чтобы не видеть Надиных глаз, полных грусти и тоски, Фёдор уходил на реку. Там он был в своей стихии и на время забывал о беде, о глубокой печали в больших красивых глазах жены, а если и вспоминал, то с верой в то, что всё непременно наладится. «Если жить правильно, по совести, то всегда можно надеяться на перемены к лучшему, — утешал себя Фёдор, вспоминая слова своей мудрой бабушки. — Врачи ведь тоже люди и тоже ошибаются...»

На реке Фёдор давно облюбовал себе укромное место и с той поры старался его не менять. Особенно хорошо здесь было по весне, в дни обновления природы и буйного майского цветения.

Устроившись на старой поваленной раките, среди белых, словно заснеженных ветвей черёмухи, Фёдор, наладил снасти, подготовил наживку и забросил удочку под пышный ивовый куст, купающийся в тихой заводи.

Цветущая черёмуха искрилась на солнце белыми хлопьями, пьянила и дурманила сладким

ароматом, навевала светлые мысли, вызывала приятные воспоминания о первых свиданиях с Надей, о первых признаниях в любви, о первом поцелуе.

Но предаваться воспоминаниям мешала поклёвка, которая в это яркое весеннее утро была на редкость отменной. Фёдор едва успевал снять блеснувшую на солнце чешуёй плотвичку и наладить новую наживку, как поплавок вновь уходил под воду. Фёдор резко подсекал, и над водой, извиваясь и блестя серебром, взмывала новая рыбёшка. Фёдор наблюдал, как в чистой заводи играли стаи ярких рыб, мелькая тёмными спинками и красными плавниками, ловко заглатывая при этом его подкормку.

Он так увлёкся, что не сразу услышал, как в зарослях черёмушника кто-то тихо пропищал. Фёдор прислушался. Писк повторился. «Не могу понять, что это: птица — не птица?» — подумал про себя рыбак и вновь прислушался. Теперь ему показалось, что этот звук принадлежит младенцу.

Асмолков обернулся и вновь прислушался — слабый писк повторился. «Может, от черёмухового дурмана моя голова пошла кругом?» — мелькнула догадка у рыбака.

Фёдор встал, воткнул в землю удилище и тихонько направился в зелёную чащобу. Не пройдя и десятка шагов, под старым раскидистым деревом, на белой простыне из опавших лепестков черёмухи, он заметил розовый свёрток.

Фёдор подошёл ближе и увидел грудничка. Судя по всему, это была девочка. Она смотрела на него, не мигая, широко распахнутыми глазами. На пухлых щёчках ребёнка блестели прозрачные бусинки слёз. В одной из этих бусинок барахтался маленький коричневый муравей. Рядом лежала пустышка.

В этот момент ему послышалось, будто кто-то прошёл неподалёку, хрустя валежником. Асмолков тотчас сорвался с места и, раздвигая ветви кустарника, бросился в сторону тропинки, петляющей вдоль реки. Тропинка была пуста. «Наверное, показалось», — подумал рыбак.

Асмолков вернулся назад, заглянул под куст черёмухи, укрытый крупными белыми гроздьями, словно желая убедиться, сон это или явь.

Свёрток лежал на прежнем месте. Лицо девочки было красным. «Видимо, от крика», — подумал Фёдор. Девочка вновь пискнула. Фёдор робко шагнул к ней, поднял свёрток на руки. Подолом рубашки осторожно вытер лицо ребёнка, затем вытер и поднёс к губам пустышку. Девочка приняла её и сделала несколько сосательных движений.

Фёдор слегка поправил краешек одеяла, закрывавший подбородок девочки, и оттуда показала бумажка — тетрадный листок в клеточку, сложенный вчетверо. Фёдор вынул её, развернул. На листке небрежно было нацарапано: «Мне ребёнок не нужен. Я от него отказываюсь. У меня

он всё равно погибнет. А утопить его я не могу». Внизу стояла неразборчивая подпись.

Некоторое время Фёдор молча смотрел на малышку и о чём-то напряжённо думал. И вдруг почувствовал, что одеяло девочки снизу мокрое.

— Описалась, бедняжка! Надо скорее бежать до дому, — вслух произнёс Фёдор, словно подав себе команду.

Асмолков решительно сунул записку в карман, вернулся к заводу, смотал одной рукой удилице и стал пробираться сквозь густые кусты, оберегая розовый свёрток, будто драгоценную хрупкую кубышку, готовую рассыпаться от любого неловкого движения.

Встречные прохожие с удивлением смотрели вслед рыбаку, когда он с удочкой на плече шагал по полевой тропе в сторону города, прижимая к груди свёрток, закутанный в куртку-ветровку.

А Фёдор шёл, думал и не мог понять, как можно было бросить эту беспомощную кроху на произвол судьбы. Какой же надо быть бессердечной, чтобы так жестоко обойтись с родным человечком?! И как потом смотреть людям в глаза?! Как жить без совести, без чести, без любви?! «Всё в нашей жизни сводится к любви человеческой, — пришли на память слова бабушки. — Любовь облагораживает человека, делает его добрым. Кто этого не понял, тот не понял самого главного: только в любви наше спасение и счастье...»

— Вот, Надюша, нам Господь послал за наши страдания, — осторожно протягивая жене свёрток, с дрожью в голосе произнёс Фёдор, смахнув рукавом пот со лба.

— Откуда это? — всполошилась Надя, принимая свёрток и глядя на мужа встревоженным взглядом. — Где ты взял это милое глазастое существо?

— Всё потом объясню, — сказал Фёдор. — Сейчас надо перепеленать — она вся мокрая, а то, не ровён час, ещё заболит.

Надюша засуетилась, уложила ребёнка на кровать среди пухлых подушек, дрожащими руками достала из комода припасённое детское бельё: пелёнки, распашонки, пинетки, шапочки. Быстро приготовила ванночку с тёплой водой, распеленала девочку. Вместе с Фёдором искупали крошку. После водной процедуры Надюша укутала малышку в вафельное полотенечико, тщательно вытерла, переодела, дала пустышку. А Фёдор тем временем хлопотал у плиты — готовил кипячёное молоко.

Девочка слегка попискивала, но все процедуры перенесла терпеливо, а когда напилась тёпленького молока, тотчас уснула среди пуховых подушек.

Надюша присела рядом на кровать, склонилась над малышкой, стараясь не дышать на неё.

— Ну и где ты нашёл эту кроху? — вновь взволнованно спросила она, не отрывая взгляда от нежного лица девочки.

— Там, на берегу, в зарослях белых черёмух, — показал рукой Фёдор в сторону реки. — Поначалу глазам своим не мог поверить. Думал, что это галлюцинации от сладкого черёмухового дурмана, на котором настоян воздух у реки. Потом, немного придя в себя, попытался отыскать того, кто оставил ребёнка на погибель. Но где там. Этого бессердечного человека след давно простыл.

— Ой, — воскликнула встревоженная Надюша. — И я не могу поверить! Таковую кроху на произвол судьбы бросить. Боже, какое же каменное сердце надо иметь, чтобы решиться на такой шаг?! Я бы день и ночь у церкви на паперти стояла с протянутой рукой, просила бы милостыню, но никогда бы не оставила свою кровиночку... А к нам не предъявят претензий? — испуганно посмотрела Надюша на мужа.

— Не волнуйся понапрасну, — нежно погладил руку жены Фёдор. — Никто нас не тронет. Я всю дорогу думал о том, как могло случиться, что именно нам, бездетным, ребёнок будто бы с небес свалился. И пришёл к выводу, что кто-то сделал это преднамеренно — подобрал ребёнка, заведомо зная, что своих детей у нас нет. И, зная нас, был уверен, что мы не оставим это милое дитя, обязательно подберём, вырастим и воспитаем достойным человеком.

— Неужели следили за тобой, изучали места, где ты бываешь? — с изумлением посмотрела Надюша на Фёдора. — А ведь могли поступить по-другому — например, положить свёрток с девочкой на наше крыльцо, но, видно, испугались, что здесь их кто-то заметит.

— Вполне возможно. Но всё могло произойти случайно. Хотя любая случайность не бывает просто так. Скорее, это свыше предопределено. Господь так повелел, зная, как велико наше желание иметь дитя. Но теперь это не важно. Главное, что ребёнок не пропадёт — он в надёжных руках.

— Но ведь могут малышку отобрать и направить несчастную в дом малютки. Кто поверит, что всё так вышло? — с горечью сказала Надюша.

— А у нас на этот случай имеется охранная грамота, — загадочно улыбнулся Фёдор.

Одним движением, словно фокусник, Фёдор извлёк из кармана записку и протянул жене. Дрожащими руками Надюша развернула листок, быстро пробежала глазами неровные строчки и заплакала.

— А вот это зря, — обнял жену Фёдор и прижал к своей широкой груди. — Не надо плакать, а то дочка проснётся. Лучше подумай, как мы её назовём. Май месяц на дворе. Я предлагаю назвать Майей. Очень красивое, светлое, весеннее имя. Ты не против?

— Нет, не против, — прошептала Надюша, одавив Фёдора ласковой, благодарной улыбкой.

Отчий дом

Отец Антона Русакова во время службы на границе участвовал в боевых действиях против афганских моджахедов. Получив тяжёлое ранение, был комиссован. Перед смертью позвал сына, нутужно прохрипел:

— Береги мать, Антон. Помогай во всём. На тебя вся надежда. Не покидай родительский дом. Здесь ищи своё счастье... Изба наша состарилась, прохудилась. Приложи все силы, чтобы поставить новую. Работай и живи по совести, чтобы уважали...

После похорон Антон сквозь слёзы успокаивал мать:

— Мам, не плачь, я тебя никогда не брошу. Буду заботиться о тебе. Обязательно выполню наказ отца — построю новый дом. Будем жить вместе.

Слово своё Антон держал крепко. Нина Михайловна нарадоваться на сына не могла — настоящий хозяин. В посёлке все завидовали ей: «Путёвый парень вырос — заменил отца в доме».

Будучи студентом строительного колледжа, Антон деньги с матери не тянул. Жил на стипендию и подрабатывал. В выходные заглядывал домой, помогал матери по хозяйству. Когда настала пора идти в армию, узнал о льготе, освобождающей его от службы. И долго раздумывал, как поступить. Заметив озабоченность сына, Нина Михайловна сама завела разговор об армии и дала материнский совет:

— Иди служить, сынок. Будь как все настоящие парни. Обо мне не беспокойся. Здоровье, слава Богу, пока не подводит. Я буду молиться, чтобы ты вернулся живым и здоровым. Надеюсь, так и будет. Снаряд дважды не попадает в одну воронку. Хватит того, что отец пострадал во время службы.

Антон попросился служить на границу. В ту пору беспокойно было на Кавказе. Вслед за сослуживцами Антон подал рапорт о направлении в горячую точку, но начальник заставы отчитал его:

— У нас здесь тоже не курорт. Бывает и горячо. В это непростое время Родина доверила тебе крепко держать границу на замке. Гордись этим и старательно неси службу.

Отслужив, Антон вернулся в родной дом. Мать бросилась на шею, обняла, стала целовать.

— Заждалась тебя, сынок, извелась вся. Молилась, чтобы не попал в пекло... Возмужал. Стал ещё больше похож на отца. Отдохни, наберись сил.

— Ты лучше о себе подумай, мама, — преврал её Антон. — Вижу, как нелегко дались тебе эти два года — голова покрылась инеем. А мне некогда отдыхать. Надо ехать в город, работу искать. Деньги нужны на новую избу. Хатёнка наша скособочилась, в землю вросла, и латать её бесполезно.

— Не спеши, сынок. Слава Богу, жив-здоров. Остальное — дело времени.

Антон приняли на должность бригадира в СМУ. Работал на совесть, нередко по две смены. Подменял бригадиров на других участках. Не чурался черновой работы: подрабатывал каменщиком, плотником, сварщиком.

Все деньги шли на стройматериалы. Средств не хватало, пришлось залезть в долги. Вскоре начал стройку. Привлёк подручных. Когда было туго, на помощь приходили друзья. Работал днём и ночью не покладая рук.

Дом вышел на загляденье. Добротный пятистенок с мансардой и окнами на юг вписался в живописный пейзаж усадьбы Русаковых. Женщины, проходя по улице, не могли удержаться от восторга. Советовали Антону:

— В такие хоромы нужна хорошая хозяйка.

— За этим дело не станет, — улыбался в ответ Антон.

Вскоре после новоселья Антон привёз из города белокурую длинноногую девушку с серыми с поволокой глазами. Нина Михайловна встретила гостей на крыльце.

— Мам, это Алина. Прошу любить и жаловать, — улыбнулся Антон.

— Милости прошу в дом, — слегка растерявшись, молвила хозяйка.

За столом хозяйка узнала, что Алина окончила институт культуры, работает в городском ДК. Молодые познакомились на концерте в честь призывников, где Антон исполнил армейскую песню под гитару.

После завтрака Антон предложил подруге прогуляться, посмотреть родительскую усадьбу, пройтись по посёлку, заглянуть на берег живописного озера, побродить по тенистым аллеям старинного дворянского парка.

— Ты увидишь, как красив наш посёлок в эту чудесную осеннюю пору. Деревья полыхают кострами — глаз не оторвёшь. Берёзовая роща золотом усыпана. А небо такое бездонное и такое притягательное, что не устаёшь любоваться этой голубой солнечной верходалью. В такие минуты душа поёт. За последние годы очень соскучился по родным местам...

Алина равнодушно выслушала друга и отказалась от прогулки:

— Мне надо отдохнуть. А вечером поедем в город. Я чувствую себя здесь не в своей тарелке, — выговаривала она Антону, попыхивая сигаретой.

Нина Михайловна очень удивилась, когда сын с подругой стали собираться в обратную дорогу.

— Что вы так мало погостили? Может, чем обидела?

— Нет, мам, нам надо в город. Срочные дела, — пояснил Антон. — Приедем в следующий выходной. Поможем картошку копать.

В следующий выходной Антон приехал один. Мать поинтересовалась:

— Что же Алина не приехала? Видно, не по нраву ей у нас?

— Она работает. Репетиции без конца. Готовит праздничный концерт.

— Знаешь, сынок, не получится ничего у тебя с ней. Разные вы люди.

— Мам, она красивая, мягкая по характеру, покладистая.

— С красоты воды не пить, как говорят в народе. Тебе, сынок, надо искать девушку другого склада — чуткую, живую, работающую. Ну какая из неё хозяйка будет в нашем доме?!

— Мам, я сам знаю, что Алина белоручка, к деревенскому труду не приучена, но это поправимо.

— Нет, сынок, без желания ничего не получится. Помнишь, отец любил повторять пословицу: «В наших силах привести лошадь к водопою, но не в силах заставить её пить». Желание надо было прививать с детства. А теперь поздно. Да и не поедет она жить в село, если даже сутки здесь не выдержала.

— Мам, может, ты и права, но есть в ней что-то привлекательное. Пока не буду спешить. Снимем в городе квартиру, поживём. А там видно будет.

Антон продолжал каждый выходной навещать мать. Алина больше не приезжала. Нина Михайловна допытывалась у сына:

— Что же ты, сынок, всё один да один? Соседи интересуются: «Антон твой вроде женился, невестку тебе показал, а она хвостом мотнула и пропала. Видно, ей не по нутру сельская жизнь. Мог бы и селянку найти...»

— Мам, не знаю, что делать: Алина от родителей никуда. Живу у них. Относятся ко мне хорошо. По утрам Алина спит, а её мать готовит мне завтрак, провожает на работу.

— Смотри сам, сынок. Поживи, узнай. Только детей не спеши заводить.

Как-то Антон приехал к матери и заявил:

— Всё, мам, я ушёл жить в общежитие. Ты была права — разные мы с Алиной люди. Я работал по две смены, а все мои деньги уходили на дорогую косметику, наряды, украшения. Алина стремилась шикарно выглядеть, красиво отдохнуть, вволю погулять. А мне это претит. Перекантуюсь пока в общаге. У меня серьёзные планы. Дальше учиться думаю. А ещё хочу скопить денег, купить машину, чтобы чаще дома бывать, тебе помогать.

Осенью Антон поступил на заочное отделение института и вскоре был приглашён на должность главного инженера в солидную строительную фирму. С женитьбой не торопился. По-прежнему навещал каждую неделю мать, помогал ей. Ежедневно перезванивались.

Однажды по весне мать позвонила и обратилась к Антону за советом:

— Сынок! В посёлок приехали беженцы из Украины. Бежали от войны. Им негде жить. Хочу взять к себе семью. Как ты смотришь на это?

— Мам, у тебя ангельская душа. Ну конечно, людям в такой ситуации надо помогать. Не от хорошей жизни бегут. На их долю выпало ужасное испытание. Не приведи Господь такое пережить. Не раздумывай, приглашай.

— Спасибо, сынок, за твоё доброе сердце. Я знала, что оно откликнется на чужую беду, и уже пригласила молодую семью из трёх человек.

Антон приехал в субботу. Осмотрев комнаты, с удивлением заметил:

— Не вижу наших гостей.

— Анфиса с дочкой в магазине. Она учительница. Вчера ходила в школу по поводу работы. Берут учителем русского языка и литературы. А пятилетнюю Дашу обещали устроить в детский сад.

— А где же глава семейства? — поинтересовался Антон.

— Виталий привёз их, переночевал и уехал. Он военный. Сказал: «Пока жив, буду защищать землю и людей Донбасса от бандеровской нечисти». Вот их фотография, — показала Нина Михайловна со столик в святом углу.

Антон подошёл, взял в руку фотографию в багетовой рамке. Вгляделся.

— Красивая пара...

— Красотой Бог не обидел, да счастья не дал, — раздался за спиной приятный женский голос.

Антон обернулся. Стройная, очень красивая девушка с выразительными светлыми глазами, полными тихой грусти, протянула ему руку:

— Давайте знакомиться. Меня Анфисой зовут. А это моя дочурка Даша, — показала она на голубоглазую девчущку, прильнувшую к ноге матери. — А вы сын нашей дорогой Нины Михайловны?

— Да, Антон Русаков, — смущённо улыбнулся он, протягивая в ответ руку.

И, слегка пожав худенькую ладошку незнакомки, поймал себя на том, что ощутил в пальцах тепло и лёгкое покалывание. Он отвёл руку, погладил по голове девочку.

— Простите, что без спроса взял вашу фотографию...

Анфиса достала из пакета продукты.

— Давайте попьем чайку, — предложила она.

— По такому случаю не грех выпить по чарке, — сказал Антон, доставая из спортивной сумки бутылку вина и коробку конфет. — А это, Дашунька, тебе, — протянул он девочке плитку шоколада.

Нина Михайловна и Анфиса быстро накрыли стол. Когда все уселись, Антон разлил вино по рюмкам и предложил:

— За наше знакомство, за благополучие, за то, чтобы на вашей братской земле как можно быстрее установился прочный мир!

За столом завязалась беседа. Русаковым хотелось больше узнать об Анфисе, её муже, который встал на защиту родной земли с оружием в руках, об их родителях, которые остались там, под огнём. Но Антон и его мать старались не задавать лишних вопросов. Откровенность, как известно, по просьбе не получается. Анфиса сама приоткрыла душу.

Она рассказала, что родом из-под Луганска, из сельской семьи. Училась в Донецком университете. На одном из студенческих вечеров познакомилась с Виталиком Гуренко. Он сирота. После учёбы поженились. Уехали в Луганск. Работали в одной из школ. Жили дружно, в любви и согласии. Родилась дочь. Когда началась война, село, где жили родители Анфисы, оказалось на линии огня. Во время обстрела в их дом попал снаряд. Дом сгорел, родители погибли. И тогда Виталик оставил работу, вступил добровольцем в армию ЛНР и поклялся, что будет сражаться, пока на Донбассе не наступит мир. Луганск постоянно подвергался обстрелам, и Виталик убедил жену не рисковать, уехать с дочкой в Россию.

— Люди сошли с ума. Свои убивают своих. Господи! Вразуми их, просвети их души омрачённые... — взмолилась Нина Михайловна.

— Да-а-а, — сказал Антон. — Вначале собственными руками разрушили великую державу, теперь пошли рушить дальше, убивать друг друга. И куда придём?! Кому-то выгодно славить людей, ослаблять, наживать на чужом горе капитал. Но наш братский народ не сломить — это показала история. Жаль только жертв, безвинно страдающих женщин, стариков, детей... А вас мы в обиду не дадим, — обратился Антон к Анфисе, заметив в её глазах слёзы. — Я оставлю телефон. Понадобится помощь — обращайтесь. Чем смогу — помогу. Жизнь наша чего-то стоит, когда в ней нуждаются...

Антон уехал. И каждый вечер звонил матери, справлялся о здоровье и о том, как идут дела у Анфисы, как чувствует себя Даша и нет ли новостей от Виталия. Нина Михайловна подробно рассказывала сыну:

— Анфиса вышла на работу. Коллектив принял хорошо. Детки рады, что у них такая красивая и добрая учительница. Провожают её до дома после уроков. Даша ходит в садик. Ей там нравится, много игрушек. Анфиса помогает мне. Пора сейчас горячая, много работы. В палисаднике разбила цветник. В огороде засеяла грядки. Всё у неё ладится. И Дашу приучает к труду. Виталик звонил, обещает приехать.

— Мам, я теперь буду реже навещать дом, хотя меня сейчас как никогда тянет в родные стены. Но я не хочу, чтобы злые языки навредили Анфисе. Ведь я холост, а она в разлуке с мужем. Поползут сплетни.

— Ты правильно рассуждаешь, сынок. Фиса — душечка. Не надо ей лишних переживаний. И так настрадалась. Мы потихоньку управимся сами.

Антон заглянул в отчий дом на майские праздники. Привёз подарки и сладости. После завтрака мать по секрету рассказала ему, что Анфиса интересовалась, почему Антон редко приезжает. Просила передать привет...

Антон это сообщение взволновало, и, чтобы не выдать себя, он поспешил в сад. Анфиса вышла следом, увидела, что Антон окапывает деревья, предложила свою помощь.

— Отдохни, Анфиса. Ты и так много трудишься, — сказал Антон. — Давай лучше посидим в беседке, полюбуемся этой волшебной красотой, — с дрожью в голосе предложил он. — Люблю эту пору, когда белой пеной вскипают сады, когда по посёлку плывут сладкие дурманные запахи. Жаль только, что мимолётны эти мгновения, как и жизнь человеческая.

— Прекрасное тем и прекрасно, что мимолётно. Будь иначе, мы бы привыкли к этим прелестям и не замечали бы их. Если бы у человека было две жизни, разве он восторгался бы этой красотой, ценил бы её?! Люди и одной жизнью не дорожат — сплошь раздраз, войны, конфликты. А ведь дороже жизни ничего нет, и надо ценить её, свою и чужую. Каждый день, каждое мгновение в ней дорого до слёз. «Ах, если б каждый раз так видеть землю, будто одно лишь это утро осталось про запас».

Антон посмотрел на Анфису и увидел в её глазах слёзы.

— С Виталием всё в порядке?

— Ждём. Обещал приехать, — уткнулась лицом в ладони Анфиса.

— Не надо, — погладил её по плечу Антон. — Будь сильной.

Вечером Антон сказал матери:

— Мам, пойду к Серёге Сеницыну. Он сейчас один — жена сбежала к родителям. Посидим, потолкуем, поговорим за жизнь. Заночую там. Анфисе ничего не рассказывай, куда и зачем ушёл.

Нина Михайловна одобрительно кивнула головой.

Утром, подходя к дому, Антон заметил возле крыльца незнакомца в камуфляжных брюках, с крепким торсом. Парень обливался водой.

Антон подошёл, протянул руку.

— Доброго здоровья! Будем знакомы — Антон Русаков.

Парень вытер полотенцем влажную руку, пожал руку Антона.

— Здравия желаю! Виталий Гуренко.

После завтрака Виталий предложил Антону:

— Давай посидим в саду. У меня к тебе важный разговор.

Они прошли в беседку, присели. Виталий молчал. То ли волновался, то ли собирался с мыслями. Наконец слегка дрожащим голосом сказал:

— Спасибо, что приютили мою жену и дочь. Я вечером уезжаю. Вижу, что ты надёжный мужик, поэтому обращаюсь с просьбой: если со мной что-либо случится, поддержи мою семью. У нас из близких никого не осталось...

— Об этом не думай, — сказал в ответ Антон. — Думай лучше о том, как сберечь себя. Они любят тебя и ждут. О семье не беспокойся.

После майских праздников Антон уехал в город, вышел на работу. Не прошло и недели, как позвонила мать. Сквозь слёзы проговорила:

— Сынок, срочно приезжай. У Анфисы огромное горе. Ей сообщили, что Виталик погиб...

Антон помчался домой.

Анфиса сидела на диване в чёрной косынке, тихо плакала. Её затуманенные глаза были устремлены в одну точку, где на столе в святом углу стояло их семейное фото. Уткнувшись головой в колени матери и слегка вздрагивая, лежала Даша. Антон присел рядом. Обнял обеих...

Он довёз Анфису с дочкой до украинской границы. Там их встретили сослуживец Виталика и его жена.

Расставаясь, Антон взял на руки Дашу, поцеловал. Потом подошёл к Анфисе, сунул ей в карман деньги, обнял и дрожащим голосом прошептал:

— Возвращайтесь. Я буду вас очень ждать.

И ласточки крыльями машут

Лизе Герасимовой пришло письмо из Германии. Она не думала и не гадала, что у неё есть родственники за границей, да ещё в дальнем зарубежье.

Лиза выросла в детском доме и от воспитателей знала, что она круглая сирота. Отец в пьяном угаре убил мать, за что получил длительный срок. Из колонии не вернулся — умер от туберкулёза. В том же детском доме с Лизой находился её младший брат Павлик. Лиза хорошо помнила, как однажды за Павликом приехала молодая пара и увезла его в неизвестном направлении. Лиза плакала, бежала следом, когда уводили братика, который оглядывался и тоскливыми глазами смотрел на неё. Незнакомая женщина гладила Лизу по голове, успокаивала, обещала, что скоро вернётся за ней. Семилетняя Лиза не поверила и проплакала тогда всю ночь. Ей было очень жалко маленького брата, которого увезли чужие люди. Лиза считала, что больше его не увидит.

Позднее, когда Лиза подросла, воспитатель рассказала ей, что Павлика усыновила молодая бездетная пара. Собирались удочерить и Лизу, так как братьев и сестёр разлучать нельзя. Однако с Лизой у них ничего не вышло. Поговаривали, что причиной тому были документы, по которым брат и сестра носили разные фамилии. Лиза в детдоме была

Лютиковой, а брат — Богатырёвым. Да и отчества у них были разные. Вот чиновники и посчитали, что дети не родные, хотя мать у них была одна.

Лиза выросла, окончила техникум, вышла замуж, сменила фамилию, родила троих детей. И всё это время не забывала о брате, всячески пыталась разыскать Павла, наводила о нём справки. Работники социальных служб объясняли ей, что они не знают, где искать Павла, но если бы и знали, всё равно не дали бы адреса, потому что не имеют права разглашать сведения об усыновлённых детях.

Тогда Лиза обратилась к подруге по работе:

— Света, у тебя есть компьютер. Посмотри, не ищет ли меня мой брат Павел Богатырёв, которого усыновили в шестилетнем возрасте.

— Хорошо, — сказала та, — я попробую сделать запрос.

Девушка выложила в интернет данные о Лизинем брате и о ней. Придя на смену, сообщила подруге:

— Запрос послала. Пока никаких ответов нет. Будем ждать и надеяться. Конечно, отыскать будет сложно. Ведь твоему брату наверняка сменили фамилию, а может, и имя дали другое.

Время шло, Лиза продолжала ждать, но вестей всё не было.

И вот неожиданно-негаданно пришло письмо. Лиза копалась в огороде, когда знакомая почтальонка отворила калитку и махнула ей рукой. У Лизы тревожно забило сердце, когда она, подойдя к крыльцу, заметила в руке почтальонки большой конверт с золотистой полоской и штемпелями. Ещё больше удивилась, когда взглянула на письмо и увидела иностранные буквы.

— Что ты, Лиза, так побледнела? — спросила почтальонка. — Письмо из Германии, от некого Пауля Ланке. Может, брат твой нашёлся...

— Кто его знает? — дрожащим голосом ответила Лиза, вытирая руки о подол платья. — Мне говорили, что его усыновила русская семья.

— Пути Господни неисповедимы, — заметила почтальонка, присаживаясь на лавочку у крыльца.

Лиза присела рядом, стала рассматривать конверт, поглаживать рукой, словно опасаясь его открыть. Потом спохватилась, сбегала в дом, принесла ножницы и аккуратно обрезала краешек конверта. Дрожащими руками вынула небольшой белый листок, сложенный вдвое, развернула, стала читать. Текст письма был написан от руки на русском языке.

«Дорогая сестра Лиза, здравствуй! Пишет тебе твой брат Павел Богатырёв, ныне Пауль Ланке. Я живу в Германии, в городе Вольфсбург, земля Нижняя Саксония. Будучи сиротой, был усыновлён в России в возрасте шести лет. Помню, что в то время находился в детском доме. Со мной в этом же доме находилась моя сестра, которой

в ту пору исполнилось семь лет. Сестру звали Лиза. Немецкие родители пытались удочерить сестру, но им отказали. Родители мои — немцы с Поволжья. После усыновления переехали в Германию. Многое из того, что они рассказали мне, когда я подросток, я запомнил. Родители дали мне свою фамилию и немецкое имя — Пауль.

Я окончил школу, затем колледж. Родители помогли мне со стартовым капиталом, и я открыл свой бизнес. Сейчас я владелец небольшого ресторана, который приносит неплохой доход. Зная, что у меня в России есть сестра, я, встав на ноги, начал поиски тебя, старался узнать твой адрес. Прошло немало времени, пока через волонтеров удалось отыскать твой след — ведь ты вышла замуж, сменила фамилию...

Получишь письмо, дай, пожалуйста, ответ, сможем ли мы встретиться. Хочу увидеть тебя и готов сразу же отправиться в дорогу, в твой город, где ты проживаешь с семьей. До встречи в России! Твой брат Павел».

— Ну вот. Я же говорила тебе, что от брата, — сказала почтальонка, глядя на Лизу, вытирающую слезы рукавом платья. — И чего теперь плакать? Надо приглашать в гости.

— Чем угощать-то буду?! В долгах как в шелках. Мой Витка лишился прав и теперь не работает. Мы просто бедствуем. Хлеба не всегда вдоволь. Хорошо хоть старшего сына в училище кормят, а маленьких — в школе.

— Ничего, брат богатый, — утешила почтальонка. — Ему деликатесы не нужны. Пусть наши хлеба отведают. Возьмешь немного денег в долг, а он поможет рассчитаться.

— Я и так взяла кредит, когда Витка чужую иномарку разбил. Долг — как аркан на шее: не даёт дышать. Растёт не по дням, а по часам. Мне теперь никогда не рассчитаться. Придут, опишут всё, а нас на улицу...

— Не бросайся в панику, Лиза. Господь вначале послал тебе испытания, а теперь посылает помощь в лице брата. Приглашай в гости. Он не оставит тебя в беде. Обязательно выручит. Ведь душа-то у него русская...

Старший сын Димка приехал вечером из училища и застал мать в слезах. Лиза сидела на диване, гладила конверт рукой и тихо всхлипывала.

— Мам, что случилось? Папка обидел? — насторожился сын.

— Нет, сынок. Письмо получила из Германии. Брат Павел нашёлся, твой дядя. Хочет встретиться. А потчевать чем будем? — дала волю слезам Лиза.

— Чем Бог послал, — по-взрослому рассудил Димка. — Отказывать нельзя.

Лиза протянула сыну письмо. Тот пробежал его глазами и сказал:

— Надо готовить ответ. А потом будем думать, как встретить.

Вечером, когда управились с делами, Лиза с сыном сели писать письмо. Писали до полуночи, а получилось полстранички тетрадного листа.

«Здравствуй, мой дорогой братик Павел! Получила твоё письмо и обрадовалась до слёз, что ты нашёлся, что жив и здоров. До сих пор не могу успокоиться. Ведь, кроме тебя, у меня близких родственников на этом свете нет. Я тоже тебя искала, писала в передачу „Жди меня“, но так и не смогла разыскать.

Живу с семьей на окраине небольшого городка. Муж Виктор — водитель, но пока безработный. Попал в аварию и лишился водительских прав. Помогает мне по хозяйству. Я окончила торговый техникум, работаю в магазине. У меня трое детей. Старший сын Дима учится в училище на крановщика. Ему четырнадцать лет. Это моя надежда и опора. И двое школьников — восьмилетний сын Андрюша и доченька Алёнка, семь лет. Живём скромно. В хозяйстве только поросёнок да куры.

Ты ничего не написал о семье: женат или нет? Будем рады, если сможешь приехать с семьей. Передавай привет своим приёмным родителям. Огромное им спасибо за то, что протянули тебе руку помощи в трудную пору. Приглашаем всех вас в гости. Приезжайте. С нетерпением ждём. До встречи! Твоя сестра Лиза Герасимова (Лютикова)».

Погожим августовским днём Павел подкатил к дому сестры на такси. Лиза заметила гостя в окно, всплеснула руками, выбежала во двор, бросилась в объятия брата, зарыдала. Павел тоже прослезился. Так и стояли, обнявшись, во дворе и плакали, пока на крыльце не показались дети. Павел по очереди поцеловал их — вначале Алёнку, потом Андрюшу и Диму. Следом вышел хозяин. Они обнялись с Виктором, похлопали друг друга по спине.

— Ну а теперь помогайте носить в дом подарки, — на чисто русском языке сказал Павел, показав на пухлые пакеты, сложенные на лужайке.

Павел был строен, широкоплеч, с крупным волевым лицом. Русые волнистые волосы чуть тронула на висках седина. Плащ бежевого цвета сидел на нём плотно. Особую солидность гостю придавали роговые очки. Лиза заметила, что Павел часто улыбается, и эта улыбка напомнила ей мамину улыбку, наполненную затаённой грустью. К горлу Лизы подступил горячий ком...

Первым делом Павел вручил всем подарки. Хозяйка дома, получив в подарок золотые сережки в красивой прозрачной коробочке, не сдержалась, бросилась на шею брату, разревелась. Вслед за подарками Павел выставил на стол вино, выложил продукты.

Лиза долго не могла успокоиться — не верила, что у неё такой видный, красивый и душевный брат. Она хлопотала на кухне и тайком вытирала

кончиком фартука невольные слёзы, которые катились и катились.

Накрыв на стол, пригласила всех на обед. По русскому обычаю, взрослые подняли стаканы за встречу, за здоровье гостя, пожелали Павлу чаще заглядывать на родину, поблагодарили за подарки, а его приёмных родителей — за их добрую душу. Павел смущался, радовался тёплой встречи, сердечному приёму.

После обеда, когда все устроились на диване, Лиза принесла семейный альбом и предложила брату посмотреть фотографии. Павел открыл альбом и заметил старую, пожелтевшую от времени фотографию.

— Это единственная фотография нашей матери, которая сохранилась, — сообщила брату Лиза.

— Я маму совершенно не помню, — признался Павел, пристально всматриваясь в нечёткое изображение.

Молодая женщина в белой кофточке, с козынькой на плечах, сидела на лавочке и с грустью смотрела вдаль.

— Это сосед сфотографировал, когда мама ждала пьяного отца, — пояснила Лиза. — Он и убил её по пьяной лавочке...

Дальше было несколько фотографий из детского дома. На одной из них худенькая девочка вела за руку маленького мальчика по берёзовой аллее.

— Неужели это мы с тобой? — спросил Павел, взглянув на сестру.

— Да, я веду тебя из столовой. Всегда следила, чтобы ты покушал.

— Припоминаю, как ты отдавала мне свои пирожки, говоря, что ты их не очень любишь. Нередко тайком прихватывала что-либо в столовой, а вечером подкармливала меня, положив продукты под подушку, — посмотрел Павел на сестру благодарными глазами. — А ещё хорошо помню, как ко Дню Советской Армии воспитатель поручила мне выучить стихи и как читал их потом наизусть: «У самой границы, в секрете, я зоркую службу несусь... И сердцем с родными краями в такие часы говорю... И ласточки крыльями машут, и топится чья-нибудь печь... И всё это — Родина наша, а Родину надо беречь». Так мне это врезалось в память, что больше всего на свете хотел вернуться домой, увидеть тебя и наших деревенских ласточек...

— А почему ты не женат до сих пор? — нерешительно спросила Лиза.

— Всё по той же причине, — сказал Павел. — Мечтал вернуться на Родину, жениться на соотечественнице... И живётся мне там неплохо, и родители у меня замечательные, но немцем себя не ощущаю. Чужое всё — тянет домой.

— Ох, братец, как ни трудно мне здесь приходится, — тяжело вздохнула Лиза, — но я не смогла бы жить в другой стране. Посмотри, какой

простор: заливной луг, ивы над рекой, облака плывут в синеве, словно лебеди...

— И ласточки крыльями машут, — грустно улыбнулся Павел.

— Да, и всё дорого до слёз. И люди у нас добрые. А на них как раз и мир держится, как земной шар на трёх китах... А это наш детдом, — показала Лиза на старое фото. — Здесь ты провёл полтора года, а я — целых десять лет.

— Заглядываешь туда? — поинтересовался Павел.

— Бываю каждый год. Там всё та же директор Клавдия Петровна Беляева, заменившая мне мать. Теперь уже старенькая. Помнит тебя. Каждый раз спрашивает, нет ли от тебя вестей. И наша воспитатель ещё работает...

— Давай навестим их. Я вызову такси, — предложил Павел.

— Ты бы отдохнул с дороги, — сказала Лиза. — Нас сосед довезёт.

Час спустя они уже были в старинной живописной помещицкой усадьбе за городом, где находился детский дом. Красивое строение из красного кирпича спряталось под сенью вековых деревьев. На площадке у входа играли дети. Слева и справа от высокого крыльца на клумбах цвели пышные цветы, источавшие нежный аромат. Гости прошли по коридору, постучали в дверь с табличкой «Директор». Вошли, поздоровались. Из-за стола поднялась маленькая, сухонькая, седая женщина с миловидным лицом и, слегка прищурясь, вышла им навстречу.

— Здравствуй, Лизонька! А это кто будет? Неужто Павлик? — певуче произнесла директор, обнимая гостью.

— Да, Клавдия Петровна, это мой братик. Вот сегодня приехал...

Павел подошёл, обнял директора, поцеловал.

— Это вам, — сказал он, протягивая купленный по дороге большой букет ярких осенних цветов.

Клавдия Петровна растрогалась, уронила слезу.

— Простите, — сказала она, вытирая платочком глаза. — Не ожидала увидеть сегодня таких дорогих гостей.

Директор позвала секретаря, попросила принести чаю. За чаем вспоминали сиротское детство, детдомовские годы, усыновление Павла.

— Я была так рада, что ты приглянулся той красивой паре, — сказала директор. — У вас никого не осталось, и я подумала, что у этих милых людей вам будет лучше. Но с Лизой не вышло, и я переживала, что разлучила вас.

— Спасибо вам, дорогая Клавдия Петровна! — сказал Павел. — Вы сделали что могли. У меня сложилось всё хорошо. Мои родители оказались русскими немцами и вскоре переехали в Германию. Там я имею своё дело и хочу отблагодарить вас за материнскую заботу обо мне и моей сестре.

— Вы подарили прекрасный букет цветов! Это для меня высокая честь!

— Быть может, детский дом в чём-то нуждается? Я готов помочь.

— Нет, спасибо! О нас сейчас хорошо заботятся, — сказала директор и задумалась. Потом перевела взгляд на Лизу, обратилась к ней: — Лиза! Тебя хотела видеть воспитатель Анна Павловна Данилова.

— Я скоро вернусь, — сказала Лиза и вышла из кабинета.

Директор встала, прикрыла плотнее дверь, подошла к Павлу, положила руку на плечо.

— Павел, сестра не рассказывала тебе о своём бедственном положении?

— Нет. А что вы имеете в виду? — насторожился Павел.

— В начале года её муж Виктор попал в аварию. Сам чудом выжил, но разбил чужую машину — дорогую иномарку. Права у него отняли, а за машину хозяин выставил солидный счёт. Лиза продала корову, мотоцикл мужа и, чтобы погасить долг, взяла большой кредит под высокие проценты. Но выплачивать кредит нечем, и долг растёт, как снежный ком. Семья живёт впроголодь. У них могут отнять дом. Прошу тебя, помоги им, если сможешь.

— Почему же сестра не сказала мне ничего? — удивлённо спросил Павел.

— Она и мне ничего не сказала. Я узнала это от одной общей знакомой.

— Конечно, я решу этот вопрос, чего бы мне это ни стоило, — заверил Павел Клавдию Петровну. — Лиза — единственный мне близкий человек, и я считаю своим долгом помочь ей. Часто вспоминал там, в Германии, как она заботилась обо мне, нередко отдавая мне свою порцию...

Когда вернулись домой и вышли из машины, Павел предложил сестре:

— Лиза, давай присядем в саду, поговорим о житье-бытье.

Они прошли в глубину сада, где под кустом рдеющей рябины стояла небольшая скамейка. По глазам Лизы было видно, что она догадывалась, о чём пойдёт разговор, и заметно заволновалась. Павел взял её за руку.

— Лиза, расскажи как на духу, какие трудности у вас в семье?

— Павел, у меня большая беда, — всплакнула Лиза. — Я попала в капкан и трепыхаюсь в нём, хотя знаю, что мне не вырваться... Мой Виктор работал водителем у частного, получал неплохо. Я — в магазине продавцом. Заработок хоть и невелик, но стабильный. Всё складывалось хорошо.

Мы планировали купить «Газель», чтобы работать на себя, а не на дядю, построить гараж. Дети подрастали, росли и траты. В ту ненастную ночь Виктор не спал — сильно болел зуб. Утром я сказала ему, чтобы взял отгул, но он пошёл на работу. А ближе к обеду мне позвонили: «Виктор в больнице. Попал в аварию. Разбил дорогую иномарку и сам пострадал». Я бросилась в больницу. Врач сообщил, что у мужа разрыв селезёнки. Сделали операцию. Когда пустили к Виктору, он поведал, что дорога была скользкой, не справился на повороте с управлением, врезался в новую иномарку, стоявшую на обочине. Слава Богу, в ней не было людей. Мужа лишили на год прав, а владельцы машин, выставили счета. За одну машину я рассчиталась, продав корову и мотоцикл. А на иномарку — взяла кредит в банке под большие проценты и попала в такую кабалу, что вовек не выбраться. К нам уже приходили молодчики, грозились отнять дом и пустить нас по миру...

Лиза горько заплакала. Павел обнял её, спросил:

— Сколько вы должны банку?

Лиза сквозь слёзы тихонько назвала сумму.

— Я погашу ваш долг через пару дней, — заверил сестру Павел.

Лиза вскочила, бросилась на землю, упала перед ним на колени.

— Братец мой дорогой! Буду всю жизнь за тебя Бога молить!

Павел подхватил её, усадил рядом, обнял, вытер слёзы на щеках.

— Не надо, дорогая сестрица, успокойся! Мы же родная кровь и должны помогать друг другу. Я куплю вам «Газель», дам деньги на корову и гараж.

Лиза уткнулась в грудь брата головой и зарыдала, вздрагивая всем телом. В горле у Павла защебетало.

— Ну вот!.. Зачем же плакать? Всё хорошо, — гладил он её по голове и шептал: — Если бы ты только знала, как я рад помочь тебе...

На исходе лета Павел уезжал в Германию. Герасимовы вышли проводить его. Во дворе, сверкая краской, стояла новенькая «Газель». Все по очереди обнимали Павла, плакали.

— Теперь жду вас в гости, — взволнованно повторял он.

Напоследок Лиза трижды перекрестила Павла:

— Мой дорогой братик! Господь не оставит тебя за твоё доброе сердце.

Направляясь к машине, Павел оглянулся, помахал рукой.

В яркой бездонной синеве над домом мелькали ласточки-касатки.

Виолетта Зимницкая

В клуб приехало кино

Хорошая новость вмиг разнеслась по деревне. Помнится, шла я в тот день с девочками из школы. Майское солнце предвещало замечательную погоду, в лесах уже вовсю шумела молодая зелёная листва. Машка, Ленка и я стали весело щебетать о том, что будем делать на выходных. Тут-то и появился на нашей дороге Петька Иванов, новый пастух, парень лет четырнадцати-пятнадцати, немногим младше нас.

— Привет, девочки! — говорит он по-взрослому, а сам держит в руке какой-то прутик. — Слыхали новость?

Мы переглянулись и с любопытством спросили:

— Какую новость?

— Ко мне старший брат погостить приехал, Максим.

— Конечно, слыхали, — мы разочарованно вздохнули и махнули правой рукой. — Это все уж знают.

— Только это не всё! — Петька улыбнулся. — Брат с собой механика привёз, Лёшку Гусарова, который в том году приезжал. Так вот этот механик у нас теперь. Говорит, в субботу кино будет. Во Владимировке уж видали его, завтра и мы поглядим.

— Про что кино-то? Про любовь, надеюсь? — сказала Ленка, самая смелая из нас и, по словам моей мамы, самая «языкастая».

— Про деревню, про парней и девушек. Брату понравилось. К тому ж ещё и двухсерийное! — протянул он важно.

Возвратившись домой, я решила поговорить об этом. Было ясно, что отец разрешил бы в любом случае, а вот с матерью не так. Если она не позволит, значит, дела мои плохи. Тем временем мама, в цветастом платке и домашнем халате, подметала на веранде. Брат Васька, которого встретила возле ворот, сказал, что «гром миновал», и в тот момент стало понятно: лучшей минуты не найти.

— Мама, — начала я робко, — завтра в клубе кино будет. Очень пойти хочется. Отпустишь? — прошу жалостливо.

— Что ещё за кино? — ответила мама строго. — Я тебе на выходные стирку приготовила. Уроки

не сделаны, на веранде и в бане убратся нужно. Даже и не думай. Вот ещё! Глупости!

— Пожалуйста, мама! — настаивала я. — Все девочки пойдут: Машка, Ленка и другие тоже. А кино интересное, говорят.

— Прямо-таки интересное! И про что ж?

— Про любовь, — отвечаю стыдливо и добавляю: — А ещё про деревню, про хозяйство, как люди живут.

— И зачем смотреть, если всё как у нас? Коров али свиней никогда не видала? — спросила мама таким тоном, что стало страшно. — В наше время не было никакого кина — и ничего, живы-здоровы. И про любовь не знали: кого отец выберет в мужья, за того и выходили. Удумала: видите ли, кино!

На секунду мама о чём-то задумалась — вероятно, о прошлом: о своей юности и молодости, о семейной жизни, которую они с отцом, по её словам, «как кошка с собакой прожили».

— Так и быть, — произнесла она, отступив. — Дам тебе денег, но чтобы в десять дома была.

— Как же я смогу быть дома в десять? Кино двухсерийное. До десяти только одна серия идёт, а вторая до половины двенадцатого. Лучше никуда не пойду! — заявила я. — Зачем ходить, если не узнаю, чем дело кончилось?

— Слышать не хочу! В десять, и без разговоров! Дверь запру — ты меня знаешь. Коли всю работу сделаешь — пойдёшь, не сделаешь — и одной серии не увидишь.

Я так обрадовалась! Стала обнимать её и целовать:

— Спасибо, мама! Спасибо, родная! Ты не представляешь, до чего я теперь счастливая! Всё сделаю, всё, что скажешь.

— То-то же, — ответила мама своим привычным командным голосом. — Это ещё не всё. Мишка с тобой пойдёт, — добавила она.

— Зачем же он пойдёт? — смутилась я. — Подружки обещали зайти за мной. Да и неудобно это. Что он — сторож мне?

Но мама была непреклонной. У неё очень тяжёлый характер. Оно, конечно, понятно: воспитывалась в строгости, росла в многодетной семье, где никто не балует и никого не выделяет. Трудно

нам, детям, с ней приходилось, но мы знали, что родителей не выбирают. Конечно, она тоже любила нас, просто не умела этого показывать.

— Знаю я твоих подружек! — запритчала она. — Особенно Ленку непутёвую эту. Мать на себе весь дом тащит, а ей хоть бы хны! Ничего, не стыдно! Стыдно — в подоле принести, вот что стыдно. Тем летом у Русаковых, помнишь, дочка брюхатая пришла? Видать, кино скучное попало! Какой срам! На неё все пальцем показывали, вот и убёгла девка в город, а мать до сих пор с опущенной головой ходит, людям в глаза смотреть не смеет. Запомни, — мама схватила меня за локоть и грозно прошептала: — Принесёшь в подоле — не дочь ты мне, отрекусь, так и знай, а отец убьёт! Не смей, слышишь? — из её глаз покатались слёзы.

Теперь передо мной был совершенно иной человек. Всё-таки сердце не камень, и у такой суровой женщины, какой была моя мама, оно тоже имелося. Спустя годы я поняла, что в те времена так и нужно было с нами. Благодаря дисциплине и строгости из нас получились хорошие люди, трудолюбивые и справедливые, честные и порядочные — словом, достойные граждане Советского Союза. Жаль, что тогда мы не понимали, что всё это только для нашего же блага. Если бы не те запреты и ограничения, сколько бы девчонок загубили свою жизнь!

— Что ты, мама! Я никогда, — испуганно уверяла я, тоже плача. — Если хочешь, пусть Мишка пойдёт со мной, или я дома лучше останусь. Только не плачь!

Слабость прошла. Мама вытерла слёзы большой рабочей рукой.

— Начни со стирки, бельё замочено, — произнесла она так ласково, как только могла.

Я переоделась в домашнее платье и отправилась на кухню. В самом углу комнаты огромная деревенская печь. Она была уже затоплена, два таза с бельём стояли на ней. Я знала, что в ближайшие несколько часов мне будет чем заняться. Нагрела воду и перелила её в два ведра: в первом буду стирать то, что не замочено, а во втором — полоскать постиранное. Стирка началась с постельного белья. Самыми первыми из рук выходили наволочки: с ними не было никаких хлопот: они ведь такие маленькие и мараются в меру; так что мои усилия берегутся, но, естественно, ненадолго, до простыней и пододеяльников. Кстати, эти простыни и пододеяльники в большинстве своём были светлыми, часто белыми, и это обстоятельство напрямую сказывалось на том, сколько сил придётся потратить, чтоб их отстирать. Хозяйственное мыло пенилось хорошо! В те далёкие 1960-е годы оно просто царило: им не только стирали бельё, но и мылись в бане. «Используй всё, что под рукой, и не ищи себе другое!» — эту фразу я услышала спустя много лет после того,

как переехала в город, однако именно она лучше всего подходит для описания того места и времени, в котором мы когда-то жили.

Простирать — это одно дело, другое дело — хорошенько отжать. И хотя мне было уже шестнадцать и я считалась первой маминой помощницей, однако подобное занятие давалось тяжело. Но я знала, что, кроме меня, некому. Моей сестрёнке Катке было всего восемь, в её руках ещё нет сил для такой трудной женской работы. Мама тоже не может заниматься этим: руки и спина уже постоянно болят — конец шестого десятка даёт о себе знать.

А как же после стирки у меня болели руки! Заусенцы, пальцы, запястья! Плечи ныли. Пододеяльники были мокрыми, тяжёлыми от воды. Скручивала их сначала в одну сторону, затем — в другую. Мне не хватало сил, чтоб отжать их до конца. Больше всего на свете я не любила это занятие.

Из-за стирки в моей семье частенько случались ссоры. Отец был мягче характером, понимал, что трудно мне приходится, невесток-то нет ещё, поэтому и предлагал:

— Жена, давай купим стиральную машину. Умногих есть. Чем мы хуже других? И тебе, дочка, легче будет и Катка, может, научится.

Но мама стояла на своём:

— Ничего с твоей дочкой не сделается! Пусть стирает. Зато о глупостях будет некогда думать.

На том они и расходились. Тогда, когда предо мною лежали горы грязного белья, я, чуть не плача, думала о том, что нужно было давно купить эту «чудо-машинку» — и дело с концом. Ведь и деньги-то у нас были. Мама получала пенсию колхозницы, мои братья работали на тракторах уже с четырнадцати лет, и отец зарабатывал хорошо: весной и осенью — стриг овец, круглый год — резал быков, коров и всех, кто попадётся под руку, за то ему платили мясом, которое он продавал в городе. И как бы я ни мечтала о стиральной машинке, как бы сильно у меня ни болели руки, я не смела возражать или перечить матери, выпрашивать или, что ещё хуже, требовать и поэтому мирилась с происходящим.

Вслед за постельным дело дошло и до другого белья: кальсон, платков, платьев, халатов, сорочек и так далее. Всё это по очереди тёрлось хозяйственным мылом, полоскалось, выжималось и развешивалось по бельевым верёвкам во дворе. К шести часам дело было кончено.

После ужина я принялась за уроки. Теперь мы проходили «Войну и мир». У меня в руках толстая книга. В классе их всего несколько штук, и они ходят в гости из дома в дом, от ученика к ученику: завтра её нужно отдать Ленке, а послезавтра Ленка отдаст её Машке. В итоге получится, что к понедельнику мы все успеем прочитать то, что задано.

Признаюсь, учёба давалась нелегко. Возможно, потому что у меня было мало времени на неё, а может быть, потому что многие предметы уж слишком нудные и бесполезные. За ту долгую жизнь, что я прожила, ни котангенсы, ни квадратные корни так и негодились. А сколько слёз было пролито за те тройки!

Больше всего мне нравился русский язык, по нему была твёрдая четвёрка. К физике и химии я всегда была равнодушна. Но сильнее всего попила кровь геометрия! Теоремы, доказательства эти! И всё учить нужно, зубрить. А потом задачи: докажете то, докажете это. Мои родители хоть и были неграмотными, но пользу от образования понимали. Они хотели, чтоб я нашла себе хорошую работу, где-нибудь на заводе или фабрике, и «не гнула спину в деревне», как они. Только времени на постижение наук отводилось немного, всегда работы навалом: то живность покорми, то за сестрой присмотри, то обед приготовь — и так до бесконечности.

На следующий день, в субботу, я проснулась рано и сразу принялась за дело. Сначала нужно помыть оставшуюся со вчерашнего вечера посуду: после мясного супа с бараниной тарелки были жирными и неприятными. Я замочила их в горячей воде на полчаса и вышла на крыльцо, чтоб помыть его. Там мне повстречались отец и Мишка. Они говорили о чём-то и курили.

— Доброе утро! — произнесла я радостно и подошла к старшему брату. — Ты не занят вечером?

— Чего это ты спрашиваешь? — ответил он, кашляя.

— Мама разрешила в клуб пойти, но только с тобой.

— Ладно, — сказал Мишка нехотя. — Кино-то хоть занятное?

— Петька-пастух сказал, что хорошее.

Отец посмотрел на нас, а потом заметил:

— Смотрите не задерживайтесь! Мать дверь закроет, домой не попадёте.

Мы кивнули головами в знак согласия.

Было видно, что возможность моего похода в клуб расстроила Мишку. Брат по привычке делал вид, что ему неинтересно кино и он никого не любит, но Катька уже не раз говорила, что «у него кто-то есть», и я почему-то охотно верила в это. Допустим, она права. Мишка лучше б с какой-нибудь девчонкой погулял, чем со мной кино смотреть. Но мамино слово — закон! И, к сожалению, ни поцелуя, ни прогулки под луной ему сегодня не достанется.

— Мама, можно я с ними пойду? — спросила Катька перед самым нашим уходом. — Вдруг брат не уследит? Никого к ней не подпущу! — девочка лукаво взглянула на меня и добавила: — Уж я-то прослежу за ней!

— Нельзя, — ответила мама строго. — Там взрослое кино будет. Нечего делать, — она

подошла к Мишке и спросила: — Ты всё понял? Ни на шаг не отходи от неё! Головой отвечаешь!

— Да понял я, понял, — ответил брат деловито и посмотрел на меня: — Ну что? Собралась?

На мне было самое новое ситцевое платье в мелкий розовый цветочек. Синее. Отец прошлой осенью купил, да только сентябрь холодным выдался, так и не надела его. Теперь же не могла налюбоваться на себя! Такого замечательного платья, как это, ни у кого из девчонок нет!

— Жена, может, и на вторую серию останутся? Не каждый же день к нам кино приезжает, — я была любимицей отца, и ради моей улыбки он был готов сделать невозможное.

— Жду в десять, — ответила мама, и мы вышли из дома.

Уже темнело, но звёзды ещё не появлялись. Брат шёл скорым шагом и держал меня за руку, я не поспевала за ним. В какой-то момент этот контроль так взбесил меня. Тогда я вскрикнула:

— Да отпусти ты меня, не сбегу поди!

— Кто тебя знает? Раз родители наказали, то я глаз с тебя не спущу.

— Думаешь, не знаю, что ты бы лучше с кем-нибудь другим прошёлся? Так я не держу тебя, иди. Сейчас до Ленки дойдём, я с ней пойду. Так всем лучше будет.

— Всем, кроме тебя, — ответил он холодно. — В следующий раз не пойду с тобой. Вон Катька просилась, теперь её черёд.

Я промолчала, чувствуя себя виноватой, и мы отправились дальше. Через пару минут к нам присоединились и другие ребята, парни, девушки. Вскоре показалась и Ленка.

— Привет, подружка! — мы, как всегда, обнялись. — Ты опять со сторожем пришла? Как мне тебя жаль! Доколе это будет продолжаться, скажите на милость? Ни шагу не ступить! Что ж за жизнь-то такая?

— Я отвечу, — Мишка подошёл к ней вплотную и произнёс: — Пока замуж не выйдет, до тех пор и будем сторожить. Это ведь дело такое, — он намекнул на что-то, и Ленка замолчала.

— И после замужества не будет мне свободы. Они мне мужа-сторожа найдут, — пошутила я, и брат наконец-то отпустил мою руку.

— Пойдёмте! Начинается! — слышалось в толпе, и все побежали к входу.

Кино было отличное! Выходит, не обманул Петька. Называется «Солдат Иван Бровкин». А сюжет в нём такой. Иван Бровкин считается в своей деревне «непутёвым». Что б ни делал, ничего не получается: и пастух из него никудышный, и шофёр плохой. Советская армия даёт ему ещё одну попытку. Конечно, поначалу Ване и здесь тяжело приходится, но ведь человек ко всему привыкает, всему учится. Находясь вдали от любимой, дочери председателя колхоза, парень

тоскует и всякий день отправляет ей любовные письма. Не получая ответа, герой не сдаётся и пишет снова. В конце фильма оказывается, что Любаша не отвечала ему, потому что до неё они не доходили; Самохвалов, скрывавший письма Ивана, остаётся ни с чем — как говорится, настолько мил не будешь; а влюблённые прощают друг друга.

Вторую серию я, разумеется, не увидела. Мишка сразу же поднялся с табуретки и через весь клуб «поташил» меня, как мешок с картошкой, за собой.

— Тебе тоже понравилось? — спросила его, светясь от небывалого счастья.

— Неплохой фильм, со смыслом. Я вот что подумал: раз служба так меняет людей, то я тоже служить хочу. Только отец сказал, что нужно осень ждать. Эх, поскорей бы!

— Согласна, — ответила я. — Только кто ходить за мной станет?

— Васькина очередь настала, а когда и его заберут, станет Катька.

Мы посмеялись.

— Ничего, — продолжала я, — завтра спрошу у Ленки, она расскажет, чем кончилось.

Мама встретила нас у калитки. Мы молча вошли в дом. Старинные часы с кукушкой пробили ровно десять.

Я легла и ещё долго не могла уснуть. Столько мыслей кружилось в голове! Моё сердце отчаянно стучало! Я думала о фильме, семье, школе, подружках, предстоящем замужестве. А потом все мои думы остановились лишь на нём одном, я заснула. Во сне мне казалось, что это не фильм, а явь: что это я, а не Любаша, провожаю и жду своего солдата и что мой солдат не Иван Бровкин, а наш новый сосед Володя Снегирёв, тот парень, что каждое утро оставляет букет из ромашек под моим окном.

ДиН симметрия

Владислав Ходасевич

Зеркало

Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот — это я?
Разве мама любила такого,
Жёлто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?

Разве мальчик, в Останкине летом
Танцевавший на дачных балах, —
Это я, тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, злобу и страх?

Разве тот, кто в полночные споры
Всю мальчишечью вкладывал прыть, —
Это я, тот же самый, который
На трагические разговоры
Научился молчать и шутить?

Впрочем — так и всегда на середине
Рокового земного пути:
От ничтожной причины — к причине,
А глядишь — заплутался в пустыне,
И своих же следов не найти.

Да, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала.
И Виргилия нет за плечами, —
Только есть одиночество — в раме
Говорящего правду стекла.

18-23 июля 1924, Париж

Татьяна Савина

Три печки

Фролы

Он — Пётр Фролович, она — Анна Фроловна, но звали их только по отчеству — Фролович и Фроловна. Это когда обращались. А так говорили: пойду к Фролам, у Фролов яблоки нынче хороши...

Яблоко и правда уродилось в тот год море. Весь сад был усыпан падалицей. Старики не успевали подбирать плоды, многие подгнивали. Но мама наказала нам строго-настроено: чтоб ни одного яблочка брать не смели! И не просите у хозяев. Ждите, когда угостят: вон их какая прорва! Но старики почему-то яблок не предлагали. Раз два в неделю Фролович или Фроловна собирали падалицу в большую корзину, вываливали в деревянное корыто, секли лопатой и отдавали свиньям или корове. Они не были жадными, просто не догадывались, что нам, детворе, и незрелых, кислых яблок очень хотелось. Мы жили у Фролов на квартире. В их старом небольшом доме в две комнаты, с холодным коридором, нас размещалось шестеро: родители и четверо детей — два брата и сестры. Конечно, позволь нам яблоки упавшие подбирать — скотине ничего не останется. Через день мама покупала у Фролов трёхлитровую банку молока. Чаще брала в долг, рассчитываясь в конце месяца. Работала мама на птицефабрике, на фасовке яиц, почти каждый день приносила дешёвый бой. Тем и жили: молоко, яичница, оладьи. Мешок муки уходил быстро. А Фроловна пекла пшённые оладушки из толчёного пшена, всегда приносила и нам тарелку. Мама в ответ тоже чем-нибудь угощала хозяев.

У Фролов было два сына. Старший сидел в тюрьме. Взрослые говорили, «за девчонку, которая сама с ним пошла». Младший служил в армии. Хозяйство у них было большое: корова с телёнком, три кабана, овец с пятком, утки, куры. Фролыч ещё работал, хотя, как и жена, был пенсионером. Кем-то служил на железнодорожной станции, ходил в форменном кителе, фуражке или шапке. А брюки и обувка почему-то были «гражданские», мне запомнилось это, потому что мама отдала ему двое отцовских брюк, и Фроловна приходила к нам подбить укороченные штанины на швейной машине. Старик был непьющим, малоразговорчивым,

но много читающим и, как мне казалось, несколько стеснялся своей простоватой супруги. Фроловна всю жизнь трудилась в колхозе, «в полях», как она выражалась, имея в виду полеводческую бригаду. За домом у них тоже было «поле» — восемь соток картошки. Больше ничего не сажали. Все остальные овощи Фроловна регулярно получала от своих бывших товаров в обмен на молоко.

Ходила она неделями в одной и той же одежде, с неизменным тёмно-синим фартуком поверх платья или юбки. Он вообще никогда не менялся, да и стирался, похоже, редко. Купленное молоко мама всегда тщательно процеживала через марлю. Но марля на удивление оставалась чистой. Корову наша хозяйка любила больше всех из своей живности, баловала её арбузными корками, разговаривала ласково, холила, словом. Кроме подойника, у неё было особое ведро, из которого обмывалось вымя. И тряпки для Зоряны менялись каждый день. Тогда как Фролыч, любивший по утрам пофыркать и побрызгаться у рукомойника во дворе, зачастую кричал в распахнутое окно:

— Полотенце свежее дай, сколь тебе говорить!

— Не настачивайся на тебя, — огрызалась Фроловна. — Ишь намывается, будто пахал всю ночь. Я тебе не прачка — утиральники каждый день менять, придумал моду!

Но свежее полотенце всё же подавалось, и три-четыре утра перебранок не было слышно. Зато вечерние повторялись изо дня в день.

Фраза: «Обождёшь, ещё скотина не кормлена!» — стала для нашей семьи крылатой. И много лет спустя, когда мы жили уже в своём, выстроенном огромными трудами, доме, мать, встречая отца с работы и накрывая на стол, смеясь и копируя интонацией Фроловну, повторяла:

— Обождёшь, ещё скотина не кормлена!

Отец ужинал и только потом шёл во двор управляться — подбавлял корма свиньям, закрывал уток в сарайчике, запирали курятник, спускал на большую цепь Бурана...

Родители часто вспоминали Фролов, даже когда уехали из тех мест. Жили старики в общем-то ладно. Почему-то запомнилось мне пасхальное застолье на окраине кладбища, в редком лесочке. Фролы взяли нас с собой — родителей и меня.

Своих могил у нас, приезжих, там не было. Пасха выдалась поздней, и я весело бегала по подсохшей земле, радуясь свежей зелени и первым цветочкам. Взрослые сидели на сухих брёвнышках вокруг ска-терти-самобранки с разложенной снедью, выпивали, разговаривали. И вдруг Фроловна заголосила. Сначала я испугалась, а потом стала вслушиваться в плач-сказание и узнала всю историю её жизни.

— Это она по первому мужу кричит, — шепнула матери кума Фроловны.

Я увидела, как мама бросила быстрый взгляд на Фролыча. Каково нынешнему мужу слушать причитания жены по первому любимому? Старик курил, но как-то сосредоточившись, с особым вниманием к примятой пальцами «беломорине».

— Ну будет уже, будет, Нюра, — успокаивала Фроловну кума. — Давай помянем твоего Григория, хороший мужик был.

Фролыч разлил вино по гранёным стаканчикам. Все выпили. И вскоре начали собираться.

Дома мать пересказывала отцу услышанное от кумы Фроловны. Первый муж Нюры утонул, а она была беременной Лёнкой, что сейчас в тюрьме. Фролыч по соседству жил, молодой, неженатый, посватался к Нюре и родившегося ребёнка уже на себя записал. Лёнка у них, говорят, красавец, в отца. А Витька, тот, что в армии, в Фроловну вышел, не джже симпатичный. Сам Фролыч был очень даже ничего, к тому же аккуратист большой.

Поначалу мои родители переписывались с Фролами, потом стали обмениваться только открытками к годовщине Октября, Новому году и Маю. Со временем и эта ниточка оборвалась. О смерти Фролов мы узнали года через три, как их не стало. Умерли они в один день. Их так и нашли на постеле рядышком, голова к голове, — угорели во сне. Видно, рано заслонку в печи закрыли.

Отец мой вспомнил:

— А ведь Фролыч как-то обмолвился: по нему Нюра кричать не будет, как по первому-то мужу...

Так и вышло. Не вздохнула даже.

Отрок Андрей

Далёкий северный монастырь. Как трудница, я попала в архондарик. Миряне называют его кафе для паломников. В мои обязанности входит уборка столов, доставка грязной посуды на мойку, накрытие столов для групп паломников и мытьё полов в конце рабочего дня.

Здесь не готовят, а только разогревают пищу в специальных печах. Тяжёлые кастрюли с первыми блюдами из монастырской кухни приносят мужчины-трудники, ну а за чем полегче посылают меня. Так несколько раз в день бегаю то за сырниками, то за голубцами, то за котлетами рыбными — это всё мороженое, приношу в пакетах. В судках и специальных формах — разные запеканки и фирменные монастырские блюда, что подороже. Раз есть кафе,

то должен быть и выбор блюд, и доход. Из пекарни доставляю подносы с выпечкой, штук семь за день, и все разные — булочки с черникой, брусничкой и прочими аппетитными начинками. Несёшь такой благоухающий поднос, и встречные люди расступаются, улыбаясь. Вы заметили, что запах горячего хлеба, выпечки делает нас добрее? У меня такие сеансы «ароматерапии» были каждый день.

В кафе, по сменам, трудятся четыре наёмных работника — две раздатчицы и две посудомойщицы. Они меняются каждые два дня. Мне нравится смена с Валентиной и Ольгой. Валентина — раздатчица, она подогревает еду, накладывает порции, получает деньги. Ей помогает внук Андрей одиннадцати лет. Приезжает к бабушке из Питера, самостоятельно, несколько часов на автобусе.

Раз Валентине понадобилось отлучиться, в кафе как раз затишье было, и она попросила меня помочь Андрею, если народ хлынет. Только ушла, а у нас уже очередь. Красивый отрок Андрей приосанился и начальственным голосом приказал мне:

— Таня, становись на раздачу и подавай быстро, без задержки!

— Слушаюсь, шеф, — подыграла я пацану, вызвав улыбки паломников.

Мы заработали споро: Андрей принимал заказы, считал деньги, я налиwała борщи, накладывала второе, подавала. Очередь благополучно растаяла. Снова передышка, мальчик вышел позвонить. В зал выглянула Ольга — я не успевала относить ей грязную посуду. Увидев меня на раздаче, она сухо заметила: не занимайся не своим делом, пусть сами справляются.

— Да Валентина попросила помочь мальчишке, — оправдывалась я.

— Убери со столов и можешь уйти минут на сорок. Сама помогу Андрею, если потребуется.

Народ разошёлся; наведя порядок в зале, поспешила в келью — успею простирнуть немного и передохнуть.

Вернувшись, застала Валентину на рабочем месте, и она сразу послала меня за хлебом. Вид у неё был суровый.

А в хлебной лавке, куда поступает хлеб из пекарни — для нас и свободной продажи паломникам, на меня напустился Андрей.

— Ты куда это подевалась, Таня? — строго спросил он. — Ты знаешь, сколько людей ещё пришло! А я — один. Тебя нет. Ты почему ушла без разрешения?

Обращение по имени и на «ты» уже не только резало слух, а давило на всё моё самолюбие. Но дать отпор мальчику не посмела, да и Ольгу, отпустившую меня, не хотелось подводить. Кое-как, отдалённым намёком, всё-таки дала понять пацанёнку, что старше его ровно на пятьдесят лет.

Объясниться с Валентиной времени не было — прибыло три автобуса паломников, потом

пожаловали ещё гости — монахини из какого-то далёкого монастыря, и мы снова накрывали столы в уже убранном после закрытия архондарике. Валентина часто звонила по телефону, и я поняла, что она не на меня сердита, а расстроена из-за матери — та лежала в больнице после операции, и ей становилось всё хуже. А у меня из головы не выходил Андрей. Ну как сказать Валентине, что не полезно её внуку помогать ей здесь, что, по-мирски говоря, «крышу» у пацана сносит — так упивается он своей якобы взрослостью, властью над людьми, гордыня буквально распирает его? Но как подступиться к такому разговору, не знала. Мальчик был симпатичен мне, не хотелось, чтобы работа в монастыре приносила вред его юной душе. А тут прабабушке Андрея стало совсем плохо, к Валентине на работу нагрянули родственники, все вместе они пошли на молебен. Мальчишка потом ещё и сам читал акафист во дворе, молился. Видела его из окна.

— Он молиться ещё маленьким стал, — первой заговорила Валентина. — Никто его не учил. Я заболела сильно, так он меня вымолил у Бога. Пришёл сам к матушке Агафье и говорит: дайте мне какую-нибудь работу для монастыря, хочу, чтоб бабушка моя жила. Какую работу ребёнку дать? Ему шесть лет всего! Матушка Агафья нашлась: «Клевер знаешь?» — «Знаю». — «Вот тебе мешок, иди собирай». Так он каждый день по мешку клевера набирал! Поднять не мог, волоком в монастырь тащил. Вымолил меня у Господа, — Валентина помолчала и, вытерев слёзы, добавила: — А я вот свою мамочку отмолить не могу. Нет у меня такой силы, как у Андрюшки.

На следующий день я уезжала. Ранним утром встретила Валентину, она провожала внука и дочь. Мы проехали полпути примерно, была какая-то остановка. Купила себе ржаную лепёшку с мудрёным карельским названием; начинённая рисом, оказалась она вкусной. Завтракала с аппетитом в автобусе, глядя в окно. Андрей и его мама сидели на брёвнышке-скамейке под берёзами. Женщина торопливо и нервно курила, мальчик плакал. Они ехали в Питер, куда вчера на вертолёте увезли прабабушку Андрея.

Видно, вторая операция не помогла, подумала я. — Умерла бабушка Клава, — сказала мне мама Андрея, проходя на своё место в салоне.

Выразила им соболезнование и всю оставшуюся дорогу думала об этой семье. От Валентины знала, что месяц назад от инфаркта умер её зять, отец Андрюши, что они были очень дружны, жили благополучно...

И вдруг мир, состоявший из любимых людей, стал рушиться на глазах у ребёнка. А он ведь и виду не подавал, до вчерашней его одинокой молитвы и сегодняшних слёз. Всё-таки нельзя судить о людях по первому впечатлению или какому-то эпизоду. Жизнь гораздо сложнее, и в душе

человеческой тоже столько всего, что и не разобратся порой... Один Господь всё видит правильно, потому только Он и может судить человека. А наше дело — оставаться людьми. В любой час и на любом месте.

Три печки

Плясать от печки... Есть такое выражение в русском языке. Не справлялась со словарём, но понимаю его так: идти от основы, от самого главного. Что было главным в жилище наших недалёких предков? Печка в избе, она и кормила, и согревала, и от хворей лечила.

Октябрьским холодным днём переменчивой осени случилось в моей жизни сразу три печки. За первой я провела ночь — из предложенных трёх кроватей в гостевой келье выбрала ту, что стояла за печкой. Было это в Свято-Троицком женском монастыре близ Пятигорска. Республика уже соседняя — Кабарда, но от нашего города-курорта всего-то километров тридцать. В обитель эту можно поехать на послушание, потрудиться во славу Божию, помочь живущим здесь четырём монахиням почтенного возраста... Соседняя келья «ателье» называется. Почему? Когда обустривался монастырь, шились здесь занавески для окон, церковное убранство, фартуки для трудников и прочее. Печка в гостевой келье на русскую похожа, но лежанки в ней нет, а только выступ широкий — наверное, чтобы обувь сушить. Не знаю, топят ли её зимой дровами, везде уже батареи, а внизу, на первом этаже, — газовый котёл. В тот день котёл как раз меняли, в помещениях было холодно, но за печкой всё же как-то уютней спалось. Да и матушки не поскупились на одеяла.

Конечно, вспомнились мне бабушкина русская печка с просторной лежанкой, тётушкина голландка, так и заснулось.

А на следующий день в трапезной, где мы делали заготовки на зиму — кто чеснок чистил, кто морковь тёр, кто перец нарезал, — зашёл разговор как раз о печках. И у каждого вспомнилась своя, заветная. Матушка Ольга рассказала, как однажды пришла в школу по уши мокрая — все лужи поздним ноябрём перемерила, наметившийся ледок проверяла. Замёрзла — полбеды, вечером ожидала её порка. Пришла в школу, уборщица ахнула, живо сняла с девчушки сырую одежду, обрядила во что-то своё, сама до класса довела, за парту усадила. К концу занятий у школьной печки обсушились и ботинки, и пальто, и штаны от лыжного костюма — дома ничего не узнали об утренних подвигах ученицы.

Удивившись былой бедовости степенной матушки Ольги, мы поговорили о том, что, мол, в наше время никто бы не побеспокоился о чужом ребёнке — заболела бы и дома сполна получила.

Тем же вечером я возвращалась домой. Слушалась оказия — после обеда приехала в монастырь машина с гуманитарной помощью для многодетной семьи, которую опекает обитель. Была я второй пассажиркой, ехала с комфортом, да ещё слушала рассказ пятигорчанки Галины. Она летом участвовала в Великорецком крестном ходе, делилась впечатлениями, которых было море, и все восторженные. Поразило её, как истово, на коленях, молились поутру у своего автобуса паломники из-под Львова; какие чудные песнопения пели сербы; как удивительно тёплой в прохладный-то день показалась всем вода в речке; и главное, как встречали крестоходцев в деревнях вятской глубинки — люди стояли вдоль дороги с подносами снеди, и каждый просил: возьмите у меня... На обратном пути пятый день крестного хода выдался очень тяжёлым — холодный дождь исхлестал всех до нитки, не спасли ни зонты, ни плащи. Галина с огромным трудом добрела до очередной деревеньки. У крайнего дома увидела хозяйку с блюдом дымящихся булочек. «А можно мне вместо булочки в доме погреться?» — робко

спросила она (на ночлег их группа располагалась в своём автобусе, ехало из Пятигорска, кстати, пятьдесят человек). Женщина пригласила в дом, Галина и землячек ещё прихватила. А там весь стол был уставлен пирогами! В русской печи выпеченными. Не слушая про начинки, Галина вмиг сбросила с себя всё мокрое и с разрешения хозяйки забралась на полати. И уснула мертвецким сном. А утром первой мыслью было: что с моими вещами?! Ведь мокрое всё! Глядь — а они на верёвке висят, сухие да тёплые. Прощаясь, выпросила адрес. Да потеряла в дороге. И дома навзрыд плакала, что не может отблагодарить свою спасительницу — с её-то тяготой к простудам после той чудной ночи на русской печи не чихнула даже. Выручили сын да муж: один идею подал, другой в интернете нашёл. Отправила посылку в Вятскую губернию с грецкими орехами.

Выходит, пока живы где-то русские печки, живы не только рецепты вкусных пирогов, живы не только древние обычаи принимать странников — и с особым почётом крестоходцев. Жива сама русская душа — сердобольная, открытая, добрая.

ДиН СИММЕТРИЯ

Марина Цветаева

Сверхбессмысленнейшее слово

Сверхбессмысленнейшее слово:
Рас-стаёмся. — Одна из ста?
Просто слово в четыре слога,
За которыми пустота.

Стой! По-сербски и по-кroatски,
Верно, Чехия в нас чудит?
Рас-ставание. Расставаться...
Сверхъестественнейшая дичь!

Звук, от коего уши рвутся,
Тянутся за предел тоски...
Расставание — не по-русски!
Не по-женски! не по-мужски!

Не по-божески! Чтó мы — овцы,
Раззевавшиеся в обед?
Расставание — по-каковски?
Даже смысла такого нет,

Даже звука! Ну, просто полый
Шум — пилы, напрімер, сквозь сон.

Расставание — просто школы
Хлебникова соловьиный стон,

Лебединый...

Но как же вышло?
Точно высохший водоём —
Воздух! Руку о руку слышно.
Расставаться — ведь это гром

Нá голову... Океан в каюту!
Океании крайний мыс!
Эти улицы — слишком круты:
Расставаться — ведь это вниз,

Под гору... Двух подошв пудовых
Вздых... Ладонь, наконец, и гвоздь!
Опрокидывающий довод:
Расставаться — ведь это врозь,

Мы же — сросшиеся...

1 февраля 1924, Прага — 8 июня 1924, Иловици

Станислав Колчин

Неизбежность

До встречи в Гиперборее

Все мои стихи — разговор с тобой
 Через десять лет или пять веков.
 Может, мы прошли разною тропой,
 Жили и росли слишком далеко,
 Но я понял вдруг: ты не родилась
 На Земле сейчас, но ещё придёшь.
 И увидишь, как мрак окутал нас,
 И омоет боль с глаз солёный дождь,
 И, когда тоска твой погубит сон,
 Помни, знай и верь: ты здесь не одна.
 Скованы мечтой мы со всех сторон,
 И открыта нам тайная страна.

Истоки

Когда-нибудь тоска возьмёт своё,
 И я вернусь к молчанью древних стен...
 Седая Русь пред взором предстаёт
 Здесь юной девой в башне из легенд.
 И стережёт то место страшный Змей,
 Которого и нет, но как бы есть.
 Найди его в себе и одолей:
 Проснётся Русь, твою услышав песнь.
 И слёзы радости с водой семи ключей
 Сольёшь ты бережно в желании узреть
 Иконный лик той девы, блеск очей,
 Улыбку светлую, но судеб круговерть
 Закружит... Не ищи той девы здесь —
 Она лишь в памяти, как та, бывшая Русь,
 Что дремлет в замке, ждёт благую весть,
 И ждёт меня, и знает, что вернусь.

Лада

Твоя любовь необъяснима,
 Подруга самых тёмных дней.
 Всегда вблизи была незримо,
 Но приходила не ко мне.
 Ты не одна, но одинока,
 В гармонии невесела,
 И чтут рабы твои пороки,
 Как крохи с царского стола.
 Мелькнула нежность не случайно
 В твоих целительных речах,
 Богиня, чья природа — тайна
 И чьё проклятие — печать
 Безбрачия в воротах ада
 Бесстрастия... Во тьме ночной
 Ко мне не приходила Лада —
 Она всегда жила со мной.

Три облика России

Россия-мать, прости меня, прости.
 Я был жесток и не прощал ошибок,
 Хоть шёл след в след по скорбному пути,
 Читил боль и славу в память о прожитых
 Давно веках. Потом в своей жене
 Я узнавал тебя, чтоб вновь влюбиться,
 И всё, что есть, беспамятной стране
 Отдать без ропота, и с ней навеки слиться,
 Чтоб в будущем пришла Россия-дочь.
 Неведомая, дерзкая, родная.
 Всё для неё! Но ей нельзя помочь —
 Я никогда её не повстречаю.

Неизбежность

До рассвета ещё сотни и сотни лет...

С. Сёмина. Есенин

Здесь, у края
самой последней мечты,
Я отучаюсь
напрасно чего-то ждать.
Жить надо проще,
я так сумел
почти.
Быт мне поставит
страшным клеймом печать:
«Годен к смиренью,
годен, чтоб быть винтом», —
Но не свободу
кровью своей питать —
Древо иллюзий
в Поле Чудес.
Потом
молча исчезнуть,
пыл потеряв и стать,
чтобы однажды
в белой морозной тьме
выйти в свой город —
а города больше нет...
Я ничего и сделать
не смог посметь,
Я не заметил —
наш исчезает след.
Рокот событий
плыл на чужой волне.
Были герои.
Подвиг не нужен, пуст.
Были певцы,
равные тем вполне,
Что уж ушли,
что спели
«Сорокоуст»,
Что пролетел
над лесом — и в тишину...
Поезд спешит,
и «винтики» в нём скрипят,
Не узнаю,
не знаю свою страну —

Я потерял её
множество лет назад.
Надо быть проще,
чтобы к тебе тянулись,
Надо хоть выжить,
память свою сберечь.
Ночью пройдёт Орда.
В пепле сожжённых улиц
я буду ждать
и новую строить Сечь.

Вопреки

Вот уж нет! Не пишу я стихи о ней —
Я кричу о России, срывая голос.
Только поезд всё так же летит в огне,
Впереди всё так же маячит пропасть.

И уж нет! Не пишу я стихи о ней,
Осознав: стоп-кран отыскать не в силах,
Крепко спит народ в непробудном сне,
Ждёт чудес. Не придёт Мессия.

И уж нет! Не пишу я стихи о нём —
Если Бог и был, то Он нас оставил...
Но в предсмертной тьме мы ещё поём,
И придёт рассвет вопреки всех правил.

Обычная девушка

Не следует за мной и не зовёт к себе.
И для меня она, скорей, из тех, кто жив,
Даря тепло другим и раньше, и теперь,
Пожар её души ничем не потушить.

Мы всё равно умрём и не найдём свой путь,
Бумажные следы умножит смерть на ноль.
Но будет длиться жизнь без нас когда-нибудь.
Не стоит сожалеть — здесь так заведено.

Она за сотни вёрст продолжит тихо жить:
Мечтать, творить, любить и зажигать свой свет.
А я не буду ждать: зачем мне миражи?
Стихи её со мной, её же рядом нет.

Эльнара Браништи

На переходе из Нави в Явь



Засквозил родник в моей груди
Над твоим течением ревушим:
Слишком много боли позади,
Слишком много радости в грядущем.

Ты могучей силы не щади,
Разломи зимы стальное иго,
Сколько хочешь буйствуй и чуди,
Крокодилей чешуёю двигай.

Сбрось с груди натруженной свой плен
И носи его, чтоб льдины мялись —
Там, где правит лодкой старый Гленн
И поёт задумчивая Айрис.

Розовым, как детская слеза,
Проблеснёт береговая дужка.
Выйдет к кромке серая харза,
Пролетит беззвучная кукушка.

Мы с тобой на снежные слои
Выскользнем из ельника густого,
Как из уст — негаданное слово,
Искреннее, полное любви.

И так резко в детской простоте,
Что вспорхнут от страха зимородки,
Мы махнём чуть движущейся лодке,
Так, как машет вечность суете.



На переходе из Нави в Явь
Ты от раздумий меня избавь:
Кто мы? Зачем мы? Враги? Друзья?
И что нам можно, а что нельзя.

Всё чаще я прихожу к реке
И вижу старца на челноке.
И он не знает, угрюм и тих,
Зачем мне править к земле живых.



Пахнет перцем и инжиром: я в Баку.
Глаз о балку приложила на скаку.
Дело в том, что на кровати было сорок тюфяков —
Кто б не стал одолевать их
В пять годков?

Юбке джинсовой с волаком сносу нет.
Также нет воды под краном: мало бед.
Но зато какой квадратный сахарок
К чаепитию мне дядя приберёт.

Дом на улице наклонной — угловой,
Вот и скачет попрыгун по мостовой.
— Мама, сливу наливную, как янтарь,
Из окошка на дорожку передай.

Во дворе с горы стекают ручейки.
Выйдешь в город — леденцы и пирожки.
С темнотой на теплоходе мы катаемся в порту.
Мама злится на погоду, на режим и духоту.

На линованной гравюре — облака.
— Мама, мама, разве Каспий — не река?
Ты покажешь, как звучит старинный саз?
— Уже поздно, спи, малышка. В другой раз.

О, он не судит, не мыслит зла,
Не слышно брызг от его весла.
За ним — дорожка из серебра.
Я с ним спокойна, я с ним добра.

Река приятна, пространен путь,
И всех событий прозрачна суть.
Одна задача мне нелегка —
Сходить на берег из челнока.

Опустел дом отдыха,
Нам ещё неделя.
Съехала подружка —
Мы недоглядели.

Не зовёт дорожка,
Что в луга вела.
На окне в столовой —
Мёртвая пчела.

Вылинял зелёный
У берёз подол.
У девиц осенних —
Грустный ореол.

Хочется читать
Веркора и Моэма.
Хочется писать
Слезливые поэмы.

Хочется для фильма
Сочинить сюжет
И обнять девчонку
В девять с лишним лет.

Где-то в Белокурихе,
В уличной кафешке,
Девочка смакует
Лимонад без спешки.

Опустел дом отдыха,
Ей ещё неделя.
Как всегда, родители
Швепсу захотели.

Столько в сердце радости,
Столько в сердце грусти,
И любовь щемящая
Долго не отпустит

К людному бульвару,
Что вдруг опустел,
К тем, кто улетает,
К тем, кто улетел.

Хочется шепнуть ей:
Ты держись, добряк.
Будет всё неладно,
Будет всё не так.

Будет даже хуже.
Будет ад, малыш.
Но ты передужишь,
Но ты устоишь.

И худой, беспокойный охотничий пёс,
И сияющий пух её рыжих волос
Предвещали чудесную осень.
У неё был чудесный глазастый малыш:
Он следил, как мелькает закат между крыш,
Он был очень недетски серьёзен.

И ботинки, и джинсы, и плащ, и рюкзак
Много видели в жизни ночёвок в лесах,
Но сегодня придут на закате.
У неё чуть обветрена кожа лица,
Но глаза излучают покой без конца,
И на лбу нет усталой печати.

Там, где пахнет лишь дымом и палой листвой,
Лес дарил ей покоя и силы с лихвой,
Насыщал тишиной и прохладой.
Она шла через чащу берёз без конца,
Сучковатые ветви касались лица,
Рвали волосы ей без пощады.

Поднималась уступами каменных гор,
Опускалась оврагом в осенний шатёр,
Осторожно ступала на спусках.
И, нехитрый мотив себе под нос урча,
Набирала в бутылку воды из ручья
И поила водой карапуза.

И, по вороху листьев носясь и шурша,
Пёс ловил свою белку, она — малыша,
А потом доедали печенье.
Было так хорошо на обратном пути
Постоянно под гору вприпрыжку идти,
Вспоминая свои приключения.

И, набрав мелких яблочек целый пакет,
Сесть втроём, за один рассчитаться билет
И ловить недовольные взгляды.
И дышать светом жизни и свежестью дня,
Будто выпив все краски из жил сентября
И расхитив небесныеклады.

Будто солнце в глазах, будто ветер в устах,
Будто пламя ночного огня в волосах,
Будто музыка птичьего гвалта...

— Отойдите!
— Пустите!
— Не стойте в дверях!
— Вы дитя уронили с подножки!
— Ох! Ах!
— До чего неуклюжая халда!



Если я и была перед кем виновата,
То теперь моя совесть чиста.
Восхвалю небеса: я дошла до заката,
Обойдя все четыре креста.

Мне холмы открывали пологие длани,
Деревеньки виделись вдали.
И проделанный путь я видала в тумане,
На границе небес и земли.

Чья-то лошадь в бурьяне меня провожала,
И ручьи грохотали в логу.
И казалось, уже не дойду я в начало
И примет отыскать не смогу.

Я попала в тупик, этот путь мне неведом.
Но смотрю, пробирается вслед
Человек со ржавеющим велосипедом,
В козырьке незапамятных лет.

И старательно бьёт отворотом газеты
Луговых паутов и шмелей.
И под мерный поток стариковской беседы
Провожает меня до людей...

Я ещё возвращусь непременно когда-то
К этим скромным укромным местам,
Чтобы с кем-то вдвоём побродить до заката
И венки положить ко крестам.



Мелкий град барабанит трескливо и часто,
Рассыпается белой крупой.
Кто-то будто бы крошит кусок пенопласта
И бросает его над землёй.

Ты была до того просветлённой и грустной,
Говоря мне со вздохом вчера:
«Будет снег. У меня неотступное чувство,
Что вернётся лихая пора».

Но я верю, мы сможем спокойно и гордо
Встретить вызов тяжёлых минут.
Посмотри-ка — на залитом солнцем пригорке
Уж кукушкины слёзки растут.



Этих лиственниц тихие тени
Здесь стояли всегда в стороне.
Но сегодня в лесу наводнение,
Я ногою скольжу по волне.

Океаны бесцветных иголок,
Как опилки, засыпали сад.
Через них, как нагруженный волок,
Тащит мальчик пустой самокат.

И повсюду букет благовоний
Источают иголок слои,
Будто небо земле на ладони
Уронило богатства свои.

И, внезапной охвачена немью,
Я сгребаю иголки в бугры.
Я хочу целовать эту землю
За её золотые дары.



Здесь нету радости и летом,
Мы одиноки в мире этом.
Лишь пыль веков, да ширь столов,
Да трещина во всё стекло.

Пришли рабочие без спросу
И завели электрокосы.
И ты твердишь: ну, где Кольцов?
И написал бы про косцов.

А роза тихо облетает,
Никто за ней не подметает.
Ей выжить требует труда,
Ей слишком ржавая вода.

А в тишину зарылся дьявол,
И, кажется, я знаю дао:
Разбить стекло, заткнуть мотор,
Начать здоровый разговор.

Елена Смолицкая

Родник тепла

Фронтальной госпиталь

Он так хотел любви в последний миг,
Он так мечтал увидеть милой очи!
А в сердце крик, невыносимый крик,
Отчаянье — чернее чёрной ночи.

О, как хотелось нежности плотов,
Чтоб умирать, познав хоть каплю ласки...
Кончился воздух. Падая потолок.
А вместо кожи — грязные повязки.

Сестра в халате — ангел во плоти —
Стояла рядом, за руку держала:
«Уже четвёртый. Боже, защити!
Он весь прошит осколками металла».

Бойцов несли, и день и ночь несли...
Она тогда работала бесшумно.
Слёз не было. Все в душу утекли.
Зато рыдали звёзды во Вселенной.



Мы сделаны из капелек огня
И из земли, облакканной водою,
Оживлены невидимой рукою.
Вот ветка — продолжение меня...

В нас суть одна, и кровь, и плоть одна.
Вот стрекоза — частица нас с тобою...
Она, как мы, сверкнёт на миг звездою
И в глубь земли опять нырнёт до дна.

Не плачь. Мы здесь, чтоб глина ожила,
Смотрела в мир, цвела, летала, пела,
Стремилась ввысь, познать себя сумела,

Чтоб неотмирный дух в себе нашла
И, им себя наполнив до предела,
С землею небеса переплела.

В кривой траншее

Как в родовых путях войны,
В кривой траншее
Лежит солдат
Зародышем, младенцем,
А коптер сверху —
Смертоносный гад —
Жужжит над ним,
И никуда не деться:
Здесь бесполезны броник, автомат...
У пульта те, кому война — игра,
Кричат: «Добьём», —
Они полны азарта,
Жмут кнопку —
На него летит граната.
Есть три секунды.
Счёт идёт назад.
Хватает и бросает —
Будет жить!
Родится, встанет на ноги,
И буквы
Он выучит, и он заговорит,
Чтоб рассказать,
Как страшно на войне.
Как люди бьют по людям из окошка,
С экрана, с коптера,
Как будто понарошку, —
А ты лежишь в надсадной тишине
И сверху ждёшь очередной привет.
Заряжен коптер,
И пощады нет.

Если между нами тишина

Если между нами тишина,
Многое становится не важным.
Мы в глаза друг другу так отважно
Смотрим. Обнимает глубина.

Если между нами тишина,
Ум не спорит с сердцем откровенным,
И глаза о самом сокровенном
Говорят, и я себе верна.

Если между нами тишина,
Все предубеждения растают,
Ведь сердца намного больше знают.
Нас несёт единая волна.

Ты прости, что умными словами
Нарушала эту тишину,
Мы с тобой ныряли с головами
В прорубь споров. Оба шли ко дну.

Да отбросим слов ненужных иго,
Спесь ума шального укротив!
Истина прольётся тихо-тихо,
Скромное величие явив.

Да придёт Царствие Твоё

Мне бывает немислимо больно
И дорогу не видно во мгле.
Но настанет — я верю спокойно —
Царство Божие на Земле.

Люди будут воздушны, как птицы,
Мера лучшего станет земной.
Заслужить бы тогда воплотиться,
Чтоб увидеть всё это самой.

Но когда же?.. Нескоро, нескоро:
Много лишнего нужно изжить,
Много бед излечить... В этот город
Каждый может частицу вложить:

Добрым словом и пламенным делом,
Светом мысли в молитвенный час...
Устремляясь душою и телом,
Мы творим Царство Божье сейчас.

Родник тепла

Мы нуждаемся в понимании,
И раскрыта моя ладонь.
Но рассеянное внимание
Мокрой ветошью бьёт огонь.

Ярко-жёлтое солнце спелое,
Посмотри на меня, мой друг.
Я несмелая, неумелая,
Застилает глаза испуг...

А участия не допросишься
У людей. Им самим — под дых...
Со своею бедою носишься,
Солнца требуя от других.

Нищий просит подать у нищего...
Запылённые зеркала.
Почему же снаружи ищем мы,
Если в сердце — родник тепла?

Я решилась — его откапывать,
Разгрести из обид завал.
Грязь смывается: слёзы капаят...
Боже, лучик затрепетал!

Вот — затеплился искрой маленькой
Ясноокой любви огонь.
Разгорайся, родимый, аленький,
Да согрей же мою ладонь!

Протяну её людям искренне —
«Из корней», из глубин души.
Мой огонь посылает искры мне
И твердит: «Их дарить спешите!»

Мы нуждаемся в понимании...
Я на сердце кладу ладонь.
И участие, и внимание
Озаряет его огонь.

Василий Киляков

Зарницы памяти

Окончание. Начало в «ДиН» № 1/2024

Владивосток. Океан...

...Удивительное «качество» человека: с возрастом, как и с перенесённым большим несчастьем, — всё острее хочется одиночества. Хочется чаще быть одному. И с возрастом — всё больше в лес или к морю. В горы или на рыбалку, к костру. И чтоб никого, ни единой души, рядом не было. А когда это возможно, достижимо, кажется, обозреваешь горизонты духа. Особенно ярко почувствовал величие мира Божьего над обрывом к океану. И теперь вспоминаю, когда я веду эту запись.

Сверху, казалось мне, видишь само бытие, слышишь самые «образы» грядущих волн тысячелетий... Не ветер и шум прибрежный, но созерцанием, ничем и никем не смущаемым, постигаешь, что ядро человеческой жизни, несомненно, вечно. И что это, как не голос души и соло души, исполняемое под треск в костре поленьев, сжигаемых пламенем?

В свете костра, раздвигающем темень как полог, и — тленье леса, и мятущиеся тени. И всё вокруг сотворено со значением и, опять-таки несомненно, высшей силой, Отцом... И когда поймёшь это, то чувствуешь себя уже не безродным чужаком на земле. И не безотрадно и непоправимо несчастным прохожим, а сыном, который ждёт у костерка над обрывом обещанной встречи с Отцом. И в той скрытой боли, что копилась десятилетиями — находишь отраду.

...А разве и сам Бог не настраивает человека на один единственно тон: одиночества, скитаний, прозрений и догадок о Нём, о Его желании встречи с каждым из нас? Он, Искренний, Щадящий, — медленно и верно для каждого из нас с возрастом всё сужает круг общений. Добавляются невзгоды и испытания... «В мире скорбны будете... Но мужайтесь, Я победил мир». И в конце концов — каждый остаётся один всё-таки. Тогда он готов к отложенной встрече с самим Отцом. Сын идёт по своей лыжне и сходит по своему единственному склону. К единственной дороге.

Остро чувствовали это святые схимники, исихасты. Они не протестовали и не упирались, а шли навстречу великой и неисчерпаемой Воле. А чтобы не так было больно расставаться со всеми — они отрывались от этого мира в монастыри, в кельи. Надевали куколь. Бог «старит» нас, по мере нашей способности стареть и становиться мудрее; Он отнимает понемногу страсти и желания.

...Так стоял как очарованный один и жёг костёр над набережной, над океаном в городе Владивостоке... Затем спустился к воде, к волнам и окунул руку в волну. Мокрая твёрдая галька обозначила грань океана: всё, дальше России нет. Вся она за мной, вся за моей спиной.

Корабль-ресторан, движущийся на корабле, там, внизу под ночным обрывом к океану, под широким, в полкилометра, отрогом побережья, уже подходил к моей скале. В светлых лучах жёлтого и белого света над океаном, параллельно, столпами и накрест, лежащим конусом. Клинья света — друг возле друга, — а корабль всё шёл с музыкой, приближался в великом хаосе белых и жёлтых огней, красных отсветов, блистания бакенов и колючих мачт, — точно вот-вот отвалил он от берега. Куда, зачем он идёт, к чему этот праздник «человеческий, и слишком человеческий»? И подумалось: а не за тем же ли, за чем, в сущности, и я здесь: укрыться от ненастья и одиночества? Только я желал найти пристань. А они пытаются укрыться иным способом. Кораблик вывозит людей, которым не остаётся ничего иного, как только принуждённо веселиться — деланный праздник «вывозит» их от самих себя. Они спасаются вряд ли более оригинальным способом, чем я, — этим явно деланным, напускным напряжённым и наигранным принуждённым весельем: деньги заплачены, так веселись, ничего не остаётся другого... Зная, что всё это минутное, что этим не спастись и не насытиться, всё же покажи своё веселье. С рестораном, выпивкой, плясками и дикими выкриками. И вдруг я услышал рёв трубы. Иерихонская труба, оглушительно разорвала тёмное пространство, и всё словно затихло перед тем грозным событием, что обещала она... Но нет, не рухнули скалы, не пошевелились деревья. Что это было? Не знаю до сих пор, но там, на корабле,

как показалось, притихли. И скоро я вновь остался наедине с тишиной. Под звёздами и над океаном. И ушёл, уносил огни кораблик...

И как же вновь светло стало на сердце в этой тьме между небом и океаном!



Эти тёмные, страшные мартовские рассветы над Москвой. Что-то в них необычайное, роковое, чужое и страшное. В этих рассветах, когда темно и глубоко светлеет небо там, вверху, вплоть до самого Престола, то здесь — мельтешат, шныряют огнями машины всё вольнее в утреннем городе. И всё кажется милостыней тогда — и связи судеб, и людские отношения. Всё милость Божья. И если смотреть на мир, не забывая об этом, — то всё радость, всё становится мило, и любая мысль, и взгляд. Предлоги и предметики — не по пустякам значительны, да и сам мир уже не кажется ни случайным, ни обманым. Нужно только помнить милостынно свыше и назначение своё.

Я на платформе. Электрички приходят пустые: вирус. В небе — всё ещё неумолимо темно. И вот всё синее, и как-то совсем уже неуютно: жижее, строже алеет, светает... Смотришь вверх, в эту вечную стужу, в эту недостижимую высь, — и зябнет душа. Кажется, будто бы вот-вот, в это самое мгновение, как раз и случится что-то трагическое, непоправимое. Наверное, именно про такие мгновения сказал сам Сын Божий ученикам: «Я видел сатану, спавшего с неба, как молнию» (Лк. 10:18). Есть в словах Его — какая-то неотразимая правда, правда сверхвидения, видения духов, явленных Ему, живущих вокруг нас, но невидимых нам, нашим плотским очам, а открытых лишь только святым.

И вдруг два полицейских, идущие рядом, и диалог их:

— Сегодня задерживаем и оформляем всех поголовно, кроме женщин с колясками. С каждого района приказ: не менее десяти протоколов. Если не набрали, работаем и после семнадцати ноль-ноль.

— Это что, на пятиминутке объявили?

— Да!

И мне подумалось: неужели и впрямь до чипов скоро дойдёт, до вживления их в лоб и в кисть руки? И работать они будут на разнице потенциалов, без батареек и аккумуляторов, пока жив человек. Не о том ли и предупреждение нам в Библии? И тоже рука и лоб упомянуты, чтобы человек не мог наложить на чело крестное знамение.

Они, эти полицейские, прошли мимо. Пока прошли они мимо меня, оба, подозрительно глядя на меня одними глазами над марлевыми респираторами. Я сам смотрел на них одними глазами и молчал в забранный маской от вируса. Хруст

подмёрзшего наста и льда по платформе от их шагов. Какой-то страшный фантастический мир...

Вспомнил на работе слова некоего глобалиста, очень влиятельного: «Не думайте, что после эпидемии ковид-19 вы будете жить так же, как и до его появления». В интервью 2017 года он же, некто Клаус Шваб, основатель и бессменный президент Всемирного экономического форума в Давосе с 1971 года, говорил так о будущем вживлении чипов в человеческое тело: «Можете ли вы предположить, что через десять лет, когда мы сидим здесь, у нас в мозгу будет имплантат, и я сразу же почувствую то, что вы чувствуете, потому что у всех вас будут имплантаты?..»

На Всемирном экономическом форуме в Давосе советник Клауса Шваба, израильский учёный Юваль Ной Харари, рассказал о том, кто будет управлять жизнью на Земле в будущем и как изменится человек в условиях постоянных технологических революций: «Мы достигли точки, когда можем взламывать не только компьютеры, но и человеческий организм. Для этого нужны две вещи: большая вычислительная мощность и огромный объём данных — в частности, биометрических. До сегодняшнего дня ни у кого не было этих ингредиентов для взлома человечества. Даже КГБ или испанская инквизиция, имеющие возможность наблюдать за людьми круглосуточно, не могли этого».

В марте 2021 года крупная венгерская газета Magyar Nemzet, переизданная Visegrad Post, выпустила резкую критику Великой швабской перегрузки в «новый трансгуманистический мировой порядок» при «транснациональном управлении». Швабианцы «хотят заменить демократию сложным управлением, отдать приоритет технократии над выборами и депутатами и сделать упор на неясную широкую общественности „экспертизу“ вместо обычной прозрачности». Шваб «предсказывает, что современные внешние устройства, такие как ноутбуки и гарнитуры виртуальной реальности, в конечном итоге „скорее всего, будут имплантированы в наши тела и умы“». Автор критических обзоров назвал всё это «неокоммунизмом эпохи Давоса».

И всё же даже и такое грозное присутствие великой тайны, и «молнией спавшего» с небес, и будто бы незримо теперь присутствовавшего среди всех людей великого монстра незримо, — не страшит, когда вспоминаешь о вечной жизни души.

...Без добровольного согласия и отречения от Христа — нет греха ни чипу, ни вирусу.

Ещё один день Великого поста подарил мне Создатель. Стерпевший до конца — спасётся...

Про «ща»...

Выставка картин, галерея известных старых западных голландских художников в Севастополе,

в белом музее над морем. Очень старая живопись — и вот удивительно и ясно, как заметно это: каждый персонаж обособлен. Не индивидуален, а именно — обособлен. У младенцев — лица взрослых, лица не детей, а мужиков. И от этого все, включая детей, — кажутся одиноки, как звезда среди звёзд. Странно, как мистически, на перспективу, написаны эти картины.

Тяжёлые своей массивной позолотой рамки уже кое-где и трескаются. Трещинами, словно паутиной, сетью покрыт и толстый масляный, грубый, словно мясной, слой, и грунт под ним.

Такова же, верно, и плотная участь всего живо-го на этой земле, даже и участь самых душ человеческих — паутина морщин и юдоль тысячелетней тишины вослед земного существования. Сеть трещин на лицах — паутиной порчи, и подлинные лица действительного давнего бытия — все как за решёткой. Участь даже душевного, а не только телесного изменённого состояния, и оттого — как бы «зашоренного» бытия. Жив только Дух, а он обитатель сфер невидимых, запредельных окоёмов. А подлинного, иного — в духе — не видно праздному взгляду. Оттого — и не миновать никому забвения.

Не минешь.

Лишь «там», вне этой выставки этих картин, — свет и радость подлинной действительности. Непреходящей. Море и солнце. Ветер и простор... Вышел на улицу Севастополя из музея — и снова счастлив!

Мёртвая телесность искусства — «искусса». Как это очевидно...

Ища существования смыслов,
Внутри себя Любовь ища,
Пойми, что счастье ведь не завтра...
А ща!

Откуда это?.. Не помню. Как точно, хоть и шуточно, сказано...



Откуда эта мода в прошлом на дебелых младенцев? Микеланджело писал уже не само дебелое тело, но — страсти. Во многом и многих. Быть может, художникам хотелось видеть, воплотить в детское тело живущую и жаждущую плоть — именно страсти — и выразить их зримо? Внешне отобразить? Картины о сытости, которой не было в то время (среди простолюдинов), сытости, о которой мечталось. Картины-мечты. Найти её, эту радость «сытого чрева», хотя бы — вот, в картине. Тоже своего рода — «модерн».

Глядя на эти картины фламандцев и весь антураж на них, кажется, что все эти картины — одно полотно, и всё оно о еде. Голодание,

недоедание — главная беда средневековья. Художники и в зрелости своей были вечно голодны... Если не в пище, то голодны неутолимыми страстями недолгой (в сравнении с нашими временами) жизни. Или вот этот намёк не на дебелого младенца, а на страстную и сытую «глину Божью» — не о том же самом?... Глину, из которой все мы сотворены в день шестой, заставил художник улыбаться. И какая тоска за этой улыбкой, за дебелостью, показной сытостью, какая острая грусть по чему-то высшему, горнему, что чувствовал, работая, художник. По той доброте (худые да горькие) людей, что вокруг ребёнка, — в поиске, что ли, любви человеческой и сочувствия, которого так не хватает сегодня (и не хватало особенно, надо полагать, и раньше, в средние века).

Не хватает — главного «материала» Любви на всех, плазмы божественной, обетованной для людей промыслом Бога! Того «материала» Любви, который заповедано людям возвращать на этой земле, чтобы она стала подобием Рая Небесного. Но эта нехватка открывается всё отчётливей с каждым прожитым людьми веком, и всё нет как нет подлинного увеличения и умножения Любви. Мясного — вполне теперь достаточно, а вот духовного...

Ходишь по залам и удивляешься: как они были плотяны и тяжелы, все люди того времени, да таковы и остались. И останутся ещё долгое время. Едва ли не каждый — до смерти мало задумывается о смысле существования и о том, что каждый должен бы стать орачем любви, пахарем на ниве этой. А вместо того — войны, снаряды, артиллерийские установки «Гиацинты», «Акации», «Тюльпаны». Хороши «подарки» незваным гостям. А как без них, если не возрастает, а убывает Любовь на свете?..

И как подлинное открытие стал для меня вход в православный храм по выходе из музея, в который ходил несколько дней на выставки картин. Покровский собор, здесь же, на улице Большой Морской Севастополя. В храм, что напротив музея. Весь из белого инкерманского камня...

Какое величие бесстрастной русской иконы в полутьме в сравнении с полотнами фламандцев! И какое наслаждение — оторвавшись от голландцев и фламандцев, прикоснуться, склонить выю перед тихой и милостивой русской иконой!

15 апреля 2020 г., 06:11.
Facebook for Android

«... Ветер вырывает из рук худенького очкастого юноши стопку нот и швыряет в печальную морду проходящей мимо коровы, которую ведёт на поводке тщедушный крестьянин. Грязный снег на дороге взрывается косыми фонтанами — то под копытами несущегося мимо отряда конной милиции, то под колёсами мчащихся ему навстречу блестящих чёрных автомобилей. Оглушительно

звения, летит огненно-красный, сверкающий латунными ручками трамвай, в окнах без стёкол — гроздя лиц. Из подворотни выпархивает стайка беспризорников и с оголтелыми криками виснет на поручне. Свирепый кондуктор, бранясь, машет кулаками, а наперерез через дорогу уже бежит, свиристя в свисток, милиционер...»

Женский роман, однако! И не кто-нибудь, а всё та же Улицкая — редактор сего изделия, с её же и предисловием. И самим премьерам — и бывшему, и настоящему — «оченно ндравится» (по их собственным признаниям) сей «роман», однако. И премий не счесть... Подобное к подобному. Но как низко пали! И всего-то прошло от развала СССР четверть века, а литературы не стало совсем. Ни одного явления! В жюри нескольких премий жду не дождусь хоть одного шедевра. Ни-че-го. Пустота. И ведь и тот лагерь понимает, видит, что сущая дрянь, а как дружно хвалят, какая согласованность, какое упоение в словословиях их! Как напоминает этот хорал майское лягушиное, с дружно дребезжащими лягушками, болото. А вот это русофобское малограмотное болото цветёт, воняет, плодит подобие себе: пиявок, верхоплавков, жуков-плавунцов. Нынешняя литература — не литература, а «либерратура». И как не понять, что хорошая книга, по-настоящему хорошая, бесценна? Ведь что такое «Война и мир» Льва Толстого, роман, оставшийся в веках, как «Илиада и Одиссея»? Он задуман и исполнен в отместку за поражение в Крымской кампании. И войну ту забыли, а романом восхищается весь мир!

А теперь «либерратура» беспросветная, и вот где настоящий коронавирус, уничтожающий не тела даже, а сами души.

Два беспольных серых существа: редактор, которой «стыдно за русских», поделила с некой татарочкой и «Нацбест», и премию «Большая книга», и Госпремию вот за этакое «изделие». Представлена на конкурсе... «Ясная Поляна»... Снят фильм с участием русофобки по кличке Чума Лохматая в главной роли. Вирус, быть может, и войны неизбежны опять для отрезвления нам всем... Ведь предательство на высочайшем уровне процветает: премьеры восхищаются такой белибердой!

...С ужасом думаю, как отнёсся бы сам Лев Толстой к такой «либерратуре». По тексту: в мечети некие русские «красногвардейцы» совокупляются. А боевую подругу, согласившуюся на такой немыслимый «неуют» в любви, играет в фильме то ли латышка, то ли литовка. Какой позор!

Ходит слух, что это (по-видимому, коллективный труд малограмотных «негров от литературы», что очевидно теми разностилевыми речитативами, которые открыты опытному писательскому взгляду) — не что иное, как спецзаказ, оплаченный во всех смыслах заранее. Но что тогда за состав там, в «верхних властных эшелонах»? И то, что

заказали и съёмки, и премии заранее, — будто бы не иначе как от самой Набиуллиной (настолько же может быть правдой, насколько и домислом). Денег, как видим, не жалеют, а именно у неё много *государственных денег*, не счесть. Каждая из премий за такую книгу — не менее миллиона рублей. Госпремия — три миллиона. Что это — распил-раздел? Подобие «Дела писателей» с огромной суммой в десятки тысяч долларов в 1998 году за тоненькую, с тетрадь, книжицу «История российской приватизации» от Чубайса и его коллег (которые и сегодня на должностях самых высоких, в том числе и у культуры)? Но тогда были обыски, дознания — а сегодня? Насколько здоровее была Россия даже и в 1998 году!

...Поразительна всеядность нашей интеллигенции. Сколько написано и выблевано наветов и срама на Союз, на прокливаемый уже более четверти века СССР, а ничего не срастается. Есть что и с чем сравнивать. В вов шли добровольцами и стар и млад. В том числе и потому ещё, что воспитаны были на *той* литературе, на той поэзии, на тех песнях. Теперь если воевать за родину, то едва ли и за большие деньги пойдут. Платят за такие вот «романы», затем придётся платить и за контракты военным, и как этого не понять? О качестве содеянного под патронажем уличных, рубиновых, минаковых, гришковцов, макаревичей, быковых, ерофеевых, сорокиных, сенчиных и прочих, и прочих и говорить не приходится. Удивляетесь сносам памятников по всему миру нашим воинам? Осквернения захоронений наших павших в Первой и Второй мировых войнах? А вы больше платите — за такие «книжки», за постановки из госбюджета фильмов по образцу тех же «обителёй», «кшесинских», героического образа мерзавца Троцкого-Бронштейна (в исполнении Хабенского) от режиссёров Котта и Статского и прочие изделия в угоду конъюнктуре либералов.

По многу раз на каждой странице спотыкаешься, и каждая страница раздражает несказанно. Вот идёт неграмотная, вечно испуганная Зулейха вдоль железной дороги города Казани. Видит «столыпинский» (тоже от либералов термин) вагон. И тут же перечисляет на память (!) (неграмотная) все его параметры. Длину, ширину, высоту, даже и вес вагона... Листаж в худших традициях далёкого времени. И это — везде и всюду в «романе». Всё скоропалительно, слеплено как попало. Боже, как мы ничтожны в нынешней «либерратуре». Вирус — не наказание ли нам, беспринципным? Поразительны имена членов жюри, одоббивших премии этой книге. Толстой, наследник великого Толстого, и ректор Литинститута Варламов... И даже, прислушайтесь, В. Я. Курбатов! Восхитительно. Товарищ Астафьева, Золотусского, Распутина... Ему ли не знать, что такое русская литература?..

Как-то сразу сдались либералам сначала книгой, следом — самой низкопробной продукцией телеканалов, «псевдороманам»-новодёлам разэкраненным. Сериалы на одно лицо. Дальше — больше. И Малахов... И Собчак с Богомоловым... Свадьба в похоронной карете.

Юнна Мориц написала стихотворение, посвящённое им:

Пуškai на свадьбу едут в катафалке
Два экспоната, чьи названия жалки,
Пуškai на этой погребальной колеснице
Они лобзаются — до боли в пояснице,
Пуškai венчаться едут эти индивиды
Под куражом, где воят гроб для панихиды!
Но для чего по телеящикам страны
Всё крутятся такие звездуну?
А для того, чтоб видела страна,
Что бал в России правит сатана!

«... Оглушительно звеня, летит огненно-красный, сверкающий латунными ручками трамвай, в окнах без стёкол — гроздь лиц...». Госспремия.



Москва спешащая, осенняя, яркая, задыхается в пробке автомобильной. Старуха на улице в городе, нагибаясь, что-то отыскивает, поднимает в лиственной опади. Складывает и напихивает в матерчатую сумку. Присмотрелся: ягоды боярышника. Горстями сыпает в пухлую, красную, точно от крови, и тяжёлую, будто картёчью наполняемую, — сумку и порой нет-нет да и горстями ягоды в рот отправляет. Рот узкий, старушечий, сморщенный, словно сфинктер.

Мимо едут машины, дружно и густо яростно гудят при малейшей попытке её перейти дорогу, не дают прохода, таким ничтожным существом кажется им она, этим купчикам и поспешно обогатившимся приказчикам и лакеям.

— Глупа ты, бабка! — кричит на неё краснолицый малый из «лексуса». — Переход во-он там, видишь? Дуй туда, совершай забег в ширину. Спринтерский забег совершай. Куда ты лезешь, старая ты карга?! Чего устремляешься, как молодуха?..

И задвигает бесшумно стекло автоматическим невидимым-неслышимым моторчиком. Ему удобно, как опричник, самоуверен: пальчиком нажал — и готово.

Бабка в совершенной растерянности. До конца парка, и она, верно, знает это, — до первого перехода — километра полтора, а здесь точно не пустят. «Москва бьёт с носка», да ещё она и «слезам не верит». На то она и Москва. Вот как. Даже слезам, и тем не верит!

Старуха — в обносах, «обтёрхана», в рванье. Всеми, как видно, она забыта. В глазах — безнадежность

и покорность судьбе. А рядом, через улицу, — многоэтажное здание, с типажом — «под немцев», придаток не русской, а их архитектуры. То есть — выделана под те современные новостройки Европы, которые сегодня стали вдруг невероятно модными. Отзеркаливают небо в бронзовый отлив намордники и окна в один цвет. Кажется, что и любую человеческую попытку помочь, улыбнуться, руку протянуть — тоже отбивает железно, неумолимо. Кажется — отстреливает механически этим бронзоватым отсветом витрин и стёкол, словно бы так танк «Тигр» или «Пантера» отстреливал бы. Только гильзы отлетать успевают, так кажется.

— ...Мне досталась молодуха лет под восемьдесят пять, — кричит ей, совершенно потерявшейся, сзади водила, да так, что старуха вздрагивает и пугается, а потом он давит на гашетку и яростно подрезает кого-то — и опять шутка, и опять попался весельчак...

А между тем со всех сторон давят на клаксоны. ...С блестящим стеклом окон, с изразцовой, «под Запад» же, отделкой толстых чугунных наличников, Москва-матушка стала бездушной самой Европы. На заборе наличников ослепительно: «Банк Возрождение»... Ах вы, сукины дети, — радетели-«возродетели», опустившие богатейшую страну, империю СССР, вот этими «Совкомбанками», «Растерзай-ка-банками», и «Забодай-тебя-комар-банками». Фьючерсами и закладными.

С брокерскими продажами и перепродажами, с ваучерными аукционами, с залоговыми аукционами-игрищами и торжищами, притащившими всех нас к «кризису» и теперь убеждающими, что вот-де кризис-то — это как раз и славно! И потому-де, что будто бы «открываются для всех новые возможности». Кому, какие возможности? Тем, кто сидит на денежных мешках, уворованных у обманутого ими народа, — да, конечно... И ведь в который уже раз притащили к кризису.

И ходят теперь старухи и старики, роются в помойках, плющат ногой и собирают пивные банки, подъездают боярышник, как птицы, остающиеся на зимовье в стране, в которой не выжить. И вдруг стало понятно, совершенно ясно стало, что поднимет и опять непременно поднимет скоро неведомая рука всех нас, да и так тряхнёт Россию, а вместе с ней и весь мир. Снова и снова, и непременно по бездушию нашему, и, быть может, — грохнет нечто крепче семнадцатого года.

Не всё русским старухам собирать боярышник вдоль ослепительных фасадов чиновничьих контор, не всё нам терпеть, глядя, как унижают наших матерей, сестёр. Не всё молиться да пукать с сухомыт-ки «макдональдсов» да «кей-эф-си» в импортные портки-джинсы «от китайца». Не всё лежать ничком от тоски, тускло мучиться от выматывающей безработицы да «удалёнки» самоизоляции вирусной. Все мы давно самоудалились друг от друга, оттого

и беды наши. Именно сами позволили, согласились с атомизацией — и до вируса ещё задолго, и китайского, и американского.

Что-то непременно случится, чтобы нас образумить. Общее укоренённое бездушие отрезвляет только общая большая беда.

Москва... Она всё ещё относительно благополучна, но только относительно прошлых бед...

Сатанизм центричен, и центр его — в сердцах городов, в самом скоплении людей. Сатана любит людей, любит сообщества, любит города, афиши, футбол с сотнями фанатов футбола и так далее. Сатана полюбил общества людей ещё со времён Адама и Евы — ведь и это было «общество», и общество, с ним, с сатаной согласившееся.

Были втроём, когда Бог уже искал их, потеряв свои создания из виду во грехе их; вынужден был Он и наказать всех соучастников греха (если только можно соотносить глагол «вынужден» с великим: «Господь наш и Бог наш»).

Именно поэтому Бог противодействует сатане, он отпускает Духа Святого на скопления именно в противовес влиянию любящего общества и собраний сатане, «... где двое или трое собраны во имя Мое». Единственно (и это по необходимости, опять-таки в противовес сатане) — а Бог сам более всего силён именно в одиночестве. Как это хорошо сказано: «Внутри вас есть». Оттого и монах в келье один. И анахорет Иоанн Мосх, и Мария Египетская, и Авва Дорофей в одиночестве возрастали и созревали до Бога...

В одиночестве созидается душа, а развращается в толпе.

Москва (городские центры, областные города), как видится, — во всём её множестве неисчислимом (людей) — ушла от Бога. В церквях, я заметил, поют «Символ Веры» — не слушая ближнего своего, поют для себя.

И в то же время нигде так не одинок человек, как в крупных городах — в Москве, Питере, Екатеринбурге, протестующем против постройки храма (негде будет с собачками гулять!). Одиночество в толпе — это не когда ты один, а это когда хочешь, чтобы услышали, — и не слышат. И собачка не собеседник сердцу. Почему же не слышат? Сатана не даёт. Вмешивается. Противоречит. Отталкивает. Ссорит, сталкивает, сравнивает, взрывает междоусобную брань и зависть. Разделяет и властвует. Спешит и кривляется. Показывает противоречивые фильмы, сталкивает фанатов. Тех, кто за «Навала» ветхозаветного, и тех, кто против. И в наши дни «Навала»... Сталкивает за него и молодёжь, и опытных...

...Одиночество, аскетизм, паче — исихасты-молитвенники, — они все в себе, в своём мире пребывают. Истинном, Божиим.

Вот почему сам Христос так часто спешил в уединение. Даже от апостолов.

...Я стучался с девятнадцати лет в московские художественные журналы со своей прозой и со стихами, и, кажется, было с чем. Окончил Литинститут, опубликовался в Германии. По проторённой дороге многими «через Запад», потому что в СССР тогда ещё платили хорошие гонорары, ценили труд писателя, и оттого процветали кумовство и «взаимопомощь» в первых, во вторых и в третьих разрядах писателей... И вот, через Германию, — едва-едва удалось добиться цели, опубликовали во многих журналах России лишь к тридцати моим годам. Затем и в журналах Беларуси и Казахстана, и во многих других, кроме близкого (о ту давнюю пору), давнего, на Старом Арбате, ещё М. Алексеева, затем В. Крупина, затем «бородинском», — журнале «Москва»...

Ходил один и вдвоём с Олегом Павловым. А печатали в «Москве» только... в 2023-м. Всему своё время, как видно. Теперь жаль себя прежнего, молодого, наивного и доверявшего обещаниям секретарей и редакторов. Тогда была уже, по сути, потеряна вера в то, что свои, русские, и вообще — читают рукописи «из потока». Совсем не то народ «малый», внимательный, сплочённый и дружный. Они и прочитают, и пообещают. Нередко даже и сдержат слово. Но — на совсем ином уровне, на уровне ничтожном, ни к чему не обязывающем, или если ты «русопаятый», действительно выгоден им для задуманного ими дела, о котором ты сам и понятия не имеешь. И если ты «не их», не принадлежишь их сообществу на уровне разрушительном, тайном. Так в начале девяностых «Юность» В. Липатова, Барметова в «Октябре», А. Марченко в «Новом мире» опубликовали мои рассказы — и тут же прекратили их, убедившись, что они не полезны делу антирусского либерализма и всеобщей глобальной «демократизации». Даже вот и Большое Болдино с его пушкинианой... Премия в виде медали из серебряной скани и первое место в международном конкурсе — «Живое слово» Нины Зверевой, — и ажурная серебряная медаль с профилем Пушкина, вручённая на международном фестивале, ценное теперь как память «Казаковское художественное изделие» тоже имеет свою ценность и некое пряное послевкусие в сравнении с моими поисками места в русском нашем биваке...

Помню салют и бал с переодетыми дворяночками, потом вечер с цыганами в ресторане. И — большую, во всю грудь, от... В. В. Познера медаль. Он лично будто бы, как сказали впоследствии, выбрал из огромного списка «лауреатов». Значит, читали и отбирали. И вот ловлю себя на мысли, что

так поставлено дело, что импонирует этот «другой берег», затягивает. От поездки на два месяца по приглашению радио «Дойче Велле» — до... нынешнего дня. И всё у них схвачено, все премии крупные по-прежнему у них и для них. Вот он, «другой берег». И — да, там читают, и печатают, и пробуют поддержать отношения. А почему, собственно так поставлено дело? Ведь на дворе 2023-й уже год. Зачем я им, если меня «свои» не взяли? А как же «наши»? Помню, как однажды, в тех же девяностых, я так поговорил с К. Кокшенёвой, что, выйдя на Старый Арбат (да ещё и памятуя встречу с М. Алексеевым, прятничным писателем-генералом от литературы), выбросил свои рукописи в урну. Леночка Устинова, тогда молоденькая, почти прелестная, в алых прыщиках на подбородке и щёчке, куря с Капой одну за другой сигаретки, что-то говорила нелицеприятное о моей рифме, «теме»... И мягко этак, ненавязчиво они советовали, как и что мне писать... Одна — в прозе и публицистике, другая — в стихе и поэме.

И как странно устроено наше сообщество, что русскому рассудку в нём нет даже места. Если выплывешь на другой берег — и руку подадут, и просушат одежды, и поставят на службу. Себе. А по эту, русскую, сторону — никому не нужен. Сколько видел я подтверждения этому. Едва ли не на грамм дара, а его уже привечают, и стипендию оформят, и отзвонят везде, и перезвонят, и ждут его, и встречают. Почему? Он свой. Некими таинственными знаками, по рукопожатию ли, по ногтю ли на мизинце, — распознают того, кто работает так, как указано. Кем? Серой фигурой, магистром, кардиналом невидимым... И можно проследить разделение едва ли не с пушкинских времён, и особенно даже в литературе. Борьба русофильства и западничества — лишь следствие. На годовщине Гоголя чествуют... юбилей Жванецкого. И какой праздник! Сколько жара и холода, прекрасных слов и света. И рампы, и аплодисменты, и вот он, косоватый, кривоватый, поигрывает коленочкой. И юморит, и юморит, и полные залы. Но как зло, по-нерусски, даже с ненавистью к человеку, созданию Божию. А сколько внимания тем, под кого приструганы «тотальные диктанты»! Тотальные, заметим! И все пишут, вся Россия, диктант под невыносимо неловкие, нелепые, бессмысленные фонемы, подобно тому, как если бы нагромоздить саклю на верблюда у Стены Плача, — бессмысленные словесные периоды. И Мише Таничу аплодисменты шумные, словно льющийся водопад. И Губерману с его признаниями: «Я делаю деньги из воздуха, чтоб тут же пустить их на ветер», — и всё-то юморок о заднем, переднем и половом... А Розенбаум? «И бросает с крыши косточки от вишен очень неприличный гражданин...» А Рубальская: «Напрасные слова — виньетка ложной сути...» Граждане

страны Россия, ну послушайте внимательно, что читает вам Жванецкий на юбилее Гоголя. Ведь это неэстетично. Ведь этак цинично разве что в бараке «шестёрка» развлекает «туза». А разве нет? И песни таковы же нынешние, как если бы шутила «шестёрка» перед нарами пахана, приплясывала и пела, — тот же уровень. Или Шевчук: «Полетела... Чуть поела на столе...»

И слушаем, и читаем. А Михаил Алексеев, а Леонид Бородин — читали то, что обязаны были прочитать «по профессии» и по обязанности главных редакторов, и обещали прочесть? Не уверен. А вот Нина Зверева и В. Познер — прочли... Мы необратимо, безвозвратно проигрываем, проиграли уже. И это видно по всему: по тому курсу нашего корабля, куда все следуем...

И вот выходит под занавес на конкурсе «Живое слово» в Б. Болдино (и Пушкин теперь приватизирован?) — выходит под занавес Дима Быков. Под салют — его лицо то вспыхивает, то сереет. У него на ладони огромный бокал коньяку. Сигара во рту такова, что не всякий презерватив на неё натянешь (не подумайте, что жаркая, а такая толстая)... И оттого нерабочие ручки его кажутся ещё меньше. И он запальчиво вещает то, за что, применительно к Западу, его бы четвертовали там. А у нас хлопают...

...Или вспомнить, сколько раз и когда праздновали годовщины жизни и смерти русских писателей, поэтов, даже великих (по сравнению с пришлыми народами, притащившими сюда своё «искусство»: безверие и хохму, но и вежливость, и исполнительность, и верность обещаниям...). И всё станет понятно.

И вот сегодня, грустным Великим постом, в одиночестве, я думаю: а сколько же надо стучаться к Богу нам, чтобы апостол открыл наконец двери? «До самых до смерти, Марковна...» — всё так же? А и вера — тоже так случается, что и она убывает. Убывает вера и в свой народ, и в сам тайный, сакральный смысл бытия, и в предназначение русского слова и дела, как «званного на пир»... Национальная премия по литературе — какой национальности у нас? А «Букер» какой был, забытый теперь? А премия Солженицына? А премия Гончарова, выданная в двадцатом году всё той же «канарейке»-эмигрантке давней. Чем же она похожа на Гончарова? Носом? Стилем? А пять премий «Зулейхе»? «Не поеду в Россию, пока там сидит Троцкий», — сказал как-то С. А. Есенин и был казнён. И вот Прилепин оправдывает «самоубийство» затравленного поэта. И вот «Циники» Мариенгофа с его подачи и «Роман без вранья», а точнее — «враньё без романа», снова в цене, снова реанимированы? Нет, великой России до семнадцатого года нет и не будет никогда. «Улетели журавли, барин...» — как в рассказе Бунина. Улетели. И разделение на «бар» и «советских» ложно, вымучено,

безнадёжно. Всё убывает и улетает с годами. Даже вера в «своих»... Труд и творчество, тот интерес и целеустремлённость, с которыми входит в эту жизнь новорождённый ребёнок, — несопоставимы по усилиям и напряжению ни с каким творчеством повзрослевшего, уже устоявшегося в этом мире. Несопоставим ни с каким искусством, ни с усилием взрослой жизни. Все, даже и независимые, или мнящие себя таковыми, — ждут утешения среди своих, как бы ни форсировали они «независимость». Все зависимы, если живы.

Радости коротких всплесков озарения мало. Кто-то — ищет признания, кто-то — ищет забвения. И в работе со словом. Остановить катящийся вниз камень Сизифа невозможно. Ждать от жизни счастья впрямую — только новорождённый, осваивающий мир вокруг ребёнка... Он вправе надеяться. Легко жить. Вот так же и в работе. А что же получает взрослый творец за свои ожидания? Получает кровавый труд, затем — опыт разочарования, тяжесть камня Сизифа ломает кости, и редко очень — признание. Но тот труд и кровавые раны, синяки-шишки, с которым мы начинали жить, — не обещали ли они и сами по себе, и... благодать, и прощение? Эта боль жизни, когда больно жить, жить больно... Само по себе состояние боли и противостояние её власти — не суть ли, не залог ли спасения?

Терпи — и спасёшься! «Бессмертья, может быть, залог», — как точно сказал об этом Пушкин в поэме «Пир во время чумы»...



...И вот он скоро, «кризис», да ещё мировой. «Пандемия», несомненно, предшествует скорому кризису и даже для того и запущена. Спорят: так как же, пандемия это или нет? Помнится, у одного монаха спросили после событий переворота в феврале: «Протоколы сионских мудрецов» — провокация или подлинность? Он ответил так: а какая разница, мы видим, что всё именно так и сбылось. Вот и здесь то же: модифицированная с участием компьютера «испанка» случайно или намеренно прорвалась сквозь все барьеры биолaborаторий, — какая разница? Цель очевидна.

Павел Андреевич Воробьёв — доктор наук, профессор — утверждает, что нет, это не пандемия. До пандемии будто бы не дотягивает. «За вакцинацию отвечает Роспотребнадзор, а не Минздрав, — говорит он. — А оттуда мы ответа не получаем. Вакцина — это живой, либо убитый возбудитель, либо его части. В том препарате, который прививают, этого нет. Это генно-модифицированный вирус, на который насажен фрагмент другого вируса». Прививка — и всё это поступает в клетку. Там он размножается и выделяет ковидные частицы, которые затем

обуславливают появление антител. Такого препарата мир не знал и не знает. Это абсолютно новый препарат с неизученными последствиями, которые невозможно предусмотреть. Академик Чичалин вышел из состава комитета по этике, а он был председатель. Без этической оценки нельзя прививать, он не проверен. Стандарты оценки тоже не озвучены. Академик Гундаров спрашивает: только ли по этому препарату нет стандартов оценки? Их вообще нет. Английская организация «Найз» не оценивает эту вакцину вообще. В этом есть недосказанность и по политическим мотивам, несомненно.

«Люди бегут из медицины, они выгорают на работе не только с ковидом, но и в результате недавней „модернизации“, сокращений. Вирусологов, например, уменьшилось в десять раз. Как и эпидемиологов, и инфекционистов. Говорят, что привитые этой вакциной перестанут болеть. Но это абсолютная ложь. Может быть, как говорит академик Мурашко, привитые будут легче переносить болезнь, но это резюме — ни на чём не основано. Испытуемых было двадцать — двадцать пять. Уверенные, что прививка спасает, привитые вакциной будут разносить болезнь ещё чаще, ведь они уверены, что недостижимы для инфекции: они привиты. Это негативное явление. В „Ланцете“ вышла статья о спасительной прививке от Гинцбурга, а потом, в следующем номере, пошли поправки: что считать этим, а что — тем, цифры меняют произвольно. Такого прецедента в научном мире не было. Считать строчку в такой-то таблице, очистить от такой-то и прочее, и прочее... И это в „Ланцете“! Испытания прививки закончатся только в марте. Значит, к июлю кое-что прояснится. Почему прививают непроверенной вакциной? Да просто нас запугали, объяснили, что пандемия. Но цифры пандемии совсем иные, её нет. Пандемия — принято считать — это от одного до пяти процентов населения, заболевших в короткие сроки. Таких цифр нет, а ВОЗ — поменяло определение, объяснив, что пандемия — просто „вспышка инфекции“, но так нельзя. Есть выработанные формулировки. Это наука. Вакцина не снижает заболеваемость. Препарат не исследован. Профессор Гундаров говорит, что есть острое осложнение, есть отсроченные осложнения. Вот про отсроченные-то мы вообще не знаем ничего. Встраивание вакцины в геном рнк, а у нас есть механизм обратной транскриптазы, который считывает рнк и переводит в днк. И происходит встраивание и в геном митохондриальный, и в геном клетки. Про это ничего до сих пор не известно. „Спутник-Ви“ не гарантирует, что у нас не поменяется что-то в геноме. Хотя известно, что половина нашего генома — это вирусные частицы, но мы живём и с этим. За миллионы лет они к нам „присоседились“, и это тоже не изучено, и мы не

знаем, что они там делают. Но когда мы вводим что-то новое и это новое может появиться в том же геноме, у меня масса вопросов к этому...» (Конференция с П. А. Воробьевым. Научно-общественный круглый стол от 18 февраля 2021 года. Вопросы задаёт Мария Шукшина.)

И — ещё... Будто бы необходимо было неким силам встраивать Россию в некий мировой порядок, тот, что так подвержен всякого рода «кризисам». Мало было России «приватизации», которая сделала из ста процентов хозяев своей страны — девяносто девять процентов — и не просто работягами, а рабами. (То есть почти все бывшие, освобождённые революцией семнадцатого года, «проходившие как хозяева» просторами «необъятной родины своей», те, которые и не знали никакой «другой страны», такой, где «так счастлив человек», — они вновь стали батраками. Да ещё и потеряв при том и все права на страну, и все свои накопления от всей прежней трудовой жизни. И свои, и своих родителей, потерявшие в девяносто первом в одночасье всё (в противовес банкирам, знавшим заранее о спланированной девальвации, о курсах рубля и подлинной «цене» ваучера.) Но и этого мало. Кризис после вируса с непредсказуемыми дальними и страшными ближайшими осложнениями — всё это обещает новый передел мира, направлен на это, — но теперь уже и между банкирами самими, и олигархами, а это никогда не осуществлялось без войн. Мелкий и средний бизнес за год болезни «коронавирусом» — (намеренно) необратимо отсечён.

Итак, пирамида жизни и существования — перевернулась и рухнула, раздавив за эти тридцать лет более тридцати миллионов русского населения, умершего от недоедания, отсутствия медицинской помощи, волнений, по причине отъёма денежных средств, скопленных за всю жизнь. Без счёта стогрело от отравлений «палёной» поддельной водкой от палаточников-мошенников, «бутлегеров». Сколько-то уцелеет теперь? Ближайшую перепись населения, вероятнее всего, отменят. В самом деле, кому сегодня выгодно знать правду? Есть данные, что в России уже сегодня не более шестидесяти миллионов человек русских...

То, что с Россией обходится вовсе бесцеремонно, лютно, — стало ясно давно, с развала СССР. Невозможно представить такого безвозмездного отъёма и грабежа ни в Европе, ни в Америке. А на нравственном и духовном «уровнях» потери сопоставимы. Пасха Христова совпала с парадом девятого мая в сорок пятом. Ещё совпала на праздновании шестидесятилетия на параде в честь Победы в Великой войне. Парад Победы в честь шестидесятилетия окончания Великой Отечественной войны. Победы, которую так силятся отнять и перевернуть, смешать в кромешное (уже с 2005 года), даже и с репарациями пытались

отнять — и кто? Эти «поражённые в правах» страны-лилипуты, страны-флюгеры, и все их знают, и они отчётливо объявили свои претензии и требования. По многим статьям. Жили сыто и устроено, воевать с нацизмом не желали. Страны эти с «гулькиным носом» размерами и несопоставимы не только и не то что с провинциями России, а даже порой и с областными городами.

А тогда, пятнадцать лет назад, в 2005-м, многие главы союзных республик отказались даже приехать на празднование юбилея на Красную площадь в Москву. Они считают себя обиженными. Они будто бы унижены — и кем же? Разграбленной теперь и обессиленной санкциями Россией. Они хотели бы большего от России. Денежных компенсаций, увидеть саму Москву на коленях. Так тянули беспощадно и тянут из того остатка Союза, который считают они причиной их нынешних бедствий, что требуют: выплат, компенсаций, возмещения всяческих ущербов за то, что их спасли от истребления «фюрером».

И Первой, и Второй мировым войнам предшествовали «мировые» кризисы. Верно, теперь Россию многие были бы рады числить в своих должниках, и всё ещё числят де-факто. Иначе отчего бы с самого «верха» — из Белого дома, из Америки — сообщать на весь мир, что Россия незаслуженно владеет Сибирью? Что богатства её «непропорциональны» богатствам стран и территориями «другого мира»... Известно, пешего вóрона и галки дерут. И при том — какие амбиции, какая смелость, какая тяга к «справедливости» от поляков, латышей, эстонцев (так они её себе представляют, справедливость)! Европу освободили, и этого она не прощает и не простит.

И как же они видят будущее, страны-лилипуты? Или опять это от Троцкого: «Задерём подол матушке-России»? И на что нацелены «санкции», атаки? Цель всё та же, как и в семнадцатом — после переворота: взять в концессии, как при Троцком, всю Россию и вывозить иконы, пушнину, золото, хлеб, редкозёмы, лён... всё, всё. И при том совершенно даром и безнаказанно. Концессии, составленные в сговоре с Западом и Америкой Львом Бронштейном и разорванные Сталиным, — мы забыли. Новое — хорошо забытое старое. Вероятно, придётся России поработать опять, и с небывалым напряжением и невероятными потерями. Да ещё и среди искусственного вируса, «испанки», насаженного на геном. Вот нам и Великая Победа над фашизмом. Победа — страшными жертвами трансформировалась. Фашизм просто переименовался в глобализм. С удивлением вижу по тв даже генералов, которые по-прежнему... ругают И. В. Сталина (некто Решетников и прочие). Хочется сказать им, что их бы просто не существовало теперь. Питер стал бы Хиросимой, а Москва — Нагасаки (или наоборот).

Сын-подросток у святого источника, бьющего из-под глубокого угора. Овраг по Ярославской дороге, станция Клязьма и посёлок вдоль одноимённой реки. Крутизна к реке почти отвесная. Шёл вдоль реки, по-над этой крутизной, а внизу — хрустальной свежести источник, освящённый в честь иконы Матери Божьей Гребневской. У источника сидит малыш лет девяти, в котором сразу узнал сына. И так задумчиво сидел он, глядя на огнистые струи светлого родника, сидел долго. Припав к струе, он наполнил пятилитровую банку из святого источника, играл со струёй, рассматривал. И я смотрел на него с высоты. Он наполнил банку, вторую, попил и присел. О чём может так напряжённо думать или мечтать малыш девяти лет? И вот — так остро, до боли остро, почувствовал я, что все мы на этой земле изгнанники — и я, и он, и вон там вдаль — те, другие... И все мы с рождения чувствуем это так напряжённо-остро, с такой тоской, что не выразить словами, и, значит, тоскуем об утерянном в прошлом ином бытии, лучшем, чистом... Бытии с кем? С Богом? И вот теперь до саднящей кручины мы ощущаем своё сиротство и печаль по какой-то иной, истинной родине, которая кажется невозвратимой, кажется сущей далекó-далёко, где-то в иных мирах, тех, которые так отличимы от этого и так несравнимы и несопоставимы, что представляются нам с возрастом земные зланные места — противоположными тем. Даже и отдалённо — не напоминающими те, иные пределы, коих мы были некогда, и по всему вероятно, достойны. И с которыми ни в какое сравнение не входит эта бледная, грешная, странная земля...

...Корабельные сосны косо и неприятно нависали над крутизной обрыва, двигали стволами и скрипели. Канадские срезанные клёны в солнечном сочном восходе, казалось, безмолвно слушали небо; иные — словно молились, стоя на коленях вокруг моего сына и святого источника. Иные — жалобно выставив дупла своих сучков — угрюмо показывали их мне, эти чёрные дыры — следы ежегодной обрезки, — как воины показывали бы свои раны. «И этим деревьям — и то не благо здесь, на земле», — так ясно легло на мою душу, словно кто-то вслух сказал мне эти слова, даже и не называя их, а так, одной мыслью... Я окликнул сына. Он весело и легко побежал ко мне в горку, торопливо прыгая и выбирая, куда ступить... Боже мой! И эта радость встречи с сыном, не омрачённая на этой неуютной, строгой и равнодушной ко всему земле, — на этой холодной и пустой планете, — эта радость встречи показала мне так дорога, что я, пожалуй, не отдал бы её за все богатства мира. И всё думалось, когда мы шли вместе домой и несли воду с источника: «Господи, а где же души наши? Ведь они — с Тобой и у Тебя.

И какова будет встреча наша с Тобой? Ведь все мы суть лишь печалинки и лишь горчинки по тебе. Хотя и сами так часто не осознаём этого. Мы все-все дети Твои...»

Невыразимо-прекрасное небо весной двадцать первого года. Но есть и что-то грозно предупреждающее в этой красоте. И при постоянных ветрах, движении туч и облаков. Белоснежные на грозном жёлто-зелёном фоне, они постоянно бегут, и восстают, и вновь волшебным образом возникают самыми причудливыми очертаниями, меняются в столпах света и солнца рядом — то с чернильно-дымным небесным пространством, то — индиго. И вот они идут-движутся и стоят недвижимо: те, что вверху надо мной, — быстрее, те, что вдаль, — медленнее, и от этой их медлительности кажется, что — текут они в другую сторону. Получается, что облака и тучи кружат и кружат. И так — и неделю, и две... И всё это время, ежеутренне, — красный, пылающий, грозный закат... Затем — опять жёлтый, палящий, с высоким индиго, — лимонный поздний восход. И над всей этой пышной красотой — красный уголь солнца. Сказано в Писании, что когда смотрите на красное солнце и говорите: завтра будет холодно... И как истинно-страшно это: «... Маловеры... Знамена солнца умеете понимать, а знамена Духа — нет...» И кажется странным, невозможным, кажется нелепейшей выдумкой, как можно заразить это небо, этот мир Божий каким-то вирусом, невидимым, незримым и который невозможно осязать, обонять, видеть... Каким-то подобием радиации. Неужели кто-то осмелился покуситься на это намеренно? Немыслимо дьявольская затея.

Работаю со словом, пишу теперь мало, и всё меньше и меньше, исключительно для себя. Где-то в письмах — эпистолярной десятичной — Алексея Толстого сказано так: кто же станет писать на необитаемом острове, если будет знать доподлинно, что никто и никогда не прочтёт его рукописей?.. Никто. Только сумасшедший. Вот я такой сумасшедший и есть. При СССР, сетуя на цензуру, «диссиденты» жаловались, что работать над рукописями можно только на перспективу, писали в стол. Теперь нет смысла и в стол складывать. Мало у кого из пишущих ныне, если пишут они не детективы и не фэнтези с «попаданцами» в иные миры и иные измерения, — мало у кого из честно пишущих и не прогибающихся под нынешнего невзыскательного читателя есть перспективы напечатать книгу. Если он не богат, а богатых, «с полной мощью», честных писателей я не встречал. Зато пыльным, махровым венком

расцветает бульварщина, любовные романы секретарш и бездельниц-любовниц хапуг — их мужей... Всё испоганено бесцветной лабудой, так что найти хорошие строки и правдивые переживания — удача. Беда в том ещё, что девять десятых из читающих не способны отличить художественную литературу от поделок и подделок. И это не их вина. Вкус начитывается десятилетиями. Даже и образование не гарантирует «вкус». Даже филологическое образование.

Взята намеренно планка на понижение вкуса, на унижение народа, самой души народной через книгу поддельную, ещё чаще — через пафос, ещё нередко — «сусальной верой». И на каждом шагу — через театр, кино. А фильмы, эти сериалы на телеканалах (действительно «каналы» (!) сливные) — со стреляющими из всех видов орудий и оружия дамами, бьющими в челюсть с ноги, безжалостно и бессовестно по-обезьяньи лазающими по фасадам домов и сваям мостов — несносны. Обязательно в обтягивающих одеждах, обязательно в содружестве с влиятельными и самыми догадливыми следователями и с бандитами — и одинаково представляют их. Зачем? Кто-то видел, как стреляют в тире сударыни? Даже опытные? Я вижу постоянно... Это даже не смешно. Жизнь давать — у них лучше получается... чем отнимать её.

Понятно, что великие произведения рождаются и находят читателя — стихи и песни, проза и музыка, театр, настоящий, а не «Гоголь-центры», — когда идёт великая созидательная работа. Или отечественная, в защиту Родины своей, — война. Когда же торжище и гвалт на торжище, непрекращающийся гешефт и вместо великих фигур созидателей являются караси, способные купить что угодно и кого угодно, — им не нужны ни литература, ни песни, ни театры. Великое — оно всё о совести, сердце, чести, любви... То есть не помогает красть, а мешает. И вот писатели упрекают власти в наши дни: нет поддержки, нет внимания. А если есть, то внимание самой пошлой, гадкой стороне — человеческим экскрементам. Понятно почему: эти, такие «писатели» хоть не устыжают вора. Или биографии строчат, или про колдунов либо вампиров. Или про предателей века и величайших подлецов, по сравнению с которыми наши-то — вполне ещё терпимы... кажутся. Не жаловаться, а радоваться бы: хоть не пытаются в застенках.

Чужая власть отчуждает народ. И вот уже театрал, «режиссёра», ставящего гадко Достоевского, где женщины играют мужчин, прекрасные персонажи с великим сердцем, как сам Достоевский, — у него гады и гадёныши. И он, всячески стремящийся потрафить вкусу этих молодых, народившихся уже с гаджетами манкуртов, даже он — в обращении к нему молодёжи — назван

«бумером». Кто же таков теперь «бумер» на их сленге? Это отсталый, потерянный мамонт. Перестарались... потрафлять этой новой породе, этим инопланетянам в человеческом образе. Кто они? За недавний рассказ, напечатанный в журнале «Гостинный Двор» в Оренбурге, — меня отругал даже свой брат-писатель. В рассказе речь от лица девочки пятнадцати лет, речь о её судьбе в девяносто шестом году. Он заявил мне: «Такого не бывает. В пятнадцать лет девочка-подросток — это уже хитрая и корыстная баба... А у тебя — наивная целочка». А он ровесник мне, ему за пятьдесят. Выходит, не мы молодёжь, а молодёжь нас, писателей, перековала под себя.

Недавно каким-то чудом открыли дневники Иоанна Кронштадтского. Дневники эти писаны им тоже «для себя». И писаны так: предложение на немецком, потом на английском. Потом — по латыни. И так — на пяти языках. Святые не хотели, чтобы современники их прочли. Они тоже, как и я теперь, писали для себя, для своей души, внимая, «внутрь — имая», в себя, ибо «внутрь вас есть Царствие Божие». Меня же томит неуслышанность. Почему? Потому что я не святой. Потому ли, что я так и не отыскал это Царство внутри себя, и оттого эта одинокость и надежда, пусть и слабая, быть услышанным?.. Не одиночество, а вот именно — одиночество... Дни нашей жизни. Они похожи на дрящееся похмелье. И как похмельный ищет вина, чтобы опять очароваться нелепыми мыслями и видениями — отравить себя, свою душу, так и мы, живущие, жаждем жить. Мы ждём всё новых и новых дней, которые будто бы принесут нам новые впечатления и события, заставят забыть прошлое — освободят, откроют новое. Но одновременно сознаём, что и события, и покупки, все эти поиски праздника жизни, смена действий — всё это самообман и ничего кардинально непохожего на предыдущее — нет и быть не может в принципе...

Как прав А. Толстой, «красный граф», умнейший человек: кто же станет писать на необитаемом острове?



Похмелье жизнью не отдалить и не оставить. Каждый жаждет жить и иметь. Но едва ли не у каждого — у одного раньше, у другого позже — наступает отравление. Навсегда. Навечно. И если взглянуть бегло, то и внешне те, кому за сорок, — даже и непьющие — кажутся с похмелья. Вялая кожа, потухшие глаза. Неизлечимо. Их похмелье — к концу, а они всё ещё живут большей частью для внешнего человека, внутренний же забыт и измучен.

«Внутренний человек» — единственно только и предназначен для Царства Божия. И вот

прокатывают жизнь на шикарных машинах, просят жить в дорогих ресторанах, кутаются в собольи шубки, ищут, чем бы себя порадовать. Но радость недолга... Часто так и до самой смерти не подозревая, что насытить, согреть, напитать и обрадовать человека внутреннего можно лишь совершенно иной пищей, иным бытием в идеальном мире, но он им неведом. Мы все больны и очарованы жаждой наживы, ошельмованы жаждой влияния, желанием нравиться и излучать успех. Мы убаюканы этим миром. «В мире скорбны будете...» — сказано будто не нам. А убаюканы, не растём духовно — вот и войны, вирус, кризис, потрясения частного характера, ветшает тело, уходит здоровье. И спохватываются поздно. Чаще — и вовсе не спохватываются. «Проснись, мир человеков»... «Помоги временного жития этого ночь перейти», — сказано в пятой молитве Василия Великого. И как точно!

«Кто внушил тебе, что жизнь всякого человека — такая драгоценность, „подарок“ от Бога?» — как-то с сомнением и иронией услышал я вопрос своей совести, с потаённым сарказмом, — точно спрашивал меня некто. «Играй-живи, — говорили древние, и Эпиктет даже, — а когда пройдёт интерес, можешь уйти. Дверь открыта, никто не держит...» И вот я разговариваю с одним, вторым, третьим своим попутчиком — и ни у кого не нахожу болезненно-нервного ощущения зряшности этой жизни, нет сознания бесцельности уходящего момента, — того самого ощущения, что так присуще мне. Почему? Они живут без запросов души? Не нахожу и отдалённо того, чем мучаю себя я сам. «Глупости, — опять словно услышал я, — никто никого не держит. Дверь открыта...»

Утро. Крепкий вояка с красным лицом, бывший директор завода, разворованного теперь и сданного под склады и в аренду, прогуливает возле дома добермана. И вот — поразительно пустые разговоры его со мной: о кошке, о работе в горячем цехе, о его, вояка, перевязанной руке, которая заболела в самый неподходящий момент и которую, быть может, надо в гипс, а уж на рентген — точно. И опять — о еде, о ценниках на еду, и всё это бесконечно, и никак не уйдёшь. И вот приходится кивать, подыгрывать, выслушивать «в глубину» существо вояка, да и не его одного. И ведь девять десятых живущих рядом со мной — именно так, на таком уровне, живут всегда, до самой могилы. Два часа он гулял с собачкой — и никаких угрызений совести, что транжирит жизнь, Богом данную. Отчего же у меня — так до болезненности остро это ощущение: пустой траты бытия, бесценной жизни, дарованной каждому, и мне в том числе, времени

отпущенного, муки за пустоту, — и за которую придётся отвечать? Словно во мне заложено что-то, что нужно непременно выполнить, успеть, и этот неотработанный долг мучит. А время идёт. Или это просто гордыня? Вид гордыни?.. Как найти покорность истинную, стяжать смирение? Как понять своё, поставить парус и плыть? «Положись на волю Божию, и дела твои свершатся в срок», — а это откуда? Нет, это уже не «некто». К Нему, к Его голосу стоит прислушаться.

Случайно включил и просмотрел небольшой репортаж американцев о больной женщине, которую лечили и оперировали врачи-хирурги, лазерными скальпелями исправляя врождённый её недуг — порок головного мозга. Они были вынуждены на несколько часов отделить голову от тела, искусственно питая и мозг, и сердце. Не знаю, можно ли верить этому, как высадке американцев на Луне. Но дело даже не в этом, а вот в чём: Джойс писал своего «Улисса» — почти слепым, Кафка — был нервноболезным, и не только нервно, Мопассан в конце жизни превратился из красавца-гребца в сумасшедшее животное. Он не выдерживал даже дневного света. А Акутагава Рюноске, а Марсель Пруст?.. Но всех их объединяет одно, а именно то, что когда они писали — они были счастливы. Дело в том, что счастье — субъективное понятие. Одним — оно, скорее всего, видится, по сути своей, заурядным, вялым и тем желанней, как вода в болоте жабе, и поэтому многие, прожив этак, — так и не поняли, что они жили счастливо. А ведь это истина, и далеко не всем дано в жизни телесной насладиться безмятежным счастьем обывателя, и ещё того меньше — счастьем творчества. А главное — понять, осознать то, что прожили — и было оно, счастье. (Сытый боров, лежащий в грязной луже, тоже по-своему счастлив.) Ну так что же, ведь много и иных-прочих. «Ну так что же, ведь много прочих, не один я в миру живой...» — в стремлении к самоуспокоению сказал однажды молодой, самый, быть может, несчастнейший из людей, запыхавший уже и к тому времени «розовым огнём» славы. А нам он кажется и сегодня счастливцем: и молод, и талантлив, и красив был. Жизнь его вошла в легенду. А ему самому эталоном казался Пушкин: «Стою и говорю с тобой... Я умер бы сейчас от счастья, сподобленный такой судьбе»... А кому-то А. Рембó. А кому-то актёршкó, сыгравший Рэмбо... «Первая кровь»... Так здоровый человек смотрит на муки оперируемого — и в это время сам не может быть осенён даже сознанием счастья (хотя бы удовольствия от своего собственного здоровья). А что его волнует в это время? Возможность крупного ценового падения его акций на бирже? Ревность? И прочее,

и прочее... А где же счастье? А счастья нет — и не было. Самое высокое счастье, доступное здесь, на земле, — здоровье, творчество и жизнь в духе. «Тело — не более ли одежды, а душа — не более ли мира?» Женщина, прооперированная так сложно, когда очнётся, будет ли счастлива? Почувствует ли она себя счастливой — вот вопрос.



Два друга, встретились.

— Я слышал, ты женился?

— Женился. Как на льду обломился.

Вздохнули оба:

— Это да... Один женился — с головой пропал, другой женился — свет увидал. Знаешь армянскую пословицу? «Жена может создать дом, да такой, что и шайтан не создаст. И разрушить такой дом, что и шайтан не разрушит...»

Расходились они, прощаясь, тоже в глубоком раздумье.



Мука да вода. А взболтал, посолил — и в печь, и вот уже и хлеб. И есть в этом хлебе от самого Бога.

Плотяное, созданное, сотворённое Им из миссии к человеку — хлеб... Тело человеческое — со-тварно глине с водой, а тело Христово — хлеб и вино, преосуществлённые, претворённые от Духа и самим Духом. Такой глубочайший символ в причастии.

В хлебе — для человека плотью, и растворим (в крови Христовой) — в вине, в потире само существо жизни. «Я — хлеб жизни» и «источник жизни». Кровь — вино от щедрой лозы. Так и отдельное: муж да жена — есть только тогда одно, единое и могут назваться людьми, одной плотью, когда в течение жизни взболтаются, смешаются, взойдут от малой закваски, как вода и мука, как вода и глина, — когда переживут, перетерпят многое вместе, станут не просто водой да мукой, но тестом уже, но и печью жизни самой, обожжённые единой плазмой. Не глиной (прахом), но телом человеческим, муками страстей и искушений сочетаемы. Не просто со-тварны станут они, а в Духе — едины. Но как трудно, и какова работа на протяжении жизни всей. Не меньше труда монашеского. А если и дети ещё...

...Вот где величайшая из тайн нашей Церкви и смысл и упования, и надежд мирян. Спасение возможно не только в монашестве. И тогда труд — во спасение и для воскресения. Растворение телесное — посмертная участь. Сочти так: здесь, на земле уже, — и осмыслиется сердечно тайна бессмертия нашего. И питание от Бога — тела человеческого, и то, что поддерживает в нём жизнь

физическую, — и здесь тоже проявление Божией Любви к человеку.

И питание, вос-питание детей — есть уже тоже сама Любовь, питающая тело и душу семьи во всех отношениях, проявленная. Вот отчего, как предупреждение человеку, — именно голод предшествовал большим бедам на этой земле. И отказ Бога питать человека — тоже. Множество примеров тому.

...В период Возрождения из истории в Европе, и в тот же период — и у нас, и в Европе: именно падение веры и, как следствие, голод предшествовал большим бедам. И то, что на Пасху 2020 года само причастие, духовное питание мирян, было пресечено по причине «коронавируса», который, в сущности, не нов и изучался ещё с 1978 года в медицинских институтах, вузах при СССР, но чтобы запретить и причастие само — такого не было. И всё же не сам ли человек отказался от причастия из-за боязни заболеть, соглашаясь с «указивками»? И закрытые храмы на Пасху? И високосный год здесь вовсе ни при чём. Мы знаем примеры, когда цари входили в чумные бараки — единственно поддержать силу духа солдат своим присутствием.



...Едешь по России далеко и долго, и кажется, что вся — на старушках да на бабах стоит. И так стоит, словно держится последний свой срок. Проезжаешь глубинкой — и диву даёшься, как деградировало, как упало всё. Кажется порой, что и не в подъём уже. Сгнуло в первую голову село. В большинстве своём по тв всё одно и то же: «Ставрополь накормит, и ещё за кордон продаём», — но так ли это? И как нелепо звучат эти слова, когда вспоминаешь тот СССР, с его городами — элеваторами, его фермами, компостными ямами, заводами-пекарнями.

...Кировская область, Оренбургская, Рязанская, Тверская... Везде был, и как не вспомнить с тоской невыразимой те хлебные резервы и запасы, которые существовали в Союзе? Скажут: качество хлеба было не то, было парадоксальное и неоправданное земледелие средней полосы. Но хлеб и сажали для фуража в основном в средней полосе, для скотины и комбикормов. Теперь поголовье скотины в десятки раз ниже. Второсортная пшеница, рожь, овёс стали не нужны — как следствие. Тем более поражает обилие колбас и молока на прилавках магазинов сегодня: откуда? Единственный вывод: многое — поддельное или завозное. В Германии чистые продукты очень, чрезвычайно дороги, а «милк» (млэко) — особенно. Помню, как был удивлён, когда сам я в Берлине, в Мензе (столовая), взял однажды общий набор продуктов на поднос, но вместо «оранжен сафт»

взял стакан молока в триста грамм... и заплатил вдвойне. На мой удивлённый вопрос толстоногая молодая немка расхохоталась и объяснила просто, махнув рукой на пластмассовый стакан на моём подносе: «Милх!» Я понял тогда, что если стану и на будущее набирать вместо сока и компота молоко — не дотяну до вручения очередной стипендии Гёте-института.

Был 1992 год. Август. Молока и коров в Германии, переезжая по «землям», я видел немало... А у нас?

Село кормило. Село стояло на молодёжи, более всего на молодых девушках. Молодые матери хранили и детей, и землю нашу. Не спасёт Ставрополь и Краснодар. Спасут только молодые женщины, хозяйки, матери, семьи. Где они? Как вернуть «прошлое»?



Сегодня март, двадцать третий день. Совершенно сумасшедший, мокрый, мартовский снег, тяжёлый и сырой. Острый, неуёмный, сыпет и сыпет. Валит то с ветром, колючий, то — огромными хлопьями, словно охапками. Русская баба, «дворничиха», в поту, в телогрейке стёганой, еле двигает — сдвигает с платформы мокрый снег двуручным скребком, приседает от тяжести его с налипшим снегом. Скребком сотворён так, что он очень широк, для двоих-троих, не меньше, и рамка на нём огромна. Баба уже и сама-то еле двигается, телогрейка на ней — хоть выжми. Ей — другая такая же «дворничиха» — кричит с дальнего конца платформы другой:

— Анна Тимофеевна, тяжёлая лопатка. Да снег налипает ещё!

В ответ:

— Какая разница, Тань, тяжёлая ли, нет ли?.. Мне быстрее надо!

...В этом вся русская женщина, безропотно-терпеливая страдалница. Русская женщина не думает о себе, а вот быстрее-то надо — вот и всё. И никаких поблажек или условностей. А зачем быстрее? А затем, что и там, куда спешит она, торопясь поскорее убрать снег, — и там дела, скорее всего, что и ещё тяжелее, чем даже и снег убирать на платформе. По платформе, в март, скребком возить. И вот, проходя, спросил их:

— Помочь вам?

Взглянула, взмахнула рукой:

— Сама управлюсь.

— Когда же отдыхаете? Каждое утро с темна — вы уже здесь.

— Когда сдохнем — тогда и отдохнем.

...Как глубоко, страшно виноваты мы, русские мужики, перед нашими женщинами. Бездонна, неумолима вина наша, и «к небу вопиёт», как великий смертный грех... Мыслима ли вот за таким

скребком американка или голландка? А немка? А полька?

Вспомнить Крымскую, Дашу Севастопольскую, сестёр милосердия. И фронты Первой мировой, и госпитали с нашими дворяночками даже. А Вторую мировую! Эти победы — едва ли не победы наших женщин. Тылы, госпитали, санитарки, поставки питания, когда сами умирали от недоедания...

..Впоследствии я всё же разузнал её историю, этой женщины со скребком. Молода была, не разглядела человека. Пил, бил, развелась. Двое детей. Чтобы прокормиться, согласилась на фиктивный брак с каким-то Файзуллой. Расписались — а он и был таков. Теперь ищи-свищи Файзуллу. Пятый уж год. За гроши он приобрёл угол в подмосковном доме, прописку у неё, за счёт её и на её доверии. А ей теперь соцпомощь на детей не оформить, ни льгот никаких, даже и самых крошечных, от государства. В собесе объясняют просто: вы женаты, мы даём малоимущим, а ваш Файзулла, быть может, миллионер. Пусть предьявит справку о доходах. Утрёт русская баба слезу, да и за скребок, за рельсы наравне с мужиками... Пристяжная с детьми — куда их денешь? И за жильё заплатить, и за ЖКУ без льгот, и обувь-одеть, и накормить, — вот и тащит она повозку с детьми, еле жива. И ни веры уже, ни надежды на такое государство.

Быть может, оттого и живёт наша Россия — и жива, хоть и униженно, да и так стыдно, что горько-безжалостны мы к нашим женщинам, жёнам, матерям-старухам...

Где вы, мужики русские? Ау... Впрочем, есть и иные дамы. В столице. Сорок два ей — а она генерал-майор уже. Знает, кому и когда улыбнуться. Да и вообще — красавица. За десять-двенадцать лет с прапорщика до генерал-майора поднялась. Комментаторы они и пресс-атташе... И знаки за боевые заслуги у неё, и ордена, и медали. Горькое и сравнение. Конечно, столица — она столица и есть. А за пятьдесят километров от столицы каково?.. «И снег, и ветер, и звёзд ночной полёт...»



Переход подземный к Рижскому вокзалу. Сидит, просит подаяния стриженный наголо мальчишка лет девяти. Перевернутый картуз на ледяной плитке пуст. Он сидит как зачарованный. Недалеко от него — безрукий старик, подняв кверху глаза, будто молится. У согнутых коленей — несколько мелких железных монет. Ещё через двести метров — стоит овчарка. Прижав уши, она держит в пасти на клыке банку из-под майонеза «Провансаль». Эта баночка — пластмассовое ведёрко — доверху набита бумажными купюрами и монетой.

Что-то хронически не так в этом перевёрнутом мире. Пусто у нищего мальчишки и у старика. Пса жалеют гораздо больше, чем их. Не ошибаюсь ли я? Остановился, стал наблюдать. И точно. Время от времени к барбосу подходит хозяин в кепке, лет сорока, с сигаретой в зубах, и выгребает всё, что выдано было и пожертвовано прохожими «на корм собаке». Выживет ли такая нация, которая предпочитает ближнему, спасению жизни ближнего — «спасение» собаки? Его, того, кто с сигаретой, завистливо провожает взглядом беспризорник. Голая спина словно вылеплена из глины. Рёбра, лопатки, «флейта-позвоночник»... На выходе из метро, у забора с кустами, всё усыпано одноразовыми, белое с красным, словно поплавками, шприцами. Недалеко — храм Святого мученика Трифона, днём он всегда пуст. И у храма надпись и дата памяти святого. Но и здесь, на площади у метро, дата иная — надпись: «31 августа 2004 года террористка-смертница... Десять убитых... Погибших... 51 раненый». И ни одной погибшей собаки. Человек, женщина, призванная самой природой стать матерью, пришла сюда с поясом смертницы в 2004 году и отняла жизни у десятков себе подобных.

Нет, мы здорово проигрываем четвероногим, это верно. И айфоны, и компьютеры — вовсе не показатель ни ума, ни развития «Планеты людей» — как назвал нашу Землю знаменитый лётчик, писатель-француз, нравственник, сбитый в тумане на войне. Даже Антуан де Сент-Экзюпери — и тот не удержался на крыльях в «ночном полёте этой жизни...». «И даруй нам бодренным сердцем и трезвенною мыслию всю настоящего жития ночь перейти», одолеть ночь временного сего бытия, — сказано в пятой молитве Василия Великого. Её и включили в утренние молитвы. С этой мыслью я и покинул площадь у метро «Рижская». Москва...



...Теперь это кажется невероятным, но я помню, как меня крестили. Мне было два месяца от роду. Церковь казалась безмерно высокой, белоснежной снаружи. Я глядел вверх — как в трубу, уходящую шатрами ввысь среди изгибов свода. И спланирована она была так, будто купол сверху оплетён паутиной хоров — хоров-выемок, с кошечками-полусферами.

Тогда, полвека назад, со словами священника «Дунь и плюнь», — помню, мне стало невыразимо страшно, и я завозился, и заплакал... Я, младенец, не увидел никого. Но липкий, холодный страх присутствия зла, и такого зла, которое казалось

безмерным, но не допускаемым до людей, ставшим от запрета немощным на какое-то время, — это чувство осталось со мной навсегда.

Особенно поразило меня, месячного (странно, что я всё помню), тогда — поразило то, что едва священник понёс меня куда-то (как оказалось позднее — в алтарь) — и во мне тут же подало голос некое мудрое и всезнающее существо. Существо это, я знаю, есть во всяком человеке. Даже не существо — сущность, некая субстанция... Она и подсказала мне, что несут меня в алтарь, и ещё сказала, что напрасно жду я чуда в алтаре. Напрасно. Чуда — этого великого явления мне Бога-Света — в алтаре не будет... И я вдруг осознал всем младенческим сердцем своим, что я во всём мире — один. Ни папа, ни мама, никто не поможет мне в этом холодном и страстном мире. И вот, родившись — я крещён. Как немощный цветок, теперь я открыт для ударов судьбы, и надо набраться сил противостоять им. Откуда? «Дунь и плюнь», — это объявление войны аду. Беспощадной войны.

Кто-то — то ли вне меня, то ли совсем рядом, то ли во мне самом — морочил меня и смеялся язвительно надо мной. И при этом казался совершенно прав: там, куда меня принесли (в алтаре), и в самом деле не случилось никакого чуда, хоть душа ждала и замирала в ожидании этого чуда. Красивые семисвечники. А на стекле икона Христа-пастыря, со вскинутой в приветствии нашедшего стада пастыря рукой. Той рукой, десницей, на которую всю жизнь придётся надеяться теперь, — вот и всё, что способно было удивить неискушённое сердце младенца. Того, что предвкушало сердце за Царскими вратами, — того не было... И от этой внезапно открывшейся пустоты, отсутствия ожидаемого чуда, от испуга перед грядущими трудами и тяготой жизни — так занемело испуганное маленькое сердце.

До сих пор помню и то разочарование, которое постигло тогда, при крещении. Подобного я не испытывал впредь никогда. «Смотри, никого и ничего здесь нет, — словно шепнул мне некто слева, — алтарь пуст... Он пуст всегда...» И я обомлел от испуга. Закричал, заплакал навзрыд. Забил-ся в пелёнках в руках крёстной — восприемницы.

Но — отчего и чьё было это нашёптывание? Не знаю до сих пор. Странно, что этот «кто-то» оказался прав: ничего того, ради чего замирала душа моя и от Кого ждала радости, — Тот, ради поиска следов Которого я и пришёл в сей мир, — никого Этого Тайного, зримого — не встретил я и впоследствии. И до сих пор. Только Тень... Величайшую Тень Его всеприсутствия.

Но и Тень, величие Тени Его поражает.

Сергей Чернов

Живая кровь

Кровь, надо знать, совсем особый сок.
Гёте. Фауст

В ту зиму один день был похож на другой. Ватные облака ложились на крыши меховыми шапками. Шёл снег — день за днём.

После сухого лета, сухой осени зима, казалось, возмещала ущерб, засыпая дворы, заноса дорожки, облапливая провода. Так и было: утро с пепельно-серым небом; люди, прорубающие пути к расчищенной трактором дороге; и снег — бесшумно падающий редкий снег...

Я вставал ровно в восемь. Выпивал полкружки молока, бросал в пакет капельницу, физраствор в уродливой медицинской бутылке. Отправлялся в местный стационар. Пути было — минут пятнадцать по диким от снега улицам. Люди шли на работу, на рынок. Дети бежали в школу. Мокрый снег скрипел — сладко, как арбузная мякоть.

Пятнадцать минут... Всегда что-то странное творилось в эти пятнадцать минут: они словно были — и в то же время их не было. И вроде бы я кого-то встречал, кивал головой. Взлетал на снежный отвал, когда машины проносились мимо. Падал. Что-то терял, забывал, возвращался. Но что, где? Всё таяло, расплывалось, как сон: яркий — пока не проснёшься; а там — одни клочья... не слепленные, пустые...

Но вот бутылка физраствора бьёт по колену. Грохочет трактор. Тополя, согнувшись под снегом, сторожат стезю к кособокому крыльцу с голой перилой. Вот он — некогда баня, теперь стационар, — большой белый кирпич с окнами ртутными из-за белизны вокруг. Дверь — ручка обмотана тряпкой — открывается наполовину, и то если поднажать. Коридорчик в два шага. Измочаленный веник. Ещё одна дверь, а за ней — маленькое помещение угловатой буквой «С» на дюжину комнат-палат; окошко напротив входа, в котором лишь краешек стола и спинка стула; жёлтые пятна на потолке; деревянная лавка, чтоб удобней натягивать бахилы (а они обязательно рвались, и приходилось волочить ноги, дабы они не слетели на полпути); стены — белые больничные стены, и желтеющие санбюллетени, написанные от руки.

Да, из этого можно сделать вывод, представить, как выглядело, но всё будет пустотелым без двух вещей.

Хлорка. Нигде в мире так сильно не пахло хлоркой. Запах источали стены, полы, ребристые батареи. Хлорка была воздухом и богом, требующим ежеминутного поклонения. И вот сейчас, поутру, переступишь порог — он ударит вам в ноздри, а в пустом коридоре вы увидите женщину-адепта, непременно шкрябающую линолеум куском старой рубахи на швабровом древке.

И голоса. Старческие голоса сливались в ноту, что замирала и загоралась вновь, подобно далёкой волне. Толстые стены сдирали с них душу, превращая в эхо — неразборчивое и глухое. Казалось, люди эти где-то необычайно далеко. Или глубоко в толще пород, из которой уже не вырваться. Внутри холодило от звуков. Даже от смеха. Нутром чувствуешь — смех; а до сердца доходит — сухой горох о глухую стену — никчёмность какая-то. И обида. Может, казалось, а может, и вправду была — тонкая эта обида за то, что тут они, старики в пуховых платках и серых заштопанных кофтах, а там, за стеной, — рукой подать! — морозец, и снег, и воздух, которым дышать не передышать... А они замурованы. На веки вечные.

Вот он, тот стационар — звук и запах — более ощутимые, более реальные, чем стены и бугристые полы.

Но всё же была тут одна палата... Внешние звуки в неё почти не проникали. Запах, невыносимый запах хлорки ослабевал, разбиваясь о белую дверь. Шесть коек. Шесть тумбочек с раскрытыми дверками-ртами. Большие окна, чтоб заглянуть в которые, приходилось вставать на цыпочки. Раковина с гусиной шеей стока казалась подвешенной в воздухе на фоне белых стен.

Здесь было много пространства — из-за потолка или этих стен. Пустота давила. Как ни забивай её людскими телами, она не исчезнет, архимедовым законом её не выдавить.

Палата номер пять, дневной стационар, тот самый, к которому я был «привязан» росписью в медкарте.

Люди здесь были особые — не молодые, но и не старые (казалось, возраст их подходил

к пенсионному, но только лишь подходил). Одеты по среднему достатку — не так чтобы хорошо, но и не бедно. Но главная их особенность в том, что все они друг друга знали — не по работе, не по соседству — знали по тем местам, где виделись чаще всего. «Ну что, втэк прошли?» — «На год?.. Ой-ёй-ёй, сколько ж можно!» — «И что колют?.. А мне вот прописали...» — «Посыльной? Перед втэком?..» И всё с жаром, с огнём в глазах — среди своих, таких же спецов по лекарствам, врачам, прсиживанию в коридорах втэка.

Нет, были и такие, кто появлялся единожды — откапываясь после пьянки. Друг на друга похожие — так же смотрели в потолок, так же вздыхали, фальшиво постанывали. А вокруг всегда вился какой-нибудь друг, приговаривая: «Терпи-терпи. Я Саньчу поставил — как огурчик выйдешь!» Но появлялись они редко, а когда появлялись, разговоры о лекарствах тут же снижались до полужёпота, точно в одутловатых от спирта лицах чувствовалась для них угроза.

По утрам здесь всегда царило чесоточное оживание. Распаренные от дороги постояльцы скидывали куртки. «Что ж вы меня бросили-то, а? — говорил низенький мужчина со стариковскими морщинами и гладко зачёсанными волосами. — Я смотрю — ёлки зелёные! — один! У меня кончается. Я уж хотел иголку сам выкручивать!» Он примерял свою простыню к голому матрацу. Когда он встряхивал простыню, по палате разносился резкий запах его дезодоранта.

«Ой, ерунда-то! — фыркала женщина в очках, полноты такой, что, казалось, не переворачивается с боку на бок, а перекачивается, как шар. — Тут был один... Да ты его знаешь! Федька Смакин! Так он её вытащит, повесит — и домой...» — «Говорят, пожизненную дали», — вставляла женщина с чёрной родинкой на щеке. «Чего ж он по больницам шляется, раз ему дали?» — женщина в очках безглаголиво сжимала губы.

А ещё обязательно кто-нибудь вваливался, бешеными глазами метал молнии, швыряя перчатки на свою койку: «Обмануть хотела! Ага... Суёт мне. А я ей: „Ты чего даёшь? Да я всю жизнь по больницам, я лучше тебя знаю. Милдронат мне прописали, а ты...“ А она: „Ой-ёй-ёй, извините-извините, а мы не поймём чего написано...“ Надают чего попало, а потом машины себе покупают дорожные!»

И все в палате подхватывали, точно слова эти резали сердце, сдирая кожу с засохших ран, извлекая больное: и с ними то же, и с ними так же. И лечили не от того, и вену порвали, и цены подскочили, и дешёвое прописали. С негодованием, переходя чуть ли не в гвалт. И тот вдруг обрывался, будто воздух кончился. Наступала глупая тишина, накрывая всё и вся большим тяжёлым одеялом. Они стелили свои простыни,

закатывали рукава — уже с каким-то смущением, стараясь друг на друга не смотреть. Наконец кто-нибудь с негодованием замечал: «Вчера в ЦРБ с „больничным“ ехала. Народу — селёдка в бочке. Старики! Чего прутся? Ноги не ходят — а они: „В Бобров, в больницу!“ Народу — тьма... Я вчера к невропатологу сидела. Так там старух как на базаре. Еле успела. С посыльным». И маленький мир дневного стационара оживал, почувствовав родное: «Да-да!.. Старики!.. Сидели бы дома — одной ногой в могиле, а куда-то лезут!.. Молодёжь обнаглела! Место никто не уступит!.. Народу в „больничном“ — битком!..» Пока и эта тема не умирала. Вновь наступала тишина — мучительная, неловкая.

Людей в палате всегда было много. Это так — шесть коек; лежащими занято только пять. На шестой сидели по трое-четверо (а ещё обязательно кто-нибудь стоял), те, кто «докалывались» или просто ходили на уколы. Люди менялись. То лежала на соседней койке женщина — почти старуха, накрашенная так, что казалась страшной. То, на следующий день, уже опухшие ноги торчат сквозь прутья, а дородный их обладатель храпит, как утопающий, глотнувший морскую холодную воду. Но кто бы ни появлялся, в большинстве своём был из тех, «своих», принося новое о врачах, больницах, посыльных.

Моя койка у окна, почти на отшибе. Ложиться на неё никто не хотел — здесь дуло. Сквозняк гулял, иногда распахивая дверь как ударом ноги. Но я не жаловался. Позиция тем удобна, что находился я вне этого маленького круга. Меня не замечали. Заинтересовались мной, только когда поступал. Да ответить, что колю, зачем, внятно не смог. На том и закончилось — пропал ко мне весь интерес.

Когда поступал... Дни стёрлись, превратившись в расплывчатое «вчера». Люди лежат, задрав рукава. Физрастворы и ампулы — на тумбочках. Входит медсестра с жёлтой стойкой в руках. Медсестра молчалива, как сфинкс, снисходит до одностороннего: «Пойдёмте. Готовьтесь. Работайте». И уходит, не спрашивая, щиплет ли под иголкой. И вот все привязаны к жёлтым стойкам. Теперь начинается самое тяжкое. Будто плита гробовая падает на каждую койку. Тишина. Молчание. С крана срываются капли, разбиваясь о казённую раковину. Шуршат занавески от сквозняка и тепла, идущего от батарей. Но всё так слабо, так ничтожно, что делает тишину ещё твёрже. А молчание душит. Хочется, хочется что-то сказать, но на ум ничего не приходит, а если приходит — растворяется сахаром прямо на языке.

Не выдержав, женщина с родинкой заявила надтреснутым голосом:

— Кровь сдать... Из вены, говорят, в ЦРБ. Я поехала... В новый корпус... Там чёрт ногу сломит... Еле нашла. В очереди отсидела, захожу, а мне

прямо с порога: «На сколько записаны?» Теперь, оказывается, и кровь сдать — по талону!..

Она замолчала, ожидая поддержки, — но её не было.

— Звоню следующим днём... Не записали. Чтоб врач... Нужно, — она говорила всё тише. Её и без того худое тело, казалось, усыхало на глазах. — Вот... А тут... Пришла к ней: нет... Направление... В направление... С направлением в регистратуру. Записали еле-еле... А это ж кровь! Её ж каждый месяц. То одно, то другое...

Она вновь умолкла. Но что-то стало пробуждаться.

— Ага! А если надо? Если вот срочно надо?..

— Ой, одни бумажки...

— Тут договоришься — так возьмут. А там... Халаты белые, морды красные...

— Во-во! Мои. У брата двое. Дети...

Тут при слове «дети» оборвалось, точно в это узкое общество вонзилось нечто чужое.

От физраствора было холодно, клонило в дрему. Кто-нибудь обязательно засыпал. Поглядывали на него всегда с завистью. С завистью слушали сопенье, бульканье. Сон был оправданием, но как же трудно его заработать!

Дверь время от времени распахивалась. Появлялась медсестра (сегодня высокая, худая, с застывшим совиным лицом), тут же пропадала — поневоле подумаешь: а не привиделось ли? В коридоре изредка что-то гремело; повариха — молодая на вид девушка — боцманским голосом кричала: «Еду брали? А чего расселись?»

Те, кто ходил на уколы, сидели на «общей» койке, краснея от «никотинки». Оторвавшись от пуговицы капельницы, они теряли и членство в этой маленькой группе. И всё же молчание давило и на них. Они тоже страдали, хотели её порвать. Но только хватало робко пошутить: «Вот напшиговали-то — сидеть больно». Никто не улыбался на эту шутку, даже они сами. Лишь изредка кто-нибудь пресно замечал: «Да, действительно...» Но им было легче. Отсидев свои пятнадцать длинных-преддлинных минут, они исчезали — вырывались из вакуума в поток старческих голосов и дальше, на воздух, жмурясь от белого снега. А дневной стационар оставался при своём.

Но вот кончилась первая капельница — у полной женщины в очках. Она начинает ёрзать, краснеет, не в силах решить, что ей делать: ждать или бить кулаком в меловой утёс стены. Но медсестра появляется сама. И тут — первое чудо: на халатно-белом её лице... улыбка! Улыбка так слаба и неожиданна, что кажется полной тайн. Медсестра — явление столь незаметное — притягивает общий взгляд. Она необычайно учтивая. Успокаивает как ребёнка:

— Сейчас... Потерпите чуть-чуть...

Сдирая пластырь, заботливо спрашивает:

— Больно? — и добавляет, вынимая иголку: — У Кольки руки волосатые. Пластырь тянешь — кричит.

Положила вату. Забросила прозрачный шнур за выступы стойки, понесла её к двери.

— Кричит? — с запозданием спросила женщина в очках.

Но медсестра уже исчезла.

Дверь оказалась распахнутой, в палату ворвались и запах хлорки, и шум голосов, как тихий рокот далёких волн. В коридоре, опираясь на косяки, стоял мужчина с измождённым лицом. Пустая штанина завязана чёрным узлом. Из этого узла он выудил пачку сигарет; глядел на неё, не решаясь, курить ему или нет.

Не прошло и пары минут, как медсестра показалась вновь, ведя под руку высокого мужчину, который еле волочил ноги. Медсестра посадила его на «общую» койку — сетка прогнулась, угрожающе заскрипела. Вышла, прикрыв за собой дверь.

Полная женщина оживилась — поднялась повыше и, заложив руку за голову, едко спросила:

— Чего это ты, а, Коль?

— Уф-ф-ф... О-о... Видеть не могу... Аж с ног...

Голос был с хрипотцой. Редкий чёрный волос отступал на лбу мужчины широкими залысинами. Глаза, поставленные так близко, что казались маленькими, слезились. Кожа с красноватым загаром расходилась морщинами на небритых щеках.

— О, ёлки ж... — он одним пальцем потянул скомканный рукав пёстрой кофты. — Уф-ф-ф...

— А чего ж вам колют? — спросила женщина с родинкой.

На её овечьем лице блеснуло выражение живого интереса.

— А я почём знаю? Была б моя воля... — он хмыкнул. — Вот свиней колют. А я чем хуже? Наколют меня — обрасту мясом, тогда поглядите.

— А-а-а... — протянула женщина с родинкой.

Но полная не унималась:

— Чего ты, а, Коль?

Он прислонился спиной к стене, вытянул ноги и, придерживая «раненую» руку, заявил, оправдываясь:

— Видеть не могу... Как увижу, аж пелена. Голова кружится, — он выдохнул, точно вынырнул из пруда. — Уф-ф-ф... Во дела! Не могу... Ещё маленький, помню... Вот когда кровь берут, палец давят — кровь нагоняют. А мне уже страшно. Я в слёзы. Палец давят, а мне кажется: сейчас лопнет! Уже красный-красный... Меня успокаивают: «Ой, да не плачь, ещё не укололи...» А мне кажется: как лопнет! Как вишня. И всё в крови. А иголка? Мамошки, какие у них иголки!.. Шип... Вот шип стальной! И, кажется, не просто уколют — насквозь, до ногтя... Отворачиваюсь, а никак не отвернусь. Меня успокаивают, а мне только хуже. «Сю-сю-сю». А я вижу во всю глотку... А уколют... так... прям пелена!

Он умолк. Сделал попытку заглянуть в щёлку согнутой руки. Весь он вытянулся, будто стараясь глядеть издали. Женщина в очках прыснула. Та, что с родинкой, хихикнула. Мужчина с прилизанными волосами отстранённо заулыбался. В глазах их что-то заиграло. Точно свежий воздух ворвался в стоячую мглу палаты. Даже уснувший — полноватый мужчина с двойным подбородком — улыбался во сне, словно и там ему сделалось легче дышать.

— Уф-ф-ф... — выдохнул Коля. — Это ж надо! Мучения! Ладно пацану — чего ему? Ну, поревёт, им, детям, полезно... А если... Боюсь её... Хоть таблетку бы придумали, выпил — и не боишься. Красота! А то ведь... Ладно пацаном. Или когда не видят... А то стыдно. И ничего с собой не делаешь... — он потёр подбородок серым от папирос пальцем. — В школе. В старших классах. Уж не знаю, на кой чёрт? Перед военкоматом, что ли?.. Согнали нас в один автобус. Прямо с уроков. Три класса — сейчас уж не помню... «А», «Б»... Какая там? «В»?..

— С утра «А-Б-В» было, — выручила женщина с родинкой.

— «А-Б-В»?.. Ага... — он ещё раз потёр подбородок, выказывая шуточное недоверие. — «А-Б-В»?.. С утра?.. Ты на улицу-то погляди — везде «А-Б-Ц»! Зи дойчь? Ну, «В» так «В» — какая, к чёрту, разница? Короче говоря, долбаков полный автобус набился. Одни пацаны. Детей-то тогда было вон сколько! Все здоровые детины. Автобус битком. Стоишь — плечо к плечу, и ещё об чьё-нибудь плечо затылок чешешь. Автобус по буграм из стороны в сторону: хоть держись, хоть не держись — один чёрт не упадёшь. Да ещё курить сообразили — втихаря! На нас матюком. Трудовик ехал. Без ноги. Ещё с войны. «Кто курит? Вашу Наташу! Так вас и разэдак!» А сам сидит. Ему в толчее не встать. Палкой трясёт: «Приедем — бошки всем поотрываю!» А нам одно ржанье. Кто-нибудь крикнет: «Так это ж асфальт дымится, Сан Палыч!» И опять — как табун дикий. Дураки, чего взять... Ну, привезли в больницу. Бумажки выдали, давай по кабинетам гонять... Такое дело — компания. Одно ржанье. По поводу и без. Анекдоты какие-то. Друг над другом... А дело такое: своему на зуб попадётся — полгода подкалывать будут... А я как-то... Забыл, что ли... Про кровь... Самому весело... Разогнали — очередь туда, очередь сюда. У лаборатории коридорчик узенький. Эти баночки тоже... Шутки — вагон с тележкой. Я стою, от смеха живот болит. Весело... Плотно вокруг, что впереди, в кабинете, не видно. Зяблик Сашка впереди меня... Смотрю, выскакивает. Мы с ним друзья были. Палец ватой трёт, кровь никак не остановит. Видно, прям капля такая тёмно-красная. Он мне палец к носу. Лыбится: «Во, блин, пулевое

третьей степени». Я увидел — мамочки! — аж ком к горлу! Смотрю, глаз отвести не могу. Сашка: «Ты чего позеленел?» — «Да так», — говорю. А у самого ежом внутри. Точно иголки проглотил, всё колет — от желудка до шеи. И чувствую — кровь от лица отходит... А очередь движется. Я вроде и не иду, а дверь всё ближе. Чем ближе — мне хуже. Дверь открытая, тут тебе и стол, стул. Конвейер: сядишься — укол — пошёл... Как во сне — уже сажусь. Всё у меня трясётся. Сел, руки на колени положил. Смотрю перед собой. Думаю: кровь увижу — всё, помру... Лаборантка: «Палец!» Я сижу, не пойму. Она: «Палец, палец давай!» За спиной смех... Она руку взяла, подняла над столом; не рука — крыло куриное, силы совсем нет. Смеху тут!.. Кто-то аж на стул облокотился, дышит в затылок. Мне от дыхания этого — внутри расплзается. Шея затекла. Голову еле-еле отвернул, говорю: «Не дыши. Богом прошу, не дыши!» Аж не заметил, как уколола. Точно током ударило. «Всё, — говорит, — вату держи, потом выкинешь...» Я встаю. Прямо вроде встаю. Встал — всё нормально, ничего не кружится. Шаг... Смотрю — ноги! Ёлки-палки — мои!.. И потолок!.. Очухался от нашта tyre. Настроение ужасное... Назад ехали — всем смешно. Если б мог, провалился бы. Прямо сквозь автобус. И в землю — штопором... Вот такие вот дела!

Он прервался. Разогнул руку и, полуотвернувшись, потёр место укола красным кусочком ваты.

— Уф-ф-ф... — выдохнул сдавленно.

Лицо исказилось, взгляд поднялся в потолок. Глаза слабо блестели, и стало ясно: блеск этот — огонёк озорства, мальчишеского задора. Казалось, один этот взгляд озонирует здешний воздух, делает его приятным, живым. Каждое движение, каждое слово Коли было столь простым и естественным, что какая-то лёгкость передавалась от него всем в палате. И улыбки играли на лицах от этой невероятной лёгкости, от присутствия настоящего, живого.

— Такое дело — кличка прицепилась... А там — выпускной. И школа жизни. Я в Средней Азии служил: пустыня, шляпа с полями. Вернулся — мужик мужиком. Что там мне эта кровь — тьфу! У нас кровь — масло. Масло машинное. Мы её, не жалея, проливали... Мимо двигателя... А там — училище, работа... Как-то я и не задумывался... Что это? Детское, как прыщи. Да ещё здоровый был. В больницах не лежал, да и попробуй меня загони... Нет, вру! Один раз кто-то трепал: «Вот! Обследуйся! Надо обследоваться!» Хрена с два! Что я там не видел? Буду ещё лежать, в потолок плевать, а там жизнь идти будет? Нет уж, не пойдёт! А ложить будете — сбегу! В первый же день! «Ой, а вдруг! А вдруг!» А если вдруг — уж лучше дома на диване помирать. Или нет — под забором, чем в этом вот... Здесь не то что день — минуты

быть нельзя! Это не ешь. То не пей. Тут не дыши. Послушать — жить страшно. Охи-вздохи одни...

Полная женщина засмеялась в голос. Смех этот показался неуместным. Но из-за всеобщей лёгкости она не смутилась, и её круглое лицо опять засияло улыбкой.

— Да, ерунда. Одно слово — больница... А тут — работа... Второй год или третий. Женился. А там, не помню уж, с какого... То ли все тогда? То ли... Кровь из вены. Я с электричкой, с утра в Бобров. Лето. Прохладно, тихо. На горку поднимаешься — асфальт аж блестит, свет жёлтый-прежёлтый, как после дождя. В автобус сел — людей мало, все молчат... Утром всё по-другому — спокойно, хорошо. И люди другие. Доброта какая-то, мирные — на душе приятно. До больницы доехал — врачи только приходят. Людей мало... Сел... А я это... Уже плюнул — на кровь. Чего она? Так, сопли детские — перерос. Жду спокойно. Ещё люди подтягиваются. Я пропускаю — не к спеху. До автобуса далеко, на рынок ещё успею. Даже мысли ни одной... Стариков трёх пропустил, захожу. Кабинет здоровый, белый, как молоко. Тут шкафчик, напротив кушетка — бабулька сидит, вот как я, с ватой. У окна стол, пузырьки, колбочки. За столом медсестра. Я рукав закатываю, сажусь. Медсестра — повязка до самого носа, но видно — красивая, стройная, спинка как палка. Я руку вперёд, мышцами играю. А ей хоть бы что! Тут дверь хлопнула. Ещё одна входит. Эту поманила; обе — за дверь. Я сижу. Никого. Бабулька моя уже смылась. Всюду стекло... Чувствую, пошевелюсь и чего-нибудь тут разобью... Смотрю, входит моя медсестра. С ней человек шесть, девочки какие-то, почти школьницы. В халатах белых. Маски больничные на них... Медсестра на кушетку села, говорит: «Вон, кровь надо взять. Приступайте». Они меня обступили, с ноги на ногу переминаются. Я красный весь с головы до ног. Что делать, не знаю. Сердце в висках гремит. Вот блин, думаю, что ж за такое?! Школьницы, ёлки зелёные, школьницы! Это что ж выходит, они у меня кровь будут брать? Тренироваться будут?! Смотрю на них. Зубы сжал. Терпеть, думаю, терпеть! Тут одна жгут схватила, руку мне перетянула, а саму трясёт. «Юль, — говорит, — коли». А все худые, маленькие, щуплые, халаты одинаковые — как близнецы. Другая берёт шприц — у меня во рту пересохло. «Работайте», — говорит. Я на неё смотрю: «Да, — говорю. — Работаю, а вам зачем?» Медсестра встала над школьниками, как курица над цыплятами. Маску сняла — страшная, как кочегарина тёща! На меня сверху вниз: «Кулаком работайте!» Я давай сжимать-разжимать. А иголка будто удлиняется... «Всё, сжимайте». Мне бы, дураку, отвернуться или зажмуриться. Так нет, думаю, отвернусь, подумают — струсил. Зубы

сильнее сжал. И во все глаза на шприц. Девчонка — раз! — иголку под кожу. Чуть не взвыл. Медсестра: «Чего ты делаешь? Не видишь — мимо! Вынай, по новой давай». Я мычу, как корова. Школьница иголку вынула — ещё раз! У меня в ушах грохот. Медсестра улыбается: «Вот так бы сразу! Эй ты, давай, следующая». Ещё одна подходит, давай за штуку тянуть, кровь выкачивать... У меня вода в глазах. Терпеть, думаю, терпеть! В шприце кровь — половина, густая-густая. И будто чёрная. И ощущение такое в руке... Слышу сквозь пелену: вокруг — шум, гам. Разглядел кое-как: дети бегают, медсестра матерится, с пола что-то поднимают. Я смотрю — ёлки зелёные! — школьницу мою, которая кровь выкачивала. Смотрю — рука. Из вены иголка торчит. Шприц никто не держит. А кровь всё течёт!.. У меня перед глазами поползло, поползло... И чернота! Очнулся — халаты мелькают. Присмотрелся — всё там же, на стуле. Одно это «дитё» мне руку держит, чтоб кровь не шла. Увидела, что я очухался, в сторону отскочила. Я руку согнул. Остальные на меня не смотрят, около кушетки возятся, «упавшую» обмахивают — медсестра, школьницы, тётки какие-то. Я по стенке, по стенке, чтоб никто не видел... В теле слабость, ноги как два шланга. Мимо всех... До дома как добрался, не знаю. С матом-перематом, наверное. И всё! С тех пор решил: кровь сдавать там, уколы какие — ни-ни! Это ж смерти подобно! Да что, ещё раз не выдержу... Ой, блин!.. Что ж никак не остановится?..

Он глянул на согнутую руку, быстро отвернулся. Пружины скрипнули, словно хихикнув на своём железном языке. Где-то далеко хлопнула дверь, мимо кто-то прошагал (должно быть, повариха), громко стуча каблуками. Неожиданно выглянуло солнце, бросило косые жёлтые полосы на койки.

— И чего? — жадно спросила женщина с родинкой.

— Чего? — он хмыкнул. — Чего-чего? Жить надо, а не по больницам шляться. Чего! Угроздило. Сейчас так, ерунда. А вот когда работал...

Он вдруг чихнул — так громко и неожиданно, что все вздрогнули и тут же засмеялись из-за этой оказии.

— Эх-хе!!! О! Правда! — вытер нос ребром ладони. Продолжил, улыбаясь с невольными слезами на глазах: — Тогда, помните, каждый год — День донора. Кровь сдавали. Сейчас уж нет. День донора есть, а доноров с гулькиным носом. А что-нибудь взрывается, то гэсы, то аэсы. А тогда все знали: вот День донора, — и много сдавало. Отгул, кормёжка и по сто пятьдесят червиков... Ну, я, естественно, от этого дела отстранялся... Самоотвод, так сказать, брал... Подшучивали. Юрка особенно. Он юморист, всегда как скажет — мы с ним ещё в школе учились... Ну, я как-то, как-то — мимо этих Дней... Один раз чуть не насильно

утянули — дружки, блин. Пришлось набулькать за воротник — а всё, после этого дела нельзя!.. А тут уже Дни донора — вяло, вяло... Времена такие, самим не до себя. Да тут уж — не помню — где-то что-то рвануло? Иль землетрясение. Короче, срочно нужна кровь!.. Про меня забыли, привыкли, что не езжу. А тут вдруг Юрка подкатывает: давай, мол, Коль, чего как маленький?.. А у меня момент такой был, надоело всё до чёртиков. Вот, думаю, тема. Вот и отдых! И ведь для людей! Люди там страдают — что я, волосы седые... «Ладно, — говорю. — Поехали!» Решили: следующим днём — как раз попадало: отгул и выходные — три дня отдыху!.. Весь день про отдых думаю. Пол-литру взял у бабки одной — за холодильник спрятал. Удочки починил. Думаю, на рыбалку съезжу, сто лет на рыбалке не был. Сало из погреба достал — в банке. Всё приготовил. Спал как ангел. От одной мысли легче стало: думаю, отдохну хоть раз в жизни!.. Утром собрались. Дождичек мелкий. Холодно. Лужи. Стоим, как дураки, носами шмыгаем. Оказалось, кровь сдавать не тут, в избушке на курьих ножках. «Пазик» подкатил. Залезли, автобус пустой, мы да две старушки... Автобус трясёт, картишки с сидений слетают. Бабульки в углу соседям кости перетирают. Бобров — улицы сырые, серые, как мыши. Довезли нас до больницы, выгрузили. Мы бегом лабораторию искать — с утра не жрамши, в животах урчит, кишки узлом. Юрка как Сусанин — туда за ним, сюда за ним. Еле нашли. «Вот, — говорим. — Кровь сдавать. На благо Родины!» А помещенице как новое — а может, не новое, не был-то ни разу, — чисто вокруг. На втором этаже, в углу... Тётка одна: «Так, по одному давайте...» По стенкам тут стулья откидные. Диванчик маленький. Столик — как с нашей мебельной: двп с ножками. Юрка меня локтём: «Ну как, санаторий?» — «Да, — говорю. — Только жрать не дают». Он меня опять в бок, лыбится: «Чего, первый пойдёшь? Как Гагарин?» Все давай ржать. Меня злоба взяла! Вот, думаю, сволочи! «Ладно, пойду...» Встал, ноги стеклянные. А неприятно — ух-х-х! Я в затылке поскрёб: «А сам-то? Мы за тобой по лестнице мотались. А как дело — за спинами. Депутат! Бабайку испугался!» Все в смех. Дверь открывается, кто был впереди, уже выходит. Юра встал: «Ладно, — говорит. — Дыши носом. Последний раз спасаю». У меня гора с плеч — поживу пока. Сел. В голове стучит, мерзко так на душе... Ага... Ребята анекдоты и про политику — с шутками, с матом. В коридоре старушки, мамы с детьми — хмурые. А мы ржём. И они тоже — в улыбку, в улыбку... Я сижу, в ушах точно барабан, слов не слышу. Отвечаю невпопад. Юрка «отстрелялся», пошёл в буфет столик занимать... Я себя успокаиваю — ещё хуже. Лучше б первым пошёл... Всё, думаю, сейчас зайду. Выходят — я всё сижу... Ладно,

думаю, ведь не для себя. Я-то чего? Там кровь нужна. Чёрт с ней, грохнусь, но ведь для дела, для людей... Смотрю, наши почти все. Выйдут, посидят — и кто куда: кто в буфет, кто в нужник, будто ещё и терпеть надо было... Я представил: операции, переливания, а крови нет. А я тут ломаюсь... Успокоился немного... А уже и один! Встал, ноги затекли. Захожу. Комната небольшая. Стол. Кушетка. Штука какая-то, пакет прозрачный висит. Каталка железная каким-то чёртом... Медсестра в белом халатике. Я спокойно прямым шагом на кушетку — полулёжа. Закатал рукав... Решил я железно: всё будет нормально! Нормально, и точка!.. Медсестра за палец меня взяла — вроде из пальца кровь брать... Я на неё смотрю... Что-то, что-то, блин, не так!.. Так сосредоточился — аж не заметил, как кольнула... Гляжу на неё — жгутом руку перевязывает... Так-так-так! Маленькая, щуплая, очки на пол-лица. Волосы рыжие в хвосте... Так-так-так! Вспомнилось! Все эти школьницы вспомнились — как под дых ударили. «Так-так-так! — говорю. — Опять!» Она уставилась, глазами хлопает. Я вытянулся: «Узнала? Фашисты чёртовы! — всё у меня клокочет. — Та-а-ак! Садисты!» Она рот разевает, глаза на пол-лица. «Та-а-ак... — говорю. — Тренироваться не на ком? Недоучки чёртовы!» Она вскочила, встала посреди комнаты, как истукан. Руки опустила. Рот разевает, как рыба. И красная вся, точно помидор. «Чего молчишь?!» — от нервов голос у меня осип... Тут — бабах! — дверь хлопнула. Влетает какая-то баба. Здоровая. Халат зелёный. В руках тряпка. Хлобысь мне этой тряпкой по морде! Я очумел. Она, смотрю, тоже. Дышит как паровоз. Я тоже. Сижу — она стоит. Смотрим друг на друга, как две собаки. И тишина!.. Не знаю, сколько мы в эти гляделки играли. Щека горит, сердце прыгает. Тут она басом: «Ты чего?» Я и ответить — язык не ворочается... «Ты чего устраиваешь, а?» И тряпкой перед носом — кулак как два моих. — Тебя чего, звали? Ты чего тут?» Я вроде и громко, а шёпотом выходит: «Кровь... сдавать...» И вроде на руку — она в жгуте. Баба сердито, как медведь: «А чего устраиваешь? Тебя сюда звали? Чего ты? Кровь сдавать — сдавай! Дебош устраивать! Ты у меня полетишь отсюда!» Я головой мотаю... «Успокоился?» Киваю: да, мол, успокоился. Она развернулась, вышла... Я сглотнул. Чего делать, не знаю. Весь будто каменный. Смотрю, медсестра рядом садится. Шприц берёт... Мне как-то... Щёки у неё влажные, нижняя губа дрожит... Я отвернулся, в стенку взглядом... Короче говоря, взяла она у меня кровь — я и не почувствовал. Только напряжение — виски давило. Слышу, она еле-еле: «Готово». Я даже не понял: чего готово? Встал — она отвернулась. Я постоял немного. Уходить — у двери остановился... Чего сказать,

как?.. «Ну, — говорю, — вы уж меня...» А чего? Чего дальше?.. Она чего-то там возится, будто не слышит. Ну, я и вышел... Вышел. Погано на душе. Неудобно. И тут меня — бабах! — ёлки-палки, кровь же я сдал! И ничего! Вот он, на ногах стою! Так радостно сделалось. Смотрю, дружков моих нет — в буфете, должно быть. Вроде и посидеть надо, а я туда, к ним, как на крыльях... Тут — так! — что-то знакомое... Халат зелёный... Ёлки-палки, эта баба! Швабра. И она эту тряпку в ведро с водой суёт!.. У меня всё поплыло. К горлу подкатило. Я бегом — ноги подкашиваются — дверь, туалет... Как уж меня рвало!..

— Зарекалась ворона, — вставил мужчина с прилизанными волосами.

— Не то слово! — Коля потёр «здоровой» рукой затылок. — Просидел я в туалете. То рвёт, то перестанет. В глазах слёзы. Всё расплывается... Проморгашься — вроде ничего; две минуты — опять. И сил нет. Выйду — опять схватит. Залезу назад, чуть не на четвереньках... Измучился — мама дорогая! Еле-еле вылез. Кое-как — вниз, к своим, до буфета. Точно сто лет шёл... Прихожу, кореша мои за столом — уже податые, морды красивые. Меня увидели — чуть не попадали... Юрка отдышался, слёзы вытер: «Ну ты даёшь! Откуда такой вылез? А мы уж с ребятами твоё выпили. Думали, не вернёшься». Я за дверь цепляюсь. Лечь бы сейчас... «Ну, — Юрка говорит, — тебе только дай!» Тут опять — чуть не грохнулись. Это Ленка моя. Пьяного меня привозили домой, она так орала: «Тебе только дай». — «Ладно, — Юрка, — давай быстрее, автобус сейчас отойдёт». Они бегом. Я еле-еле за ними. В автобус влезли — битком. Юрка меня за руку: «Садись, вон место свободное». Я ему: «Да иди ты!» Поручень обхватил как маму родную — вроде держусь... Тут вон старики — садиться стыдно. Но, думаю, три дня! Три дня! На рыбалку съезжу. И люди... Даже представилось: на кроватях обгорелые с головы до ног. Ничего, кровь в дело пойдёт! Дружки ещё смеются: «Тебе только дай!» Юрка им: «Ладно, лбы. Вам бы так! Вон, корёжит — так ничего, сдал. Через силу, а сдал... А вы ржёте...» Я с поручнем в обнимку, глаза слипаются. Приеду, думаю, и дрыхнуть. А завтра на рыбалку!.. Если б не эти мысли, и не доехал бы, наверное. До дома дошёл. Дверь отпер. Туфли кое-как стянул. Сплю на ходу — пятками грохаю. Кровать. Упал мешком — не раздеваясь, поверх одеяла. И как провалился... Проснулся — тьма кругом. Тихо, только холодильник дребезжит. Жена ещё с работы не пришла. Лёшка, видать, на улице бегает. Лежу на брюхе. Хотел пошевелиться — как в спину вступило! Я аж зажмурился! Пошевелиться не могу! Всё, думаю, парализовало... Внутри всё перевернулось. Никогда я такого страха не испытывал! Один. Темнота. Шевелиться не могу. Паника волнами хлещет!.. Сколько лежал, не знаю. Казалось, в аду

побывал. Столько муки никогда не было... Тут, слышу, дверь открылась. Ленка моя с сумками еле ноги переставляет. Я уж и орать хочу — звук не идёт! Чуть дёрнусь — болью окатывает... Вошла, свет включила, а я на кровати — тут как тут. Силы кое-как нашёл: «Всё, — говорю, — спина...» Она губы сжала, куда-то сбегала... Приходит. Рубашку с меня стянула. Боль адская. Давай спину чем-то растирать. Чувствую, запах какой-то... «Чего это?» — говорю. А она: «Самогон. За холодильником нашла». У меня аж слёзы выступили. «Больно?» — говорит. «Да, — говорю, — очень...» Оказалось потом, в автобусе просквозило... Окошко раскрыто... Да и нервы... Короче, провалился я свои выходные на пузе — встать не мог. А потом ещё неделю не разгибаясь... Вот такая вот рыбалка!

Дверь в палату распахнулась. Упрямым шагом вошла медсестра с белым подносом в руках. На подносе шприц, вата. Но вместе с подносом внесла что-то ещё, что-то забытое, утерянное — ощущение больницы. Всё так же пахло хлоркой. По оконному стеклу мягко ступал снег, а стены были казённо-белыми. К рукам привязаны сосуды капельниц — их долгое время не замечали, а тут — вот тебе! — одна уже кончилась. Не считали капли, не уловили когда.

Медсестра нагнулась над мужчиной с прилизанными волосами. Сделалось шумно. Заскрипели пружины коек.

Коля вновь принялся говорить, но шум нарастал, комкая его слова. И глядели уже не на него — на медсестру, точно дети, вернувшиеся в родное лоно.

— Кровь... Как можно? Она ведь через сердце. Может, в ней жизнь... А мы? Везде, во все пробирки, по всем углам, направо, налево. Просто так. «Проверить!» Ладно для другого, жизнь спасти... А так, мёртвым грузом... Ведь жизнь в ней!.. Больницы... Жизни нет, воздуха нет... И здоровья... Кому тут здоровье нужно? Тут бумажка. За неё тебя и купят, и продадут. Одно вылечат, другое угробят. Лекарств море, чего лечить — придумают. Один врач одно скажет, другой — другое. Одни таблетки, потом другие, третьи. Побочные эффекты, почки. И всё заново, по кругу. Всю жизнь лекарства глотать. Тут, чтоб лечиться, здоровье нужно как у быка... Сюда — только помирить... А кровь... Может, жизнь в ней. Душа. А мы её... то тут, то там — без дела...

Медсестра выпрямилась. Взяла поднос в одну руку, стойку — в другую. Скрипенье коек утихло, но Коля уже молчал. Медсестра вышла, ногой захлопнув за собой дверь.

Все глядели на Колю с вернувшимися улыбками, точно ожидая: вот-вот — и он снова начнёт рассказывать. Но Коля молчал.

Тут дверь распахнулась, просунулся какой-то мужчина в чёрном пальто и чёрной, как смоль, ушанке.

— Сидишь? — сердито спросил он. — Прописаться решил?.. И брешет!.. И брешет, и брешет! Когда ж язык отвалится? Вставай давай.

Он схватил Колю за здоровую руку, пытаясь оторвать его от койки. Коля вяло сопротивлялся:

— Ну ладно тебе... Отстань!.. Ещё не прошло...

— Знаю я твоё «не прошло». Пошли! Там пулемёт стынет!

Коля нехотя встал, подтянул одной рукой штаны. Сделал несколько шагов — робко, как ребёнок. У дверей обернулся:

— Ну, давайте! Не болейте тут, а то увижу — болеете, как вернусь — надаю лещей... Всё, бывайте!

И ушли.

Постояльцы пятой палаты ещё улыбались.

— А кто ж это был-то? — спросила женщина с родинкой.

— Колюха Юрцов. На нашей улице живёт, — ответила полная.

— Чего, пьёт он?

— Да как сказать... Вроде и нет. Полгода-год не пьёт, потом как даст! Бывало, с кулаками к жене. А она такая — обратно ему. Один раз, помню, ходит, морда вся в пятнах — точки какие-то. Оказалось, он с горячего — в крик, а она у плиты. И в морду ему борщом... А так мирно вроде живут. Детей четырёх воспитали. Кто где сейчас — кто в Воронеже, кто в Москве. Младший осенью в армию пошёл...

Она умолкла.

Они лежали. Улыбки ещё были на лицах. Восковые улыбки. Казалось, вместе с Колей исчезли и лёгкость, неподдельность, пульсация живой энергии. Воздух вновь сделался спёртым. Из щелей, из-под коек выползло молчанье — изнурительное, невыносимое. А они лежали. Кожа их

в тусклом свете казалась жёлтой. Глаза — пустыми. Ненужные друг другу люди, связанные лишь общими ранами. Люди, у которых нет ничего своего, кроме этих ран, что они готовы носить их напоказ — с тайной гордостью. Безразличные ко всему. Неживые. В единственном доступном для них месте — здесь, где такие же, как они, в этой палате. Но даже среди своих далеки друг от друга, невероятно далеки.

Полная вдруг спохватилась — кровь у неё давно перестала идти. Она поднялась. Стянула простыню с койки, сунула в пакет. Надевая пальто, отчиталась:

— Всё, побежала. Увидимся ещё.

Слова будто ушли в пустоту.

— Я... Мне вообще... — продолжила испуганным голосом. — Два раза... Прописала два раза капаться. Так я почаще... Раз а три-четыре. Так всё как-то...

Она не смогла окончить. Неловкость щипцами тянула из неё что-то заветное. Борясь с собой, она вышла.

Дверь оказалась распахнутой. В палату ворвался гул голосов, как порыв ветра, рвущийся отсюда, из этой темницы, на волю — к снегу, к низкому небу.

Я глядел на людей в палате, на их застывшие лица. Последняя ампула, думал я, последняя капельница. И всё... Никогда не возвращаться. Быть там, в мире живых. Дышать сладким воздухом. И чтобы редкий день был похож на другой.

Полноватый мужчина вздрогнул, проснулся. Часто моргая, уставился на свою бутылку:

— Гляньте, вроде кончилась у меня? Кажется, кончилась?..

Сергей Калинин

Волшебные фанты

Коварная Бурла

Невдалеке от деревни протекала небольшая речушка с названием Бурла. Невзрачная на вид, она тянулась в солончаковых целинных степях почти на пятьсот километров. Река была с норомом и в засушливые годы пересыхала чуть ли не до ручейка, но в дождливые наполнялась до края берегов и несла свои воды бурным потоком по цветущей степи, за что и получила своё название. Луговые травы быстро выгорали под палящими лучами солнца, когда дождей не было и стояла сушь. Однако после того, как проходили регулярные дожди, разнотравье степи расцветало калейдоскопом красок.

В тот год было жаркое и сухое лето, и Бурла оголила свои бочаги и броды, однако купаться и ловить карасиков было очень даже с руки, чем мы с братьями и занимались. Мне было всё интересно и в диковинку, оно и немудрено — ведь я был городским ребёнком. Особенно мне нравилось ловить рыбу. Братья купались, а я с завидным упорством не сводил взгляд с поплавка удочки. Клюёт, не клюёт, клюёт... не клюёт.

Надо мной небо пронзительной синевы, без единого, даже малюсенького, облачка. Оно мне представлялось глубоким голубым океаном, на дне океана лежало солнце, которое ласкало меня своим теплом, смешиваясь с лёгким ветерком и укладывая ровный загар на моё лицо и плечи.

Рыба уже давно перестала клевать, плавать я не умел и поэтому сидел на песчаном берегу, наблюдая за братьями, которые плавали и ныряли буквально как рыбы. Всё, что я умел, это заходить в воду по пояс и, вытянув вперёд руки, оттолкнувшись от дна ногами, выбрасываться на берег, как очумевший от жары кит. Во всех остальных случаях я, как якорь, неизменно шёл ко дну. Но я не отчаивался и продолжал тренироваться, потом устал и прилёг, закопавшись по грудь в тёплый песок.

Накупавшись и назагоравшись, братья засобирались домой. После купания всегда страшно хочется есть. Идти в обход через мостик далеко, не меньше трёх километров. Поэтому решили сократить дорогу и просто переплыть речку, пройти полем, а там и до дома рукой подать. План был великолепен. Сказано — сделано. Собрав вещи, братья переплыли

на другой берег и пошли. А я остался, видимо, придремав. Резко ощутив своё одиночество, я вдруг сел и дико закричал им вслед. Братья остановились в недоумении. И как это они могли меня забыть?!

Брожу по берегу. Туда-сюда. Внутри всё клокочет от обиды. Забыли. Плавать не умею. Дорогу домой не знаю. Страшно: а вдруг нападут волки?! Ведь «бурла» в переводе с казахского — «волчье место», и бабушка рассказывала, что раньше здесь водилось много волков. Вдруг волки прибегут и в тёмный лес утащат? Далёкий лес резко придвинулся к моей спине, повеяло холодком. Хотя нет, до леса далеко, не дотащат. Эх, наверное, прям тут, на бережку, съедят и не подавятся. Останутся от меня только косточки. Братья на том берегу совет держат, как меня выручать.

Решено. Старший брат меня перевезёт вплавь. Простой, смелый и очень изящный план. В одно мгновение, как торпеда, брат оказался рядом. Носом шмыгаю, а сам вида не подаю, что напугался.

— Вот так вот сядешь на меня. Тут обхватишь ногами, а руками будешь держаться за плечи. Понял? — спрашивает меня брат.

— Давай попробуем на берегу.

И вот уже брат лежит на песчаном пляже, а я сижу верхом на его спине. Всё понятно. Всё просто и вовсе не страшно.

Заходим в воду и плывём. Брат оттолкнулся от дна и начал работать ногами и делать брассы руками. Летят брызги, в одно мгновение спина и плечи становятся влажными и скользкими. Боясь соскользнуть, я обхватываю брата за шею и крепко сжимаю объятия. Брат начинает задыхаться, теряет плавучесть и рефлекторно сбрасывает меня с себя в воду.

И я тону. Медленно погружаюсь на дно. Почему-то не страшно. Вокруг мутная вода. Кручу головой, глаза привыкли, но всё равно видимость не очень, вода бурая. Вдали промелькнула серебром стайка рыб. Так вот где надо было ловить! Воздуха начинает не хватать, он потихоньку выходит из меня струйками пузырьков, которые красиво уплывают вверх. Тону. Жаль только, мама будет плакать. Не хочу, чтобы она плакала. Где-то вверху появляется свет. Как будто солнышко. Свет не удаляется, а наоборот, его становится всё больше. Он буквально окружает

меня. Вот бы воздуха хватило, чтобы, коснувшись дна, выйти по нему на берег. Не хватит. Остался последний пузырик, провожаю его взглядом, свет меркнет, и я слышу голоса. Последнее, что промелькнуло в голове: не хочу чтобы мама плакала, и, наверное, я попаду в рай. Вижу лицо улыбающейся мамы, становится тепло. Голоса усиливаются.

— Раз-два, раз-два, раз-два, — слышится в голове.

Резко резануло в животе, горло дерануло песком, и я, как кит, выпустил ртом фонтанчик воды. Легкие задышали, открылись глаза. Передо мной было очень испуганное лицо брата. Другие братья жались поодаль и возбуждённо перешёптывались. Мы почему-то по-прежнему были на моём берегу, брат пытался мне улыбнуться, я улыбнулся им в ответ. Слава Богу, мы вместе.

Все устали и напуганы, но идти через мост всё так же не хочется. Чуть выше по течению река обмелела так, что едва доходит до колена. Братья посмотрели на меня и в голос сказали, что мне почти по грудь, но меня будут держать за руку. Решено. Идём вброд!

В моей голове тут же возникает картинка: представляю что мы с братьями, как белорусские партизаны в дедушкиной книге «На Немане ждут своих», форсируем водную преграду. Пока фантазировал, мы оказались у переправы. Брод мелкий, как говорится, даже курица перейдёт, сквозь бурю воду видно песчаное дно реки с рядом тёмных пятен — это бочаги, глубокие омуты. С виду безобидные, они как колодцы: если попал, то одному не выбраться. Идём. Друг за другом. Внимательно смотря под ноги, чтобы не попасть в омут. Брат идёт впереди и держит меня за руку.

Вдруг моя нога соскальзывает, и я, не успев даже крикнуть, снова тону, инстинктивно вытянув вверх руки. Как заправский якорь, медленно опускаюсь на дно омута. Снизу идёт жуткий холод. Всё тело сковывает от ужаса. Вверху маленький круг света и какая-то тина или водоросли. Из всех сил отталкиваюсь от стенок бочага ногами. Песок осклизлый, вода от холода густая, как сметана, но я чуть-чуть подаюсь вверх. В этот момент брат успевает схватить меня за руку и вытягивает из бочага. Перепуганные, стоим на берегу. Мы переправились. Братья успокаивают меня. Хотя сами напуганы не меньше.

— Не бойся! Кто дважды тонул, теперь никогда не утонет! Быть тебе водолазом! — подбадривают братья, стуча зубами. От холода, наверное.

А брат молодец, не растерялся, спас меня, вовремя первую помощь мне оказал. И во второй раз руку вовремя в бочаг протянул. Дедушка за ужином сказал, что если бы брат меня не скинул в реку, то могли утонуть оба. Это сейчас я понимаю, что брат спас мне жизнь, а тогда я просто сидел вечером с братьями за столом, пил горячий чай с молоком, ел вкусный бабушкин пирожок, слушал возбуждённый рассказ братьев о себе самом. Потом их разговор стал

замедляться, как если бы пластинку на семьдесят восемь поставили на тридцать три, потом я полетел на мягких бабушкиных руках в спальню, по дороге услышав новые выражения: «плавает как утюг», «не зная брода, не лезь в воду»...

С тех пор я точно знал, что не утону, что даже безобидная на вид река может быть коварна и опасна. Жаль только, что плавать я так и не научился и водолазом тоже не стал.

Волшебные фанты

Это случилось в канун Нового года. Заканчивалась учебная четверть, и впереди маячили долгожданные зимние каникулы. И, конечно же, новогодний праздник: ёлка, много вкуснятины и подарки.

В тот год в школе возникла мода писать новогодние фанты. Всяк уважающий себя школьник завёл специальную тетрадку, в которую записывались пожелания, а потом листок сгибался треугольником по примеру военных писем. Чтобы желание сбылось, нужно было успеть его прочитать до окончания боя курантов в новогоднюю ночь и сжечь листок с поправившимся желанием.

Андрейка много болел этой зимой, но от моды не отставал. И все друзья, приехавшие его провести, исправно делали записи, лопая котлеты и поднимая взгляд к потолку, будто на нём было что-то написано. Котлеты у Андрейкиной мамки были вкусные, и вскоре тетрадка закончилась. Наступил период ожидания. Самое тяжёлое было побороть искушение прочитать пожелания заранее. Заранее нельзя. Не сбудется. И Андрейка ждал. Друзья давно перечитали свои пожелания, обменялись весёлыми рассказами, а Андрей ждал. Уж очень ему хотелось, чтобы желания сбылись. Друзья ведь плохого не пожелают.

И вот вечером в самый канун Нового года, когда взрослые уже провожали старый год за столом в гостиной, Андрейка уединился на кухне. Приготовил большую железную банку из-под повидла, спички, налил ковшик воды на случай тушения пожара. Взял в руки блокнот волшебных фантов, сел на табуретку и замер в ожидании. Глаза неустанно следили за стрелками настенных часов, и когда минутная стрелка доползла до без четверти двенадцать, Андрей начал читать.

Пальцы судорожно отрывали треугольники фантов от корешка тетради, разгибали листы, глаза впивались в неразборчивый почерк одноклассников.

— Эх, двоечники! Кто так пишет?! — возмущённо произнёс Андрейка, от волнения потирая лицо ладошками.

В первом фанте кто-то желал целую коробку мандаринов, второй фант был про учёбу, третий... время неумолимо летело. Наконец все фанты были открыты и прочитаны. Нужно выбрать три самых-самых желания, больше нельзя, а то не сбудется!

Да и то правда. В сказках три волшебных орешка у Золушки, три желания у золотой рыбки. Больше

трёх нельзя. Меньше можно. Но ведь хочется и мандаринов, и в школу подольше не ходить, чтобы каникулы были подлиннее, и коньки... Эх, да много чего, но надо выбрать три. Всего три фанты, три желания.

Часы предательски тикают: тик-так, тик-так, тик-так... Счёт времени буквально на секунды.

Руки Андрея вспотели и дрожат от волнения. Он перебирает фанты, лежащие на столе. Наконец, окончательно запутавшись, он закрывает глаза и берёт наугад три листа. Не глядя на текст, поджигает их, и в тот момент, когда остатки пепла падают в жестяную банку, по телевизору раздаётся бой кремлёвских курантов. Ура! Успел!

Андрей сгребает листы со стола, прибирает их в портфель и присоединяется к гостям. Ох и засиделся он с фантами. Мама наготовила много вкусностей, нужно успеть попробовать.

Подарки. Пожалуй, самое важное в новогоднем празднике. Но подарки будут только утром. Почему-то Дед Мороз не носит их детям заранее, а кладёт их утром под ёлку. В ожидании Андрейка безропотно идёт спать, а взрослые остаются праздновать за столом и смотреть новогодний концерт по телевизору. Как знать, а если он не поспит, вдруг Дед Мороз испугается и не принесёт подарки?

Проснувшись утром, Андрейка первым делом метнулся к ёлке. На фоне обложенной ватой с конфетти крестовины, в которой держалась новогодняя ель, рядом с фигурками Деда Мороза и Снегурочки лежало три упаковки с его именем. Большая, можно сказать — огромная, маленькая и средняя.

«С какой начать?» — подумал Андрейка. И начал со средней. Он взвесил свёрток в руках. Увесистый, но не гремит. Интересно, упаковка не подаётся, качественно замотал Дед Мороз. Наконец пакет разорван в клочья. И — о чудо! В руках Андрея оказались блестящие серебром новенькие коньки! Прямо такие, как он хотел, такие, как они видели в магазине спорттоваров, когда ходили вместе с мамой и папой покупать кеды для уроков физкультуры.

Андрейка не мог оторвать глаз от подарка. Вот молодец Дед Мороз! Теперь пацаны в школе обзавидуются.

Первый восторг прошёл, а любопытство осталось. И глаза цепляются за оставшиеся два свёртка. Интересно, что там? Большой или маленький? А давай-ка маленький! И Андрей вскрывает маленький пакет. На пол из пакета с грохотом падает настоящая хоккейная шайба и блестящий спортивный свисток. Обалдеть! Теперь он точно в дворовой хоккейной команде. Это вам не консервную банку валенками пинать. Это настоящая шайба!

Андрей подбирает с пола упавшие подарки и бережно кладёт их на полочку в коридоре. И теперь,

уже не задумываясь, вскрывает просто огромный свёрток. Упаковка лопаётся, и комната наполняется цитрусовым ароматом. Мандарины. Целый ящик! Изумлению Андрея просто нет предела. Полный восторг!

А ведь в волшебных фантах что-то такое было, напоминает Андрей. И тянется к портфелю. Надо проверить.

Достав смятые листы, он пытается вспомнить, что же было в сожжённых фантах. Так, коньки были, мандарины были и... нет, шайбы и свистка не было. А что же тогда третье? Точно. Аркашка, дурак, написал: обожраться и в школу неделю не ходить. Ну и ладно. Два из трёх тоже неплохо, хотя и обидно.

Все каникулы Андрей играл во дворе в хоккей. Болезнь прошла, и мама не возражала против прогулок. Каждый раз хотелось погулять подольше хотя бы на полчаса, и ещё полчаса, и ещё пять минуточек.

Придя домой, Андрей первым делом съедл несколько мандаринок. Ел он их понемногу, чтобы надольше хватило. Растягивал удовольствие.

За два дня до выхода в школу мама сказала, что мандарины нужно либо съесть, либо отдать кому, так как они не железные и так долго не могут храниться.

Ясно дело, не железные, они вкуснячие и ароматные. Отдать мандарины? Целых пол-ящика? Ну уж нет! Такую вкусноту Андрейка был не готов отдавать. Да и когда ещё столько мандаринов подарит Дед Мороз? И Андрей начал есть мандарины от пуза, сколько влезет. Вначале влезало много, а потом всё меньше и меньше. К концу последнего каникулярного дня Андрей победил мандарины. И даже шкурки выбросил.

А утром началось! Живот скрутило так, что ни вдохнуть, ни выдохнуть. Поднялась температура, появился озноб, а по всему телу пошли красные пятна.

Пришла врач. Внимательно осмотрела Андрейку. Заглянула в рот, прижав язык чайной ложечкой, послушала лёгкие трубочкой и сказала:

— Да у вас, батенька, аллергия на фоне обжорства цитрусовыми.

Всю неделю после каникул Андрейка лечился дома, сидя то на горшке то на жёсткой диете. Все-таки сбылось Аркашкино дурацкое пожелание! Но тут — сам виноват: нечего было не глядя фанты жечь!

В школе в тот год только у него сработали волшебные фанты. Так Андрей понял для себя один очень важный жизненный урок: надо быть осторожным со своими желаниями. А вдруг сбудутся? Впрочем, после того случая Андрейка волшебные фанты больше не писал, а мандаринами делился с друзьями. Ведь он не жадина.

Фарида Кудасева

Ах, старики, мои старики...

Ма-аленькая...

Посвящая Тимке (Фатиме Афауновой)

Почему сегодня меня так волнует Горький? Рассказ его «Ма-аленькая!» преследует целый день. Почему я опять ушла в него? Кто-то сможет понять меня, если я сама себя не понимаю?

Я когда-то выучила непроизвольно текст этого рассказа наизусть. В нём было столько трагизма, что я возвращалась невольно к нему каждый раз и всматривалась вдаль в ожидании того, что увижу странников с посохом, но их не было. Странное ощущение того, что никто из взрослых, окружавших меня, не способен поступить так, как эти старики, не покидало меня. Может, просто я не знала их?

Героев рассказа на Руси называли богомольцами.

«По пути из Задонска в Воронеж я догнал двух богомольцев — старика и старуху. Обоим им с виду было лет полтора; они шли так медленно и неумело, тяжело двигая ступни по горячей пыли дороги, и оба имели в физиономиях и в одежде еле уловимое нечто; это нечто сразу позволяло заметить, что старики идут издалека».

...Вы знаете, я их помню. У меня такое чувство, что я знала этих стариков. Так и есть. Они незримо всегда присутствовали в моей жизни. Но тогда, когда я прочитала рассказ в сотый раз, боясь пропустить какую-то маленькую деталь, ясно показывающую реальность описываемого в нём, я отдалилась от всех. Впечатление было настолько сильным, что я не хотела возвращаться в действительность. Мне было хорошо со стариками.

Боль, неотступная боль вывела их на дорогу. Мне казалось, что я прошла с ними весь путь до конца, молясь за их маленькую барышню, чью душу они поняли и полюбили. И каждый раз, перечитывая рассказ, хотелось сказать о них словами самого Максима Горького из другого произведения: «Безумству храбрых поём мы славу». Получилось ли у меня разделить с ними их боль? Не знаю...

Но как же мне хотелось уйти из реальности к ним, чтобы согреться их любовью. Отогреться...

Мне было плохо. Небо казалось низким, вот-вот готовым пролиться холодным дождём. Но действительность была другой: солнце находилось в зените, всё плавилось от жары. А небо... Небо, покрытое рваной ватой в редких местах, было голубым-голубым. И среди такого великолепия постоянно раздавался раздражённый голос ма-чехи и тихий оправдывающийся голос младшей сестрёнки, в котором много боли...

...Ах, старики, мои старики, пусть книжные, но такие родные, жизнь проживаешь легче оттого, что есть такие, как вы. Хорошо, когда человек приходит на землю добром, любовью и счастьем для кого-то. Эта «ма-аленькая» барышня пришла их любовью, а они — моей.

Не желая, чтобы меня отвлекли от моих дум, я пошла на речку и села возле неё, наблюдая за тем, как она несёт свои воды.

— Алёнушка, вот ты где. Еле тебя нашла, — раздался надо мной голос Тимки, моей подруги.

— А почему Алёнушка? — спросила я её, всё ещё находясь в оцепенении.

— Потому что сидишь в позе Алёнушки Васнецова, — бодро смеясь, ответила она.

— Знаешь, что ты в этот мир пришла моей радостью?

— А ты — моей.

Я шла трудной, но правильной дорогой, при этом меня сопровождали любимые произведения классиков, среди которых рассказ Максима Горького «Ма-аленькая!». Я всегда была мысленно с героями этого рассказа, в котором нашла своё воплощение сама Россия.

Какой силой духа надо было обладать, чтобы пройти тот путь, которым прошли старики из «Ма-аленькой!». И как же повезло той хрупкой, полюбившейся им девушке, чтобы помолиться о душе которой, они прошли столько вёрст!

Паломничество стариков трогательно до боли, в то же время вызывает неуёмное беспокойство за них. Эта боль проникает в тебя и охватывает всё тело, навсегда сроднившись с тобой: больше она

тебя не покинет. Границы реального и вымышленного стираются, и ты начинаешь жить их жизнью, дышать с ними вместе, думать как они. Всё теряется перед величием их существования на земле.

Ах, старики, мои старики, родные и любимые, ставшие моим маяком, молящиеся и за меня, неугомонную, ищущую без усталости какое-то своё особое место на земле, как же мне отблагодарить вас, таких участливых к чужой беде, пробирающихся без лаптей сквозь колючий бурьян жизни? Только тем, что живу вместе с вами на страницах рассказа с тех самых пор, как узнала вас.

Иду по извилистым пыльным дорогам судьбы, молясь за души тех, кому это сейчас больше всего нужно, как они, мои старики.

И ты молись, милый человек. А вдруг получится так, что твоя молитва кого-то спасёт? И где-то там, в чужом краю, за околицей какой-то деревеньки, в часовне, где молятся, ты вымолишь для себя, меня и другого немного счастья? А вдруг? Не для того ли мы пришли в этот мир, чтобы спасти чью-то душу молитвой?

— Тимка, а ты попросишь у Бога для меня чуточку счастья?

— Попрошу, конечно, много счастья попрошу, — отвечает она задумчиво.

— А я — для тебя, — говорю и добавляю: — Ведь так повелось издревле на Руси.

Мои шестидесятники

Я с ним во всём соглашалась, потому что любила, как любят в жизни один раз. Бесконечной любовью, от которой умирают каждый миг...

Я что-то часто замечаю,
к чьему-то, видно, торжеству,
что я рассыпанно мечтаю,
что я растрёпанно живу.
Среди совсем нестрашных с виду
полужеланий, получувств
щемит:
неужто я не выйду,
неужто я не получусь?

Тревога за «неужто я не получусь» заставила меня работать над собой. Я волновалась, переживала, но постоянно пыталась заново при очередной неудаче, потому что он меня уверил в том, что «... завязывается характер с тревоги первой за себя».

Я шла, спотыкаясь, падая и поднимаясь. Он мне всегда протягивал руку, и я брала её с такой нежностью, на которую способен только любящий человек. Шли годы...

За тридцать мне. Мне страшно по ночам.
Я простыню коленями горбачу,
лицо топло в подушке, стыдно плачу,

что жизнь растратил я по мелочам,
а утром снова так же её трачу.

Опять он, проводя параллель со своей судьбой, объяснял мне настойчиво, что мне нельзя сдаваться на милость судьбе. Верные шестидесятники вторили ему: «Живи. Молись. Продолжай путь». И я жила, молилась, шла...

Мой милый Окуджава, который рядом с ним...

Пока Земля ещё вертится,
пока ещё ярок свет,
Господи, дай же Ты каждому,
чего у него нет:
мудрому дай голову,
трусливому дай коня,
дай счастливому денег...
И не забудь про меня.

Я всегда себя виню во всём, что происходит: в невежестве других людей, в брошенном ненароком на меня пасмурном взгляде, в предательстве близких. Когда день уходит, печально оглядывая всё вокруг, не желая оставлять то, что стало ему мило за такой, казалось бы, короткий срок, мне стыдно, и я ругаю себя за то, что мир так устроен, что его не изменить. Мне указывают на то, что я часто проявляю бессердечие к себе... А он мне говорит так мягко и поучительно:

Бессердечность к себе —
это тоже увечность.
Не пора ли тебе отдохнуть?
Прояви наконец сам к себе человечность —
сам с собою побудь.
Успокойся.
В хорошие книжки заройся.
Не стремись никому ничего доказать.

Я останавливаюсь и пытаюсь понять, что со мной не так.

И опять шестидесятники. На этот раз Рождественский:

Вдруг на бегу остановиться
Так,
будто пропасть на пути.
«Меня не будет...» —
удивиться.
И по слогам произнести:
«Ме-ня не бу-дет...»

Я говорю себе, что сохранию свои юношеские мечты, не позволю сердцу очерстветь, пройду чистилище и ад, и пусть говорят, пусть говорят, что я не та и действия мои не те, но душу, распятую людьми и кровотокающую, я чистой донесу до Бога... Ведь со мною рядом он и Вознесенского слова:

Пусть жизни пролито полчаши,
дай им отпить. Не уходи.
Избавь нас пуще всех печалей,
печаль сердечной глухоты.

В дни боли и страданий я попросила Бога забрать
меня к себе, но взгляд, упавший на томик его стихов,
оказался спасительным:

Всех, кто мне душу расколошматили,
к чёртовой матери,
к чёртовой матери.
Буду по северным кочкам,
лесочкам
душу мою
собирать по кусочкам.
И у Алёнушкиного болотца,
может, срастётся,
может, срастётся...

...И срасталось.

Когда-то его соратница Белла Ахмадулина на-
писала:

По улице моей который год
звучат шаги — мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
той темноте за окнами угоден.

Теперь его физически нет, а ведь он недав-
но только посетил мою малую родину, хотя
я не пошла к нему. Я боялась слиться с тол-
пой, боялась разделить наш с ним мир ещё
с кем-то...

Нет слёз, есть понимание его вечности и при-
сутствия во всём.

Говорят, чтобы достучаться до Бога, не нуж-
но ходить в храм: Он намного ближе. Так и он.
Чтобы услышать его, достаточно раскрыть
книжку.

Был прав любимый их собрат Высоцкий: «Мне
есть что спеть, представ перед Всевышним, мне
есть чем оправдаться перед Ним».

У них есть что сказать Ему...

А он со мной. Всегда и навсегда...

Он — это Евгений Евтушенко, который сам
всё сказал о себе и о своих друзьях:

Искусство, как тонюсенькая нитка,
связует разведённые мосты.

Единственная, может быть, попытка
смерть победить, — искусство, это ты.

Поэты молодеют, умирая.

Смерть — это смерть для нравственных калек,
а смерть поэта — молодость вторая,
вторая жизнь, — теперь уже навек.

ДиН СИММЕТРИЯ

Черубина де Габриак

Цыганская кровь

Чудотворным молилась иконам,
призывала на помощь любовь,
а на сердце малиновым звоном
запевала цыганская кровь...

Эх, надеть бы мне чётки, как бусы,
вместо чёрного пёстрый платок,
да вот ты такой нежный и русый,
а глаза — василёк...

Ты своею душою голубиной
навсегда затворился в скиту —
я же выросла дикой рябиной,
вся по осени в алom цвету...

Да уж, видно, судьба с тобой рядом
свечи теплить, акафисты петь,
класть поклоны с опущенным взглядом
да цыганскою кровью гореть...

1924

Елена Величко

Увидеть «изнанку мира»

О прозе Марины Струковой

Марина Струкова — прозаик, работающий в жанре, близком к магическому реализму. Филолог по образованию, она населяет свои повести и рассказы мифическими персонажами, даёт в текстах множество аллюзий на произведения устного народного творчества: сказки, былички, легенды и предания. Произведения этого автора публиковались в таких изданиях, как «Независимая газета», «Москва», «Наш современник», «Роман-газета», «Нева» и других. Также Струкова является лауреатом различных литературных конкурсов. Наряду с мифологией и фольклором писательницу интересует краеведение, поэтому в некоторых её текстах в качестве хронотопа используется историческое прошлое земли, хорошо знакомой автору, — Тамбовщины. В то же время внимание Струковой привлекает и современность, а наряду с просторами России в её произведениях возникают зарубежные локации. Можно сказать, что писательница подпитывается не только национальным фольклором, но и всем мифологическим наследием народов Земли. Так, в её текстах оживают кельтские предания, а по соседству с русскими сказочными персонажами живут таёжные духи северных широт. Из этого можно сделать вывод, что Струкову интересует мифология как таковая, писательница черпает из неё скрытые знания об устройстве мира, которыми люди владели в старину. Автор показывает, что даже сейчас, когда духи природы забыты и вытеснены цивилизацией на периферию, они, тем не менее, продолжают жить и влиять на человеческий мир.

Кроме языческих воззрений, в произведениях Струковой нашли своё отражение и христианские образы и смыслы. Автор признаётся: «Жития святых, их аскетические подвиги интересны мне с точки зрения психологии — на что способен человек ради веры, каково святым среди обычных людей, не способных постичь их взгляды».

Итак, рассмотрим тексты Марины Струковой более подробно.

«Адель» с подзаголовком «Сказка Серебряного века» переносит нас в предреволюционную Российскую империю. Однако движущей силой

повествования становятся не русские мифические существа, а ирландские феи дуун-ши, привезённые в нашу страну. Если вспомнить ту беспокойную эпоху и противоречивую культуру Серебряного века, многочисленные приметы которого мы обнаруживаем в тексте, то переселение фей на русскую почву уже не кажется чем-то необычным. Дуун-ши берут под своё покровительство малышку Адель, для которой это, с одной стороны, благо, потому что «мирный народ» заботится о ней, наделяет необыкновенной красотой и даже даёт попробовать яблоко с Древа жизни; а с другой стороны, это превращает девочку в бесчувственную куклу. Она никого не могла полюбить и никем не восхищалась, потому что в человеческом мире «ей не встречалось красоты без порока». Героиня ищет идеал, которого нет среди смертных, и всему виной — её близкое знакомство с потусторонним миром. Адель лишена чувств и эмоций: равнодушно терпит насилие, не плачет о смерти отца. Даже революция, перевернувшая всё вокруг с ног на голову, не нарушает ледяного покоя её души. Окружающие видят, что Адель не такая, как они: «Все чего-то ждут от Адели. Соседки во дворе рассказывают ей сплетни и смотрят с коровьим любопытством, когда она не реагирует на их рассказы. Друзья Кукиша травят анекдоты, надеясь рассмешить его крало, и недоумённо замечают: „Несмеяна чёртова“». Финал этой истории открытый и неоднозначный. Когда героиня выходит в окно, мы не знаем, что это: самоубийство или прорыв в иную реальность, где девушку подхватят на руки легкокрылые феи, как уже случалось в её детские годы.

Рассказ «Батя» чем-то напоминает гоголевского «Вия», только антураж описанных событий не малороссийский, а северный, поморский. Главный герой, молодой преподаватель Егор, попадает в рыбацкую деревню, жители которой рассказывают легенды о своём происхождении от некоего морского чудовища. Егор не верит преданиям, считая их всего лишь образцами устного народного творчества, пока однажды не сталкивается с монстром лицом к лицу. Эта встреча не случайна:

Егор должен понести наказание за предательство и непреднамеренное убийство своей возлюбленной. Рассказ местами приближается к хоррору. И всё-таки даже у «хозяина придонного», или Бати, как его ласково называют местные, оказывается достаточно милосердия, чтобы пощадить раскаявшегося грешника. Егор, по сути, всю ночь исповедуется чудовищу — этим он не только облегчает душу, но и, как Шехерезада, старается отсрочить момент своей гибели. И всё-таки, как это обычно бывает в сказках и быличках, провинившийся персонаж не остаётся без справедливого воздаяния: «По вечерам бывшего профессора видят на берегу, он собирает в карманы засаленного ватника разноцветные камешки. Теперь Егор ни о чём не тревожится, никому не мстит, ничего не стыдится. В его душе царит тихая бессмысленная радость». Таким образом, показано, что силы природы способны карать и миловать.

Следующий рассказ, «Город Солнца», максимально реалистичен. Во всех подробностях описана жизнь богемы, студенческие пьянки в общежитии, неприкаянные дети, которые вынуждены быть взрослее своих родителей. Главная героиня, Надя, носит «печать бесприютности и ненужности на всём облике». Если говорить о творческой студенческой тусовке, то автор справедливо отмечает: «Каждый здесь по-своему болен. Но в душе считает себя неординарной личностью, чью философию не постигнуть большинству». Читатель становится свидетелем множества нелицеприятных сцен: как дочь Нади Танюшка пытается увести мать с очередной попойки, как утром дети собирают и сдают пустые бутылки, как Надя на спор прогуливается голой по коридору. И на контрасте с этим постыдным существованием подаётся мечта о другой жизни. Надя зачитывается сектантской книгой «Сибирский Завет» нового проповедника Христа Григория. Окружающие смеются над молодой женщиной, но однажды она решает вырваться в ту, более истинную, по её мнению, реальность, «где собрались художники и поэты, где вечером водят хороводы вокруг костров и все готовы помочь друг другу — братья и сёстры»... Танюшка, как и читатели, относится к её задумке скептически. Обстановка накаляется до предела, когда женщина с ребёнком оказывается одна в морозной тайге на исходе дня. Читатель уже приготовился к худшему, но внезапно происходит чудо. Не для всех, но происходит. Из леса появляется старик и забирает девочку. Как расценивать этот финал? Как спасение ребёнка или как аллегорию гибели? И почему в лес отправляется только дочь, а мать, которая так мечтала попасть в сибирское братство, остаётся замерзать на снегу? Автор не даёт однозначных ответов на эти вопросы. Но то, что Танюшка, отправляясь в неведомое будущее, упорно

цепляется за свою гитару — то есть за свою мечту, — как бы намекает на возможность спасения. В конце концов, именно она, а не её безалаберная мать, была главной «Золушкой» этого произведения, а значит, по законам сказочного жанра, ей полагается награда. А уж в каком мире будет эта награда — в нашем или ином (как, например, у Достоевского в рассказе «Мальчик у Христа на ёлке»), не так уж важно.

Отдельно нужно отметить произведения Струков о святых.

Рассказ «На высоте Рая. Даниил-столпник» повествует о христианском подвижнике древности. Вдохновившись столпничеством другого святого, Симеона, главный герой, подвизавшийся в монастыре, задаётся вопросом: «А где подвиг Даниила? Неужто здесь, среди роз и олив?» Так, в стремлении к большему, и создается этот прочный, как скала, человеческий характер. Автор показывает, как дьявольский шёпот искушает подвижника, но тот остаётся твёрд. Не двигаясь с места, Даниил, словно магнит, притягивает к себе людей со всей округи. Кто-то из них желает подражать его святости, а кто-то хочет сбить аскета с пути истинного. Но даже пришедшую к нему с дурными намерениями блудницу Даниил отправляет обратно и одаривает, тем самым спасая от рабства. Автор показывает, что сильный духом человек может творить великие дела, даже если удалён от мирской суеты. Он, как свеча перед Господом, горит непрестанной молитвой и освещает путь заблудшим. Также в рассказе возникает тема непонимания святого окружающими. Они пекутся о мирском, а он — о духовном. Люди приводят Даниила в чувство, когда он лежит без сознания, в то время как подвижник видит перед собой райские чертоги, от которых ему остаётся вещественное доказательство их реальности — живой цветок... «Вот что осталось мне от рая, из коего вы меня похитили, — хочет упрекнуть Даниил, но только вздыхает».

В рассказе «Среди добрых людей. Саламан Безмолвник» противопоставление святого и толпы ещё более выпукло и местами даже гротескно. Отшельник ищет уединения, но люди досаждают ему бесконечными бытовыми вопросами. А получив ответ, они всё равно недовольны. Тогда Саламан даёт обет безмолвия и закладывает проход в свою келью кирпичами. Из живых существ он привечает только камышового кота, которого однажды спас. Но настойчивые «почитатели» вытаскивают старца из его убежища. В рассказе, наряду с философскими рассуждениями, немало юмора и даже сатиры. Впрочем, старец, как заповедовал Христос, старается не сердиться на людей и принимать их такими, какие они есть. Примечательно, что незваные гости появляются именно в те моменты, когда Саламан, кажется,

наиболее близок к небесам. «Завеса бытия, скрывающая Бога, истончилась. Должно быть, в такие часы людям являются ангелы! Саламан пытается представить, как это происходит: в сумраке появляется искра, разгорается ярче, сияние заливает всё вокруг, и в этом сиянии начинает вырастать крылатое существо. Да, сейчас он увидит чудо!.. Вдруг раздаётся топот ног, Саламан вздрагивает, выглядывает в окно. Из-за поворота появляется группа мужчин. Они весело переговариваются. Окликают старца, а когда он не отвечает, начинают долбить каменную кладку». Но кто знает — может, в этом тоже был промысел Божий? Может быть, «добрые люди» спасали старца от прелести, в которую тот мог бы впасть, чересчур увлечшись своими духовными переживаниями?.. Так или иначе, только покорившись народной воле и смирившись с реальностью, Саламан приближается к тому, чего взыскует его душа:

«Вера без дел мертва. Людям, чтобы оживить добродетель, Бог послал меня, угрюмого отшельника. А отшельнику, чтобы не очерствел душой, простого kota. О каждом творении — особый промысел. Сразу не разгадать.

Старец улыбается. Река отражает ангела».

Повесть «Комиссар Тулкин» обращается к одному из самых трагических периодов в истории России — послереволюционному времени. Место действия — Тамбовщина, где в своё время развернулось противостояние крестьян-антоновцев и большевиков. Главного героя зовут Макар Весёлкин. Тут не просто говорящее имя, а некий концентрат. «Макар» значит «Блаженный», да ещё и «Весёлкин». Но именно этот герой, как мы узнаём из предисловия, пропал без вести из своего дома — «и концы в воду».

Текст повести представляет собой дневник Весёлкина. Этот выходец из крестьян поддержал революцию, а затем пошёл служить в ЧК. И там он столкнулся со своим начальником — комиссаром Тулкиным, который почти сразу раскрыл свою не совсем человеческую сущность. Однажды Весёлкин стал свидетелем сцены допроса: «... в углу сжался полуголый заключённый — шуплый мужичонка с небольшой бородой. А над ним, спиной ко мне, нависло странное существо. Оно раскинуло в стороны шесть длинных шупалец, выраставших из спины». Как выясняется впоследствии, Тулкин, подобно героям рассказа «Батя», является потомком мифического существа, болотного владыки Чарусы. Есть в тексте и аллюзия на знаменитого персонажа произведений Лавкрафта, так сказать, его русифицированный вариант, — подводный царь Тулку. Именно в честь него, как несложно догадаться, и получил свою фамилию бравый красный комиссар, прославившийся своей беспощадностью на допросах. В данном произведении фантастика приобретает скорее аллегорическое

значение: с помощью неё автор подчёркивает антигуманную сущность красного террора. Из уст арестованного священника звучит как приговор: «Сейчас не белые, не красные друг с другом борются, а нелюди с людьми...» А Тулкин говорит своему подчинённому: «На моё место метишь? Так ты не выдержишь, Макарка! Вижу, что мягкотелый ты, добренький. Опять же люди — тебе сродни. А я не человек уже, нет во мне ни капли жалости к врагам Советской власти. Всех уничтожу». Однако нельзя сказать, чтобы автор мазал без разбора всех большевиков чёрной краской. Тот же Макар Весёлкин показан человеком сложным, противоречивым, способным любить, по-своему порядочным и сострадательным. Кроме преданности делу революции, у него есть и свои моральные принципы. И когда одно с другим вступает в противоречие, тогда он начинает страдать, сомневаться и в конце концов оставляет службу. Однако болезненный раскол в душе героя уже произошёл, а от прошлого не так просто избавиться. Вот и начинает преследовать Весёлкина подводный владыка, как в русской народной сказке, чтобы однажды утащить в своё царство.

В рассказе «Мёртвый, добрый» удивительным образом переплетены приметы хоррора и лиризм писателей-деревенщиков. Главный герой, мальчик Мишка, до полусмерти напуган, увидев пришедшего к нему с того света деда. Но, как выясняется в финале, намерения у мертвеца самые благие, а внука он искренне любит и хочет ему добра. Так страшилка превращается в забавную и одновременно трогательную историю о непростых семейных отношениях, а смерть побеждается любовью.

Повесть «Наследница» — ещё одна крупная форма Марины Струковой. Главная героиня Нина — внучка шамана — хочет покинуть Север, но её судьба — остаться там и унаследовать искусство деда. Снова автор показывает конфликт между цивилизацией и природой. Приезжие люди не понимают специфики таёжного края, не чтят местных обычаев, за что один из героев едва не поплатился жизнью. И только самоотверженность любящей девушки помогла ему вернуться живым из тайги. В повести зримо представлены верования народов Севера: «В их племени, если шаман не может справиться с врагом, он собирает части мёртвых тел животных и жилами сшивает куски падали. У существа могут быть олени ноги, чтобы быстро бегал, медвежьи лапы, чтобы заломать жертву, и голова мертвеца, чтобы хоть что-то понимать. Бывает, пришивают существу ласты нерпы, чтобы могло плавать, крылья птицы, чтобы летало. А потом шаман оживляет его и отпускает. Чудище это ведомо одной целью — уничтожить человека, ненавистного шаману». Подробно описан шаманский обряд, который Нина проводит впервые, действуя по наитию. Чувствуется, что автор не

только хорошо разбирается в теме, но и способен вживаться в своих персонажей с самыми разными религиозными взглядами и мировоззрениями, видеть мир их глазами.

Герой рассказа «Пятое сердце» — человек, принадлежащий к чуждой для нас культуре. Его родина — «благородная Англия — страна завоевателей и просветителей», к тому же он — один из сильных мира сего, представитель элиты. Ему ничего не стоит каждый раз подыскивать для себя донора и делать операцию по пересадке сердца только для того, чтобы сохранить иллюзию молодости. В погоне за вечной жизнью герой не останавливается ни перед чем — соглашается, по сути, на убийство, а также использует препараты, изготовленные из человеческих эмбрионов. В нравственном отношении этот человек — чудовище, но он принадлежит к верхушке общества и как будто неподсуден. Странная прихоть заставляет его изучать судьбы доноров, от которых он наследует сердца. Череда повторений напоминает сказочную композицию. Но однажды Дэррик хочет слишком много: сердце воина. В данном случае герой уподобляется пушкинской старухе из «Сказки о рыбаке и рыбке» и под конец теряет и покой, и безопасность. Автор показывает, как война необратимо влияет на человека, изменяя и подчиняя себе всё его существо. Сердце, привыкшее к убийствам, хочет убивать снова и снова.

В рассказе «Сквозь землю» тоже присутствуют фольклорные мотивы: герой стал жертвой проклятия и должен провалиться сквозь землю. Вершителями человеческих судеб здесь становятся степняцкие каменные бабы, которых по-прежнему почитают местные. Главный герой Артём — военный, во время подавления беспорядков убивший своего двоюродного брата. Не случайно в рассказе звучат библейские слова, отсылающие к истории Каина и Авеля. Вообще, то, что происходит с Артёмом, представлено справедливым воздаянием за грехи: «Его собственные руки лучше всего умеют убивать — они держали автомат и пистолет, гранату и нож. Он и без оружия способен свернуть шею любому. Привык побеждать. И не думал, что когда-нибудь окажется бессильным против обстоятельств. Странное, страшное происходило с ним, заставляя впервые ощущать себя жертвой». Так же, как и в рассказе «Пятое сердце», показано, что война может покалечить, обезобразить человеческую душу. А природа предстаёт оплотом справедливости и равновесия. Также использован мотив перемещения во времени, встречающийся в некоторых быличках: в какой-то момент герой узнаёт, что от недавних событий его отделяют многие годы, а тот, кого он знал молодым, успел состариться.

В рассказе «Снегурочка Ада» обыгрывается сказочный сюжет, при этом автор воссоздаёт в антураже двадцатых годов двадцатого века

древний языческий обряд с человеческим жертвоприношением. В центре повествования — комсомольская активистка, добровольно отвергшая простонародное имя Авдотья и выбравшая себе экзотичное — Ада. Как и в «Комиссаре Тулкине», здесь показана деятельность большевиков на Тамбовщине, притеснение местного крестьянства, разборки с антоновцами. Исторический реализм причудливо переплетён с мифологическим сюжетом. И хотя, кроме языческого обряда, ничего сверхъестественного в тексте не показано, ощущение ирреальности происходящего зашкаливает. В финале повествования Ада наказана, но не смертью. Подобно персонажу рассказа «Батя», она помрачается рассудком: «Свесив ноги в валенках, она сидит на полатах и сосёт карамельного пестушка. Мать тащит из печи противень с караваем, согнув худую спину. На печи не страшно, сюда не сунется Карачун». Таким своеобразным способом происходит возвращение героини к корням, в свою деревню, к традиционному быту.

Сказка «Хозяйка» также обыгрывает традиционный сюжет, помещая на этот раз уже в наше время настоящую Бабу Ягу. Трёхчастная композиция соответствует жанру. Два персонажа, завладевшие лесом, где живёт Хозяйка, погибают, а третий, как и положено, Иван-дурак, живёт долго и счастливо. Правда, со стороны кажется, что непутёвый художник сошёл с ума. Но только он сам и лесная старушка знают про «изнанку мира», куда духовно и перемещается Иван. Снова, как в рассказе «Город Солнца», автор предлагает эскапизм, бегство от унылой современности в край волшебства и грёз. Мир этот, подобно райскому саду или заповедному Беловодью, сокрыт от посторонних глаз, но тот, кто захочет, обязательно туда попадёт.

Собственно, именно «изнанку мира», его тайную суть и выбирают дальновидные герои Марины Струковой. А тех, кто совершает проступки и преступления, всегда ожидает расплата. Красота вкупе с истиной растворены в природе, прикосновение к земле позволяет приблизиться к пониманию сути вещей и просветлению. А противление этой стихийной силе, упор на рационализм и преклонение перед цивилизацией приводят человека к полному краху. Фольклорное наследие привлекает автора прежде всего как сокровищница знаний о мире. Струкова показывает, что архетипичные сюжеты актуальны во все времена, а древние боги живы до сих пор. В этом ценность её произведений — в сближении мифологии и современности, в выведении персонажей за рамки времени. Добро и зло — неизменные понятия, научный прогресс вторичен, а ценностью обладает, прежде всего, человеческое сердце. Автор пишет о том, как важно верить в чудо и уметь разглядеть сказку в обычной жизни, а также извлекать из неё все возможные уроки.

Дарья Назарова

Пингвины на кухне

Однажды у Севы на кухне появились пингвины.

Был март, весенние каникулы, хотя в Сибири март — ещё зима. Сева сидел за столом и смотрел в окно. На утреннюю прогулку вышел его одноклассник с собакой. Мальчика звали Коля, а порода собаки называлась «колли». Вот они и гуляли — Коля и колли.

— Эх, — вздохнул Сева, — везёт. А мне до сих пор игрушки дарят.

Тут запиликала смс-ка от мамы:

«Ты ведь уже встал, сынок? Разморозь холодильник, пожалуйста».

— Ну вот, холодильник мне разморозить доверяют, а собаку завести — нет.

Мальчик поплёлся на кухню. Но только он потянулся открыть дверцу холодильника, как вдруг она стала открываться сама! Сева отпрыгнул от неожиданности! Из холодильника высунулся чей-то клюв.

Сева дышать забыл от удивления — с нижней полки к нему навстречу выскочил пингвин! А за ним ещё один! Поражённый Сева смотрел на них и думал: «Неужели наш замороженный холодильник стал порталом в Антарктиду?»

Пингвины с интересом оглядывались по сторонам. Они совсем не казались испуганными. Эта парочка выглядела как мальчишки-хулиганы, на даче махнувшие через забор, чтобы исследовать заброшенный участок.

Сева не верил своим глазам и своему счастью. Наконец-то у него появились пингвины, о которых он так долго мечтал!

Давным-давно, когда Сева был ещё маленький, его мама дома по видеосвязи брала интервью у мужчины, который работал в Антарктиде на полярной станции. Полярник стоял возле огромной колонии императорских пингвинов. Дяденька хвастал, что у него самая редкая в мире профессия — подниматель пингвинов: «Вообще-то пингвины сильные. Если дует ураганный ветер, они на своих мощных лапах стоят крепко, как столбы. В естественных природных условиях они никогда не упадут. Но когда над ними пролетает вертолёт, они от удивления задирают голову вверх и от этого могут завалиться на спину. А со спины сами встать не могут. Тут я и прихожу им на помощь!»

Мама, как журналист, скептически отнеслась к этому рассказу. Может быть, дяденька на самом деле работал на полярной станции метеорологом или геофизиком и просто шутил, но он так интересно рассказывал про этих милых, забавных, самых необычных птиц на свете! Малыш Сева был впечатлён до глубины души! С тех пор он полюбил пингвинов и часто просил маму почитать ему о них, включить видео или мультик.

В первую очередь пингвины отличаются от других птиц тем, что чем-то похожи на человека. На своих толстых лапах они стоят ровно вертикально, как люди с очень хорошей осанкой, и опираются на жёсткий хвост. Их крылья короткие, как ласты. В воде они работают как винты. Благодаря им пингвины отлично плавают и ныряют, но зато не могут летать.

Отличаются пингвины и друг от друга.

Императорские — самые большие среди всех пингвинов и самые мускулистые среди всех птиц на планете! Ростом они с обычного первоклассника. А малые голубые пингвины высотой как два смартфона.

Сева выучил все восемнадцать видов этих птиц, рисовал их, лепил из пластилина. Даже в садике на новогоднем утреннике был в костюме пингвинёнка. А потом он узнал, что его день рождения — двадцатое января — ещё и День осведомлённости о пингвинах.

Он решил, что это — судьба. Поэтому на свой восьмой день рождения Сева попросил родителей купить ему настоящего пингвина, чтобы он жил у них дома.

Мама грустно улыбнулась и ответила:

— Жаль тебя расстраивать, милый, но они не продаются.

И на свой праздник он получил двух больших игрушечных пингвинов.

Мальчик погрустил-погрустил и стал просить родителей купить ему собаку. На что папа сказал:

— Научись-ка сначала быть ответственным. То ты сменку в школе оставишь, то варёжки посеешь, то зубы почистить забудешь — как тебе собаку доверить можно?

На самом деле Сева был совсем не глупым. Он хорошо учился, много стихов и песен знал

наизусть, но иногда во всяких бытовых мелочах память его подводила. Потому что он, как говорят взрослые, часто витал в облаках. Придумывал всякое и забывал про какие-то дела. Много историй он сочинил и про пингвинов.

А теперь пингвины на самом деле оказались у него дома! Он дотронулся до них, чтобы окончательно убедиться, что они настоящие.

Перед ним стояли Адели. Этих пингвинов называли в честь земли, на которой они обитают в Антарктиде. А земля была так названа в честь жены исследователя Жюлья Дюмон-Дюрвиля, который первым из европейцев там побывал со своей экспедицией.

Адели отличаются от остальных пингвинов тем, что на их чёрной голове вокруг глаза есть белое кольцо. А ещё их чёрный клюв наполовину оброс перьями.

Для приличия Сева спросил:

— Ребят, как вас зовут?

Птицы издали резкий звук, похожий одновременно на крикание, рёв мотоцикла и трещотку.

Мальчик вздрогнул, но взял себя в руки и представился сам:

— Меня зовут Севастьян, или Сева. Это мой дом.

Он помолчал и добавил:

— Добро пожаловать!

Гости потоптались по кухне и пошли на разведку в другую комнату. Им явно здесь было мало места.

В комнате Севастьяна царил идеальный порядок. Он решил, что нужно убираться без напоминания родителей. Тогда они поймут, что их сын становится ответственным, и поскорее купят ему собаку.

Пингвины же моментально навели свой порядок. Точнее, беспорядок.

Они стянули одеяло с кровати, проверяя, что это. Открыли нижние полки шкафов и разрыли стопки одежды, чтобы узнать, что там лежит. Разбросали все игрушки, предварительно попробовав их на зуб, точнее, на клюв. Ведь у них нет зубов, а только специальные шипы внутри клюва, помогающие заглатывать рыбу.

Сева беспомощно стоял и смотрел на это, не понимая, что делать.

Он попробовал остановить пингвинов, но они стали убежать, растопырив крылья и так оглушительно трубя, что на шум могли прийти соседи.

— Адели, — обратился Сева сразу к обоим хулиганам, — а пойдёте лучше погуляем? Сейчас уже не очень холодно, но ещё везде лежит снег. С горки покатаемся!

Птицы радостно затрещали и захлопали крыльями.

Но тут перед новоиспечённым хозяином встал вопрос: как выходить на улицу? Что подумают прохожие, если их увидят? Вдруг захотят поймать и увезти в зоопарк?

Сева не придумал ничего лучше, как замаскировать жителей Южного полюса своей старой одеждой, из которой он уже вырос. Он надел на их чёрные «фраки» курточки и шапочки. Хорошо обмотал головы шарфиками так, что только клювы торчали.

Севастьян быстро оделся потеплее, взял санки и ледянку, открыл дверь. Пингвины своей забавной походкой вышли из квартиры и недоуменно уставились на лестницу. Такого чуда они никогда не видели. Мальчик понял, что неуклюжники сами не спустятся и ему придётся их тащить.

Как специально, квартира была на пятом этаже, а лифта не было. Раньше мама Сева мучилась, поднимая его в коляске по лестнице. А теперь он отдувался. Таскал пингвинов с этажа на этаж по очереди, а потом ещё и санки.

Птицы были не очень тяжёлые, пять или шесть килограмм. Но они не привыкли к обнимашкам, сопротивлялись и пытались вырваться. Сева несколько раз чуть их не выронил.

— Да что вы делаете? — бурчал он. — Я же для вас стараюсь!

На улице Севастьян посадил их в санки и покати́л в сторону парка, где была его любимая огромная ледяная горка. На ней собиралась вся ребятня района.

Ехать было не очень далеко. Они даже не встретили ни одного прохожего. Но как только Сева добрался до парка, он вдруг осознал, что сейчас толпа детей увидит его питомцев. И что будет дальше?

Если сказать, что он случайно нашёл пингвинов, обязательно кто-нибудь побежит докладывать об этом взрослым, и они вызовут сотрудников зоопарка или полицию.

А если сказать про портал-холодильник — ему просто никто не поверит. Поверил бы только его лучший друг Марк, но он уехал на каникулы в деревню к бабушке и дедушке.

Сева пригляделся. Большая часть ребят — это были младшеклассники из его школы, которых он хорошо знал. Взрослых с малышами и подростков здесь не было.

«Скажу, что мама с папой подарили», — подумал Сева.

Чем ближе он подходил к горке, тем больше голов поворачивалось в его сторону. В какой-то момент вся толпа в упор смотрела на санки.

— Привет, Сев! — гаркнул его одноклассник Вова. — Это кто? Пингвины?

— Они самые! — гордо ответил Севастьян.

— Где ты их взял?

— Родители подарили.

Тут одновременно со всех сторон посыпались возгласы:

— Не может быть! Они миллион стоят!

— Да они вообще не продаются!

— Не продаются обычным людям, только зоопарки их могут купить!

— Вообще-то сам зоопарк может продавать животных!

Сева ошалел от такого напора и прикрикнул:

— А ну-ка тихо! Пингвинов испугаете! Я не знаю, где родители их взяли! Подарили, и всё тут! Пропустите нас лучше на горку.

Все притихли и расступились. Кто-то продолжал что-то бурчать под нос, но Сева уже не слушал. Он высадил пингвинов из санок, расстегнул им курточки и помог забраться на горку. Адели легли на живот и быстро слетели вниз. Сева полетел на ледянке за ними. Другие ребята сели паровозиком и поехали следом.

Летать с горки было очень весело! Все дети хохотали, а пингвины довольно кричали.

Они катались и катались, но вдруг пингвины громко издали такой звук, будто заводили старый автомобиль. Проголодались, наверное.

— Хорошо-хорошо! Сейчас поедим на реку! Там рыбы наловите!

До реки ехать было значительно дальше, чем до дома. Но дома не было ни рыбы, ни кальмаров, ни креветок.

Несколько ребят вызвались пойти с ними, но Сева от сопровождающих отказался.

Голодные пингвины недовольно трубили.

— Ишь какие! Вы же целый месяц можете не есть! А тут возмущаются! — в свою очередь возмутился Сева.

Это правда. Раз в год у пингвинов полностью линяет всё оперение. И пока не появится новое — они не могут плавать. Следовательно, не могут охотиться на рыбу и есть. У Адели этот период длится месяц. У бедных самцов императорских пингвинов — три с половиной месяца! Хорошо, что до линьки они успевают накопить трёхсантиметровый слой жира. К концу линьки они теряют до половины своего веса.

По пути Севе с пингвинами встречались прохожие, и каждый раз мальчик весь напрягался. Но некоторые прятали лицо в воротник, другие на ходу смотрели в телефон, и никто даже не обратил внимания на странную компанию ребят с клювами, торчащими из шарфиков.

Сева усмехнулся:

— Вот взрослые! В смартфон уставились и чудес под носом не замечают!

Но тут из-за угла дома прямо перед ними показался участковый. И он своим наметанным глазом сразу уставился на пассажиров санок Севы.

— Кто это тут у вас, молодой человек? Пингвины, что ли? — строго спросил он.

Севастьян, хоть и был разгорячённый от таскания своих питомцев, весь похолодел от страха: «Неужели он думает, что я своровал их из зоопарка?»

Участковый продолжал сверлить его взглядом. Не зная, что ему ответить, Сева просто кивнул.

— А знаете ли вы, молодой человек, что недавно в России вышел закон, запрещающий держать дома диких зверей и птиц? И пингвинов в том числе! Вашим родителем придётся за это ответить!

Сева этого не знал. То, что он в этот момент почувствовал, сложно описать словами. В животе словно образовался комок из ужаса, и волосы встали бы дыбом, если бы не шапка.

Нужно срочно что-то придумать!

— Да это же не настоящие пингвины, а роботы! — брякнул Сева.

Не зря он ходил в кружок робототехники!

Нахмуренные брови полицейского мгновенно устремились вверх.

— Роботы?

— Да, игрушки такие, они очень похожи на настоящих! Умеют моргать, крутить головой, ходить и издавать звуки!

Пингвин как раз в это время так крикнул, что участковый по инерции схватился за пистолет.

— Роботы очень дорогие! А у меня их целых два! Мои родители могут себе это позволить, они ведь работают в аппарате губернатора! — стал на ходу сочинять Сева и, видя замешательство полицейского, пошёл дальше с уверенным видом, хотя его сердце колотилось с сумасшедшей скоростью.

Участковый почесал голову и пошёл обратно в участок. «До чего дошёл прогресс», — подумал он.

Севе было стыдно, что он наврал полицейскому. К тому же он понятия не имел, что такое «аппарат губернатора», а только слышал, что к маме на работу приезжал кто-то из этого аппарата и наводил столько шума, что разговоров было на неделю вперёд.

Пингвины всю дорогу до реки дремали, а Сева тащил их и дрожал.

Он вдруг словно повзрослел на десять лет и теперь чётко осознавал весь ужас ситуации. Пингвинов дома держать нельзя, если их увидят — заберут в зоопарк, а родителям или штрафов огромный выпишут, или ещё что похуже.

Но ведь не бросишь их посреди улицы!

Наконец они добрались до набережной. Сева знал одно место, где по небольшому участку земли можно спуститься к воде.

Он провёл пингвинов к берегу и снял с них верхнюю одежду.

Шажок, шажок, Адели нерешительно подошли к кромке. Никто не хотел прыгать в воду первым. Сева знал про эту особенность — «эффект пингвина».

— Не бойтесь, — хмыкнул он. — Здесь нет хищников!

А потом вздохнул и добавил:

— Только мусор на дне валяется.

Птицы крикнули, легли на живот и — бултых — нырнули и поплыли!

Неуклюжие на суше, пингвины очень быстро плавали, выпрыгивая из воды, как дельфины.

— Старайтесь не прыгать слишком высоко! Чтобы вас никто не увидел! — крикнул Сева и уселся на санки.

Он так устал, что мог бы уснуть, но волнительные мысли не давали ему покоя.

Прошло много времени. Начинало темнеть. Сева стал бегать по берегу, чтобы не замёрзнуть. Хорошо, что у него в кармане завалялся злокоый батончик, он хоть немного перекусил. А его питомцы всё не хотели вылезать. Кажется, они решили наесться на неделю вперёд.

Сева стал звать пловцов:

— Ребята, пора домой! Выходите из воды!

Но пингвины продолжали плавать.

Сева звал их и звал и уже был готов накричать на них или заплакать, как вдруг невдалеке загудела полицейская сирена. Совпадение или нет, но мальчик подумал, что это за ними.

— Срочно вылезайте! За нами погоня! Бежим домой!

Адели поняли, что лучше послушаться. Хорошо, что пингвины всегда выходят сухими из воды благодаря особому строению перьев и не покрываются льдом от холода. Сева успел их одеть за минуту.

Мальчик решил бросить санки и ледянку в ближайших кустах. Он просто стрёб пингвинов в охапку и потащил домой по самым тёмным пустынным закоулкам. Ему было очень тяжело и страшно. Но намного страшнее было попасться на глаза полиции.

Он чуть не плакал. Вот свалились эти пингвины ему на голову! Что теперь с ними делать? Пусть дикие животные живут в дикой природе!

Добравшись до квартиры, Сева упал на пол. Так сильно он никогда в жизни не уставал. Он

даже не мог протянуть руку и снять с птиц курточки. Одетые пингвины вперевалочку пошли на кухню.

Сева почувствовал, что сейчас потеряет сознание. Закрывающимися глазами он увидел, как пингвины открывают холодильник.

Когда мальчик очнулся, он почему-то лежал в пижаме на кровати.

— Мама, — позвал Сева, — это ты пришла?

Ему никто не ответил. Сева подскочил и побежал на кухню. Пингвинов нет. Не видно и их одежды.

Пингвины ушли, или их не было?

Сева побежал в спальню и открыл шкаф. Его старые курточки лежали в глубине полки, как обычно. Он посмотрел в окно. Уже настал вечер.

— Неужели я весь первый день каникул проспал, и мне всё это приснилось?

Сева проверил мобильный. От мамы один пропущенный и смс: «Спишь или гуляешь без телефона?» Он посмотрел предыдущие сообщения. Просьбы разморозить холодильник не было.

— Значит, всё-таки приснилось...

Сева не мог понять, расстроиться ему или обрадоваться.

Нет, всё-таки хорошо, что это сон. А то бы сейчас маме в чат родителей класса прилетела куча сообщений: «Вы правда купили пингвинов? Почём брали?» Одноклассники бы приставали каждый день. Да и не хватало ещё, гуляя с родителями, наткнуться на этого участкового! Он бы точно стал допытываться, кем они работают в аппарате губернатора...

У Севы словно гора с плеч свалилась. Он ослабленно облокотился на подоконник. На улице на вечернюю прогулку вышла колли с измученным Колей.

— Бедный Коля! С собакой, наверное, столько мороки. А мне и так хорошо!

стр.
38

Алейников Владимир Дмитриевич
Москва/Коктебель, 1946 г. р.

Родился в Перми, детство провёл в городе Кривой Рог на Украине. Поэт, прозаик, переводчик, художник. В 1963 году окончил музыкальную школу по классу фортепьяно. Учился на отделении истории и теории искусства истфака МГУ. Основатель и лидер легендарного содружества СМОГ. С 1965 года публиковался на Западе. Более четверти века тексты широко распространялись в самиздате. В восьмидесятых был известен как переводчик поэзии народов СССР. Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний о былой эпохе и своих современниках. Лауреат премии Андрея Белого. Член ПЕН-клуба. С 1991 года живёт в Москве и Коктебеле.

стр.
153

Браништи Эльнара Максимовна
Красноярск. 1989 г. р.

Окончила Красноярский литературный лицей (2006), Сибирский государственный аэрокосмический университет по специальности «Связи с общественностью» (2011). Лауреат 3 степени Литературного конкурса имени И. Д. Рождественского (2019) в номинации «Я себя не мыслю без Сибири».

стр.
76

Ващяев Олег Александрович
Санкт-Петербург, 1970 г. р.

Родился в Норильске. В 1998 году окончил Московский Литературный институт имени А. М. Горького (поэтический семинар Евгения Борисовича Рейна). С 2009 года живёт в Санкт-Петербурге. Публикации в журналах «День и ночь» (Красноярск), «Енисей» (Красноярск), «Север» (Петрозаводск), «Изящная словесность» (Санкт-Петербург), «Нева» (Санкт-Петербург) и др.

стр.
187

Величко Елена Юрьевна
Королёв, 1993 г. р.

В 2016 году окончила Литературный институт имени А. М. Горького (семинар поэзии Олеси Николаевой). Лауреат Международного музыкально-поэтического форума «Фермата» (2015), литературной премии имени С. Н. Дурылина (2015), литературной премии имени Р. Рождественского (2015), Межрегионального поэтического конкурса «Россия — земля моя!» (2019, 2023), конкурса молодых авторов Московской области «Живая память Великой Победы» (2021) и др. Публиковалась в журналах «День и ночь», «Волга — XXI век», в «Литературной газете» и других изданиях. Член координационного бюро

Совета молодых литераторов Московской области при СПР. Критик портала «Печорин.net».

стр.
12

Гайдук Николай Викторович
1953–2024

Поэт, прозаик, член Союза писателей России. Родился на Алтае. Детство прошло в селе Волчиха. Окончил медицинское училище, Алтайский государственный институт культуры в Барнауле, Высшие литературные курсы в Москве. После армейской службы ушёл в культуру, поступив на отделение театральной режиссуры Алтайского института культуры. После защиты диплома работал директором Дома культуры, Польше на трассе Норильск — Дудинка, был заведующим бюро пропаганды художественной литературы Красноярской писательской организации. В 1986 году увидел свет его первый сборник стихов «Калинушка-калина», через два года — первая книга прозы «С любовью и нежностью». За ними последовали романы «Волхитка», «Святая грусть», «Зачем звезда герою», «Всполохи», «Хранитель Вечности», «Легенда о Русском», «Царь-Север», повести. Книги издавались в США, Канаде, Аргентине, Франции, Польше. В России вышло 10-томное собрание сочинений. Министерством образования и науки Красноярского края произведения Николая Гайдук включены в школьную программу.

стр.
105

Задереев Сергей Константинович
Красноярск, 1950 г. р.

Российский писатель-прозаик, журналист, редактор. Писать начал ещё в школьные годы, его короткие рассказы печатались в районной газете. После окончания школы работал журналистом в газетах Красноярского края и Иркутской области, заочно окончил Литературный институт имени А. М. Горького. В 1981 году стал заведующим литературной частью в Красноярском ТЮЗе, позже — редактором филиала Свердловской киностудии, главным редактором альманаха «Енисей» (1983–1990). В 1988 году Сергей Задереев был принят в Союз писателей СССР, в 1996–2000 годах возглавлял Красноярскую писательскую организацию. Автор ряда книг прозы, вышедших в Красноярске и Москве. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Уральский следопыт», «Енисей», в еженедельнике «Литературная Россия», по его сценариям снято несколько документальных фильмов. Первую книгу с послесловием Валентина Курбатова выпустил в 1980 году. К книге «Небесный поклонник», изданной в Москве, послесловие написал Виктор Астафьев.

стр. 143
Зимницкая Виолетта
Красноярск

Студентка ЮИ СФУ. Победитель ряда литературных конкурсов, в том числе Международного литературного конкурса имени Константина Симонова (2022), Московского межрегионального поэтического конкурса «Россия — земля моя!» (2022), Международного литературно-художественного конкурса-фестиваля «Живой родник» имени Анатолия Жаренова (2023). Печаталась в журнале «День и ночь», альманахе «На высоком берегу» СФУ, литературном альманахе «Творческая среда МоноЛит».

стр. 181
Калинин Сергей Юрьевич
Барнаул, 1971 г. р.

Публицист, поэт, прозаик. Профессиональный юрист, член Ассоциации юристов России. Работает заведующим отделением профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула». Финалист издательского проекта памяти Михаила Пришвина «Природа и животные» Русского литературного центра, а также конкурса «Когда закончилась война» Алтайского отделения СПР. Лауреат I Всероссийского фестиваля-конкурса «Литературная карусель» (2023) в номинации «Невероятные истории». Публиковался в России, Австралии, Беларуси.

стр. 158
Киляков Василий Васильевич
Электросталь, 1960 г. р.

Родился в Кирове. После окончания Московского политехникума работал мастером на заводе в городе Электросталь, служил в армии. Окончил Литературный институт имени Горького. Печатался в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Юность», «Молодая гвардия» и других изданиях. Лауреат литературной премии имени Б. Полевого и Всероссийской литературной премии «Традиция». Член Союза писателей России.

стр. 151
Колчин Станислав Сергеевич
Калуга, 1984 г. р.

Поэт, организатор литературного процесса. Родился в Ташкенте. Окончил энергетический факультет Ташкентского государственного технического университета. С 2015 года член Российского союза профессиональных литераторов. Лауреат конкурса XIII Международного литературного фестиваля «Под небом рязанским» (Рязань, 2016) в номинации «Поэзия» и второго тура Международного литературно-музыкального конкурса «Дары Муз» (Керчь, 2016) в номинации «Стихотворение». Лауреат областного конкурса патриотической поэзии имени Твардовского (Калуга, 2017).

стр. 62
Косяков Дмитрий Николаевич
Красноярск, 1982 г. р.

Родился в Томске. Выпускник филологического факультета Красноярского государственного университета. Критик и искусствовед, публицист, поэт-мелодекламатор, основатель поэтического театра, автор и ведущий дискуссионных клубов, преподаватель, сценарист кино и театра. Публикации в журналах «День и ночь», «Дети Ра», «Наш современник». Автор двух поэтических («На пороге подполья», «Пепел звездолётов») и четырёх публицистических («Культурный фронт», «Смотреть в будущее», «Рок-портреты», «Христос и революция») сборников, а также книги для детей («Сказки про девочку Ульрику»). Редактор альманаха «Культурная критика». Дипломант Международного литературного форума «Золотой Витязь» (2020). Лауреат литературной премии всероссийского фонда В. П. Астафьева (2021). Руководитель Красноярского регионального отделения Совета молодых литераторов при Союзе писателей России. Член Союза писателей России с 2022 года.

стр. 184
Кудаева Фарида Малиловна
Москва, 1961 г. р.

Писатель, публицист, общественный деятель. Член Союза писателей России, член литературного сообщества «Писатели Кавказа». Окончила ФФ КБГУ. Печаталась в литературных журналах, издано несколько книг: детская повесть «Всё смешалось в доме Эмили», «Черим: дарю добро», «Обитель моей души» (любовный роман на кабардино-черкесском языке) и др. Произведения переведены на грузинский, чеченский, балкарский и турецкий языки. Автор идеи переиздания библиотеки классиков черкесской классической литературы. Переизданы несколько книг. Награждена грамотами, дипломами разных литсообществ и медалью имени Кайсына Кулиева Российским Лермонтовским комитетом.

стр. 79
Кузичкин Сергей Николаевич
Красноярск, 1958 г. р.

Родился в Тайшете Иркутской области. Первый рассказ «Совсем простая история» был напечатан в местной газете «Заря коммунизма» 2 января 1980 года. В 1979–1983 годах входил в состав литературного клуба «Бирюса». Печатался в центральных газетах, в городских, районных и многотиражных газетах Иркутской области, Красноярского и Алтайского края; в коллективных сборниках столичных издательств, в журналах «Енисей», «День и ночь», «Новое и старое» (Красноярск), «Луч» (Ижевск), «Мир Севера» (Москва), «Соотечественник» (Берген, Норвегия), в еженедельниках «Литературная Россия» (Москва), «Обзор» (Чикаго). Автор

проекта нескольких литературных альманахов. Автор трилогий «Избранники Ангела» и «Времена и бремена», а также сборника стихов и нескольких книг повестей и рассказов. В 2005 году окончил Высшие литературные курсы в Литературном институте имени А. М. Горького в Москве. В 2006 году в московском издательстве «Амалдеус» отдельной книгой вышел роман «Андрей + Наташа». Лауреат «Московского Парнаса» за 2006 год в номинации «Проза». Лауреат Всероссийского конкурса литературного творчества «Золотой листопад-2008» (Иркутск), дипломант международного литературного конкурса по детской литературе имени А. Н. Толстого (2009). С 2006 года — автор проекта и редактор альманаха прозы, поэзии и публицистики «Новый Енисейский литератор» (Красноярск), детского альманаха «Енисейка» и ряда приложений. Член Союза писателей России. С 2023 года — председатель Красноярского регионального отделения организации.

стр.
133

Любестовский Пётр

Сельцо (Брянская область), 1947 г. р.

Родился на Смоленщине, в деревне Любестово. Окончил Звенигородский финансовый техникум и Тверской государственный университет. По образованию юрист. Служил в ВС и в МЧС. Подполковник в отставке. Многие годы работал школьным учителем, преподавателем в колледже. Публиковался в еженедельниках «Литературная Россия», «Учительская газета», «Советская Россия» и др., в журналах «Молодая гвардия», «Север», «Дон», «Искатель», «Странник» и др. Автор 11 книг прозы. Лауреат всероссийских и международных литературных конкурсов. Финалист Международного литературного конкурса имени Андрея Платонова «Умное сердце» (2021). Член Союза писателей и Союза журналистов России. Руководитель литобъединения «Парус» (город Сельцо).

стр.
14

Малашин Геннадий Викторович

Красноярск, 1956 г. р.

Поэт, прозаик, публицист, режиссёр, педагог. Руководитель информационно-аналитического и издательского отдела Красноярской епархии РПЦ, профессор кафедры гуманитарных и филологических дисциплин Красноярского филиала Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Родился в селе Ермаковском Красноярского края. По окончании в 1977 году Красноярского педагогического института преподавал в школах края. С августа 1981 года в течение 20 лет работал на Красноярской телестудии. В 1993 году с коллегами создал творческое объединение «Русские вечера», до сентября 2000 года еженедельно выходившее в краевой эфир. С 2011 года является секретарём

Общественного совета Красноярской митрополии по науке, культуре и образованию, с 2014 года — ответственным секретарём Епархиальной комиссии по канонизации святых и церковно-историческому наследию.

стр.
73

Мамзин Сергей Васильевич

1955 г. р.

Родился в селе Мичурино Чимкентской области, в Казахстане. Окончил Ташкентский политехнический институт и, заочно, Литературный институт имени А. М. Горького в Москве. Долгое время жил в Красноярске. Работал на КраЗе. Публиковался в журнале «Енисей», в коллективных сборниках. Автор книг «Среди друзей» (1984), «Разговор перед зеркалом» (1990), «Я помню» (1991). Член Союза российских писателей.

стр.
128

Масс Татьяна

Париж

Писатель, независимый журналист, член Ассоциации русско-французских журналистов (Париж). Родилась в городе Череповце Вологодской области. Окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова и Университет Сорбонна во Франции, работала корреспондентом рижской «Советской молодёжи» и Радио ВВС — Latvia, обозревателем газеты «Русская мысль» (Париж). Победительница международного конкурса для русскоязычных журналистов «Золотое перо» (Чикаго, 2008), призёр литературных конкурсов США и Европы. Книги Татьяны Масс были изданы в США и в России.

стр.
3

Мишенёв Василий

Никольск (Вологодская область), 1958 г. р.

Член Союза писателей России с 1994 года. Автор 20 книг стихов и прозы. Публиковался в журналах «Север», «Берега», «Наш современник» и др.

стр.
191

Назарова Дарья Геннадьевна

Красноярск, 1991 г. р.

Детский поэт и писатель. Родилась в Дивногорске. Выпускница Сибирского федерального университета по специальности «Журналистика». С 2014 года работает пресс-секретарём в Красноярском краевом Дворце пионеров. С 2022 года член Совета молодых литераторов при Красноярском отделении Союза писателей России. Первая поэтическая публикация — в литературном журнале «День и ночь» (2023). Также публиковалась в журналах «Детское чтение для сердца и разума», «Вверх тормашками», в сборнике детских стихотворений «Давай читаем вместе». Участник российских писательских форумов и школ писательского мастерства. Финалистка многих крупных литературных конкурсов. Победитель Межрегионального литературного

конкурса «Литераторы земли Сибирской» (2023) в номинации «Поэзия».

стр.
59

Орлов Александр Владимирович
Москва, 1975 г. р.

Поэт, прозаик, историк, критик, педагог. Родился в Москве. Окончил Московское медицинское училище № 1 имени И. П. Павлова, Литературный институт имени А. М. Горького и Московский институт открытого образования. Работает учителем истории, обществознания, права и литературы в ГБОУ «Школа № 1861 „Загорье“». Автор стихотворных сборников «Московский кочевник» (2012), «Белоснежная пряжа» (2014), «Время вербы» (2015), «Разнозимье» (2017), сборника малой прозы «Кравотынь» (2015), книги для дополнительного чтения по истории Отечества «Креститель Руси» (2015), книги стихов «Епифань» (2018). Лауреат Всероссийского конкурса малой прозы имени А. П. Платонова (2011), Всероссийского конкурса малой прозы и поэзии имени Ф. Н. Глинки (2012), Всероссийского конкурса поэзии и малой прозы имени С. С. Бехтеева (2014). Обладатель золотого диплома VII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» (2016); лауреат VIII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» (2017); обладатель специального приза ИС РПЦ «Дорога к храму» за стихотворную книгу «Разнозимье» и в благословение за труды, понесённые на ниве духовного просвещения и издательской деятельности; лауреат XIII Открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу» Издательского совета РПЦ (2018) за книгу стихов «Епифань». Публиковался в широком круге изданий: «День и ночь», «Дон», «Дружба народов», «Литературная газета», «Литературная Россия» «Литературная учёба», «Лучик», «Наш современник», «Подъём», «Православная Москва», «Сибирские огни», «Учительская газета», «Юность», антология стихотворений выпускников, преподавателей и студентов Литературного института имени А. М. Горького «Поклонимся великим тем годам», антология военной поэзии «Ты припомни, Россия, как всё это было!».

стр.
78

Пономарёв Владимир Валентинович
Красноярск, 1960 г. р.

Родился в Красноярске. Учился в средней школе, параллельно занимаясь музыкой. Готовился к поступлению на литфак, но после конфликта с учителями (срывал политизированные «классные часы», не был принят в комсомол) вынужден был уйти из школы после восьмого класса и поступить в Красноярское училище искусств на теоретическое отделение. Окончив училище, поступил в Новосибирскую консерваторию имени Глинки на теоретико-композиторский факультет. По окончании консерватории вернулся

в Красноярск и с того момента по сей день работает в Институте искусств на кафедре теории музыки и композиции. Композитор, член СК РФ, лауреат Всероссийского конкурса композиторов, кавалер ордена Святого Даниила Московского за заслуги перед Отечеством и церковью (орден получил за деятельность в качестве церковного музыканта (регента), композитора и редактора церковно-певческих сборников). Параллельно писал и публиковал стихи. Первая публикация была в газете «Красноярский комсомолец» в рубрике «МоноЛит» в начале 90-х. Впоследствии стихи автора периодически печатались в различных альманахах и сборниках стихов сибирских поэтов. В 2015–2016 годах выпустил три сборника стихов, написанных в разные годы.

стр.
69

Расторгуев Андрей Петрович
Екатеринбург, 1964 г. р.

Российский поэт, переводчик, журналист, кандидат исторических наук. Член Союза писателей России, Союза журналистов России. Автор нескольких поэтических книг. Является постоянным автором журнала «Урал» (Екатеринбург), публиковался в журналах «Наш современник» (Москва), «Литературная учёба» (Москва), «Новый мир» (Москва), «Дружба народов» (Москва), «Север» (Петрозаводск), «Южная звезда» (Ставрополь), «День и ночь» (Красноярск), «Сибирские огни» (Новосибирск), «Подъём» (Воронеж), «Гостиный Двор» (Оренбург), «Славянин» (Харьков), «Неман» (Минск), «Простор» (Алма-Ата). Поэтическую деятельность совмещает с работой переводчика — переводит на русский язык стихи финно-угорских поэтов. В свою очередь, стихи Расторгуева переводились на коми, венгерский, финский и башкирский языки.

стр.
7

Саввиных Марина Олеговна
Красноярск, 1956 г. р.

Родилась в Красноярске. В 1978 году окончила с отличием факультет русского языка и литературы Красноярского педагогического института (ныне — университет имени В. П. Астафьева). Стихи, проза, публицистика, начиная с 1973 года, печатались в краевой периодике, а позднее — в журналах и альманахах «Юность», «Уральский следопыт», «День и ночь», «Москва», «Дети Ра», «Крещатик» и многих других российских и зарубежных изданиях. Несколько стихотворений переведены на польский, французский, испанский, осетинский языки. Музыкальные произведения на стихи М. Саввиных создали известные российские композиторы, в том числе О. Проститов, Э. Маркаиц, В. Пономарёв и другие. Издано более десятка книг стихов, прозы и публицистики. Лауреат Фонда Астафьева (1994), газеты «Поэтоград» (2010) и журнала «Дети Ра» (2011). Обладатель Красноярского краевого Губернаторского гранта за заслуги

в области культуры (2008), ордена Достоевского I степени, главного приза Международного всеславянского литературного форума «Золотой Витязь» и других наград за литературную и общественную деятельность. Автор проекта и первый директор Красноярского литературного лица. Главный редактор журнала «День и ночь». Заслуженный работник культуры Красноярского края. Член Союза писателей России.

стр.
147

Савина Татьяна
(Карцева Татьяна Михайловна)

Пятигорск, 1956 г. р.

Окончила факультет журналистики МГУ, работала в светских и церковных изданиях. Публикации в литературно-художественных альманахах «Шестое чувство», «Эолова арфа» одноимённых творческих объединений на Кавминводах. Член Союза журналистов России. Лауреат краевого конкурса имени Германа Лопатина «за искренность, исповедальность в материалах о святых местах России».

стр.
156

Смолицкая Елена Евгеньевна

Воронеж, 1989 г. р.

Родилась в городе Боброве Воронежской области. Руководитель поэтического клуба «Левобережье» (Воронеж), преподаватель права Воронежского государственного университета. Выпустила авторские сборники стихотворений: «Девушка с зонтиком» (2015), «Горела молодость» (2018, с несколькими переизданиями). С 2018 года проводит историко-поэтические встречи в учебных заведениях, библиотеках.

стр.
9

Солнцев Роман Харисович

Красноярск, 1939–2007

Российский писатель, поэт и сценарист. Родился в селе Кузеево Мензелинского района Татарской АССР. С 1962 года жил и работал в Красноярске. Окончил физико-математический факультет Казанского государственного университета, Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького. После окончания института работал в геологических партиях в Сибири. В 1962 году начал работать преподавателем в Красноярском политехническом институте. В этом же году в журнале «Смена» появилась его первая публикация. После Совещания молодых писателей

Сибири в Чите в 1965 году был принят в члены Союза писателей СССР. В годы перестройки активно занимался общественной деятельностью. Избирался народным депутатом СССР от Красноярска, депутатом Верховного Совета РСФСР, членом Верховного Совета СССР (1989–1991). В марте 1992 года стал госсекретарём — председателем Комитета по общественным и политическим связям администрации Красноярского края. С июля 1993 года являлся ответственным секретарём координационного совета краевой администрации, был членом Комитета по вопросам правопорядка и борьбы с преступностью. Также в 1993 году возглавил инициативную группу красноярских писателей по созданию литературного журнала для семейного чтения «День и ночь», в дальнейшем работал главным редактором этого издания. По его пьесам поставлены спектакли в Красноярске, Москве и других городах России. Сценарий фильма «Торможение в небесах» в 1993 году получил гран-при на международном кинофестивале в Страсбурге. Лауреат премий Министерств культуры СССР и России в области драматургии, заслуженный работник культуры РСФСР, кавалер ордена «Знак Почёта».

стр.
116

Франц Дарья Дмитриевна

Лобня, 1988 г. р.

Родилась в Лобне (Московская область). В 2010 году окончила факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Публикации в журнале «Крещатик» и газете «нг Ex-libris».

стр.
173

Чернов Сергей Валентинович

с. Хреновое (Воронежская область), 1988 г. р.

Окончил Воронежское областное училище культуры имени А. С. Суворина. Публиковался в журналах «Москва», «Нева», «Роман-газета» и др. Лауреат конкурса молодых литераторов Союзного государства «Мост дружбы» и литературной премии Всероссийского фестиваля русской словесности и культуры «Во славу Бориса и Глеба». Дважды лауреат Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник». Участник третьего Всероссийского совещания молодых литераторов Союза писателей России в Химках. Работает библиотекарем. Член Союза писателей России.

и.о. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Марина Наумова-Саввиных

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дмитрий Косяков

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Владимир Безбатченко

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Владислава Васильева

КОРРЕКТОР

Андрей Леонтьев

.....

Журнал издаётся с 1993 года.

Редакция не вступает
в переписку. Рукописи
не рецензируются и не воз-
вращаются. Ответственность
за достоверность фактов
несут авторы материалов.
Мнение редакции может
не совпадать с мнением
авторов. При перепечатке
материалов ссылка на журнал
«День и ночь» обязательна.

.....

Учредитель:

Агентство печати
и массовых коммуникаций
Красноярского края.

Адрес: 660009, г. Красноярск,
ул. Красной Армии, д. 22.

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
п/и № ФС 77-42931 от 9 декабря
2010 г. выдано Федеральной
службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций.

Издатель:

Краевое государственное автономное
учреждение «Организационно-
методический Медиацентр»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Анастасия Астафьева

Костромская область

Александр Астраханцев

Красноярск

Наталья Ахпашева

Абакан

Юрий Беликов

Пермь

Александр Герасимов

Калининград

Лидия Довыденко

Калининград

Вера Зубарева

Филадельфия

Ирина Иваськова

Анапа

Александр Кердан

Екатеринбург

Станислав Колчин

Калуга

Сергей Кузнечихин

Красноярск

Андрей Лазарчук

Санкт-Петербург

Татьяна Масс

Париж

Евгений Минин

Иерусалим

Миясат Муслимова

Махачкала

Александр Орлов

Москва

Анна Сафонова

Южно-Сахалинск

Андрей Тимофеев

Москва

Нина Ягодинцева

Челябинск

В оформлении обложки

использованы репродукции картин
Я. Еселевича и Б. Доржиева

.....

Рукописи принимаются
по электронной почте:
dayandnight@bk.ru

Адрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск,
пр. Мира, 57;
Медиацентр

Наш сайт: krasdin.org

Подписано к печати: 10.04.2024
Дата выхода в свет: 30.04.2024
Тираж: 1200 экз.

Цена свободная

Журнал выходит 6 раз в год

Отпечатано ИП Азарова Н. Н.
в типографии «Литера-принт»
г. Красноярск, ул. Гладкова,
д. 6, офис 0-10, т. +79048950340
эл. почта: 2007rex@mail.ru

.....

16+



Яков Еселевич | На Енисее. Шалунин Бык. Холст, масло. 38х59. 1979 г.



Яков Еселевич | Посёлок Гремячий Ключ. Холст, масло. 50х70. 1961 г.



Яков Еселевич
Хакаска Галя. Холет, масло. 70х58. 1975 г.

на обложке:

Бальжинима Доржиев
Бэри. Холет, масло. 70х95. 2017 г.